НАДЕЖДА КРЕМНЁВА

БЕССМЕРТНЫЙ ЛАРИОНОВ

1999

Вместо предисловия

Спасибо тем, кто раскроет эту книгу не для того, чтобы посмеяться. И тем, кто согласен с Аристотелем, что «человек - смеющееся животное». Здесь нет ничего обидного. Смех неподражаемо человечен, он не даст соврать, не то что плач или задумчивый вид.

Спасибо тем, кто не станет искать в моих героях реальных людей, так называемых прототипов. За чужие фантазии я не отвечаю. Ни города, в котором происходили описываемые события, ни страны, где я имела счастье родиться, больше не существует. Они другие.

Спасибо автору книг по новой хронологии А.Т. Фоменко и его соавторам за интереснейшие исторические факты и смелые параллели, которыми я воспользовалась в работе над книгой.

Спасибо всем, кто был со мной.

20 декабря 98.

ЧАСТЬ 1

Глава 1

Она стояла на краю мутной расползающейся лужи и носком узкого ботинка подталкивала кораблик, свернутый из тетрадного листа. Ветер дул сразу со всех сторон, и посудина кружилась на месте, постепенно оседая в воду. Формулы расползались на сгибах, из скобок вываливались иксы и греческие i, то есть французские игреки. Даже буквы, подумал он, страдают от произвола переменной величины.

Долговязая девочка, как видно, была упряма, и уступать ветру не собиралась. Она подобрала с земли прутик и принялась разгонять рябь. Кораблик задергался на волнах, несколько раз подпрыгнул и шлепнулся набок. Девочка от неожиданности выронила прутик и, отступив на шаг, вцепилась в огромную пуговицу, на которой болталось её широкое полупальто из синей верблюжьей шерсти. Балахон не стеснял движений, но и в нём она выглядела неуклюжей и угловатой. Типичная акселератка, побочный продукт советской школы. Подол коричневой формы с полоской чёрного фартука заляпан грязью, рыжие пружинистые волосы торчком, глаза тёмные. Лет тринадцать, а то и все четырнадцать, очень уж недовольный всезнающий рот.

- Мадам, - сказал он, приподнимая шляпу.

Она присела на корточки, зашвырнула кораблик на середину лужи, тот, наконец, поплыл, и только тогда обернулась. Нет, серые или зелёные, изменчивые глаза, но зрачки глубокие, стоячие.

- Герр Ларри-онофф, - выговорил он нараспев.

Смешок, гримаска, красные руки из-под куцых рукавов.

- Девушка моей мечты, - произнесла со вздохом.

Ловко. Достойная подрастает смена.

- Ранен в сердце.

- И-ах.

Подхватила портфель и полезла по склону туннеля наверх, туда, где вилась тропинка и виднелись черепичные крыши домов. Мелькнули голые ноги, и чулки ей коротки, слишком быстро растёт. Он отвернулся и закурил.

Дорога, огибавшая центральную площадь, полого спускалась к туннелю, и в дождь потоки воды заливали тротуар и угловую впадину, над которой высилась стена полуразрушенной с войны электростанции. Развалина исправно снабжала город энергией, а её мрачный силуэт сообщал ему некоторое историческое достоинство. Рытвина при известном воображении могла сойти за ров, прикрывающий подступы к цитадели. Он поймал себя на мысли, что игра фантазии как-то связана с бедностью впечатлений.

Месяц назад он (москвич, филфак МГУ, аспирантура, кандидатская, тема «Пушкин-публицист», навязали) приехал в этот убитый богом город, а попросту в дыру, ухнул, провалился и теперь пускает пузыри. Пединститут, шесть часов в неделю, не ждали-с, нагрузку распределили ещё в июне, спецкурс по Маяковскому и текущая литература: деревенщики, кожевники и всякая кочертовщина. Одиннадцатиметровая комнатка в общежитии, из мебели - два стола, письменный и обеденный, стул, целый один, рахметовская койка и платяной гроб, из удобств - раковина с заржавленным краном, откуда течёт такая же ржавая жижа. На этом отрезке и пролегал его путь по жизни. Тык туда, тык сюда. И сосущая пустота, разглядывание дыры.

Он давно хотел написать серьёзную длинную вещь. Пописывал, пописывал, тиснул пару рассказов в молодогвардейском сборничке, остальные, поди, до сих пор пылятся по редакциям журналов. Не умеет заводить нужных знакомств, слабо работает локтями. Филолог, лого-фил, фиго-лол.

Едучи в захолустье, втайне надеялся, что картины дикой природы и первобытных нравов подвигнут его на создание какого-нибудь бессмертного произведения. Время на окраине ползёт с ленцой, быт устоялся и оброс незаменимыми прозаическими подробностями. Увы, не заасфальтированные поля и охваченное грамотой поголовье не годились в литературную пищу. Периферия оказалась плохонькой копией центра, со своими разве что местечковыми заскоками и патриотическими замашками. Впрочем, никаких особенных природ и жизненных гущ не требуется, чтобы решиться на творческий акт, это из области партийных грёз. Восстань и всё тут, и, обходя моря и лужи, поменьше заглядывайся на себя. А что, «интерэсный мужчина», как припечатала Фаина Марковна, коллега по факультетскому зарубежью.

Открытое партийное собрание, явка обязательна, посвящённое моральному облику советского студента, уже подходило к концу. Он мирно подрёмывал в заднем ряду (дурная привычка, не умел пассивно слушать), когда декан Дыховичный призвал активистов мужского пола решительно пресекать происки предприимчивых барышень. Проснитесь, молодой человек, сказал, обращаясь к нему, к вам это относится в первую очередь. Весьма польщён, огрызнулся, обязуюсь бдеть, невзирая на. Тогда-то Фаина Марковна и подала реплику. Весьма ехидно заметила, что с приходом нового кадра, последовал комплимент, на факультете окончательно сложилась группа повышенной степени риска, и личная

бдительность может рассматриваться только в контексте совместных усилий. Декан внезапно сник и оставил Ларионова в покое.

В одном старичок был прав: вопросы пола сильно волновали молодого человека. Вернее, ответы пола, потому что с вопросами дело обстояло более-менее благополучно.

В первый же день подвернулась Лида. Жгучая общественница, брюнетка. Водила по кабинетам, помогла оформить бумажки, «давайте к нам на блины». Жила с мамой, неподалёку, в собственном доме, отдельный вход. Много ели, долго пили, развезло. Утром, едва продрал глаза, чуть не зарычал - она изучала его во сне, осматривала, словно живой инвентарь. Мелкая, нервная, широкоскулая.

Дважды ещё затаскивала, на пельмени и грибы. Смалодушничал. А ведь зарекался, кувшин: ни жён чужих, ни девок на выданье, студентки - боже упаси, только разведённые и в одно касанье. Но случай выпал... и он его подобрал. Ну не мог он ни-ни, не вешаться же, двадцать шесть всего, ну почти, ну не мог.

Лужа колыхалась, кораблик вернулся в первоначальное состояние. Жалкий выдранный листок. Ларионов не заметил, как пошёл по тропинке вдоль электростены, обогнул выступ, нависший над склоном туннеля, и попал в незнакомый двор. Открывшееся взору стоило того, чтобы отложиться в анналах.

Справа белокаменный скворечник уборной и выгребная яма с чугунной крышкой, на которой оттиснуты буквы Р.Х. Что сие означает? Районное хозяйство? Распределитель хозотбросов? Не от Рождества же Христова. Впритык к уборной - мусорный ящик из листового железа, доверху набитый полусгнившими кочерыжками и морковными хвостами, оставшимися от засолки-закваски (изобилие когда ещё будет, а зима на носу). Чуть поодаль, на цементном возвышении - могутная, как столп разума, водопроводная колонка, сразу за ней - ряд покосившихся дровяных сараев. Слева вразброс стояли тупорылые одноэтажные дома с облетевшими палисадниками, где в кучу свалены доски, тазы и прочий полезный в хозяйстве хлам. Голо, сиро, неприютно.

Он двинулся по щербатой асфальтовой дорожке, проложенной вокруг ближнего дома. Мимо протопала тётка с пустым ведром, рванула рычаг колонки, остервенело хлынула вода. Старик в партизанском ватнике кутал виноградную лозу в полиэтиленовую плёнку. Кряхтел, ронял секатор, рылся в карманах. Обрывок бечёвки свисал с куста сирени. Ларионов отцепил его и молча отдал старику. Тот вместо спасиба хрипнул «вот зараза» и кинулся ловить плёнку, сорванную ветром.

В двух шагах пробухал тяжеловесный состав, едко пахнуло соляркой. На бельевой верёвке, протянутой между стволами деревьев, развевались детские майки, мужские трусы, метко прозванные семейными, и необъятные панталоны интенсивно морковного цвета.

- Мама родная, - сказал он вслух, по-крестьянски ударяя на «о», и вздрогнул, услышав: «дайте пройти».

Это была долговязая девочка. Смотрела мимо него, прижимая к груди взъерошенного котёнка с расцарапанной мордой.

- А, девушка моей мечты.

- Ну?

Он театрально посторонился. Она в галошах на босу ногу прошлёпала к крыльцу, толкнула коленом дверь, низко нагнулась (нарочно, что ли?) и спустила зверя на пол. Из коридора донёсся пронзительный женский голос.

Бытовой пласт в разрезе. Подходящий материал для многопланового произведения.

Ларионов дошёл до туннеля, протиснулся в калитку и побрёл по шпалам к вокзалу.

Навстречу неслись клочья газет, хлопья пыли и мусора. Впереди зернисто вспучился мокрый перрон - накрапывал дождь. Всё в этой дыре было дырявым, прохудившимся, изо всех щелей дул щекастый кубанский сквозняк.

Чёрт знает что, с голыми ногами, в галошах, в хлюпающей кофте до колен. Там и тела, наверное, нет, одни ключицы и рёбра. Моя - вдруг обожгло - от ребра. Он даже остановился и размотал шарф, но колючие капли посыпались за воротник и живо его охладили. Остаток пути он проделал бодрой рысцой.

Трёхэтажное здание общежития ничем не отличалось от образцовых свиноферм, понастроенных на Кубани в годы кукурузного бума, на фоне которых так любили сниматься неугомонные американские бизнесмены и непоседливые (выездные) советские писатели. Вблизи сходство было ещё разительней, в том смысле, что крепко разило хлоркой и свинством. Из окон неслись молодёжные вопли, звяканье посуды, завыванье радиол. Постанывало «Аргентинское танго», повизгивал «Маленький цветок» и истошно мяучил «Чёрный кот», завсегдатай питейных и просветительных заведений. Дурная народная примета обрела поистине апокалиптическое звучание, «на выборах и то крутют, во куда докатились», как пожаловалась кастелянша тётя Дуся. Чёрным джазом здесь не увлекались, а про Дюка Эллингтона и не слыхали.

Ларионов нырнул в общежитейскую глубь и ощупью пробрался к себе. Свет «в целях экономии» включали поздним вечером, а мутные оконца по обеим сторонам коридора, длинного как путь дюковского каравана, освещали только барханы на горизонте.

Фортка в комнате была открыта, но запах табака въелся в стены и вещи и плавал в воздухе. На окне моталась тюлевая занавеска с оборванной бахромой, из крана капала вода. Всё раздражало своей непроизвольностью.

Он отломил край батона и начал жевать, машинально, не ощущая вкуса. На подоконнике в промаслившейся бумаге лежал крендель «краковской» колбасы. Куснул прямо со шкурой и с трудом проглотил. Был голоден, но есть не хотелось.

Пустой день. Мать говорила: «воскресенье - мёртвый день». Магазины не работают, друзья разъехались по дачам. И сыночек не домосед.

Кораблик, котёнок, белый кипяток, молочай, портфель с оторванной ручкой… не воскресенье?

Он выглянул в коридор и окликнул девицу, пробегавшую со сковородкой.

- Что у нас сегодня?

- Картошка, - разинула рот.

- День какой? Воскресенье?

- Ну да. А что?

- Календарь проверяю.

Полистал перцовские панегирики, набросал несколько возражений, перечёл - всё дрянь. Как он завтра начнёт лекцию? «В основе бульдозерной лирики Маяковского...» Или: «Предтечей революционного пафоса Маяковского был пафос его антикультурной позиции». Не мешало бы и парторга с ректором пригласить, то-то обрадуются.

Походил из угла в угол. Тесно как. Он тоже выламывается из всех конструкций, но вмятины от них давят на него с той же силой. Проекция, латынь, дословно: «выбрасывание вперёд». Ногами. «Он слишком много знал». Знатоков в шпионских романах приканчивают в затылок. Характерно.

А всё же почему древо познания росло в раю? Опасное многолетнее растение. Кто его поливал, окучивал, сдувал с него гусениц? Кому предназначался урожай? И вообще, что

там делал змий, шут гороховый? И ради чего понадобилось создавать мужчину и женщину, если вопрос продолжения рода не стоял ребром? Значит, стоял. В таком случае надо было сотворить нечто гармоническое, самодостаточное, чтобы размножалось делением или другим арифметическим способом, без всякой филологической ереси. И не было бы никаких стихийных диалектик, неоплатонизмов и марксистско-ленинских философий.

Глупеешь, Ларионов, не по дням, а по ночам. Я приспосабливаюсь к обстановке. Нет, глупеешь. Нет, не глупею. Нет, не... тьфу. Короче, не плюй в небо, помни о гравитации. Но я же не святотатствую, а рассуждаю, ну ладно, чуточку богохульствую, есть разница. Вот если бы я был не я... Ты был бы в сто раз хуже.

Закрутил, закрутил, навалил кулём. Он вытянулся на койке и попробовал не думать. Но о чём можно не думать? Тоже головоломка. Будильник смачно сплёвывал минуты, но время не двигалось, и дождь в окне остолбенел.

- Сергей Петрович, - раздался за дверью голос Лиды, - откройте, это я!

Он замер и даже закрыл глаза: сплю и ничего не слышу.

- Дома он, Лида Санна, стучите громче. - Сахарный, уваренный до пробы на толстую нитку голос коменданта.

Нитка? Из материной кулинарии. Такой идиоматизм не скоро забудешь.

Возня в коридоре продолжалась. Он всегда запирался на ключ и скважину запахивал портьерой. Пусть напрягаются, у него нервы крепкие.

- Угощайтесь, Никитич, - говорила Лида. - Мамины пирожки, фирменные. Вот эти - мясные, а эти - капустные.

Должно быть, угощались оба, потому что разговор пошёл нечленораздельный. Основательно расположились, как в лермонтовском «Бородино». Бивак, бивак открытый. Но тих был наш.

- Я больше с яблоками люблю, кисленькие.

- А я с мясом уважаю, они колоритнее.

На него напал неудержимый смех. Уткнулся лицом в подушку и трясся, пока не потекли слёзы.

- Я, наверно, пойду, - сказала Лида.

- Да вы погодьте, может, он в душ отлучился.

- Берите ещё.

Ларионов бесшумно открыл окно, взобрался на подоконник и выпрыгнул на улицу, благо первый этаж. Движение возобновилось, дождь хлестал. Самозабвенно, как хлыст. Ларионов прижался к стене и с любопытством наблюдал местное погодное радение. Дороги и дворы уже превратились в одну бесформенную пузырчатую лужу, не до гулянья. Из окон высовывались блеющие студенты, что-то кричали ему. Вышла Лида в мокром плаще, на ходу напяливая капюшон. Пронесло. Он перекрестился и вернулся к своим баранам.

Рукописи и книги были заляпаны дождём. След от грязной подошвы отпечатался прямо на выписке из протокола «слушали-постановили», где он должен поставить свою подпись. Угораздило же прихватить партийный документ вместе с конспектами. Придётся перепечатать, а он умел только двумя пальцами, «давил клопов», опять же мать. Хорошо, что хватило ума привезти в дыру старенький ремингтончик, усладу его портативной юности.

Так что мы постановили? Повысить, усилить, укрепить, обязать, потребовать и в корне пресечь... уй, сколько глаголов, вон куда они утекли. А как дружненько проголосовали, ещё бы, и с плеч долой и не сам дурак, а выражая волю коллектива. Конечно, никто, кроме

принципалов (больших шутников), всерьёз не играет в идейные игры. Рядовые преподаватели замордованы жизнью не меньше дворников и прочих интеллигентов. Обязательная нагрузка для каждого - семьсот пятьдесят часов в год, в шесть раз выше, чем в странах капитала. Тут мы и Америку перегнали и Европе нос натянули, сбылась вековая мечта русского пролетариата.

А ведь в утопии есть что-то дьявольское. Смущение и соблазн. Эдакая змиева самодеятельность.

Ларионов придвинул к себе стопку бумаги. Три года не пожизненный срок, отмотает распределение, напишет нечто, а и не, всё равно удерёт, скорей бы.

Глава 2

- Перепечатали? - спросила Фаина Марковна, глянув поверх очков. - Какого ангела?

- Кляксу посадил.

- Бросьте, вы шариковой пользуетесь.

Ларионов рассмеялся.

- Скажу, что ногами потоптал, поверите?

Фаина Марковна снисходительно промолчала, давая понять, что озорство прощает, но на провокации не поддаётся. Пробежала глазами текст, добавила запятую и, подмахнув, швырнула выписку на соседний стол. Злосчастная бумаженция перекувыркнулась в воздухе и спланировала на пол.

- И вы туда же, - пробурчал Ларионов, поднимая и обдувая листок. - А я-то, наивный, думал, что мы вместе пойдём другим путём. Собрание убедило меня, что я страшно далёк от народа. Кстати, я декабрист, то есть родился в декабре. - Он снял с книжного шкафа гипсовый бюстик Ленина и придавил им листок к столу. - Необходимо срочно ликвидировать разрыв. Ну, хотя бы задуматься в одночасье, меж лафитом и клико.

- Вы не пьяны? - поинтересовалась Фаина Марковна.

Он по-гусарски щёлкнул каблуками.

- Отнюдь. Но жаждою томим.

- Тогда принесите воды, у нас в клозете меняют краны.

Весьма пикантная подробность здешнего педостроя - женские туалеты расположены на первом и третьем этажах, мужской на втором. Непонятно, чем руководствовалась инженерная мысль: насаждением школьного целомудрия или спортивным расчётом. Последнее срабатывало верней, и беготня по этажам вносила некоторое оживление в сидячий учебный процесс.

Ларионов взял кувшин с белесым осадком на дне и отретировался. В двусмысленных женских ситуациях он действовал по-мужски - решительно пасовал. И не пожалел, потому что за дверью его поджидало новое испытание. Пол в коридоре был жирно навощён скипидаром, и пришлось идти, балансируя и храбрясь, но при этом иронически посмеиваться, чтобы не показаться смешным. Точно так же все выкаблучивались и говорили подтекстом.

У лестницы его нагнал Дыховичный и придержал вялым влажным рукопожатием. Рыхлый, дебелый, лет шестидесяти, с лысой шишковатой головой, он словно выломился из портрета какого-нибудь революционер-демократа, из трусости не примкнувшего к народникам. Целью его назиданий было просветительство, а девизом - подвижничество, о

чём он заботливо предупреждал каждого, не забывая добавить: «поймите меня правильно». Дыховичный считался признанным специалистом по литературе девятнадцатого века, защитился по Тургеневу и, может, поэтому мнил себя эстетом и тонким психологом. Судя по советам, которые он дал Ларионову как начинающему педагогу, ни особым умом, ни утончённостью декан не блистал.

- Вас Лидия Александровна с утра ищет-рыщет, - сообщил он, ощупав Ларионова придирчивым полемическим взглядом. - Протокол подписали?

Ларионов кивнул.

- Отдал Фаине Марковне.

- Совершенно напрасно. Несите в партком.

Он отцеживал фразу за фразой, сопровождая их энергичным жестом, как это делают специально обученные воспитатели в беседе с умственно отсталыми детьми. Фиксация внимания с помощью зрительных образов, кажется, так называется.

- Всё же будьте с ней поделикатней. - На этот раз он вдумчиво потёр череп. - Девушка она, конечно, серьёзная, но как бы выразиться... крайне романтическая натура.

- Вы о ком? - вежливо осведомился Ларионов, тоже большой мастер расставлять ловушки.

- Фаина из девушек выбыла давненько, ещё при царе Косаре... - И поспешно добил поговорку: - …когда турки воевали.

Хорошая реакция, отметил Ларионов, но косарь впопад, поздравляю.

- И далече, - обеспокоено продолжал декан, - в диких отрогах Забайкалья.

Ларионов внимательно проследил за движением указательного пальца, которым Дыховичный кому-то погрозил.

- Ну сидела она, что вы глазами хлопаете?

- Откуда мне знать?

- Так примите к сведению.

Ларионов налёг на перила и терпеливо ждал, когда у него лопнет терпение. В обнимку с кувшином и в затекающей позе он выглядел, как святой Себастьян, пронзённый стрелами, которого поп-артствующий коллажист наклеил на девочку с персиками.

- Прямо по вашей теме: Пушкин - Арион, - разливался декан, уже ни к кому не обращаясь, весь во власти обуревавших его тайных дум. - К сожалению, редкие смельчаки задумываются над тем, как тесно сплетаются политические и литературные события. Не в примитивной последовательности, я подчёркиваю, что культура вторична, это уже общепризнанный факт, а в обратной, скажем, парадоксальной зависимости. Несколько непривычно? Ну что ж, предмет довольно-таки сложный и требует всесторонней подготовки. Меня чрезвычайно занимает ретроспективный анализ в приложении к русской литературе. Классики сказали всё. Точно описав обстановку своей эпохи, они не только диагностировали её болевые моменты, но и обозначили будущие общественные коллизии. А наша история необыкновенно богата, она перенасыщена параллелизмами. Есть и гипотеза о цикличности поворотных пунктов... не приходилось слышать?

Ларионов помотал головой, поражаясь тому, как убедительно может звучать стилистически организованная чушь.

- Целиком брать на веру нельзя, чего-чего, а благовестников, потрясателей основ у нас в избытке, воз и маленькая тележка, но критический реализм, в горьковском понимании...

Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ларионов мысленно превратился в персик, истекающий кровью.

- ...если заинтересуетесь, готов споспешествовать. У меня уже есть намётки статьи и,

скажем, пушкинский раздел вы могли бы проработать, разумеется, э... придерживаясь моей концепции. - Описал обеими руками шар. - Как, потянете?

Ларионов промычал что-то обходительное, в обход «да» и «нет».

- А что касается Фаины свет Марковны, то это отдельный случай, однако и он вписывается в общую канву. Поясню на примере. Вы когда-нибудь видели вышивку с изнанки?

Я всё видел, чуть не взвыл Ларионов, но такого мудака, как ты, вижу впервые.

- Удосужьтесь, не пожалеете. Жена моя – искусная рукодельница, она и подбросила мне идейку. И вот что я обнаружил: чем затейливей узор, тем больше узелков с исподу, эффектно, да непрочно. И биография человека имеет две стороны: лицевую и нелицеприятную. - Выставил ладошку и повернул её, демонстрируя тыльную часть. Опять развернул. Понравилось. Повторил. - А что, не посвятила вас в своё героическое прошлое? Вы же друзья, вон как ринулась вас защищать на собрании...

- Теперь все друзья, - перебил Ларионов. - С врагами вроде разделались, можно и отдохнуть.

- Фрондёрствуете? Ну-ну.

Мысль, что в эстетстве и в хамстве есть что-то родственное, ущербно наплевательское, помогла Ларионову отвлечься и пропустить мимо ушей длинную тираду о новых веяниях нигилизма, об опасности «лагерной волны» в советской литературе, с которой началась деградация языка и нравственных ценностей, и что так называемый мовизм-плохизм, поднятый на щит журналом «Юность», не что иное, как осквернение неучами исконно русских святынь, если вообще не экспансия из-за. Отпустив пару «смефуёчков» в адрес Ивана Денисовича, Дыховичный удовлетворённо потёр руки и поправил свой ластоногий галстук из нерпы, последний крик моды и умирающей байкальской фауны.

- Надеюсь, наш разговор пойдёт вам на пользу. Вы, как я посмотрю, тоже из заполошных.

Ларионов с трудом подавил желание выразиться кратко и ёмко, но что-то надо было сказать, и он спросил:

- Так с кем я должен быть деликатен?

- Со всеми, - оскорблёно ответил декан и мелкими шажками заскользил по паркету.

В профессорской, как трогательно называли комнату для преподавателей, заставленную полупустыми шкафами и расшатанными столами, хлопотала Лида, профсоюзный лидерок, раскладывая экземпляры новоиспечённых директив. Ларионов пожелал ей доброго утра чуть приветливей, чем того требовала простая искренность.

- А, - рассеянно отозвалась Лида, - мальчик Мотл, здравствуйте, здравствуйте.

- Что вы, Лида, - усмехнулась Фаина Марковна, - может, Сергей Петрович не любит греческих аналогий.

- Любит, - печальным голосом протянула Лида. - У него большое сердце, можно сказать, всеохватное.

Ларионов поставил кувшин с водой на подоконник, где стояли чашки, коробка с рафинадом и электроплитка с кофейником, похожим на Де Голля, и вперился в окно. У столовки напротив препирались двое алкашей, у одного был расквашен нос, у другого наполовину оторван рукав пиджака.

- Фашист! - орал материально пострадавший. - Я к тебе по-хорошему, бля, а ты?!

- Дак ты мне рожу разворотил, во! - ревел телесно повреждённый, тыкая себя пальцем в нос и зверея от боли.

- Рожа твоя бесплатная, а пинжак денег стоит, козёл!

Выбежала буфетчица в кружевной наколке, принялась их разнимать, угрожая милицией и хрипатым Федей, который, надо полагать, тоже был скор на расправу. Подоспевший инвалид стал отпихивать её костылём под ободряющие крики толпы, мгновенно обступившей поле брани. Второй ветеран, выкатившийся из сапожной будки на низкой деревянной тележке, пытался пробиться в гущу и громко вопил: «Яшка, ты тут? Отвечай, паскуда!» Происходившее было анекдотично и в то же время литературно вообразимо, как в зощенковских рассказах.

Ничего не изменилось, подумал Ларионов, только инвалидов прибавилось. И что это за неизлечимая русская болезнь - бороться за мир и справедливость, не понимая, что одно исключает другое.

- Уважаемые дамы, - не преминул и он, - давайте не будем играть в войну. Я плохо переношу солдатский юмор и перекрёстный огонь, но умирать ни стоя, ни на карачках...

- Принято, - оборвала Фаина Марковна и уже тише прибавила: - Как насчёт чая?

Ларионов почувствовал себя идиотом и кротко улыбнулся.

- Без меня. Труба зовёт.

Тут же грянул оглушительный звонок. Испуганно ойкнув, Лида навалилась на стол и едва не опрокинула ленинский бюст.

- Поставьте вождя на место, - строго сказала Фаина Марковна, не сводя с Ларионова смеющихся глаз.

- Давно пора. - Он задвинул Ленина поглубже, к самой стенке. - Приятного чаепития.

- Пятая аудитория! - крикнула вдогонку Лида.

Не хватало ему второй родимой. «Ларка, застегни штанишки». «Иди поцелуй свою мамочку». Дальше по нарастающей. «Я тебе отдала всю мою жизнь».

Он поднялся на кафедру и мрачно, по-маяковски поздоровался. Подождал, пока перешёптывания и хихиканья сойдут на нет. Затяжные паузы действуют безотказно.

- «О четырежды славься, благословенная!» Такими словами встретил Маяковский Великую Октябрьскую социалистическую революцию.

Лекцию прочёл залпом. Без воодушевления, но с дотошностью, с которой брался за всё противно-обязательное: вбить гвоздь, сходить за хлебом, составить список литературы к статье. Сыпал цитатами, следил за собой, чтобы не сбиться с футуристической колеи и не угодить в цветущую акмеистическую канаву.

Ещё в аспирантах он вёл спецкурс «Поэты начала XX века» и, обрисовывая в целом (детально не полагалось) литературные течения и группировки от имажинистов до мирискусников, ухитрялся рассказать о Мандельштаме, Ахматовой, Ходасевиче и других, не отлитых в бронзу, но частенько упоминаемых... в постановлениях «О мерах по искоренению...» Даже заикался о четырежды проклятом «Докторе Живаго», правда, с ехидцей проборматывая, что в нём «с позиций абстрактного гуманизма выражено отрицательное отношение к революционной действительности». Разумеется, он не разглашал государственной тайны, что именно им, соловьям и небожителям, русская литература обязана «серебряным веком», а джамбулам и демьянам всего лишь «советским периодом», но открыто говорил, что одной принадлежностью к революции поэтическое новаторство не исчерпывается.

Всё же не мешало быть осмотрительней, и он приучился обходиться без конспектов,

полагаясь на свою цепкую память. Ему было достаточно два-три раза прочесть или услышать поразившее его стихотворение, чтобы запомнить его навсегда. Ребята, имевшие доступ к самиздату, с которыми он сошёлся в случайной компании, время от времени подбрасывали «макулатурку», как это называлось на их «эжоповском» языке, а тамиздатом его окармливала М.А., вдова поэта, без вести пропавшего в сталинских лагерях. Железная женщина, полвека проработавшая в издательстве иностранной литературы, не сдавалась и продолжала переводить французов, чехов и поляков из неоклассиков, книги которых стояли в плане, были оформлены договором, но выходили от случая к случаю. Как потом узнал, нашумевшие романы переводились впрок и пылились в архиве до тех пор, пока их авторы не достигали политической зрелости, то есть публично не признавались в любви к первому в мире рабоче-крестьянскому государству. Переписку со строптивцами тоже вела М.А., по собственному почину, и, несмотря на строжайший запрет, охотно встречалась с посредниками, прорывавшимися сквозь кордон. Это давало возможность живого обмена письмами и книгами и отчасти компенсировало её творческие потери.

Ларионов познакомился с ней у сестёр Станиславского (так и хочется ляпнуть: и Немировича-Данченко, до того настряло в зубах), двух очаровательных, стрекочущих по-французски дам d'un certain bge, увлекавшихся литературой и воспитанием внука, которого звали... ну да. В их уютную, по-европейски захламлённую квартирку в новом доме у кинотеатра «Форум», Ларионов попал, как водится в Москве, опять-таки случайно, сопровождая приятеля, стяжавшего славу публикациями в центральных газетах, «по делу, на пять минут».

Не желая и слушать о цели прихода (хором прыснули и зажали ушки), прежде чем гости сядут за стол и откушают чаю, сёстры сбегали на кухню и вернулись с некрасивой тощей старухой, яростно сверкавшей глазами. На великолепном французском с парижским выговором она спросила, что здесь делает это молодое дерьмо и почему она должна быть счастлива, вступая с ним в контакт. Ларионов, используя идиомы того же арго, любезно ответил, что дерьмо имеет обыкновение собираться в кучу и подразумевать под этим радость человеческого общения. М.А. фыркнула, и лёд был сломан. Они проговорили до полуночи (поэт зевал, сёстры перебирали фотографии, а умный Котик, забившись в угол, мужественно изнывал), обменялись телефонами и, в конце концов, подружились.

Ларионов читал запоем, набрасывался на книги с жадностью искателя сокровищ, но сидеть на туго набитых сундуках, втихомолку упиваясь своим богатством, было выше его сил - гордость обладания болтлива. Пламенные ламарки, горечь тубероз, столетья, плывущие из темноты, - всё это непревозмогаемое обожанье клокотало в нём и искало выхода. Короче, от преподавания его отстранили, поставили на вид (безыдейность и формализм) и за полгода до защиты сменили тему почти законченной диссертации «Маленькие трагедии» Пушкина», где он рискнул развить мысль, что эфиоп воплотил в себе идеальное состояние русской нации, потому что поднялся над ней, и что гений всегда утверждается в мире абсолютных величин, а понятия мессианства и богоизбранничества весьма относительны.

Пропедевтический урок не пропал даром. Ларионов стал скуп и ревнив, оберегая своё состояние от завистливых глаз, хотя ещё спартанец Аристодем сказал, что достаток - несомненное благо и деньги делают человека. Однако грек жил во времена, когда в Лакедемоне заправляла герусия, совет старейшин, и олигархия только начиналась. Теперь на смену могучим ликургам пришли тонкошеие вожди, провозгласившие бедность и безродство, и все сокровища разом упали в цене (завидовать не перестали). Память,

конечно, не капитал, но не пущенная в оборот, она превращается в мёртвый груз. Вот он и заглядывает в конспект, чтобы выговорить очередное маяковское «нудово».

До звонка оставалось несколько секунд, но уйти не дали, обступили и засыпали вопросами. Спрашивали не из любомудрия, а из желания выпендриться, обратить на себя внимание, ну и подольститься, авось на экзамене будет добрей. Особенно наседали девицы. Он давно приметил, что в любой свалке слабый пол предсказуемо агрессивен.

- Давайте организуем вечер Маяковского, - как всегда начал первым староста курса Синельников или Сидельников, похожий на юркого дедка. - Почитаем стихи, разыграем сценку, вы что-нибудь расскажете.

Он был уверен, что делает Ларионову одолжение, и ждал благодарности.

- В конце семестра, если не остынете.

- Я паспортом буду, пожалуйста, - протиснулась к нему самая большая болтушка Тая Ульянкина, уж эту ни с кем не спутаешь, доняла. - У меня есть красное платье, а серп и молот можно пришить или приклеить.

- Зачем же портить платье?

- А искусство требует жертв!

- Их и без вас хватает.

Не поняли, но как по команде грохнули. Он воспользовался передышкой и, попросив волоокую Галкину отпустить рукав, вытолкался в коридор.

Фаина Марковна пила чай. Пришлось присоединиться, чтобы загладить давешний реприманд, французский втык.

- Подлейте воды в кофейник, - привычно скомандовала. - Сахар на подоконнике.

- Я пью одну заварку.

«В Москве полдень», жизнерадостно объявило радио. Ларионов шумно вздохнул.

- Когда-то и я была москвичкой, - насмешливо сказала Фаина Марковна. - Жила на Лесной, рядом со станцией Новослободской, правда, не в двух шагах, а в двухстах. Читала зарубежку в МГУ. Два методических пособия, монография, Франс. Теперь чиж на посылках. В доме, который построил Джо.

- Скучаете? - посочувствовал Ларионов.

- Некогда. Да и незачем. Друзья разбрелись, родных не осталось. Что вы как на иголках?

- Можно в форточку покурить?

- Валяйте. Между прочим, у меня отличная библиотека, около четырёх тысяч томов. Всё собираюсь привести в порядок, составить каталог, да руки не доходят. Не беда, будет чем заняться, когда на пенсию спровадят. Улица Мира, 56, квартира 43, звонить два раза. Соседка тоже из бывших. Математик. МГУ.

- Спасибо. Мне бы только с текучкой разобраться. Надо выбирать между совестью и правом на труд.

- Тут я вам не советчик. Пойдёшь направо - коня потеряешь, пойдёшь налево и так далее.

- Терпеть не могу сказок, которые начинаются с предупреждений, а кончаются свадьбой, - съязвил Ларионов. - Лучше уж прикинуться дурачком, нашим национальным героем.

- Не вижу препятствий. У нас героем становится любой.

Грузная шестидесятилетняя женщина, она тяжело играла словами. Ларионов допил холодную заварку и запихал бумаги в портфель. Он не школьник, чтобы рассуждать на заданную тему. Всё равно, что перечитывать рассказ, который знаешь наизусть. На пятой странице она ему отдалась, а на четырнадцатой изменила. Кончится тем, что он выстрелит себе в рот.

- А ведь мы с вами соседи. - Ларионов замешкался у двери. - Я жил на Яблочкова.

- Мир тесен. - Фаина Марковна хотела что-то добавить, но передумала. - «Нам не дано предугадать, как наше слово...»

- Отзовётся, - махнул рукой Ларионов. - Звук далеко разносится в пустоте.

За столом коменданта томилась Лида, листая журнал, куда Никитич, он же вахтёр, и его сменщица Акимовна вносили данные своих надзирательских наблюдений. Фиксировалось буквально всё: время визитов, телефонные звонки, сантехнические происшествия, факты порчи казённого имущества, коммунальные склоки и прочая. Работникам педагогического тыла не мешало бы знать, что запрет обладает мощной обратной силой. Находчивые студенты изобрели целую систему ответных тактических ходов и отвлекающих манёвров.

Нелегальные гости проникали в общежитие через окна первого этажа (в кухне и в двух комнатах, отведённых для преподавателей, решёток не было, но Ларионова беспокоить стеснялись, а буку Тертыщенко побаивались, оставалась кухня) или вскарабкивались наверх по верёвочным лестницам, сплетённым любительницами старинных романов. Сломанные стулья с вывинченными инвентарными номерами то и дело оказывались под Никитичем-Акимовной. Возгорания и засорения происходили при массовом скоплении народа, и найти виновного было так же трудно, как дезертира в остатках разбитой армии.

Лида нервно качала ногой, проявляя характерные признаки нетерпения. На столе лежало что-то пухлое, завёрнутое в газету.

- Я к вам.

- Мы на «ты». - Ларионов сделал широкий приглашающий жест.

Пошла, раскачиваясь на шпильках, обдувая прелью сладких духов. Всё это как будто уже было и могло продолжаться до бесконечности.

В комнате царил беспорядок. Куда там, рабствовал, таскал глыбы, воздвигал свои многоступенчатые пирамиды. Царили те, для кого эти гробницы предназначались. Лида с куриной осторожностью примостилась на краешке стула, чтобы не смять выглаженные рубашки, наброшенные на спинку. Ах, до чего романтично нагрянуть некстати.

- Пирожки. С мясом. Ещё тёплые.

- Лида, - сказал он плавающим голосом, - может, не надо?

- Может и не надо, - скривилась, - но очень хочется.

Ларионов уселся на разобранную постель и стал смотреть в потолок. Когда-то он был белым. И высоким. Почти четыре метра.

- Устал?

Подошла и взъерошила ему волосы. И это было.

- Ничуть.

Полился поток укорительно-подбадривающих словечек, которым вечно захлёбывается женский натиск. Только бы не дошло до рукопашной.

- Стыд потеряла девушка, ай-яй-яй... - не унималась Лида, комически изображая ужас

своего падения. - Смилуйся, барин, пожалей несчастную.

Ларионов мягко её удержал.

- Не валяй дурака.

Четыре шага вперёд, четыре назад, не разбежишься. Выкурил сигарету, другую, спрятал рубашки в шкаф, застлал постель, а всё не уходила. Знала, что слаб, не нахамит, не выставит. Не знала, до чего упрям. За стенкой надрывалось радио. Туговатый на ухо, да и на всё остальное, Тертыщенко тяготел, туготел к громкой возбуждающей музыке. Отголоски куренных свар - вот что пугает в казачьих песнях, подумал.

- У тебя кто-то есть?

Он выпалил первое, что пришло в голову:

- Невеста. В Москве.

- Что ж ты... - Лида покрылась бурыми пятнами.

Смуглые вообще чувствуют рывками. Надо записать для потомства.

- Ну прости.

И вновь потянулось молчание. Почему ей нравятся ядовитые цвета? Лимонная блузка, электрическая юбка и этот матадорский плащ.

- Я от тебя ничего не требую.

И тут его прорвало.

- Господи, а что же ты делаешь?

- Да вот в любви объясняюсь, жаль, что не доходит. Окрутил ты меня, Сергей Петрович, а теперь нос воротишь.

От злости её глаза и губы вытянулись в щёлочки, и Лида сразу превратилась в дурнушку. Бабий тон был и вовсе невыносим.

- Вроде не маленький, должен понимать...

- И тебе не тринадцать лет.

Ух, зашибло.

- Ну и чёрт с тобой! В ногах валяться не буду! Сам прибежишь, как приспичит, и вот тогда я тебе рожу скорчу. Ясно?

- Как божий день. - Уже рефлектировал.

Не попадая в рукава, напялила плащ и за дверь, и по коридору, бегом. Схлынула, как головная боль.

Ларионов открыл кран и пил, пил тёплую противную воду.

В домах напротив зажглись огни. Вечер наступил внезапно. Тоскливо выл ветер, стёкла позванивали. Что-то затевалось на задворках мира, тянуло сыростью и блажью близких перемен.

Ларионов проглотил четыре пирожка, скотина, и три оставшихся тоже, скатал газету и зафутболил в мусорную корзину.

«Грех ради наших глад бысть велик».

Глава 3

Он купил её на невольничьем рынке, жирный грек, в полдень, раскалённый добела, за тридцать драхм, пс-с, дороговато, но не дороже денег. Он был доволен, и масленый пот, сок выжатых желаний, стекал по его лицу, западая в углы выпяченных губ.

Сразу за дощатым помостом, куда одну за другой выводили рабынь, заставляя их сбрасывать лохмотья и ходить по кругу, начинался городской базар. Наперебой кричали торговцы живностью, стреноженный товар шарахался, блеял и визжал. Сладко, до тошноты пахло козьим молоком и пресным овечьим сыром. Зелёные ядовитые мухи роем вились над разделанными тушами, свисавшими с побуревших от крови столбов.

Охотнее всего раскупали хребтовое мясо для жарки на вертелах - приближались празднества в честь Деметры и Персефоны. Чуть поодаль, в наспех сооружённом загоне, ревели чёрные быки, предназначенные для закланья. Время гекатомб прошло, жертвой в сто голов могли похвастаться лишь очень богатые люди, но приверженцы старых традиций, в основном из зажиточных землевладельцев (им было за что благодарить богинь плодородия) считали своим долгом раскошелиться хотя бы на одного быка. Они и толпились вокруг загородки, прицениваясь и степенно переговариваясь.

Громко забили городские колокола, возвещая, что на рынок прибыла вторая партия свежей рыбы. Скорее всего, тунец или осётр, чересчур усердно били, из-за скумбрии не стали бы поднимать столько шума.

Спёкшийся воздух гудел от зноя и давки, нечем было дышать. Продавца восточных сладостей отливали водой в тени оливы, сомлел бедняга на солнце, такой молодой, а хлипкий. Нет, он ещё хоть куда, в старых мехах вино не киснет, если шкура выдублена на славу. Он похлопал себя по брюху. Мокрый шёлк лип к пальцам, нестерпимо жали перстни. Он редко их надевал, только когда выходил на люди. Пусть видят, что преуспевает, киприоты помешаны на легендах.

Э-э, да за эти деньги он мог бы выторговать до двадцати овец и жить в своё удовольствие, не таскаясь по зимней слякоти на пристань, а расплачиваясь с меднолобыми нумидийцами, привозившими кость из Африки, не трястись над каждым оболом. Беспокойства и угрызения, вот что он приобрёл за тридцать драхм. Девчонка худущая, длиннорукая, а без тряпья и вовсе не женщина: грудки как неспелые гранаты, тугой живот и жеребячьи ноги. Профиль, правда, чистый и рот презрительно сжат. Может, краденая царевна? Фр-р... Но что-то в ней, рыжей, полусонной, было, какое-то смутное обещание, встречный порыв.

Сказали, что персиянка, вряд ли. У тех глаза круглые и горячечные, а у этой скошены к вискам и отсвечивают, как финифть. И ноздри слишком тонки и ступни лёгкие, словно вылепленные из алебастра. Его не проведёшь, он чувствует линию. Не вчера родился на свет и не сегодня прославился - резчик известный на всю Грецию, от Фасиса до Геракловых Столпов. И в ремёслах поднаторел. Фигурки из красного дерева и ложки с ручками из слоновой кости идут нарасхват, да и мрамор ему послушен, не то что гипс и горшечная глина.

Распорядитель торгов, густо заросший смоляной курчавой бородой, подвёл к нему рабыню, взял кошель и, взвесив его на ладони, спрятал за пазуху. Угодливо поклонился, а взглядом, как ножом, полоснул. Мол, доверяю, но вижу - немногого стоишь.

Все сделки в убыток тому, кто честно расплачивается, подумал он и повернулся к рабыне.

- Говоришь по-гречески?

Кивнула. То ли схитрила, то ли не удостоила ответом.

- Сколько тебе лет?

Пожала плечами. А если немая? Тем лучше, не будет болтать.

Он двинулся сквозь толпу, взмахом руки отвечая на приветствия. Перед ним

почтительно расступались, давая дорогу, с любопытством разглядывали девчонку. Она шла следом, звенел колокольчик, продетый ей в ухо. Ну и ловкачи фригийцы-перекупщики.

Рябая Евпраксия, нянька его и служанка, и вечный укор, дремала на пороге, притворялась, что дожидается хозяина. Так он и поверил, грела свои старые кости. Обленилась, разъехалась вширь, щёки висят, как у жабы. А когда-то ловкой была, весёлой. А какие хорошие сказки рассказывала, сколько их знала. Да, отжила своё, отработала. Одну её и любил, хоть и гнал от себя, вечно путалась под ногами.

- Не жидковата? - кисло спросила, а сама расплылась от удовольствия - наконец хоть что-то сделал с умом. - Как будем звать?

- Сначала вымой и накорми. Расспроси, из каких мест, как попала сюда, только не наседай. Покажи мастерскую, смотри, чтоб ничего не трогала. Постелишь в моём углу.

- А вдруг больная?

- У тебя все больные, пафосская развалина. Ладно, сожги её барахло. Не забудь вынуть серьгу из уха, можешь сломать. Эй, как тебя...

Девочка, слабо улыбаясь, смотрела в потолок, вправо и вверх. Под поперечной балкой хлопотала ласточка, свивая гнездо.

- Элпис, - произнёс он в раздумье, словно пробуя слово на вкус. - Пока человек надеется, он не умер. Назовём её Элпис.

- Как скажешь, Пигмалион, - ласково ответила нянька.

Глава 4

Он наткнулся взглядом на будильник, и тот, словно спохватившись, бойко застрекотал. Шёл пятый час ночи. Ларионов потянулся и весь захрустел. Надо делать зарядку, да ленив батюшка, ох как ленив. А всё эти невыразимые русские особенности: тяга к духовному совершенству и физическое отвращение к полезной деятельности. Не до пользы - живём страстями. Вот ещё одна бурная ночка выдалась, выдвинулась наружу, случилась... и в кого она такая? Потрясающе гибкий язык, хотя и костей хватает: хыр да пчхи. Довольно. Да, вольно. Да, волен. Доволен. Не тем, что получилось, дело десятое, а тем, что писалось легко и связно.

История, прости господи, бредовая, полумифическая, времена глухие, «до вашей эры», как сказал бы Пигмалион. И какого дьявола его понесло в Грецию? Увлекался Римом, в девятом классе вызубрил латынь, Катулла прочёл и Горация, в подлиннике (sic!), знал уклад и обычаи, откуда эта элегическая дурь? И не напечатают, нечего и мечтать. Так оно даже благородней (из любви к непечатному слову) и безопасней (никто не увидит, как он сомлеет на солнце правды и загнётся в тени сомнений). Впрочем, будущее его не интересует - отбыл в противоположный конец. Радуйся, младая с перстами пурпурными Эос, помнит о тебе грек Ларионов.

Картинку нарисовал плоскую, темпера на сырой штукатурке, но воздух как будто дышит, и позы шевелятся. Хорошо бы напихать деталей, интонаций и побольше мистики - легче поверить в непостижимое, чем в малопонятное. И не обольщаться, древний мир примитивен, вся его величавость в неутомимости повторов и нагромождений. К тому же слёзы восторга и умиления застилают глаза, обращённые в далёкое прошлое, и как

собирающие линзы, увеличивают изображение.

Можно придумать какую-нибудь древнегреческую байку, свадебную... нет, только не свадебную, песню пахаря, например, покопаться в Гесиоде. Трудов и дней невпроворот, нужно запастись терпением. Та-ак, чернофигурные вазы, пифосы, кифары... И конечно, запах кипрского мирка, ржавчина тарихоса на обломках кикладской культуры. Никакого жречества, золотой век отблистал.

Мучился, не мог заснуть, нёсся по накатанным рельсам, как раскочегаренный паровоз. Горячая усталость уже растеклась по телу, придавила тяжестью, бормотаньем, а мозг лихорадочно работал, воображение разыгрывало сцены, яркие, осязаемые, и хотелось последней черты, абсолютного изнеможения, как после близости с женщиной... упс!

Вот ты и проговорился, писатель. Ороси слезами подушку. Братья твои, низкобровые неандертальцы, да и косматые ахейские мужи, плевали они на эпос, проделывали это множество раз - сбросить семя и забуриться в свои пещеры, триеры и троянские циклы. Они понимали любовь как передышку между боями. А у тебя иной удел, у дел, на отшибе сознания. Ты у нас сеешь разумное, доброе, вечное (вот оно, определение любви) и не за спасибо, а христа ради. Ведь ты возомнил осчастливить не отдельно взятую женщину, а всё страждущее, страсти жаждущее человечество. Отчаянный ты парень, мировой.

Но разве не сами боги покровительствуют эпигонам? С тех пор, как они, отягчённые эдиповым комплексом, двинулись на семивратные Фивы? Ах да, ты иной. Ну и ной теперь.

Ещё немного наглости, и он бы успокоился, но слова сами складывались в предложения, в абзацы, перескакивали со страницы на страницу. Запоминал до точки, до запятой, был уверен, что не забудет. Он спал или грезил, какая разница, он был частью неуправляемой силы, он был нигде и везде.

... Ему смеялся в лицо чернобородый рапсод Полибий, обещая за два обола три дня кормить тарихосом всех оборванцев, слонявшихся на молу. Ларионов стоял на коленях и просил воды, его мутило от солёной понтийской рыбы, и рыжая девочка, склонившись над ним, поила его разбавленным вином из глиняного кувшина.

... Он лежал ничком на холодном сыром песке, а волны лизали его распухшие от ран подошвы. Где-то вдалеке звенел кимвал, и слезливый старческий голос выводил: «чёрная ночь стелет влюблённым белые простыни». Он корчился и подыхал от ревности.

Проснулся в поту, ничего не соображая. Уже почти рассвело, в коридоре шаркали и гэкали, из комнаты наверху доносились сигналы точного времени. Досчитал до пяти. Снова затянула дурнота.

... Бежал, проваливаясь в песок, за ним гнались. Он ощущал затылком хрип гортаней и едкую копоть факелов. Бросился под мостки и забился в ил, обхватив сваю, облепленную моллюсками. По дну ползали крабы, кишела гниль, и у него от ужаса перехватило дыхание. Вынырнул и повис на руках, вцепившись в ослизлые перекладины настила.

Они ушли, шёпотом сказала рыжая девочка, входя в воду и высоко поднимая подол платья. Опять запели, но весело и знакомое, «ничего в ней нет», и он, зажмурившись, поплыл к берегу. Девочка привела его в кипарисовую рощу и развесила на ветвях мокрую одежду. Сквозь клочковатые облака проглядывала луна, и в темноте проступили выпирающие ключицы и родинки, много мелких тёмных родинок. Не оттолкнёт. Не пожалеет, клянусь.

Грохот. Крик. Без четверти двенадцать. «Сергей Петрович, смена белья!»

Кастелянша возилась с постелью, по комнате летал пух, тоже из какого-то сна с легавыми и глухарями. Он расчихался и, схватив чистое полотенце, драпанул в душевую.

Днём вымыться просто, все на лекциях, и нет ажиотажа солдатской бани. Постоял под кипятком, расслабился. Обжёгся ледяной водой и очувствовался. К чёрту зарядку, сойдёт и так. Всё впустую, и белые простыни.

Записал ночную галиматью и повесил нос на квинту. Ну и выраженьице, ми-ми-ми. Постучал смычком по лбу - никто не откликнулся. О муки творчества! Невольничий рынок воспоминаний, кустарный промысел предчувствий, обморок на солнцепёке... пока очухаешься, все сладости разворуют.

Он был полон той соразмерной, органической пустотой, которая всасывается кровью и течёт по жилам, размывая мембраны, насыщаясь теплом и растворяясь. Остаётся одна жёсткая оболочка. И вот она ходит, говорит и делает вид, что живее всех живых. А это и есть ничто.

И-ых, куда занесло. Бездны пылающие не убудут, вихри враждебные ещё замотают чёлн, не напрягай парус. Родная действительность ничем не уступает вечности в стремлении заграбастать человека, выкачать из него энергию для собственных нужд. Тягаясь с ней, сто раз успеется умереть и воскреснуть.

А поведу-ка я тебя гулять, мыслитель. Шёл и посмеивался: творческие порывы спирают дух, надо почаще проветривать душные помещения.

Ноги сами привели его к луже. Она подсохла и подёрнулась маслянистой плёнкой. За ночь похолодало и уже не дуло со всех сторон, а тянуло вверх, словно в трубу, и голые ветки акаций то вскидывались, то опадали, и слышно было, как в сморщенных рожках туго перекатываются семена.

Прохожие косились на него. Слишком выделялся в светлом пальто, и шарф вызывающе бел, и росточком великоват, гулливер в стране антиподов, сфотографируемся на память? Здесь мужички не носили шляп, обходились ушанками, кепками и побитыми молью беретами, изредка мелькал каракулевый пирожок партийного божка.

Что же поразило грека в рабыне? Бог с ним, с Пигмалионом, но автор-то обязан знать, какая муха укусила героя. Не та же самая, что и его вогнала в столбняк? Ведь застигнут врасплох среди бела дня тем же столбнячным недоумением. И вновь закололо в боку. Я должен увидеть её, сию минуту. И никаких гвоздей. Ни рахметовских, ни маяковских.

Поостыв на ветру, Ларионов принялся изучать афиши и воззвания, которыми пестрела стена электростанции, обращённая к площади. «Возрастает сумма вклада, скоро купим что нам надо». «Наша цель - светлое будущее всего человечества». С громадного холста печально взирала бандитская физиономия Жана Вальжана, под ней кривыми буковками сообщалось, что фильм рассказывает о тяжёлой жизни французского пролетариата и проникнут демократическими тенденциями. Французы морщат лоб, когда им объясняют, что некто Гюго и есть их признанный классик Виктор Юго. Надписи на стене, нацарапанные гвоздём, также не поддавались переводу.

Дождался. Два часа пролетели, как сон, как сладостные карамзинские виденья, растянувшиеся в русской литературе на целый век. Увидел издалека: шла, опустив голову, волоча ноги в толстых шерстяных чулках. Портфель нёс провожатый, степенный казачок с озабоченным видом второгодника. Поравнявшись с Ларионовым, раздвинула недовольные губы, блеснул полумесяц зубов (восточная метафора).

- А где кораблик? - Голос тонкий и длинный.

Ларионов запустил шляпой в лужу.

- Voila!

Растерялась. Мордочка вытянулась, как у обиженного ребёнка, которому вместо

игрушки подарили совершенно ненужную взрослую вещь. Ларионов покачнулся - сердце проскочило удар. Вдруг, не поверил своим глазам, сделала шаг, второй, по луже, и обратно к нему, со шляпой, встряхивая и промокая её рукавом. Ноги мокрые по щиколку.

- Марш домой, - сердито сказал Ларионов, отбирая шляпу.

- Во дурные, - басом просипел второгодник. - Этот шапку спортил, эта обувь изгваздала, во дурные.

- Петька!

Не крикнула, не прошипела, а как срезала на лету. С царской прямо-таки остраской.

- Ты чо? - сомлел казачок.

На этот раз не полезла по склону, а вернулась назад, к ступенькам, взбежала, смешно задирая колени, и понеслась вдоль забора.

- Как её зовут? - спросил Ларионов.

- Чеканутая. А вообще-то Анька. Чеханцова. - Петька потоптался, что-то обдумывая. - А вы откудова взялись?

- Проездом из Таганрога.

Оглядел его с подозрением, он был начеку, ещё бы, он стоял на воротах рая, непрошибаемый Пётр. Ларионов подкупающе улыбнулся.

- Теперь ейный порфель переть, была охота.

- Я занесу. Мне по пути. Седьмая квартира?

- Ага. - Петька поколебался, но портфель отдал.

- Ну, прощай.

- Покеда.

Ларионов вошёл в узкий коридор и вытер ноги о мешковину, постеленную вместо коврика. Рукомойник, стол, табуретка с примусом, в глубине две кладовки, забранные фанерой, и массивные двери, одна против другой. Постучался в левую, всё-таки ближе к сердцу.

- Открыто!

Её голос. Стояла босиком на полу, к нему спиной, лицом к белёной печке, заглядывала в кастрюли.

- Есть будешь?

- Буду, - сказал Ларионов.

Медленно, словно это ей стоило невероятных усилий, обернулась, и он почувствовал, как между ними всё натянулось.

- Ваше имущество.

Водрузил портфель на квадратный стол, покрытый растрескавшейся клеёнкой со следами пролитого чая.

- Вы кто?

- Сергей Петрович Ларионов. Пединститут, кафедра советской литературы. Русский, беспартийный, холост, голоден.

Казалось, не слышала, смотрела сквозь него. Под оранжевым абажуром болталась канарейка из проволоки и перьев, китайская поделка, выкидыш возобновившегося сотрудничества.

- Мне уйти? - спросил, поймав её взгляд и не отпуская. Теперь была его очередь волхвовать.

- Макароны с тушенкой, - тихо ответила. - И хлеба нет. Раздевайтесь.

Он усмехнулся. Только на русском языке можно предложить раздеться чужому

человеку и любовнику, используя один и тот же глагол. Да, с жиру не бесимся.

Ларионов поискал глазами вешалку. Она оказалась рядом с дверью, обтянутой дерматином. Ни дать, ни взять кулиса, и шторы свисают, как падуги, такие же истрёпанные и захватанные. Он присел за стол и украдкой огляделся.

Кровать, застланная байковым одеялом, над ней чёрный сатиновый коврик с красномордыми попугаями, вышитыми гладью. Тумбочка с радиолой, громоздкий диван и этажерка, ветхое барочное сооружение. Сонеты Шекспира, Майн Рид, «Курсы кройки и шитья», остальные фолианты с отодранными либо стёртыми корешками. Возле печки кухонный столик и трёхстворчатая ширма с разъехавшимися петлями. Ни салфеток, ни безделушек, лишь на деревянных полочках дивана детская глиняная свистулька, не то птица, не то ёж, и бутылка, изукрашенная кипарисовой корой, с надписью по окружности «Привет из Дедеркоя!» Комната выглядела нежилой, сюда приходили есть и спать. Но бутылка его убила.

- С кем живёте? - полюбопытствовал, ковыряя вилкой густое дымящееся месиво.

Она глотала, не жуя, запивала водой, по-птичьи запрокидывая голову. На шее под тонкой кожей билась голубая жилка, и эта анатомическая подробность смутила его своей откровенной жалкостью.

- С отцом. Он меня нагулял.

Ларионов удивился тому, что его ещё можно удивить. Таких историй он вроде не слышал.

- Готовишь сама? - Незаметно перешёл на «ты».

- Не люблю. - Поёжилась.

Чего не любит? готовки? тыканья?

- В каком классе?

- В седьмом. Без троек.

- Похвально.

Унесла пустые тарелки, угрюмо спросила из-за ширмы:

- Вы зачем пришли?

- Портфель принёс. - Он поднялся. - Спасибо, Аня.

- Почему Аня?

- Ну Маша, мне всё равно.

Надел пальто, шляпу оставил на полке и вдобавок прикрыл сверху чьим-то кашне.

- Я живу в общежитии. Пятая комната, налево. Приходи в гости. Макарон не обещаю, но чаем угощу. С превеликим удовольствием. - И быстро вышел.

Боялся, что окликнет, кинется вслед, летел, не разбирая дороги, отмахивая квартал за кварталом, и остановился уже на окраине, откуда начинался крутой спуск к реке. Ай да пробежка, сукин сын.

Мысли кружились вокруг да около. Придёт? Когда? Сегодня? Завтра? Не может не прийти, сердобольная. Котёнка пригрела, устроила показательное спасение на водах. А если догадается, что дело в шляпе? К чёрту. Вся шея в родинках. Ступни почти прозрачные. И не видит ведь, что красива, не знает себе цены. Значит, и торговаться не будет. Сдохну.

- Меня не спрашивали, Никитич?

- Никак нет. А бельё поменяли, я проследил. Вам и чайник полагается, я могу забрать у Дуси, пока она тут.

- Не беспокойтесь.

- Вы и плитку попросите, чтоб в кухню не бегать. По правилам запрещено, но в виде

исключения...

Она не пришла.

Утром Ларионов сделал зарядку и прибрал в комнате. Сбегал в институтскую библиотеку, притащил гору книг: мифы, Платоновские диалоги, Аристотеля, Еврипида, Эсхила, Аристофана, «Одиссею» и ту прихватил. Читал жадно, зарывался в чужое время, как в пустыне разгребают руками песок в надежде добраться до влаги, но ему открывалась только безжизненная осыпающаяся глубина напрасно потраченных усилий.

Отчаяние – это попытка взять реванш, причём довольно-таки опасная, потому что разрушительна по своей сути, как всё возведённое в абсолют. У него нет выбора, он станет жирным греком, он разбавит вино водой. Что тут раздумывать? Рыжей девочке постелили в его углу.

Глава 5

Пигмалион ненавидел женщин, но с мальчиками не блудил. Работал как одержимый, в остальном довольствуясь малым, и, тем не менее, посмеивался над аскетами, упорствующими в телесных и умственных упражнениях. Нагнетать дух и накачивать мускулы - одно баловство, прихоть самолюбивой скуки. Откровенный и не гордый, он легко сходился с людьми и в то же время терпеть не мог шумных собраний и праздничных зрелищ. Даже атлетические состязания, проводившиеся без участия кифаредов и платных шутов, раздражали его азартом соперничества, а дружеские застолья (с торжественным омыванием ног, с уважительной беседой по кругу и пьяными излияниями под конец) вгоняли в тоску. Лишь в работе он по-настоящему отдыхал, хотя и сосредоточенность требовала постоянного напряжения и самодисциплины, пусть небольшого, но насилия над собой, истощавшего его волю. Во всём, к чему стремился Пигмалион и на что был способен, обнаруживался разрыв, противостояние равных взаимоуничтожающих сил. Он боролся с духом и боролся с плотью, и всякий раз проигрывал себе. Таков итог любой внутренней борьбы.

Видно, боги готовят меня к райской жизни, говаривал он Евпраксии, иначе какой прок в испытаниях?

Пигмалион неплохо разбирался в логике и внимательно прочёл труды Гераклита, но так и не составил ясного представления об умопостигаемых началах бытия. Потому и не ввязывался в публичные дискуссии. Ещё в молодости, наслушавшись бродячих философов и записных диалектиков, он понял, что искусство вести спор заключается не в обмене мнениями, а в отстаивании личных или групповых интересов, а поиск истины напоминает стрельбу из лука по скрытой мишени.

С утра до позднего вечера на главной площади толклись бездельники и краснобаи, обсуждая всё сразу и всё сводя к проблемам завоевания, удержания и использования государственной власти. Наверное, глядя на них, Аристотель пришёл к выводу, что человек - городское животное, zōon politicon, которое пасётся на общественных пастбищах и питается подножным кормом. Само понятие политической войны с её убойной лексикой (стратегические резервы, тактические задачи, круговая оборона, захват инициативы) наводило на мысль о кровопролитии и вызывало в Пигмалионе стойкое физиологическое

отвращение.

Разумеется, как любой гражданин, уважающий свои права, он был вынужден захаживать в булевтерий или исправно являться в дикастерий для уплаты налогов. По воскресным дням наведывался на рынок, чтобы пополнить запасы провизии и прикупить кое-что из гончарных изделий, которые привозились из Аттики, Беотии и Коринфа, известных мастерами и лавочниками. Все дороги вели в акрополь, но и стихийно втянутый в его суматоху, он обходил агору, как отхожую яму, в которую мог ненароком упасть, да нароком выгадиться.

Однако самой мучительной из повседневных забот была его затянувшаяся тяжба с богами. Поклонение идолам, будь они вырезаны из обрубка дерева или из благородной слоновой кости, до смешного походило на заигрывание черни с отцами города. И славословия и покаяния вымогателей были нацелены не столько на отпущение старых грехов, сколько на вымаливание новых. И боги, как архонты, то брезгливо снисходили к просьбам, то безжалостно карали, порой за самый незначительный проступок, тех же простаков, что и в небо и в потолок булевтерия пялились с одинаковым страхом и умилением. Чаще хозяева Олимпа и полисной власти оставались равнодушными к ним, и тогда предоставленные себе ахейцы развязывали братоубийственные войны и устраивали пышные погребальные игры на тризнах ими же принесённых в жертву героев.

Пигмалион готов был согласиться с Гераклитом, что первооснова сущего - мировой огонь, логос, из которого путём сгущения возникают все вещи и путём разрежения возвращаются в него, и что в космосе, раздираемом противоположностями, существует тайная гармония, но поверить в непогрешимость олимпийцев, хладнокровно совершающих безрассудные поступки, он не мог. Не мог, потому что не хотел.

При желании всё можно понять, а значит, в какой-то мере оправдать: и желчь архонта (египтяне опять взвинтили пошлины на золото, вздорожала привозная пшеница, стало быть, оскудеет казна и ужесточится учёт, лишнего в карман не положишь), и ярость фета, сокрушающего налоговые столбы (земля отощала, а жена девятым брюхата), и жестокость воина, подавляющего мятеж в расчёте на повышение и награду, и даже рок, позволяющий богам капризничать, а людям пенять на них. Ещё проще было считать, что все события обусловлены, все государства безнравственны, а общественное благоденствие зависит от степени развития его граждан, и никакие перевороты ничего не могут изменить. Вмешательство высших сил тоже не прибавляло ни благ, ни добродетелей.

Короче, Пигмалион не нуждался в опёке богов и отцов города. Резать кость его научил не Аполлон, а старый мастер с Родоса, куда он отправился мальчишкой, прослышав о славе Агесандра. И кормил его не архонт, а ремесло, дающее хлеб и удовлетворение, заключавшееся в том, чтобы аккуратно платить налоги и считаться порядочным человеком.

Загвоздка была в другом. Всякий раз, когда он ощущал в руках жар, постепенно охватывающий его всего вместе с душой и разумом, он испытывал острую бессознательную благодарность к тому, кто делился с ним мировым огнём. Жар приходил извне и, бесспорно, он был божественного происхождения. Теми же руками, с той же страстью и опытностью Пигмалион не смел прикоснуться к удаче, которая сама шла к нему, едва загорались руки. И ложки и крутобёдрых афродит он мастерил бездумно, рукомесло не требовало священнодействия. Но молиться на то, чего он не понимал, Пигмалион не умел. И не пытался понять, так как стремление к высшему, заложенное в человеке, доказывало присутствие высшего, непостижимость которого лишала смысла любое продвижение на этом пути.

Нет, он не жаловал небеса, но верил в небесный промысел, что не зависел от богов, даже если бы они и существовали. Более того, не сомневался, что каждому человеку отпускается жар, но не все умеют отличить его от чесотки и ломоты в костях, а огонь, который не поддерживают, рано или поздно угасает. В этом прахе алчности и бессилия некогда затонула сказочная Атлантида, задохнулся стоязыкий Шумер и жреческий Египет, та же участь постигнет и блистательную Элладу. Люди слишком доверяют символам и слишком подозрительно относятся друг к другу. Они не способны противиться чужой воле, потому что снисходительны к своим слабостям. Надо ли удивляться, что пресекается беззащитный дух?

После плотного обеда Пигмалион впадал в меланхолическое благодушие. Откидывался в камышовой качалке и потягивал виноградный сироп, вскипячённый с гвоздичными почками и корицей, шутливо поругиваясь с Евпраксией, хлопотавшей по хозяйству. Нянька пропускала колкости мимо ушей или с ехидцей поддакивала, давно усвоив, что с ним лучше не связываться.

- Я и в детстве был страшен, а, нянька? - вдруг спрашивал, гадливо пощипывая на руке мохнатую черно-бурую шерсть.

- Что ты, светик, хорошенький был.

- То-то что был, не умеешь врать.

- А хоть и так... Старость, кого она красит? И платье, сколько ни береги, когда-нибудь сносится.

- Любимое рвётся быстрей.

- Не любишь ты себя, не наговаривай.

- Тупая ты стала, при чём тут я?

- При том, что куда ни ткнусь, везде ты со своими придирками. У тебя жизнь не ладится, а цепляешься ко мне. Жениться тебе надо.

- Одной дуры мало, будет две.

Посмотрел бы ты на себя, ворчуна, и на своих дружков, болтуна, хвастуна и пьяницу, поджимала губы нянька, послушал бы час-другой, с горя бы и женился. Чем две дуры хуже четырёх дураков?

Я уж постараюсь, раскачивался Пигмалион, чтобы никто не дышал мне в душу, ни бабьей жалости, ни бабьей спеси я не потерплю. Красавица за меня не пойдёт, а уродку я не возьму. Да, чёрен, брюхат и эта непотребная привычка всё щупать, мять руками, как глину... а не возьму.

- Тогда приищи кого-нибудь на стороне.

Пигмалион залпом допивал сироп и отсылал няньку в кладовую за вином. Он избегал разговоров, которые, так или иначе, касались его маленькой тайны, известной, к сожалению, многим и принесшей ему славу незадачливого любовника. Была и большая, надёжно скрытая от посторонних глаз и ушей, но доставлявшая уже не мелкие, а великие огорчения.

Он стыдился продажной любви, делового угрюмого скотства. Оттого был робок и вял в уговорах, а в постели до безобразия груб. Разобидев женщину до слёз, плакал сам, и за это его презирали сильней, чем за всё остальное, как будто раскаяние отягчало вину. Кичливые гетеры заворачивали его с порога, да и старые потаскухи с выбитыми зубами оскорбительно торговались с ним, обговаривая условия случки.

Пигмалион пробовал разобраться в причинах своих невезений и однажды пришёл к неожиданному выводу: он ненавидел женщин за то, что они не способны к идеальной

любви. До сих пор среди невест и жён он не встретил ни одной, равной его пониманию счастья. Той, с которой он был бы счастлив на любых условиях. Это и есть идеальная любовь.

По силам она ему? Двужильный, шутя впрягался в повозку с поклажей и протаскивал её с четверть стадия, и бивни с пристани волок на себе, почти не сгибаясь. Чепуха, внутри он хрупок и ломок, как сколок обсидиана, вот именно, вулканическое стекло.

- Или купи рабыню, - не отставала нянька, подливая вина в килик и масла в огонь. - Родишь сыночка, будет кому тебя похоронить, несчастный.

- Что бы я делал без тебя, многоумная.

Отмахивался, а на рынок зачастил. По воскресеньям привозили живой товар, и на торги съезжались со всех окрестностей Лемеса. Спрос на работников был велик, и невольники доставлялись огромными партиями, до пятисот человек.

Раньше, во времена материковых войн, их набирали из числа пленных, и взнос в городскую казну за право участвовать в дележе не превышал нескольких оболов, но по жребию доставались и немощные старики, и увечные воины, и ни на что не годные полудурки. Благодаря мирной передышке добыча рабов превратилась в налаженный промысел: фригийцы разбойничали на Геллеспонте, финикийцы на юго-востоке, и обедневшие малоазийские князьки охотно продавали своих поданных. К тому же на Кипр высылали мятежников из Сидона и Тира. Теперь здоровый мужчина стоил не меньше двух быков, а знавший ремесло и вдвое дороже. Красивые рабы шли уже за цену овечьего стада, а порой и десятка быков.

Сначала скупали мужчин для работы в поле и мастерских, потом мальчиков и задёшево пожилых для ухода за скотиной и садом. Эти сделки совершались стремительно, по зубам и костяку определялись возраст и крепость раба.

Женщин высматривали с пристрастием. Их брали в няньки собственным детям, в прислуги, ну, и для утех, поэтому в расчёт брались здоровье и наружность. В этом смысле рабыня была вдвойне вещью, которая должна и служить и украшать.

Кого ни перевидал, красавиц и уродин всех мастей: чёрных, белых, красных и жёлтых, как пергамент. Таких и сам мастерил, по десятку в день. А к этой рыжей, ни то ни сё, вдруг потянулся. Впрочем, был ему знак - вспыхнули руки.

...Нянька возилась с девчонкой, а он жевал тёплые пшеничные лепёшки, запивая их кислым молоком, и думал обо всём и о том, что сегодня он начал новый круг и что этот круг последний. Очень круто он взял разбег. Ополоснул лицо и, разыскав чистый хитон, отправился в термы.

Бритоголовый эфиоп размял ему бока и спину. Пигмалион кряхтел и беззлобно ворчал. Ноги велел не трогать, крутило суставы, ещё бы, целыми днями на ногах, такая туша. Он не умел работать сидя, и мелкую утварь поделывал, упёршись коленом в кресло, а бедром навалясь на стол. Причуды, старческие причуды. Приобретённые сызмальства.

Долго размокал в бассейне, полудремал. Привиделась покойная мать. К добру, говорила нянька. К добру и ладно, отмахивался, лишнее не помешает. Завернувшись в покрывало, вытянулся на мраморной скамье, жадно вдыхая её сухой холодок. Он любил мрамор, легко поддающийся полировке, недаром его прозвали блестящим камнем.

Когда проснулся, солнце уже зашло. Эфиоп принёс настой календулы для орошений и розовое масло для втираний. Пигмалион взамен попросил вина и орехов и перебрался во внутренний дворик. Сладко, до одурения, пахли магнолии, факелы отбрасывали причудливые тени. Свежий ветер с моря играл листьями эвкалипта, и они издавали

стрекозий треск. Из гимнастического зала доносился звероподобный рык и грохот падающих снарядов. У нынешней молодёжи, подумал, весьма животное представление о человеческом совершенстве. В дверях фригидария шёпотом пререкались двое, по-видимому, отец и сын. В юном голосе не слышалось послушания, а в стариковском - уважения.

Он не заметил, как стемнело, и приятная ломота сменилась ноющей болью и слабостью во всём теле. Как обычно после удовольствия его одолевали угрызения совести, досада, что зря потрачено время. Прав Есклепий, все болячки от дурного расположения духа, нельзя распускаться. Но и радоваться вроде нечему. Чего он добился своим каторжным трудом? Почестей? Богатства? Что-то не видно лавровых венков, зато сквозь монеты в сундучке проглядывает щербатое дно. Кость нынче дорога, и не всякому по карману украсить залу искусной скульптурой, а средние люди предпочитают подделки и копии. Но брюхо наел и рабыню завёл. Будет ласкова с ним, придётся дарить ей браслеты, выслушивать её детские глупости. Ни в чём нет отрады, стар он.

Пигмалион с бешенством отшвырнул фиал, опрокинул треногу.

А это мы ещё посмотрим!

Глава 6

На рассвете посыпался снег. Падал отвесно, не задевая фонарей, крупными размашистыми мазками растушёвывая сумрак и очертания улиц. Было что-то потустороннее и величественное в этом почти театральном действе, где главные роли отданы сверхъестественным силам, а мизансцены разыграны неодушевлёнными предметами.

Ларионов погасил лампу, закрыл глаза и сквозь чёрно-зелёные круги смотрел в ослепительную белизну.

Как тихо и хорошо, как просто всё и разумно, что совершается без ведома человека. Не потому ли мы ищем смысл за чертой сознания? Но лучший мир тем и замечателен, что нас там нет.

Влажные хлопья ударялись о стекло и мгновенно таяли, стекая извилистыми ручейками. Ночью снег кажется гуще, он теряется на свету.

Всегда, когда лило как из ведра или мело во все пределы, он испытывал громадное облегчение, словно не с неба, а с его души спадала тяжесть, и конвульсивное ожидание исхода вдруг разряжалось. Может, и он участвует в круговороте природы, в её панических катаклизмах? Но всё, и сознательное и бессознательное, развивается незаметно, подспудно, внезапны и ощутимы лишь последние силовые рывки.

Уснул, уронив голову на стол. Снилась Москва, станция Новослободская, окошко с деревянными ставенками в глухой бездверной стене, надпись полукругом: «Горячие бублики». У входа в метро продавали пирожки с горохом, по пять копеек, мятые и недожаренные. Их развозили в металлических ящиках на колёсиках, и у каждой шарманки был отдельный воющий скрип. «Scharmante Katharine, scharmante». Из этой немецкой песенки и вылупилась «шарманка». По левую сторону тянулась вереница пригородных автобусов, покачивались кусты набухшей сирени, ещё не обломанной, не облепленной пылью. Он купил в угловом киоске кулёк чернослива и отдал его Лиде, проходившей мимо

под руку с Дыховичным. Она его не узнала. Потом куда-то ехал, стоял за чем-то в очереди, не досталось. Проснулся с чувством вины и потери.

Робкий голос взывал к нему из коридора:

- Сергей Петрович, к вам пришли.

- Скажите, чтоб пропустили.

Выглянул и чуть не столкнулся с Аней.

- Здрасьте.

Срезанные валенки, полусогнутые колени, балахон. Волосы забрызганы снегом, глаза... с такими бросаются в прорубь.

- Молодец, что пришла. - Выдавил. Молодец.

Исписанные листы валялись на полу, на столе, на кровати. Сгрёб. В незаконченной рукописи есть что-то стыдное. Сроду не грешил писательским суеверием (творчество - та же порча и сглаз), но когда заглядывали в его черновики, чувствовал себя, как голый дурак на площади. Голый, и к тому же дурак. Но так и возникают крылатые фразы: чирикнул - и понеслась.

Аня щёлкнула замком портфеля и вытащила злополучную шляпу. Видно было, что с ней основательно повозились: велюр приглажен волосок к волоску, поля расправлены.

- Берегите голову.

Бесстрашный ребёнок.

- А у вас просторно. Можно я форточку открою?

Чтобы ещё просторней? Неистребимая женская логика. «Благодарю тебя, Боже, что ты не создал меня женщиной». Этой молитвой начинали день ветхозаветные иудеи, раньше других осознавшие первородный грех.

Кивнул. Челюсти не размыкались.

- Я вам не мешаю?

Длиннорукая, легко дотянулась до форточки.

- Бог с тобой. Давай пальто.

Протянула с опаской. У девочки в тринадцать лет вполне устойчивые предрассужденья.

- Я по утрам не в духе. Ничего? - Вроде как извинился.

- Я тоже никогда не высыпаюсь.

Целое умозаключение.

- Мне жалко спать.

- Как это?

- Обыкновенно. Полжизни спим.

Он включил электроплитку и принялся за бритьё. Отскребал щетину, словно наросшую за ночь старость, и следил за Аней, бросавшей в зеркало трассирующие взгляды.

Заныл чайник.

- Выпьем с горя? - Вымучил подобие улыбки.

- Где же кружка?

Знает классику, уже кое-что. Он был чёрств, как вчерашний батон.

- Я не люблю чай. У него деревянный вкус. Вы пейте, а я посижу. Сбежала с уроков, отец дома, ругаться будет.

Она говорила странно, перескакивая с пятого на десятое. Он-то её понимал, ну а другим каково?

- Зачем? - спросил на её языке.

- Из-за вашей шляпы. Еле влезла.

- В руках бы принесла.

- Долго объяснять.

Кому? Ему, отцу, всем интересующимся? Ларионов напялил шляпу и начал прихлёбывать обжигающую бурду. Аня разглядывала зимний пейзаж в окне. Жёсткий профиль.

- Я бы хотела умереть зимой. А вы?

- Как-то не думал. Почему?

- Тихо, светло, все по углам сидят.

Он усмехнулся.

- Стихи пишешь?

Стиснула зубы так, что скулы подпрыгнули. Совершенно не владела лицом.

- Петька сболтнул?

- Нет, Петька чист, как голубь.

- Не просите, всё равно не прочту.

Не кокетничала, а всё же дразнила. Безотчётно, по-детски.

- Не буду.

За окном медленно кружился снег. Очёсы ткацкого производства. Штуки отсыревшего полотна валялись тут и там, некуда ступить. Дыра лихорадочно готовилась к досрочной сдаче продукции. Греция, Кипр, таинственная рабыня... у него слишком развито воображение. Нормальная девочка. Пальцы вымазаны чернилами.

- Я хочу умереть зимой, потому что хочу домой...

Он рискнул.

- А Петрович, товарищ мой, рыцарь сумрачный, но прямой, не пускает меня домой.

Залилась румянцем. Ларионову стало не по себе.

- Ну, летите, как хотите, только крылья берегите!

Выпалила и рассмеялась. Смех женский, грудной, но судорожный, на выдохе.

- Не обиделась? - спросил на всякий случай.

- Сочтёмся славою. Я всё-таки пойду. Скажу, что заболела.

Начитанная. А не замечает, что говорит ритмическими периодами.

- Мне надо встать на учёт в военкомате. Может, составишь компанию?

Бедный русский язык.

- Нет, лучше отцу помогу. У нас сегодня стирка.

- Ты же больная.

- Скажу, что физкультуры не было.

Стянула со спинки кровати обвисшего верблюда и нырнула в его обезвоженное нутро.

- Много у тебя отговорок.

- У меня всего навалом. Прощайте.

Прижала портфель к животу и шаг за шагом, спиною к двери.

- Постой.

Ларионов подошёл и взял её за согнутые локти. Показалось, что встал над обрывом. Ветер пробрал до костей, свежий колючий, в иглах взбесившихся льдинок.

- А что, если...

- Потом, - оборвала.

- Принеси стихи, я в этом разбираюсь.

- Потом.

Притянул к себе. Ничего не хотелось.

- Спасибо за шляпу.

Выскользнула из рук и ушла в глубокое море. Лекций нет. Военкомат не известно где. А разбитое корыто, вот оно, качается на волнах, приглашает совершить увлекательное путешествие по живописным окрестностям Эвксинского Понта, а заодно по эгейским, ахейским браздам.

Съел, Ларионов? Приятного переваривания.

Глава 7

Кто занят только собой, тот пуст. Древним грекам нравились инструктивные формулировки. Видно, в каждом рабовладельце сидел партиец и сидит до сих пор, если читать справа налево, палиндромон вульгарис. Но, оттачивая свои дидактизмы, греки, прежде всего, заботились о сохранении в них смысла. Усвоив это, византийцы преодолели форму и подарили миру гениальное палиндромное изречение, начертанное на мраморной купели константинопольского храма Святой Софии: «Омывайте не только лицо, но и ваши грехи».

Два афоризма и две ограничительные частицы, существенно. В России тоже умели морализировать, но словесные игры затевали шутки ради. Со скоморошьих времён искания русских пиитов сводились к откровенному и намеренному издевательству. «Упёр казак репу». И у кого, думаете? «У кота на току». Тем и прославились.

Но если принять на веру, что внешний мир и внутренний сообщаются, значит, они перетекают из пустого в порожнее, движение требует разворота. О чём же тогда пели аэды, баяны, ваганты и вслед за ними акыны и кумыцкие ырчи? Что их так распирало? Пустота?

А вдруг за пределами внешнего и внутреннего есть иной, не оприходованный мир? Не таксономическая категория, а царство воображения, перенаселённое живыми призраками? И тебя, пока что необитаемого, восхитительно свободного, там ждут?

«В двенадцать часов по ночам из гроба встаёт бар-р-рабанщик...» Милый Жуковский, ну зачем он связался с подстрочником, доверился лукавому языковеду? Даже этой строчки довольно, чтобы перекрыть все одиссеевы псалмы.

В полночь, именно, это знак, пробираешься за кулисы. Все уже в костюмах и загримированы. Клыкастый суфлёр во фрачной паре дьявольски сосредоточен. Осветители, ни в одном глазу, расселись по своим шесткам. На сцену вылетает режиссёр-постановщик, шафер всех свадеб и похорон, хлопает в ладоши: раз-два начали!

Ты именинник, но тебя оттирают в угол, к лебёдке, то пожирающей, то исторгающей занавес. Невыразимо разит серой, тальком, мышами и чем-то насквозь фальшивым, как «неувядаемый букет театральной атмосферы». Призраки заметно отяжелели и чувствительно наступают на ноги, щекочут манишками и веерами. Не поддавайся, ты должен всё увидеть и запомнить, ведь разыгрывают тебя.

Вблизи театр зловещ и унизительно подробен: у Антигоны двойной подбородок и сальная шея; Золушка посасывает «Приму» и хрипло отчитывает костюмера: опять не хватает крючка на корсете и подол волочится; человек с ружьём полирует пилочкой ногти, никакой он не гегемон, а рыцарь ночи, потрошитель дамского персонала. У кого огненный прыщ во лбу, у кого порвался шнурок... суета, неразбериха, праздничная стервозность.

Ты знаешь эту драму наизусть, ты сыт по горло монологами, тебя выворачивает от

ремарок, а вечно голодная и предвкушающая публика недоумевает. Пьеса вроде бы началась, а ничего не понятно: кто чей муж, откуда взялось письмо, почему барышня рыдает, а её благодетель похож на багдадского вора. Все заморочены мельканием шёлка и звоном бокалов, непрекращающейся судорогой объятий, оглушительными репликами в сторону.

Медленно, со скрипом разворачивается сюжет, набирает прыть, мчится галопом и агонизирует, взяв последний барьер. Кто-то кашляет, кто-то сморкается, идиот в пятом ряду, наконец, проснулся.

Это не я! кричит твоё оплёванное существо, ты бы не смог так громко и натурально, но толкают в спину, к огням рампы, тискают, лобызают, браво, браво! Зал накреняется и встаёт, как из гроба. Сомнамбулически ухает барабан. Да уберите этот кошмарный венок, он воняет гороховым супом! Я не ваш!

Пуст. Совершенно собой не занят. Вот так, уважаемые греки-ромеи.

Утро провёл в читалке, обзирая толстые журналы. Пообедал в ресторане «Южный», занимающем правое крыло гостиницы «Северная». И фантазия спала в этом городе.

По дороге в институт встретил доцента Соснова и не сумел отвязаться. Теряет квалификацию, раньше запросто отшивал зануд.

Виктор Алексеевич с ходу взял его в оборот, хотя до сих пор отношения у них были поверхностные, два-три разговорца по пустякам. Но таким уж уродился Соснов, самовоспламеняющимся. Не первой молодости и не второй, обросший жирком и благополучием, он всё не уставал и производил много шума для ничего (французская идиома). И сейчас забегал вперёд, размахивал руками и гагакал без передышки, наслаждаясь своими моторными рефлексами.

- Понравился наш парторг? А? Ну, типус, доложу я вам, прямо опереточный! Маникюрчик, завивка, обратили внимание? Я его с детства знаю, волосы как пакля, а ужимки те же, лакейские, тут перукарня бессильна. Нет, вы только представьте себе это чудо: в папильотках, под колпаком, с Кратким курсом ВКП\б в когтях, рехнуться можно. И платный к тому же, считайте, что предупредил.

- Сексот?

- Сексот? Скажете тоже! Дешёвый любитель, стукач. У меня на профессионалов нюх, я их в какой-то степени уважаю, на окладе сидят, порты протирают. Нет, это продукт второй свежести, разлагается в процессе переработки.

- А что, плетутся заговоры?

- Заговоры? Не смешите! Кто что где достал - самая страшная тайна. Сами же и выбалтывают.

- Скучно у вас.

- У вас?

Он всё время переспрашивал. Пакостная привычка. И дилетантская, между прочим.

- Не у вас, а у нас, господин хороший. Радость на всех одна, так что вместе будем скучать, на коллективных началах. В театре ещё не были? Так не были... Третьеразрядное заведение, но режиссёр новый модерновый и собственный народный артист имеется, Неолидов, исключительно вождей играет, бо-ольшой талант. Перевоплощается с пол-оборота: и на Маркса похож и на Ленина, словом, вылитый Сталин. А в жизни харя, типичный биндюжник с Привоза, ви ж понимаете. Зато примадонна, Верочка Саенко, - он

причмокнул, - цимус, нечто, сверхничего. Поёт, как сопрано, и ходит, - сделал фигурный жест, - волнительно, а в истерике бьётся - у мужиков пуговицы отлетают.

- Я и в кино не хожу.

- В кино? Это потому, что холостой. Заведёте себе благоверную и забегаете как миленький! У жён одно развлечение: мужа с дивана согнать да чужой жизнью пожить.

- Выходит, два.

- Два? А, развлечения... если бы два! Жаль, что не любите кино, а то бы я вас подсунул вместо себя моей Оленьке. Она такая молоденькая, впечатлительная.

- Спасибо за доверие.

- Ах вы, ёрник! - Забежал вперёд, лукаво прищурился. - Ладно, откроюсь, всё равно донесут. Я вторым браком женат, моя студентка. Вот и лезу из кожи, совершаю любовные подвиги. Я ведь старый, хоть и не видно, а? не видно? У меня сын, как вы, оболтус.

Он не чувствовал слов, они текли у него, точно слюни у грудного младенца.

- Я её соблазнил, представляете? Но у нас с этим строго, раз и захомутали. Вовсе не жалею, наоборот, воспрял! Как в песне поётся? «Встал, словно дерево, я...»

Дуб ты, вздохнул Ларионов.

- Ну, мне туда. Жена ждёт, обещал туфли купить. У меня в универмаге блат, если что надо...

- Всё есть.

- Счастливый вы, Серёжа, живёте в мире иллюзий, сам себе парторг. До свиданьица.

Ларионов покрутил шеей. Затекла, будто он её отсидел. Соснов, с основ, со снов, с ос нов, с нос, sos. Сущее бедствие. Проповедует классицизм, шпарит по Державину, Сумарокову и на тебе: «цимус», «блат».

Непримиримый ты стал, Сергей Петрович. Не греми веригами. О просвещении радеешь, о благочестии печёшься. А всех-то свершений? Женщину обидел. Девочке голову вскружил. Уймись, член общества.

Не успел он выкурить сигарету в блаженном одиночестве, как дверь в профессорскую приоткрылась и…

- К ректору! - бросила секретарша.

Какая лапидарность. Вот у кого поучиться бы нашим трибунам, страдающим недержанием речи. Сколько он помнил, мадам Петушко всегда выражалась чётко и односложно, обходясь междометиями и предложными конструкциями. Наверное, сказались навыки телеграфистки центрального почтамта (есть такое понятие «профессиональный автоматизм»: педагоги поучают, журналисты выспрашивают и т.п.), где она работала до её неожиданного взлёта на должность жены зампредисполкома и по совместительству – секретарши ректора.

Ларионов раздавил каблуком окурок и затолкал его под радиатор. Никакой спешки, соблюдая достоинство и должное благоденствие. Вызов к начальству в большинстве случаев означает неприятность, это уже статистика. «Но человека человек послал...» Он сделал то же самое и в путь потек.

Ректор вышагивал по кабинету. Он был крутолоб, мужиковат и очень гордился своим рабоче-крестьянским происхождением.

- Вам, Ларионов, надо быть поближе к жизни, к молодёжи, - сказал с мечтательной ноткой.

По душам они разговаривали впервые, и Ларионов решил сперва послушать, а потом уже соглашаться или протестовать. Начало не сулило восторгов взаимопонимания. К тому же Ларионов нервничал, когда его называли по фамилии, потому что считал её слишком благозвучной и даже женственной. Дед не в счёт, он превзошёл смысл собственного имени, как Пушкин грохот мортир, а Карамзин степную славу своего деда Кара-Мурзы. Матери, например, она подходит: Елена Сергеевна Ларионова. И жене его подойдёт, только без вариаций, не исключено, что Ефросинья.

- Я имею в виду общественную работу.

Имел я её, эхом откликнулся Ларионов. И действительно, год назад он заделался мытарем - университетские профсоюзники обязали собрать взносы с членов ДОСААФ. Пока выколотил, со всеми переругался.

- Выберите подходящее дело, - гудел ректор, продолжая кружить вокруг да около, - что-нибудь комсомольское, с огоньком.

- Я не комсомолец.

- В курсе. Более того, знаю причину вашего раскольничества. Я по образованию историк и в студенческие годы изучал труды Сергея Михайловича. Не спорю, фигура трагическая, но и время было... бескомпромиссное. Решались глобальные проблемы, не личного и не узкоспециального, а так сказать, мировоззренческого порядка, то есть то, что в дальнейшем предопределило поступательное движение советской науки.

Они разучились говорить, ужаснулся Ларионов. Простой человеческий язык им недоступен, потому что внятно можно изложить только продуманное и пережитое. Человеческий ум не способен усвоить всю эту глобальщину и ретроспективщину, она оседает в сознании кусками непережёванной пищи, блоками сводок и цитат. Они разучились думать и чувствовать.

- Вот, читайте.

Ректор кивком головы указал на грамотку в металлической рамке, висевшую в простенке между дверью и книжным шкафом, похожим на сервант. Текст был каллиграфически выписан полууставом, с коллежско-асессорскими завитушками.

- Громче, не слышу, что вы там бормочете себе под нос.

- «Подлинный научный анализ истории может быть достигнут лишь на основе марксистского исследования общественно-материальных и социально-экономических условий».

- Дикция у вас отменная. Учились где-нибудь?

- Самородок.

Ректор уже восседал за столом в чёрном кожаном кресле и оттуда, с высоты своего положения, брезгливо к нему присматривался.

- Учёный, который подвергает сомнению базисную роль исторического материализма, неизбежно впадает в другую, в противоположную, в религиозную крайность.

Боже правый, религия-то при чём? Он уже и слушать не хотел, не то что поддакивать или возражать. Это ниже уровня спора, как отбривали в МГУ.

- Но оставим в покое вашего деда, мир его праху. Одной вашей дикции мало, необходимо сегодняшнее участие в завтрашнем дне. У нас все охвачены, кроме вас.

Ларионов почувствовал подступающую к горлу тошноту.

- Учитесь работать с людьми, набирайтесь опыта. Пригодится, когда будете вступать в партию.

- Я докторскую пишу и всё свободное время...

- Оставьте, - грубо прервал ректор. - Мы не рассматриваем аспекты вашей научной карьеры. Честь коллектива превыше всего, и никому не позволено её... его бесчестить.

А ведь почти что выматерился. Но сладкозвучно, как евнух в гареме.

- Я пошевелю мозгами.

- И правильно сделаете.

Ректор углубился в созерцание бумаг, намекая, что разговор окончен. Ларионову ничего не оставалось, как молча удалиться.

- У себя? - спросила мадам Петушко, вплывая в приёмную с двумя авоськами где-то оторванных апельсинов.

Ларионов дыкнул.

Даже говорить по-русски расхотелось. Дыр, бул, щур.

Глава 8

Всё чаще его настигала глухая звериная тоска. Хотелось забиться в угол и выть, пока не пристрелят. Исчерпав упадок, а он сознательно доводил себя до изнеможения, знал несколько убийственных способов, приходил в состояние чувств: хватался за книги, без разбору, отмахивал километры, хоть бы что, искал случайных встреч.

Через полчаса интерес к новому знакомому пропадал. Игра в наводящие вопросы и ответы, как викторина, насаждаемая в местах массового скопления лоботрясов, требовала не столько сообразительности, сколько рефлекторной бойкости и умственной развязности. Разговор неизменно начинался с трёпа, «а ты, а я», перескакивал на местные сплетни и застревал на происках империалистов. Не спятил же он, чтобы изливать душу за кружкой пива или в очереди за колбасой, а плутая с девицами по вымершим аллеям парка, говорить о мирах. И от него быстро уставали, потому что спрашивал в упор, а отвечал отшучиваясь.

Аня так и не появилась. Роман, если можно было назвать эту писанину романом, кое-как продвигался. Отказавшись от сложных сюжетных ходов и повествовательной прыти (велел заложить дрожки и вскоре был на станции), он застопорил действие и теперь страница за страницей вымарывал мешкотные описания и прилипшие к ним обобщения. Хотел избавиться и от портретных заставок и разом – от риторических фигур, этих искусственных заполнителей, которыми принято скреплять словесную квашню, да вовремя опомнился - эдак камня на камне не останется, что построишь из ничего? Зациклился на диалогах, но связной речи у героев, которых он нарочно отчуждал друг от друга обрывками фраз, не выходило, обмен репликами смахивал на перекличку пастухов в горах.

Сломать рамки традиционного романа оказалось проще простого, труднее было не впасть в пресловутую «магму подсознания» и «вещизм» (французский антироманический грех), ну да пронесло, выручило русское здравомыслие, всегда отстающее от ума. И тут, как из дырявого мешка, посыпались самоограничения и «чур меня», доставшиеся в наследство от дядьки Щура, проказливого славянского божка, предводителя бессмертных покойников. Он вдруг засомневался: а существует ли вообще свободная форма и не сводится ли она к невнятице чувств и неряшливости стиля? На том и заглох.

Но и в жизни ничего не происходило. Двигалось только время, и в его потоке неслись события и судьбы, как это было тысячу и миллион лет назад. Не имело смысла ни противостоять этой безумной силе, ни помогать ей своим безумием. Думая о таких

несообразностях, он мог часами сидеть, уставившись в одну точку, пережёвывая мысль за мыслью, ничего не ощущая, кроме пустоты уходящего времени.

Лекции читал скороговоркой, язвительно вышучивал остряков, отбил охоту связываться с ним. По ночам взбадривался заваркой и кофейной гущей, боялся уснуть - снилось тяжкое и кровосмесительное. Порывался пойти к Лиде, но в последний момент наступал себе на горло. От сухомятки и табака начал побаливать желудок, и он запаниковал, с непривычки, а потом притерпелся и заскучал.

Напоследок стало безразлично, что с ним творится в данном месте и в данное время, потому что единства действия не возникало. Он весь был там, на маленьком острове, затерянном в Эгейском море, откуда каждый день отплывали барки и корабли, гружённые рыбой, оливковым маслом и многолетним вином, приготовленным из редкого сорта винограда, произраставшего на Кипре, «эудокиа», что означает «благодарность, доброе желание». К русским это слово пришло из Византии и распространилось как имя Авдотья, а на московский лад - Авдакея. Когда-то оно было первым в крестьянских святцах и до сих пор на Кубани хоть отбавляй Евдох, то бишь самозванных Евдокий.

Однажды, с утра пораньше, Ларионов отправился с рыбаками в Смирну, славившуюся удобной корабельной стоянкой, и долго бродил по акрополю, обнесённому мощной кирпичной стеной на каменном цоколе. Его удивило, что улицы проложены параллельно и симметрично обсажены платанами, и нет впечатления восточного базара, которым ошарашивает Измир. Значит, действительно существовала строго регулярная планировка, по гипподамовой системе, вынянченной в Милете - колыбели русского языка. Да-да, именно милетская ветвь дала миру греческий алфавит, из которого и возникла русская азбука, а халкидикская – развилась в латынь.

По широким булыжным мостовым катились повозки, запряжённые ослами, реже лошадьми, возницы негромко покрикивали: «поберегись!» За нарушение тишины в акрополе взимался солидный штраф, а транспортные происшествия разбирались в судебном порядке, как гласила надпись, высеченная на стеле, установленной посреди агоры. Хорошо, что рядом оказался ромеец и перевёл Ларионову текст, иначе бы он подумал, что это отрывок из какого-нибудь Пиндара. Таких разорительных памятников ведомственного словотворчества он насчитал до сорока штук и мысленно выразил признательность китайскому народу, великому изобретателю бумаги и канареек. За городской площадью полого спускались вниз жилые кварталы, пестрящие лавками и мастерскими. Несмотря на то, что тротуары, мощённые керамитом, были чисто выметены, а выбоины заделаны глинозёмом, лозунгов превратить родную Смирну в полис высокой бытовой культуры Ларионов нигде не нашёл, из чего следовало, что за порядок в городе боролись не энтузиасты, а работники санитарных служб.

Вокруг гробницы Тантала росли раскидистые орешины, и он вспомнил, что их специально высаживали возле святилищ, чтобы законсервировать целость кладки на яичных желтках. Взобравшись на смотровую площадку одной из башен, замыкавших южные ворота, он отважился заговорить со стражниками, осоловевшими на солнцепёке. Греческим он не владел даже со словарём, но руками размахивал дружелюбно, однако бородачи не обратили на него ни малейшего внимания, хотя изредка вскидывались и воинственно зыркали по сторонам. Тогда только он догадался, что невидим и неслышим как призрак несыгранной роли (ромеец? а был ли он?), и начал свободно прогуливаться по городу.

Дома стояли лицом к внутренним дворикам, на улицу выходили глухие стены из

плоских сырцовых кирпичей. Окна на втором этаже, маленькие и подслеповатые, напоминали смотровые щели. Многие двери были украшены букетиками цветов и шерстяными повязками (в честь рождения девочки) или оливковой веткой (нашего полку прибыло).

Он зашёл в чей-то дом и осмотрел андрон, мужской зал для собраний и симпосий, вдоль стен которого тянулась панель с удобными ложами (девять или одиннадцать, нечётное количество мест, по всем правилам), и главную комнату, где и летом горел очаг и кухарничали старухи.

Осмелев, завернул во внутренний дворик. Молодые женщины пряли шерсть, перебирали чечевицу и то и дело взрывались бесстыжим хохотом. Дорого бы он дал, чтобы узнать, что так разбирало греческих домоседок. На женской половине, в гинекее, шушукались юные скромницы, примеряя бусы и нижние сорочки тёток и матерей, с интересом разглядывая свои недоразвитые прелести.

Из любопытства заглянул и в дворцовые анфилады и спальные покои, сверкающие смальтовыми полами и глазурованными изголовьями сидячих терракотовых ванн. Особенно его поразили общественные фонтаны, дно которых было выложено эмалевой мозаикой, живописующей амурные сцены. Почему смирнцы (смирняки?) предпочли любовные подвиги бранным, изображаемым в Греции где надо и не надо, он не понял, по деловому оживлению в городе не было заметно, что эротикой здесь озабочены больше, чем куплей-продажей.

Побывал и на Делосе, посмотрел на его знаменитые пальмы, воспетые немецкими романтиками, и дважды обошёл храм Аполлона, в крипте которого хранилась казна афинских мореходов. На рынке, ничем не богаче лемесского, царил тот же гомон и переполох. Прилавки фруктовых рядов были завалены смоквами, цитрусами и диковинными плодами несть звания и числа. Ларионов впервые увидел померанцы, горькие апельсины, не съедобные в свежем виде, но пригодные для заправки настоек и сиропов. Оливки, вымоченные в вине с пряностями, были точно такого же вкуса, как те, что он пробовал в гостях у приятеля, брат которого работал на Кипре и подкармливал родственников всякой гастрономической экзотикой.

Вдоволь было и глиняной утвари, а также поделок из слоновой кости, но этого ширпотреба он насмотрелся в музеях и благоговением не проникся. Горы привозной пшеницы (а вот этого он не знал) отмеривались вавилонскими талантами, бильтами (около тридцати кг) и финикийскими киккарами (двадцать шесть кг), равными эвбейским талантам, что говорило о том, что дух предпринимательства изначально интернационален. Маисом впрок не запасались, он рос повсюду, и сикли золотистых зёрен тут же смалывались за небольшую доплату в каменных ступках-крупорушках, принесённых предусмотрительными торговцами. На вес и тюками предлагали пряжу, выкрашенную в разные цвета, вразброс - золотые финикийские ткани, драгоценные украшения из балтийского янтаря и побрякушки из местных минералов, кованые железные инструменты и дорогостоящую оловянную посуду (мышьяк ценился на вес золота, да и медь на дороге не валялась, всё же не Кипр). Зато деревянных и костяных ложек, совков и продаваемых поштучно сырцовых кирпичей было такое множество, что у Ларионова зарябило в глазах и он, растолкав возмущённых граждан, вырвался из забытья.

Мысль – тоже поступок, и не с пальмы к нему слетела идея рынка. Посетил рассадник частного капитала и в мясном павильоне, величественном, как неф греческой базилики, приобрёл дохлого цыплёнка. В посудной лавке напротив, бросавшей вызов архаике своей

лубяной стыдухой, набрал тарелок, вилок и ножей. По инерции вздумал обзавестись кастрюлей, но долго не мог решиться, какую взять: пятилитровую? полулитровую? средних не было. Расторопная продавщица продемонстрировала все чудеса культурного обслуживания, пытаясь выяснить, женат он или годен к строевой. Ничего не добилась и нагрубила, дескать, больно разборчивый. Да, согласился, для выбора мне мало двух зол, и купил сковородку.

Масло мгновенно почернело, повалил густой дым. Залил водой из крана, пронаблюдал превращение жидкости в уголь. Ел своё жарево-варево и думал о рабыне.

Она никогда не спала на простынях. Мать укладывала её в закуте, по соседству с козами и овцами, в корзину, сплетённую из ивовых прутьев, которую выстилала соломой и тряпичками. Потом, когда выросла, отец разрешил ей перейти на первую половину дома и делить с ним подстилку, сшитую из овечьих шкур. Ей не было и двенадцати, когда он спьяну надругался над ней, прижитой, как сказал, ведьмой с дьяволом. Мать выла за дверью всю ночь, а к утру повесилась на шелковице, свив петлю из своей одежды.

Ларионов с ненавистью оттолкнул тарелку с разодранным цыплёнком и еле добежал до туалета. Рвало мучительно, до судорог. Взбредёт же, тьфу.

Отдышавшись, прикинул чего-куда, должно же быть объяснение этой дикости. Если следовать Зигмунду, то его подсознательно раздражал образ Аниного отца, её хозяина и защитника. То, что детка находилась под неусыпным контролем, развязывало негодяю Ларионову руки (кто охраняет, тот и отвечает), но как порядочному человеку... кому-кому? как благородному, как ему... не хотелось уступать родителю, скажем, моральное превосходство. Подкорка подсуетилась и вытеснила конфликт из сознания с помощью свободных ассоциаций и вольного обращения с источником. Заступник - преступник, искуситель - спаситель.

Чушь. Если с кем-то он и боролся, так только с собой, и гнусный курёнок имел больше прав на аналогию.

Повздыхал и поплёлся на субботник. Мыли окна, драили полы, готовились к празднику Советской (а то не сталинской) Конституции.

- Что с вами, Ларионов? - с обнадёживающим бездушием спросила Лида. - Вы потеряли своё лицо.

- Зайдите к парторгу, он вам дело нашёл, - походя обронил ректор.

- А завтра мы в театр идём, - жизнерадостно объявил Соснов. - Мы это я, Оленька и вы, третий лишний, ха-ха. Что дают? Иркутскую, верней, арбузовскую, верней, пошехонскую историю, старьё, но Верочка... - Он было причмокнул, но, встретившись взглядом с Дыховичным, громко и почти торжественно произнёс: - Актриса большого внутреннего потенциала. - И придвинувшись вплотную, зашепотал: - Череп приволакивался полгода, да не выгорело, вот какая!

Ларионов поворачивался направо, налево, что-то отвечал. Наконец ему выдали пустую картонную коробку, в которой надо было сносить в подвал подшивки прошлогодних газет, просроченные анкеты и методички.

Он несколько раз спустился и поднялся, снова стошнило. Пристроился на ступеньке лестницы, ведущей в подвал, откуда тянуло тёплой банной сыростью и жжёной резиной. Сквозь запотевшие окна, заляпанные краской, чернели стволы тополей, не заменимых в творчестве местных ашугов и в производстве спичек. Размах, с которым раздувалась их пирамидальная слава (и в плановых сводках), не снился патриотам делосских пальм. А ведь самое деревянное дерево, геометрически плоское, ни тени летом, ни заслона зимой, и даже в

пору цветенья не вызывает никакой реакции, кроме аллергической.

- Что это с вами? - услышал ласково-сердитый голос Фаины Марковны.

- Ничего, пройдёт.

- Сбегать за валидолом?

- Да не сердце - брюхо. Дряни какой-то наглотался.

- Значит так. Дрянь отменяется. Ровно в семь у меня, адрес, надеюсь, запомнили. Будем обедать по-старосветски.

- Смыться бы мне, - жалобно сказал Ларионов. - Вас и так много, столько больших дядей.

- Гоните волну. - Фаина Марковна молодецким движением подхватила коробку и вытрясла содержимое в мусорный бак. - Я вас прикрою. Районо подойдёт?

- Лучше военкомат.

- Сидите здесь, сейчас принесу пальто. - Похлопала его по плечу. - Ровно в семь. Нотаций читать не буду.

Целых два приглашения. Дыра распахнула объятья.

Глава 9

Она впервые спала на простынях. В кошаре, на верхнем пастбище, где они жили после смерти матери, обходились овчинами, завёртывались в них, как мясо в виноградные листья. Была такая еда «толма». Греки готовят её с рисом, коринкой и фиговыми листочками. Вкусно, да не то. А овчина тёплая, по ночам в горах прохладно, даже в августе, когда выгорают ущелья.

Похоронив мать, отец оставил себе старшую, Ехсапет, а их, шестерых, раскидал по родственникам. Она досталась самому непутёвому, воришке Каро. У него не было ни семьи, ни дома и промышлял он в одиночку, рыская по окрестным яйлагам и деревням.

Ночевали где придётся, поднимались чуть свет и шли, пока не падали с ног от усталости. Днём она поджидала дядьку в каком-нибудь укромном месте, под обрывом реки или в придорожных кустах, играя с головастиками и удодами... как их дразнили? «гоп-оп». И сказка про них была, мать рассказывала, давно, так давно, словно не в её, а в чьей-то старой-престарой жизни. Захотела молодая жена понравиться мужу, собрала косы на макушке и заколола их нарядным гребнем, а злая свекровь приревновала её к сыну и превратила в гоп-оп. Вот и скачет теперь по балкам, хоронясь от людей, бедная удодочка, трясёт пёстрым хохолком.

Иногда Каро возвращался навеселе и приносил ей лаваш, сушёный мацун или огрызок солёного сыра. Она никогда не наедалась досыта, но и голодной не была. Летом в горах полно ежевики и пьяного тёрна, а в лесу – диких яблок и груш, и вокруг родников густо растёт сладкий мучнистый пшат и остренький базилик. Осенью поспевал виноград, кизил, и бахчи ломились от тыкв и сахарных дынь.

В зимние холода они прибивались к постоялым дворам и за миску горячей похлёбки и угол в сарае присматривали за скотиной, собирали хворост, выскребали песком котлы. Если Каро не попадался на краже, дотягивали до первых обозов. Случалось наняться и в проводники, и тогда ехали в головном возке, показывая дорогу. Снежных обвалов и змей они не боялись, чему быть, того не миновать, да и весна у них нестойкая, короче луны,

вслед за снегом с гор спадала жара. Дядька её не обижал, но и не жалел, всё время молчал или что-то бубнил. Она и к этому привыкла.

Так и кружили бы, потеряв счёт дням и дорогам, не повстречайся им хитромудрый Аристид. Ловок был грек, скупал за бесценок всякий скарб, не брезгуя ни сиротским добром, ни краденым, сбывал же втридорога и всегда выходил сухим из воды. Он и подбил Каро двинуться к морю по правому краю Тавра, обещал лёгкую прибыль и весёлую старость. И к ней сумел подольститься, научил своему языку и гадать по полёту птиц, а невзлюбила она Аристида и терпела его с той бесчувственностью, с какой цепенели овцы в отцовском стаде, когда к ним подбирался волк.

После выгодной сделки в Смирне не поделили дружки добычу и всю ночь пили и ругались, а наутро стало рвать Каро желчью с кровью, в корчах и отошёл.

Потом было то, что уже было. Продал её Аристид разбойникам, поставлявшим живой товар в Грецию, и очутилась она на корабле, битком набитом такими же оборванными и одичавшими полулюдьми. От тухлой рыбы и качки начался мор, и многих из них не досчитались в конце пути. Ей удалось выжить, потому что это от неё не зависело, иначе бы повезло умереть. Но жирного грека выбрала она, взглядом вытянула из толпы. Он ничем не отличался от других, толпившихся у помоста, разве что был сам себя безобразней, но он один не смотрел на неё, прицениваясь как Аристид.

Кто-то притронулся к ней, она испугалась и открыла глаза.

- Спи, спи, - проворчал хозяин, мягко и сильно ощупывая ей грудь и плечи. - Ты красивая, я любуюсь тобой, спи.

Свет луны упал из открытой двери на простыни, влажный и ломкий, как запах облетающего миндаля. Глыбы мрамора, сваленные во дворе, зашевелились, тускло дымясь, словно отогреваясь на весеннем ветру. Ей почудилось, что она дома, в горах, что вдали белеют вершины в круглых пастушьих шапках, и дышится резко и глубоко.

Пигмалион (что за странное имя?) взял её за руку и, больно встряхнув, выпрямил и разгладил окоченевшие пальцы.

- То, что нужно, - пробормотал. - Ты принесёшь мне счастье, ты меня не обманешь, Элпис.

- Ноэм, - сказала она, сразу всё вспомнив. - Меня звали Ноэм.

Глава 10

Цветов нигде не было. Обычно на углу, напротив аптеки, бойко торговали бабушки; в цинковых вёдрах, прихваченных инеем, жарко пылали остроконечные астры и жилистые георгины, осыпаясь искрами густо-лиловых, жёлто-жемчужных и огненных лепестков. Их приносили прямо с грядок, отдавали чуть не задаром, охапками. И уговаривали ласково, с прибаутками, припевая «женишок» да «касатик».

Ларионову некому было дарить цветы, но останавливался поболтать и, в конце концов, покупал букетик, чтобы тут же его всучить пробегавшей мимо девахе или хмурой тётке с кошёлками. Изумлялись до столбняка, бывало, что и отталкивали, «тю, дурак», и тут уж хоть стой, хоть падай, а своё удовольствие получи.

Мороз повымел сады, а заодно и бабушек с их вёдрами и скамейками. На углу торчал пьяный в дугу мужик, пытаясь загнать чудодейственный корешок, исцеляющий от всего,

особливо от грыжи. Почему он напирал именно на грыжу, требующую хирургического вмешательства, до Ларионова не дошло.

Заявиться в гости с бутылкой он не решился, взял в булочной торт, «Ромашку». Упаковки с тем же наименованием не нашлось, остались одни «Юбилейные». Какая вам разница, буркнула продавщица, лишь бы до дому донести. Браво, подумал, форма и заключается в том, что она заключает, браво.

Фаина Марковна встретила запросто и без ритуальных восклицаний провела его в комнату, где уже был накрыт стол.

- Вот это да. - Только и вымолвил.

Три стены от пола до потолка, не считая оконного проёма, были заставлены широкими самодельными полками на массивных стойках. Книги размещались в несколько рядов. В основном собрания сочинений в твёрдых коленкоровых переплётах, старые издания по библеистике, академические памятники и сытинские энциклопедии; попадались и фолианты с золотым тиснением, чуть присыпанные пылью времён и оттого ещё более таинственные и притягательные. Ларионов верил в магию книг и легко поддавался чарам. Он пошёл вдоль полок, скашивая глаза и читая названия, проводил пальцем сверху вниз по корешкам, словно приветствуя добрых знакомцев, и вздрогнул, когда наткнулся на плечики с платьями, висевшие на гвозде у двери.

- Сэкономила место, - пояснила Фаина Марковна, - да и не нужен мне гардероб, гардегроб, как острили мы в молодости. Предмет тридесятой необходимости.

Ларионов вдруг обрадовался, не понятно чему, и начал путано извиняться, что набросился на книги и забыл, что он гость и должен был ради приличия полюбезничать с хозяйкой, но гржебинская «Радуница», чёрт возьми, эта бесхвостая ласточка, сделавшая весну, сделала и его... ради приличия, с ним... надо бы полюбезничать.

- А что, погоды нынче стоят ровные? - чопорно прервала и усадила его на венский стул с оборчатой подушкой, а сама села на табурет и подняла крышку супника.

- Куриный, с лапшой, давайте тарелку.

- Именины сердца, - застонал Ларионов, жадно вдыхая домашний, ни с чем не сравнимый аромат.

- Сначала попробуйте, а потом расхваливайте. Водки не предлагаю, не держу, а вишнёвки, так и быть, накапаю. К десерту.

- Принято.

- А, запало, - протянула с довольной усмешкой.

Получив разрешение, Ларионов снял пиджак и, закатав рукава рубашки, принялся за суп.

- Майский день, подтверждаю.

- Да не глотайте, желудок сорвёте, - снова одёрнула по привычке, которая и ей, должно быть, порядком поднадоела. - Схожу на кухню, посмотрю, что с котлетами.

- Вообще-то я обжора, - стал оправдываться Ларионов, - но боюсь, что второго не осилю, может, сразу перейдём к десерту?

- А это мы поглядим. - Совсем как грек.

Воспользовавшись её отсутствием, он ещё раз перелистал есенинскую книжку и едва раскрыл толстенный талмуд с цифирью, как вошла Фаина Марковна, держа в руках сковородку с котлетами и стопку, наполненную до краёв белой прозрачной жидкостью.

- Что бы я делала без соседки... Ну-ка хлопните водочки для аппетита.

- «Всё встречаю и приемлю, рад и счастлив душу вынуть», - процитировал Ларионов,

запихивая том обратно. - Искренности, вот чего нам всем не хватает, честной хулиганской искренности. Ваше здоровье.

Хлопнул и расплылся, и почувствовал, что зверски голоден. Справился и с котлетами и с ромашковой кашей, заправленной горелым джемом, и принялся цедить вишнёвку, отдающую листом и косточкой. Всё же удивительно, как горечь обогащает приторный напиток, недаром греки главной добродетелью почитали меру, точнее метриопатию, умеренную страсть, ближе к нашей воздержанности. Центральный принцип аристотелевской этики: добродетель как середина между крайностями. Греция не погибла бы, если бы прислушивалась к своим мудрецам.

- И последнее желание.

- Да уж курите, вижу, что неймётся.

Не спеша, убрала со стола, смела в ладонь крошки и высыпала их в кормушку за окном, «воробьишкам на пропитание».

- Милая Фаина Марковна, - растроганно сказал Ларионов, - вы вернули меня к жизни.

- Недалеко же вы ушли.

- И верно, недалеко. Но оттуда по своей воле не возвращаются, надо, чтобы вытащили. - Прозвучало напыщенно и сентиментально. - Кстати, о принудиловке: как прошла уборочная страда на ниве просвещения? Товарищи меня не хватились?

- Не успели. Ректор с Казанским укатили в горком, декана тоже куда-то вызвали, и всех как ветром сдуло.

- Да, поугас в народе энтузиазм. Недаром же экономисты заговорили о всяких стимулах и рычагах, призванных активизировать нашу творческую деятельность. Я давно уже читаю газеты между строк и верю не тому, о чём бесстрашно пишут, а о чём стыдливо умалчивают. Например, если сообщается, что беседа главы советского государства с президентом некоторой страны прошла в тёплой и дружеской обстановке, то значит никаких важных документов не подписано, и встреча на высшем уровне закончилась вничью, с нулевым результатом. А стимулом умело пользовались и в Древнем Риме, так называлась палка, которой погоняли скот.

Разговор не клеился, что-то мешало им переступить черту безотчётной симпатии.

- А книги у вас божественные. Можно я ещё покручусь?

- Валяйте. Вы мне напомнили девочку из сказки, переодевшуюся мальчиком, которая нарочно не обратила внимания на украшения, а направилась прямо к оружию и тем усыпила бдительность проверяющих органов.

- М-м, - промычал Ларионов, - какой-то сомнительный комплимент, ни мне, ни вам, не находите?

- Как же, умею выражаться изящно, снискала славу.

Взяла с кровати томик О'Нила, придвинула торшер к столу и, надев очки, замерла на сто тридцать седьмой странице.

- Самое загадочное число, - не утерпел, - с точки зрения физики. Есть три теории: гравитации, электродинамики и квантовой механики; каждая использует абсолютные константы. Из этих постоянных можно образовать безразмерную величину, которая равна ста тридцати семи. Она показывает, грубо говоря, соотношение сил в природе, то, на чём держится наш мир.

- Занятно.

- Более чем. Мы так мало знаем об этом шатком сооружении, что нам легче поверить в то, что мы произошли от обезьян, а не от пифагоровых чисел или разумных огней. Правда,

и посвящённых мороз драл по коже: кто бросился со скалы, кто выпил цикуту, а тот, что сбежал на Эвбею... повесился?

Фаина Марковна, не проронив ни звука, перевернула страницу.

- Кроме шуток, - засмеялся он, - верёвка лучше всего.

- Ничуть, если вы о пьесе. Мальчишество.

Ларионов не стал спорить и переключился на книги, а когда глянул на часы, было поздно просить пардону.

- Уж полночь близится, а совести всё нет.

Фаина Марковна вежливо поулыбалась.

- Это геройство сохранить такую библиотеку.

- Спасибо мамочке, её молитвами.

- А моей молитвы не помогли. Обобрали до нитки.

Она поиграла кожаной закладкой и закрыла книгу.

- Вас проводить?

- Сделайте одолжение, я забыл дома отмычку.

Одевшись, он всё же не удержался от упрёка:

- А ведь девочка старалась не для себя.

- Послушайте, Сергей... я по имени, ладно? - Фаина Марковна подалась вперёд. - У меня к вам есть серьёзный разговор, но не хочу комкать, отложим до следующего раза. Скажу только, что мы с Сергеем Михайловичем проходили по одному делу, даже сидели в соседних камерах.

Он уже переступал порог, но развернулся и громко захлопнул дверь.

- Я не уйду, - сказал. - Я никуда не уйду, пока вы мне всё не расскажете.

- Тогда раздевайтесь и ждите. Я пошла варить кофе.

Из кухни крикнула:

- Ничего удивительного, вы мне сразу понравились!

Глава 11

Кто-то сказал, что вокзалы в провинциальных городах похожи на театры, другой добавил: а театры – на вокзалы.

Ну как не восхититься русскими умницами, что вскользь, полушутя, умеют выхватить из пёстрой всячины впечатлений вроде бы неприметную, но характерную деталь, которая стоит иного размашистого полотна. Впрочем, один из них был еврей, да и подмечено, что взгляд путешественника отличается особенной остротой.

Те же доморощенные колонны с облупившейся штукатуркой, те же засиженные воробьями фронтоны, помпезный затрапез и боязнь открытых пространств. Разница в очередях: у театральных касс всегда пусто. Билеты есть - дальше ехать некуда. Тупик соцреализма.

Что может он провещать о театре?

В антракте Соснов познакомил его с редактором городской газеты Размоловым, тот предложил отреагировать на спектакль рецензией. Ларионов не то чтобы изъявил согласие, но и не отказался. Поднавык обходить ямы, вырытые ближними.

Пожалуйста, он напишет, что искусство – это мираж в пустыне, грандиозная

фантастическая реальность, очень далёкая от мистики и запредела, и, тем не менее - уход от действительности: в прошлое ли, в будущее, в дебри хроник, в катакомбы религиозных прозрений. Некая египетская тоска по суше обетованной и сотворение фантома, но человечески осмысленного и образно постижимого. А прочее - пиротехника.

Потом порассуждает о зрителе, без него никак нельзя, бо искусство принадлежит ему, как написано пером и вырублено топором на советских скрижалях.

Зритель хочет тайны. Красивой смерти. В крайнем случае, счастливого конца. Театралы, пожиратели литературной падали, не в счёт, знатоки продажны как перекупщики.

Но откуда возьмётся тайна, когда и по радио и по телевизору идут одни и те же оптимистические трагедии, и что не дослушаешь в поликлинике, дорасскажут в керосиновой лавке. И не до красоты, потому что человек в маленьком городе, точно муха под микроскопом, лапками вверх. Зачем ему трепыхаться, привлекая к себе внимание? Да ещё голову ломать: у кого стрельнуть десятку, что надеть, с кем детей оставить. И лимонад в магазине дешевле буфетного. И настроение у человека со средним заработком, как правило, ниже среднего. К тому же на сцене он увидит не Железного Феликса, а Фельку-артиста, отца пятерых детей от разных жён, с которым он каждое утро опохмеляется в пельменной. А работяге, весь день простоявшему у станка и ни на минуту не забывающему мать своих товарищей по коллективу, или той же матери, угоревшей у плиты, и вовсе не интересны производственные конфликты и свары стряпух, как бы счастливо они там не кончались.

Конечно, Размолов тиснет на первой полосе вместо передовицы.

Ларионов пришёл на свидание за полчаса до начала спектакля. Именно в этом промежутке может произойти то необыкновенное, на что способен даже самый захудалый театр.

В семь часов вспыхнули люстры в фойе, осветился парадный вход. Заметались распорядители в чёрных смокингах, узкие как стрижи. В кружевных блузках выпорхнули кассирши и звонко защебетали, обживая билетные гнёзда. Натужно смеясь, подталкивая друг друга локтями, группами потянулись рабочие, старшеклассники, курсанты лётного училища. Жертвы аншлагов, пушечное мясо культпоходов.

Первый звонок, как выстрел в тумане. Никого не убили, но все повылезли из окопов и распластались на бруствере. Второй - сигнал к атаке. Хватило полвздоха, чтобы пустынное поле вестибюля запотело от взрывов шёпота и скрежета восклицаний. Остальное легко довообразить: свалка в гардеробной, топтанье в фойе, увешанном томными портретами артистов и призывами крепить культуру, давка в буфете и надо всем - сизый запах слежавшейся шерсти и выдохшегося лимонада.

Самые прыткие уже в зале, снисходительно поглядывают на входящих. «И вы здесь, Иван Иваныч?» «Как же, как же», с конфузливым гонорком. Последний раз был до войны, а как же.

Но ложи блещут, нетерпение растёт. Всё томительно: бархат кресел, шорох программок, сливочная шея в пятом ряду... кто такая, почему не знаю? И прямо в сердце - третий звонок.

Сосновы пришли в последнюю минуту. Ольга, длинноносая очкастая девица с бледными, словно сваренными на пару губами, промямлила: «очень приятно», он с чувством

пожал ей варежку. Мужа она называла по имени-отчеству и во множественном числе: «они виноваты, всё прихорашивались». Соснов, определённо, артист.

Их места в партере были заняты школьниками, сидевшими по двое в кресле, но едва начали выяснять отношения, грянула музыка и занавес поплыл. Сгорбившись, отовсюду шикали, стали пробираться в бельэтаж. Ольга роняла то сумку, то бинокль, спотыкалась и хватала Ларионова за фалды. Наконец разместились. Он, барбос, посреди, а пунцовые от переживаний супруги по бокам.

На сцене полным ходом шла любовная перепалка.

- Верочка, - дунул в ухо Соснов.

И без Верочки было ясно - мираж не заработал. Так, парочка облезлых верблюдов и кустики ихней колючки. Да ещё песок на зубах.

- Туфли жмут, - пожаловалась Ольга мужу, перегибаясь через Ларионова. - Может, сбегаете в раздевалку за сапогами?

- Терпи, коза, - хохотнул Соснов.

Ольга шмыгнула носом и, нашарив в сумке платок, обиженно высморкалась.

- Всегда они так, сначала уговорят, а потом иронизируют.

Мать моя родина. Сказать, что схватило сердце? Плитку забыл выключить? Не поверят, а то и «скорую» вызовут. Терпи, козёл.

Верочка уже отплясывала задорный студенческий трепачок, вскидывая крупные (излюбленные бунинские) колени, выпирающие, как грыжа у вчерашнего корешка. Попутно всплыла академическая «лира зада». Ну и что с того, что непревзойдённый стилист, увидел и закрутил. Мы тоже могём: «рапсод разинул кифару», «пелтаст размахнулся и двинул его по цимбалам». Правда, у греков кимвал, а у нас цензура и с попутчиками нам не по пути.

Но почему крупные, что в том хорошего? Пусть бы круглые, полные или уж острые, как у истеричек, дополнительный штрих. Откуда в сухом господине крестьянский смак? И лиру-то заприметил не на вокзале, а в церкви, во время молитвы, вместе с «каблучками лёгкой изящной обуви». А какие колени у Аньки? Даже не посмотрел. Настежь открыты, что вываливаться из окна? Забавненькая инверсия.

Ларионов зевнул и принялся разглядывать публику. Лица непохожие, а выражение общее, трудящееся. На балконе мелькнуло Анино лицо. Он приподнялся, Соснов за ним.

- Знакомая?

- Нет, ошибся.

Она. Сидит не дышит.

Кое-как дождался антракта, но супруги зажали и вывели в фойе, как видно, напоказ. Началась томительная процедура приветствий и рекомендаций. Квелая туша с мысленным взором стервятника, директор телестудии, армянин, сын идёт по стопам; абрек в сверкающем пиджаке, перстень с печаткой, рвач, то есть зубник, две машины, жена с дипломом; инструктор горкома ВЛКСМ Клава Безотказная, не фамилия - прозвище, за бесхребетность и гуманизм, «з Полтавы»; некто плюгавый с фотоаппаратом на шее, вчера справил возраст Христа, не шумер. Странный местный обычай: едва сойдясь, спешат выложить анкетные данные, словно боятся, что их заподозрят в недоносительстве.

Подошёл громадный Размолов. Лицо мясистое, жуликоватое, кабаньи глазки, сочные земляничные губы. И бьющая через край классовая энергия. Бывший литейщик, выдвиженец, что-то кончает в Москве.

- Это здорово, что филолог, - одобрил. - Вот и напишите нам о спектакле, блесните

столичным слогом.

Голос неожиданно густой, с переливами. Бывший гармонист? Но говорил Размолов с напором, не просил, а загонял в угол.

- Строк на сто пятьдесят и желательно побыстрей.

- Пить хочется, - жалобно протянула Ольга, переминаясь с ноги на ногу.

- Сейчас сделаем, - бодро отозвался Соснов.

- Вы идите, - вильнул Ларионов, - я вас догоню.

- Витя сказал, что вы защитились, - продолжал Размолов, откинув пятерней кудрявый чуб, - а на вид помладше меня будете. Когда это вы успели?

Где-то между бритьём и вторым завтраком. Ну какой был смысл отвечать?

- Нам, заочникам...

- Извините, - рванулся он. - Аня, подожди!

Она поднималась по лестнице в сопровождении неизменного Петьки. Облегающий свитер, куцая юбчонка, колени... к чёрту, волосы - взрыв на макаронной фабрике, школьный юмор.

- На два слова. - И потащил в раздевалку.

Петька остался стоять в высоком (на лестнице) раздумье.

- Помоги удрать, не бросай друга в беде.

Молча отдала ему свой номерок, отступила в сторону и сделала Петьке прощальный знак – скрестила запястья. «Кончай», как велит старшой, сворачивая работу.

Помог ей одеться, приобнял за плечи, но погас свет, а в темноте шутки плохи.

Вслепую выбрались из помертвевшего вестибюля на ярко освещённую улицу. Сыпался мягкий снежок, но было тепло и расторможено. От фонарей на дорогу ложились сиреневые наэлектризованные тени, сквозь рыхлые комья слякоти чернела пригарь асфальта. Театральный разъезд, шапочный разбор.

Они прошли мимо «сталинского» сквера, так и называли, хотя и памятник и пьедестал давно свезли в песчаный карьер и раздробили; мимо магазина детской одежды с манекенчиками в витрине, горсобеса, пединститута; и кривыми улочками спустились к реке.

С тяжёлым шумом неслась вода, чуть прихваченная у берега ледком, низко нависали ракиты, придавленные пластами ещё не примёрзшего к ветвям снега и вдруг опадавшего ворохом мокрых хлопьев. И небо висело низко, беззвёздно, зимний ночной мир сузился до размеров кипарисового ларца.

- Ты удивительная девочка, - насилу разрешился Ларионов. - Ты умеешь великолепно молчать. Тебя этому научили?

Зарывшись подбородком в горловину свитера, она исподлобья смотрела на далёкие огни за рекой. Руки по локоть в рукавах полупальто. Самодельная муфта.

- Привыкла. У нас дома только «дай» и «на».

Он хотел сказать, что и они могли бы обойтись этими исчерпывающими словами, но благоразумно промолчал.

- Не дружите?

Правая бровь задралась выше левой. Асимметрический сдвиг.

- Наоборот. И так всё понятно.

- И со мной тоже?

- В общем, да.

- Счастливая.

Он вспомнил сокурсника, пермского вахлачка, который любое возражение опровергал упрёком: «тебе хорошо, ты сало ешь». Сало водилось только у него, и об этом знали все в общежитии.

- А я устал. Поднимите мне веки. - Опять потух огонёк, хрустнула ветка, бум-с. Он спохватился: - Это я Гоголя цитирую.

- Вы от себя устали, - еле слышно произнесла. - Вам надо...

- Ну да, жениться или завести рабыню.

Что-то похожее на ужас метнулось в её глазах, она попятилась, побледнела, сразу стали заметны мелкие родинки, разбрызганные по щекам. Ларионов скатал снежок и раздавил его в кулаке.

- Можно я тебя поцелую?

- Лучше пойдём, у меня ноги промокли.

Он подхватил её, лёгкую, подкинул, чтобы взять половчей, и накрепко удержал. Ойкнула и вцепилась в него, с захлёбом. Колени маленькие и круглые, настоящие чашечки, как на телеграфных столбах. Твёрдо пошагал наверх, «не бойся, не уроню». Рыжие пружинистые волосы щекотали ему лицо, дыхание прожигало грудь. Не такая уж и легкая. Шёл бы и шёл. Запах её и тяжесть, и эта первая, ещё нестрашная близость всё сказали ему, о чём и мечтать не смел.

Подъём внезапно кончился. Ларионов осторожно опустил Аню на землю, скользнув губами по её раскрытым губам. Вышло непроизвольно, но не спал же он на ходу.

Чудом поймали заблудившееся такси, впрыгнули разом, обоих била дрожь. Аня припала к его плечу, он грел ей окоченевшие руки, «выпей чаю с малиной». Проводил до калитки, исцеловал с головы до пят (взглядом, взглядом, слава богу, в уме) и попросил (потребовал):

- Позови меня в гости.

- В субботу. После шести.

- Ты удивительная девочка.

- Мне просто всё надоело.

- Что надоело?! - крикнул вслед.

- Всё!

Он ничего не понял, ровным счётом ничего.

Глава 12

Их медовый месяц длился девять с половиной дней. Свадьбу сыграли под Новый год. Напрасно переживали, что гости не соберутся, праздник-то домашний, со стариками, роднёй, и вьюга как назло разыгралась, весь двор завалило снегом.

Явились вовремя и в полном составе, да ещё незнакомца по пути прихватили, заснул в подъезде. «Приехал к тётке из Могилёва, а на Курском ограбили, и паспорт сняли, и тёткин адрес, и тыщу рублёв, ну подчистую». Ядовитый Сенечка не удержался: «таки на Киевском». Набросились, как не стыдно, человек в расстройстве, сам не знает что говорит. Пустили по кругу шапку, набрали с верхом, и на обратный билет и на перекусить. Потом еле утихомирили, «впал в радость»: гнул вилки, глотал горящие спички. Но как было весело, и Лёва сказал: «Это на всю жизнь».

В семь вечера ворвались с обыском. Два ванька с винтовками встали у двери; понятые, якобы соседи, сроду их не видели, прилипли к окнам. Главный, судя по тому, как отдавал лающие команды, уселся на стол, смахнув только что законченный ею конспект завтрашней лекции. Половина его лица была обезображена бурым родимым пятном с проросшими чёрными волосками, и в ней шевельнулась жалость, не отвращение. Двое подручных рылись в бумагах, книгах, фотографии из альбома бросали на пол, наступали на них, оставляя рваные следы.

Вот она шестилетняя, «фаечка-фуфаечка», как дразнила мама, с букварём в обнимку; переснятая вырезка из «Комсомолки»: Лёве вручают патент на изобретение; их школьный выпуск, «виньетка»: овальные портретики с фамилиями, выведенными печатными буквами, сверху пропись: «Дело Ленина живёт и побеждает»; отец с мамой, на даче, он сидит на траве, она на скамейке, напяливает на него свою панаму, смеются.

Интересно, подумала, их специально натаскивают, как ищеек, или навык приходит с опытом? У неё бы не вышло пролистать двенадцать томов Карамзинской «Истории...» в считанные минуты, да ещё залипая на каждой заложенной странице. Научить бы этих умельцев читать, цены бы им не было. В голову лезли какие-то посторонние, приблизительные мысли, мешая сосредоточиться и понять: что происходит, наяву ли?

- Паспорт, военный билет, - поторапливал главный.

- Я туберкулёзный, - оправдывался Лёва, - меня комиссовали, честное слово! Фая, где наша синяя папочка с документами?

- Как воевать, - последовал сложный семантический ряд, - так все кровью харкают.

Война? растерялась она, какая война? В Испании? Но если бы объявили всеобщую мобилизацию, прислали бы повестку, вызвали в комиссариат, да и в интербригады идут добровольно, не под конвоем. Арест?

- В комоде, я говорю, в нижнем ящичке, Фая, посмотри, пожалуйста.

- Стоять! - Главный с кошачьей ловкостью спрыгнул со стола. - Где прячешь валюту, гад?

Лёва беспомощно улыбнулся и вывернул карманы: ключи, трёшницы, мелочь, смятые квитанции. Припомнилось, что, уходя, «тётка» полез в карман и выронил новенькую сторублёвку. Таких купюр в шапку не кидали, откуда они у них, бессребреников?

- Смешливый какой, - оскалился главный и побурел второй половиной лица. - А ну, пакуй барахло, жидовская подстилка!

Лёва заплакал. Она кинулась искать тёплые вещи, но всё куда-то вдруг запропастилось. Запихала в рюкзак лыжный свитер, свою душегрейку, две пары простых носков и один шерстяной, второй так и не отыскался.

Лёву уже уводили. Он словно одеревенел, даже попрощаться забыл. Она обняла его вдогонку, со спины, поцеловала в жёсткий ворс пальто, купленного недавно, к свадьбе, как он радовался... Лёва потёрся подбородком о её руки и ничего не сказал.

Только на лестнице, толкали вниз, прикладами и ногами, он опомнился и рванулся к ней, крикнул:

- Передай маме, что я вас безумно, безумно люблю!

Её взяли на следующий день.

Глава 13

Ещё по приезде он затеял одну афёру с подачи Генки Гуляева, приятеля по филфаку, теперь заправлявшего прозой в Краснодарском книжном издательстве. В плане будущего года стояла книженция об истории города Армавира, и Генка, они изредка перезванивались, предложил ему «осветить период 50-х годов». Ларионов, не раздумывая, согласился: и деньги, и слава, и работка, не сопряжённая с творческими муками. Жирного грека не было и в помине, и рыжая девочка не застилала глаз, нечего было ломаться.

Итак, сказание о граде Армавире обрастало шерстью. Начал он веселенько, с ударением на третье «е», попрыгал козликом на зелёном лужке… и сорвался с привязи. Лес дремучий, стоокий. Ободрал бока о колючки, полез в рассуждизмы. Сквозь лирические кудри пробились филологические рога. Ну и пошёл бодаться направо и налево, эдакая тетюшанская дереза.

В городском музее познакомился с Игорем Вячеславовичем, здешней краеведческой знаменитостью, занозистым правильным старичком. Когда-то он, быв школьным учителем, тихо преподавал историю. Выйдя на пенсию, решил отыграться на прославившихся земляках и заодно «приложить руку», его слова, к археологическим находкам, весьма сомнительного происхождения. Он уже разработал свою методику датировки скифских сокровищ (бронзовый шлем с шишаком и с полпуда глиняных черепушек), а также «оригинальнейшую систему отбора архивных данных». Всё это было не смешно. Однако с энтузиастом считались, и он умело пользовался авторитетом: на всех открытых собраниях заседал в президиуме, нёс скифскую туфту и цитировал бессмертных автохтонов.

В каждом захолустном городке есть свой дурачок и свой сумасшедший. Игорь Вячеславович находился где-то на полпути от одного к другому. Для дурачка он был слишком хитёр, а для сумасшедшего недостаточно искренен. Но благодаря ему Ларионов получил допуск к архиву и с удовольствием глотал пыль раскуроченных курганов и раскулаченных хуторов, осевшую в папках под астрономическими номерами, как то: 11 583. Неплохая задачка для блаженной памяти Зигмунда, любителя цифровой символики.

Сегодняшний день Ларионов решил посвятить другу Гуляеву.

- На всякий случай изложите мне вашу автобиографию, - скороговоркой выпалил Игорь Вячеславович, забежав к нему поздороваться и заодно попрощаться, очень спешил. - В двух экземплярах, через два интервала, и фоточка «молодые годы». Могу заверить, что пригодится, у меня чутьё на всякую будущность. Когда и где печатались, где учились, пару строк о родной Кубани.

- Родной? - обалдел Ларионов.

- Ну а как же, - ласково пожурил дедушка по скифской бабушке. - Во-первых, «и всё вокруг народное и всё вокруг моё», а во-вторых, почва у нас такая, благодатная, что ни прибьётся, тут же корни пускает. Ай нет?

- В широком смысле, - отмахнулся.

- Вот, горячо приветствую вашу широту. Мы с вами ещё развернёмся, не сомневайтесь, и слух об нас пройдёт по всей Кубани... Вы же пушкинист, а значит, патриот.

Ага, подумал Ларионов, самое время объявиться певцом родной Эфиопии.

- У меня все таланты тут лежат. - Игорь Вячеславович постучал кулачком по драному портфелю. - И Савва Дангулов, скоро открою его личный музей, и Боря Каспаров с Юрой Крутовым, и ещё кое-кто, даже красивая женщина есть. Хотите, карточку покажу?

- Не надо, - взмолился Ларионов.

- Смелей, мой друг! В вашем возрасте я был влюбчив, как... - Он запнулся, не мог

подыскать достойного кролика или петуха. - Да что там, горел как свеча!

Только бы не стал рассказывать о последней жене, мысленно обратился к небу Ларионов.

- И сейчас горю, - загадочно улыбнулся краевед.

Ларионов с ненавистью отвернулся от неба.

Глава 14

Привезли в воронке, вытолкнули во двор. Отпечаталось, как на моментальном снимке: свинцовые ворота, подъезд с фонарём в проволочной сетке, сверкающий снег. И гулкая давящая теснота, словно находишься на дне высохшего колодца. Встала на цыпочки, чтобы разглядеть соседние здания, понять, где это. Везли долго, минут сорок, но по дороге, перед высадкой, расслышала бой Спасских курантов, восемь басовых ударов. Померещилось или нарочно петляли, сбивая с толку? Не могли столько времени добираться с Новослободки, неслись как угорелые.

В глаза бросился скат крыши неосвещённого дома и бледный месяц, выкатившийся из-за туч. Стукнули по затылку, упала, очки отлетели. Ползала, шарила в темноте. Загадала: найду - спасусь. Нашла на звук, хрустнули под коленом.

Камера два метра на полтора, душегубка? с глухой цельнометаллической дверью. Мужчины и женщины впритирку, лица каменные, по очереди затягиваются папиросой. Дышать нечем, хотя в квадратном отверстии под потолком нет стекла, из-под намордника сочится студенистая хмарь. Прилепилась сбоку, на полусогнутых, пересчитала: четырнадцать голов. Очки запотели, хотела снять их и протереть, но выпростать руки не удалось. Так всё и запомнилось сквозь муть и трещины.

Допрашивал следователь Е.Р. Моложавый румяный, упитанный, в новеньком френче, без конца оглаживал, с виду почти добродушный, если бы не привычка отводить глаза. Начал издалека: расспрашивал о родителях, о работе, «а помните ёлку в Сокольниках в двадцать восьмом? какой был каток! бегали на снегурках?» Нет, усмехнулась, я в это время кандидатский минимум сдавала. Рассыпался бисером, «да, запамятовал». Внезапно сделал страдальческое лицо.

- Но вы же учёный, умная женщина, как вы могли... запятнать себя браком с таким ничтожеством?

- Это ошибка, - бросилась переубеждать, ещё на что-то надеялась, - он талантливый физик и порядочный человек, это ваша ошибка.

- Нет, уважаемая, не наша... мы тут такую рыбину вздёрнули на крючок... И что любопытно: рыба, а заговорила человеческим голосом... мы и смекнули, что золотая...

От добродушия не осталось и следа.

- А что чудотворнице делать в спокойной воде? Известно что: мутить да подлавливать дурачин-простофиль... сказочки-то для них писаны...

Он расщеплял интонацию в конце каждой фразы и сладостно ею вибрировал.

- А мы её цап! и на стол... Много чего узнали: и где щуки прячутся и где раки зимуют, и где ваш паучок... ножками сучит.

Ей стало дурно, показалось, что куда-то летит, но не вниз, а по кругу, как на карусели. Заботливо пощупал пульс. Смочил водой из графина вафельное полотенце и, аккуратно

сложив его вчетверо, положил на лоб.

- Поняли, о ком говорю?

- Нет.

- А что ж так разволновались? - Похлопал себя по карманам, извлёк янтарный мундштук. - Не верю я вам, ой не верю...

Не соображала, день или ночь, допрос длился несколько часов, вся затекла, держалась краем сознания - только бы Лёве не повредить.

- Бывали, бывали, он сам сказал...

- Кто? Где?

- А вы не уплывайте, рыбонька моя... - И грохнул кулаком по столу. - Вобла! Подстилка жидовская!

Сразу отрезвела, но нервы не выдержали резкого перехода, и вырвался смех. Что это у них, рабочий термин?

Хлестал по щекам полотенцем, выкрикивал что-то отборное, замысловатое, лексически невообразимое. Ещё немного посижу, уже хохотала в голос, и накатаю учебник по ломовому фольклору. Истерика закончилась слезами и затяжной изматывающей икотой. Потом отупение, паралич.

- Авансы исчерпаны, - подытожил Е.Р.

Его физиономия вновь подобрела, разгладилась и приобрела сытое выражение, постепенно переходящее в сосредоточенность. Она почувствовала: сейчас начнётся страшное.

- Имена, адреса, контакты по вертикали. Итак, когда Ларионов привлёк вас к работе?

Глава 15

У примуса возилась соседка, неряшливая баба с перетянутым животом, и Ларионов проворно (коммунальный рефлекс) спрятал цветы за спину. Бабе того и надо было. Удовлетворённо гыкнув, перегородила ему дорогу.

- Кто такой?

- К Чеханцовым. С официальным визитом.

- Нету хозяина.

- Я к хозяйке.

Дёрнула поросячьим носом.

- Ань, ты дома? Тут до тебя пришли!

- Пусть войдут.

Аня пришивала пуговицу к мужскому пиджаку, примостившись на валике дивана, как присаживаются на чемодан в ожидании поезда, готовность номер один.

- Привет, - протянула, - я сейчас.

И откусила нитку. Очаровательный женский жест.

Ларионов положил метёлку на стол. Свежезамороженные гвоздики, раздобытые по сосновскому блату, не трепыхались, и барышня бровью не повела, чтобы выразить своё удивление или благодарность. Но в комнате чистенько, как в амбулатории: диван обтянут бязевым чехлом, на столе опрятная скатёрка, кровать застелена перекрахмаленным пикейным покрывалом.

- Болеем, - сказала, дёрнув плечом.

Ларионов пристально посмотрел на неё: а ну как читает мысли? Не разберёшь - глаза хитрющие зеленющие.

- А что с тобой?

- «Сердечный друг, я нездорова».

Он смутился, роль няньки показалась ему унизительной.

- Я не умею давать советы, но ходи-ка ты в валенках, не форси.

Воткнула иголку в подушечку, вышитую болгарским крестом, какие обычно дарят мамам на 8 марта, и, вынув из шкафа плечики, повесила на них пиджак. Взяла с тумбочки пластмассовый оранжевый сосуд с узким горлом (как же, милосская амфора, по-милосски безрукая), зачем-то заглянула внутрь и дунула. Он тайком ею любовался. Всё, что ни делала, выходило живо и естественно, как растёт трава, получаются дети, происходит невероятное.

В коридоре забулькала вода. Амфора вернулась на тумбочку.

- А я не умею ахать.

Вот так пауза. И откуда в расслабленном существе столько выдержки? От верблюда. Тут хоть понятно, не то что с бунинским смаком.

- Ну и не ахай, - сказал, направляясь к вешалке, чтобы достать из пальто сигареты.

Решила, что уходит, и приросла к полу.

- Я закурю?

- Кур-рите.

Что и требовалось доказать.

Присела на корточки перед печкой, прочистила кочергой колосники и задвинула в пекло совок угля и две чурки. Ничего лирического. И тапочки со стоптанными задниками.

- Вам чаю заварить или кофе? - Голос ещё дрожал.

- Кофе.

Двигалась легко, но порывисто. Чуть не перевернула стул, наткнулась на этажерку, приложилась к печке. Поди все бёдра в синяках.

- Крепкий или слабосильный?

- Чтоб ложка стояла.

Коврик с попугаями и привет из Дедеркоя куда-то исчезли, и птичка упорхнула, какая жалость. Ларионов бросил окурок в поддувало, не дождавшись, когда ему принесут пепельницу, походил по комнате и оседлал расшатанный стул. Надо было о чём-то говорить, но он не находил слов или не там их искал - в глубоком вырезе аниной кофты роились родинки, классическая мошкара, летящая на пламя.

- Да... - сказал Ларионов.

Пожала плечами, «ну и что». Неужели всё понимает?

- Какие успехи?

- Бешеные. Пару схватила. Сочинение по «Евгению Онегину». Написала что думаю, да ещё пушкинской строфой.

- Например.

- «Но, боже мой, какая дура!» Это про Татьяну.

- Догадываюсь. Знаешь, что такое ямб?

- Знаю что ямб, но он до меня не доходит, я по слуху пишу.

- Покажи.

Принесла листок, вырванный из тетради, с жирной двойкой за содержание и хиленькой

пятёркой за грамматику. Метриопатия a la russe. Он начал читать.

Нет, счастье было невозможно.
Да, счастья требовать нельзя.
Татьяна слишком осторожна -
кругом вельможи и князья,
к тому же цельная натура...
Но, боже мой, какая дура!
А я б всю жизнь его ждала,
себя взаймы не отдала,
я б не могла его оставить,
на что мне гордость, слава, честь,
ведь я не лучше, чем я есть,
ведь я люблю, к чему лукавить?
Пускай душа его темна -
я буду век ему верна.

Ларионов повеселел.

- А что, даже неплохо, слух у тебя есть. Не поленись, выправь вельмож и князей, это одно и то же.

- Зачем? Я свою задачу выполнила, теперь пусть Борискина мечет икру, а мои рыбки уже плавают. Ну Борискина, русский и литература.

- Я бы тебе две пятёрки поставил.

- И я...

Запрокинула кудлатую голову и мечтательно уставилась в потолок. Кофта натянулась, и высветились перепады всяких низменностей и возвышенностей.

Он вдруг ляпнул:

- Росла бы ты быстрей, радость моя.

Она подошла к нему сзади, наклонилась и обвила руками. Он упёрся лопатками в её твёрдые груди, совсем о ней не подумал, а о том, как бы подстраховаться на случай паденья, - стул под ним нещадно трещал. Довёл мысль до конца и спросил:

- Где мой кофе?

Налетела на ширму, наступила на кочергу. В чашке с отбитой ручкой плавала светло-коричневая гуща, смесь ячменя с цикорием, общепитовский суррогат. Села напротив, не поднимая глаз.

- Что тебе надоело? - Еле дотерпел, подмывало с воскресенья. - Только не выкай.

- А мыкать можно?

- Сколько влезет.

- Мне надоели мы.

На этажерке бухал будильник, в печке гудело пламя. Он засёк время - прошло восемь минут. Аня выдерживала характер. Он ждал объяснений и прислушивался к ноющей боли под сердцем.

В дверь просунулась соседка.

- Ань, у тебя сольцы не найдётся?

- В коридоре, за примусом.

- Ага, так я отсыплю маненько?

- Отсыпьте.

Ещё три минуты ждали, пока уберётся из коридора.

- Проверка документов. - Сквозь зубы, сузив глаза. Совершенно женская злая реакция. - За своим бы греком следила.

- Греком?!

- Что вы так испугались? Муж её, могильщик пролетариата. На кладбище работает, плиты долбит: родился минус умер. Любимая присказка: «шёл грека через реку».

Ларионова затрясло. Он перегнулся через стол и изо всей силы сжал её руки.

- Я тебя прошу, я тебя умоляю, держись от него подальше, если что... я его убью...

Вырвалась и отбежала к тумбочке. Зажгла лампу и потушила, зажгла и потушила, зажгла и поправила занавеску, потушила, зажгла. Будильник отщёлкал пять минут.

- Ну сделайте что-нибудь, хоть чашку разбейте!

Ларионов докурил сигарету.

- Ну хоть уйдите.

Натянул пальто, обмотал шею шарфом, надвинул на лоб шляпу. Спросил не оборачиваясь:

- Чего ты от меня хочешь?

- Чтоб у нас было много детей и чтоб мы умерли в один день и час.

Она не соображала, что говорила, она казалась себе очень умной и взрослой.

- Что ты понимаешь, - сказал через силу, - что ты сочиняешь... Я умер сразу, как увидел тебя.

И толчком распахнул дверь. Соседка отлетела к стене.

Глава 16

Он взял её, как последнюю девку. Повалил на пол и обмотал голову подолом платья. Она царапалась, поджимала ноги и норовила ударить в живот. Он разломил ей колени, с хрустом, как яблоко...

Любящие Маяковского! Читайте Маяковского! Плюйте в сердца!

Но ему, эфиопу, этого хотелось. Да, стыдненько. Зато честненько. Гнал от себя чумные бациллы, но уже был ими заражён: зрели бубоны в паху, раздувались узлы под мышками. Пробовал лечиться водкой, не помогло, враньё.

А «бубон» на греческом и есть пах. Неудачно перевели, но как удачно подметил. Он уже и думать не может просто так. Ковыряется в каждой мысли, отделывает её, придаёт ей художественную форму. Бегает, как пёс за собственным хвостом. Карантин, карантин, до полного уточнения диагноза.

Дважды приходила Аня, оставляла записки. Первая: «Где вы?» Последняя: «Где ты?» Прямо и бесповоротно. Он тоже не сдвинулся, стоял на своём, как общий памятник, сработанный рабами.

Лида возобновила односторонние переговоры. Всё-таки потащился к ней, приспичило. Скорчила рожу, как обещала, и невесту припомнила и божий день, а ночевать пустила. До утра что-то молол, пока крыша не поехала. Потом слонялся по комнате, лапал безделушки, перевернул горшок с алоэ, совсем одурел. Лиду это несколько успокоило.

- Ты бы женился на мне, заболеешь, - сказала с издёвкой, но без обычной

язвительности.

- И не мечтай, - отрезал, - здоров как микенский бык. Седьмой подвиг Геракла.

- Критский, - злорадно поправила.

Она и в постели оставалась учительницей.

- Нет, дорогая, и на Крите и в Аттике он был заурядным бешеным быком, а в Микены прибыл как равный под равным.

- Тебя погубят твои аналогии.

- Не известно, что хуже.

- А ты подумай на досуге. Я относительно умная и положительно добрая.

- Куда прикажешь отнести и положить?

- Ну не можешь без словоблудства, прёшь, как паровоз.

Он покрыл поцелуями её крупные (на этот раз пастернаковские) руки, дрожа от признательности и раскаяния. Лида пустила в ход им созданный паровоз и сделалась близкой, почти родной, и параллели легли, как рельсы, заколачивая образ и освобождая путь.

- Проси что хочешь, - погнал во всю прыть, - по-царски воздам, проси, моя безотказная, жизни не пожалею.

Будь она действительно умной, воспользовалась бы моментом и выторговала себе пай в их паровозной кампании, будь доброй, не взбеленилась бы.

- Опять за своё?

- За твоё.

Пар вышел, колёса крутились вхолостую. Опять. О, пять обманутых чувств.

- Нет, Лидка, - сказал, - с тобой каши не сваришь, уйду-ка я подобру-поздорову.

- Уж не в Микены?

- В Москву! в Москву! А оттуда в Ларнаку, восточное побережье Кипра. Нажрусь тарихоса и пропади всё пропадом.

- Ах, вот оно что, мальчик проголодался. У тебя, мой милый, не одно, а целых два животных начала, которые подавляют третье.

- Какое?

- Бездуховное.

Ларионов задумчиво выругался, не проронив ни слова.

- Хочешь топлёного молочка? Не дуйся, я пошутила.

- Ну, матушка, шутки шутками, а песня песней. Влез бы я на тебя, как на пальму с виноградными кистями, да режет мне слух это мудрое соломоново разночтение. Был бы я...

- Да пошёл ты!

И пошёл. По дороге клялся, божился, что никогда, ни ногой, человек он или нет?

Но, боже мой, как по ночам пели птицы… В третьем часу, ни свет, ни заря, на исходе марта, и не какие-нибудь приблудные галки-воробьи, а звонкогорлые, перелётные, хлебнувшие вольного ветра чужбины, сполоснувшие глотку жидким морским серебром. Жаль, не разбирался в пернатой зоологии и не знал, кто не даёт ему уснуть, чьи изумлённые трели, уговаривающий бормоток, и вслед за ними щёлканье, свист, исступлённый натиск рулады и обрыв... смертная мука любви. Боялся пошевельнуться: неужели всё? Но снова и снова, робко вопрошая, поднималось: «ты ли это, ты?» и с тем же упорством захлёбывалось и выдыхалось.

Желания не умирают, сказал себе Ларионов, они истощаются и нарастают.

Но кто пел? Грачи? Куда там, хотя облепили все скверы, тучно раскачивались на

ветвях, с важностью расхаживали по чернозёму. Дроздам рановато и уж заведомо не игривые лирохвосты. Кипрские ласточки? Кажется, не поют. Но щебечут, он читал.

Не так ли и Пигмалион ворочался на жёстком ложе бессонницы, вслушиваясь в ночные голоса? Жизнь уходила, и не было в ней возобновления. Девочка крепко спала. И умирало тысячелетье.

Он не просто устал, игра превратилась в пытку. Призраки, которых он выманил на божий свет, как рабыня вытянула из толпы жирного грека, уже не вились в воздухе, а удобно разместились в нём: ели, пили, хозяйничали, требовали исключительных прав.

Физически ощущал, что разрастается изнутри, как греческий полис: от затхлого капища с лужицей жертвенной крови к двускатному периптеру, окруженному лесом колонн; к площадям с разбегающимися от них уже не кривыми пыльными улочками, а проспектами, вымощенными спёкшимся кирпичом; вверх, разметав камышовые крыши хижин, к башням и стенам из тёсаного известняка; вниз, к фонтанам, мозаичным водоёмам в глубине фруктовых садов; и всей грудью вдохнув многоголосый акрополь, к торговым рядам, к сырцовой сыпи лачуг, обметавшей верхний город до нижних крепостных валов, до отвесных лестниц и покатых пандусов, присыпанных галькой; к раскалённым печам причала и а! с головой, в открытую гавань... понятно чего, «не дай мне бог сойти с ума», не дай, Александр Сергеевич.

Когда подходил к зеркалу, не узнавал себя, до того отощал и зарос. Дыховичный всё настойчивей призывал к внешнему облику, Фаина Марковна спрашивала, не задумал ли он ограбить банк.

А снег начал потихоньку таять. Блеснуло солнце, а с ним и слабая надежда, что скоро что-то изменится, если не к лучшему, то и не к худшему, а как бывает, когда свернёшь на боковую тропинку, где пробились первые анемичные фиалки.

Он продолжал писать, но длинно, скучно, путаясь в придаточных предложениях. От графоманства до писательства было так же далеко, как от гражданской казни до расстрела без суда и следствия. С поповской гривой он мог бы уже сойти за врага народа. С бородой стал похож на народовольца. Это его добило.

В воскресенье нагрянул нежданный гость, пожилой мужчина в железнодорожном кителе.

- Я Анин отец.

Пожал Ларионову руку, «Чеханцов», сел на единственный стул. Резкое обветренное лицо, по-крестьянски правильные черты. Ничего общего с Аней.

Ларионов облокотился о спинку кровати и приготовился слушать. Папаша не спешил. Снял фуражку с жестяной блямбой, изображающей скрещённые кувалды, покосился на свою ветеранскую планку и пригладил сивый бобрик.

- Я говорить не умею, - сразу предупредил. - Дело такое: я за Аню боюсь.

- Я тоже боюсь, - вяло поддержал Ларионов.

- Вбила себе в башку, что вы больной. Не ест и спит вполглаза, как сова.

- Я не болен.

- Сами ей скажите, мне не поверит. Да и не знает, что я у вас. Мне Петька, если по-честному, всё рассказал.

- Что «всё»?

Он был отработанный и берёг свои силы. Он просто-напросто промолчал. Спокойно смотрел на Ларионова и мял корявыми пальцами свой перпендей.

- Хорошо, я зайду.

Кивнул с одобрением, встал.

- Девчонке четырнадцать лет. Ей учиться надо. И дохлая она. - Он помялся. - Мать у неё была туберкулёзная. Поэтому боюсь.

Они обменялись суровым мужским рукопожатием.

- И это... будьте с ней построже. Дурная она.

- Понял, - поморщился Ларионов.

Так что там с яблоком? А, закон всемирного тяготения.

Глава 17

Пошёл одиннадцатый день её новой жизни. После допроса перевели в камеру попросторней, с нарами и круглым железным столом, привинченным к полу. Только женщины, она восемнадцатая.

- Светёлка, - шепнула соседка, - пятый этаж.

- Лефортово?

- Лубянка.

Спали по двое, тело сводила судорога. Вставать ночью строжайше запрещено, не исхитришься - свет горит круглосуточно, в глазок присматривают. Днём больше молчали, сидели, поджав ноги, как куры на насесте. Были и настоящие «наседки», но она, непуганая, в таких тонкостях ещё не разбиралась. Каждый день кого-то уводили, на их место прибывали новые. Текучесть чудовищная: за неполные две недели человекооборот составил сто шестьдесят семь человек. Наплыв объяснялся массовой чисткой, проводившейся по линии высшего образования. В числе врагов народа оказались и заслуженные пенсионеры, и вчерашние школьники. Самой юной, Танечке из педагогического, первокурснице, едва исполнилось семнадцать.

О ней словно забыли. Уже потом узнала о методе психической обработки: «идейных» выматывали ожиданием, нагнетали иллюстративный страх. Люди, попавшие в мясорубку случайно, искренне верившие, что своими признаниями они помогают следствию, промалывались молниеносно. Подлость была в том, что именно из них и формировалась основная масса лагерного потока. Ей это открылось как-то вдруг, когда соединила одно с другим, чтобы найти вывод, прямо по Екклесиасту.

Сошлась с «землячкой» Беллой, аспиранткой с истфака. Разговаривали фигурально.

- Ассоциация по смежности. Радонежский. Примыкает одесную. На грани. Очное отделение укомплектовано. Мне предложили полставки. Криофилы активизировались.

Это означало, что Ларионов находится в соседней справа камере, что у Беллы была с ним очная ставка, что Ларионов в плохом состоянии, что одноклеточные, то есть энкаведешники, что-то затевают.

Эзоповские побаски всегда имели успех у рабов, измождённых непосильным молчанием, но по иронии судьбы они стали классикой благодаря тиранам, предпочитавшим кривой смысл здравому. Без огласки горбун и заика, сброшенный со скалы и, может, поэтому осмелившийся заикнуться о пропасти, разделяющей слабых и сильных, не дохромал бы на своих «разных» (эзопос) ногах до наших баснословных времён. Надо

выжить, подумала, хотя бы для того, чтобы когда-нибудь рассказать об увиденном и услышанном. Но поверят ли, захотят поверить? Пройдёт несколько лет, и страшное настоящее станет прошлым, ностальгически светлым из прекрасного далека. Частью истории, в которой рабы и тираны время от времени меняются местами, как слагаемые, а суммарный результат всё тот же. Утешилась тем, что, понимая целое, легче примириться с частностями.

Видимо, их тарабарщина насторожила несушек, потому что Белле было приказано: «на выход с вещами», а ей: «на выход, руки назад».

И начались ежедневные многочасовые допросы. Версия строилась по схеме: разоблачена крупная контрреволюционная организация; налицо «пропаганда и агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву...» и т.п. (всего не упомнишь); Ларионов - один из руководителей-вдохновителей; Лёва, она и десятки их коллег - изменники Родины или выродки, соблазнённые валютными подачками «оттуда». Не поленились разъяснить: обвинение серьёзное, подпадает под три статьи.

Расчёт был прост. Обилие юридических терминов и зловещих формулировок ей, далёкой от правоведения, должно было внушить священный ужас, который по логике чувств вызывает потребность искупить вину чистосердечным раскаянием, замолить грех жертвой. Для пущей ясности угрозы подкреплялись отборной бранью. Внедряли настойчиво и убеждённо, что Ларионов «раскололся и замёл всех». Воровской жаргон в устах законников был настолько правдоподобен, что казалось: разыгрывается не трагедия, а пошлый фарс.

Это был беглый взгляд, со стороны, он исчерпывал и гадливость и любопытство. Помнила же прописную истину, что идея достоинства, без которой бессмысленно страдание человека, ставшего невольным участником фарса, и составляет основу трагического, как учил Аристотель. Но что, кроме отчаяния и недоумения, могла она противопоставить тем, для кого не существовало ни чести, ни стыда? Бросить вызов - собственноручно подписать себе смертный приговор. Сдаться и погубить других - то же самое, если не хуже. Вот уж не думала, что придётся переживать прямо-таки античные страсти. Выход был один: прикидываться умной добросовестной дурочкой, держаться, пока достанет сил.

Однажды ночью случился переполох. В коридоре топали, гремели ключами, что-то волокли. Крики и ругань доносились из правой камеры, в тишине можно было расслышать отдельные слова: «ах ты, падло», «тяни, сука», «цыть, зашибу!» Когда всё стихло, достучалась к соседям, ответили: профессор повесился.

На утреннем допросе потребовала очной ставки с Ларионовым. Еры вилял, но как бы проговорился: «оплошал старик».

В пересыльной тюрьме попыталась удавиться косой. Не вышло, у неё всегда были слабые руки.

Глава 18

Ларионов брился битый час. То мыло выскальзывало, то из станка выпадала бритва - всё пришло в негодность. Без бороды лицо вытянулось и одичало, даже в глазах появилась неандертальская сталь. Железо в палеолите? Неандерталь, ФРГ. Занимает первое место в Европе по выпуску стали. В глазах появилась немецкая, то есть не местная, то есть не

наша... оп! бритва поймана на лету.

И раньше был бледен и сух, но выручала улыбочка, ищущий (и не находящий) взгляд, ну, и необщее выраженье, выраженьице, снова вошедшее в моду. Красавчиком его считала только мама. Но женщинам нравился, почему бы и нет? Мальчик способный и старательный.

В пятом классе увлёкся мемуарной литературой. Похождения Казановы понравились больше, чем похождения Чичикова. С нарастающим интересом проштудировал де Молину, Мольера, Гофмана, Байрона и Пушкина. Нашёл много общего. Вдохновенный образ любовника всех времён и народов будоражил воображение и звал на подвиг.

Годы были глухие, конец сороковых. Завершалась четвёртая пятилетка, продолжалось восстановление порушенного войной хозяйства, увенчалась ещё одна одиссея - выселение кубанских, сухумских и приазовских греков в Среднюю Азию, всё чаще в газетах мелькало слово «космополит», что по-гречески «гражданин мира» (запустил Диоген), а по-советски, как написано в энциклопедии, «человек, лишённый чувства патриотизма», читай: жидок. Уши закладывало от бесконечных сплотиться вокруг и против, трудиться во имя и на благо, учиться ещё и ещё, как завещал и как... Спасение было в старых книгах и личных чувствах.

Однако многовековый опыт не пригодился. Кого могли умилить страстные письма, закапанные слезами, тайные свидания на могильных плитах, кошачьи серенады под балконом? Разве что сельскую учительницу или старую деву. Острые девочки, за которыми он ударял, любили тупых и богатых, тётеньки, зазывавшие на чаёк... чёрт, порезался.

Когда подрос и пообтёрся, выяснилось, что быть обольстителем - раз плюнуть. Плюнул и возобладал. Всего-то и требовалось: двумя-тремя намёками возбудить любопытство, смутить сомнительным комплиментом, обнадёжить и элегантно, под локоток, ввести в заблуждение (чего и добивались его инициативные ниночки и людочки), а потом, как ни в чём ни бывало, отсесть за дальний столик и, потягивая винцо-дрянцо, наблюдать, как разыгрывается женская «стихия», это неукротимое греческое «первоначало».

Но появилась рыжая девочка. И скрипел деревянный помост, и она стояла вся голенькая, насквозь просвеченная солнцем, и он, жирный грек, уже хотел её купить, и тридцати драхм в кожаном кошельке вполне хватило бы, и жарко, и перстни жмут, и... и... он, с его любовными талантами, с патрицианскими замашками (и римский нос) стоит, как дурак на площади, знака ждёт.

Не придуривайся, девочка выбрала тебя. Но той ли любви она хочет, крепкой, как смерть?

Ну и морда, лучше бы не брился. Совершенно чужой человек. Как вчера сказала тётя Дуся? В какой поезд ни сяду, всё еду не туда. Сын отбывал срок где-то под Краснодаром (по пьянке нахлобучил на милиционера гипсовую урну, тот отделался тяжёлым испугом, а этот двумя годами за хулиганство), и раз в месяц тётя Дуся ездила к нему на свиданку. Прямых поездов в Краснодар нет, да и нервничала «ужасть как, единственный сын и в тюряге, с бандитами и уркачами, а парень хороший, хоть и лентяй, насилу кончил семь классов, потому и вкалывал на Армалите, но зарплату отдавал до копейки, и не гулящий, вот только пить не умеет», короче, добиралась на перекладных, как он, нетудыка.

Где же эта благоуханная кёльнская водичка, eau de Cologne, переметнувшаяся из Французии в Московию? Здесь была, на третьей полке, видал он её в гробу. Попросить бы взамен вина и орехов, да кто даст?

«А вы похожи на деда. Не чертами. Жилкой. Ларионовской».

Небрежно отвесила, как жалуют шубу с плеча. А удавиться хотела, точно девка с

баштана. Оттого и вышутила «Верёвку».

В том, что ему рассказала Фаина Марковна, не было ничего неожиданно нового, и он не задал ей главного вопроса. Предательского.

Судьба деда давно обросла легендой, которая развивалась по законам собственного жанра. Былинный склад, драматическая интрига и первобытная дикость - всего в ней было с избытком. И душок, без которого не обходится ни одно народное предание. Проскальзывало мненьице (о, эти безличные предложения), что Ларионов стал жертвой бесспорно роковых обстоятельств, но жертвой предположительно добровольной. Якобы доверился извергам (вряд ли признался под пыткой, крепкий и вредный был старик) и невольно погубил всех, подшитых к его делу. А то, что повесился, лишнее тому подтверждение.

Ни глаженых брюк, ни чистых рубашек, страмота, тётя Дуся, страмота. Влез в густопсовый свитер с русопятскими загогулинами: на груди ёлки-палки, на спине Василий Блаженный о девяти шатрах, «привет из Казани», мамочкин юмор. На полдороге хватился пальто. Лень было возвращаться и припекало.

Аня мыла полы. Рукава хлюпающей кофты закатаны до плеч, цыплячья шея, ноги как палки. Разогнулась и обмерла. Всегда бледнела от страха, от стыда детка заливалась румянцем.

- Я не болен, - сказал Ларионов.

Тряпка свисала с руки, вода капала на пол, образуя трёхпалую лужицу.

- Никто не забыт и ничто не забыто.

Нижняя упрямая губа дрогнула, но улыбки не получилось.

- Дай домою.

- На.

Тёр усердно, окунал тряпку в ведро, выкручивал справа налево. Видел в кино, как это делается. Приметливый. Аня доваривала обед.

Управившись, пили чай (купеческий слог, мытищинского пошиба). Ларионов читал газету, заляпанную вареньем. На четвёртой полосе хмыкнул. «Встреча с прекрасным», называлась рецензия на пошехонский спектакль.

- «Нет слов выразить радость, - начал читать вслух, - от встречи с настоящим искусством...» пишет некто Котёночкин, мр-р, «...когда в душе поднимается волна гордости за наших современников». А что, волна - свежо.

- Нет слов - помалкивал бы, - поддакнула Аня и тревожно глянула на него. - Я злая?

- Я тоже. Из гуманных соображений.

Растянула губы, вроде бы улыбнулась, но это надо было видеть: пренебрежительно-снисходительно-укоряюще, как старые дамы выслушивают похабный анекдот.

- А я просто так. Злая, когда злюсь. Читаю газету и злюсь. Слушаю радио и злюсь. Иногда хочется быть древним греком, чтобы ничего не знать про наше светлое будущее.

Это было уже интересно. У Ларионова зачесались руки.

- Ну и кем бы ты была, рыжая девочка? Там, в Древней Греции? А вдруг рабыней?

Родинки прояснились, и на шее запрыгала голубая жилка. Жаль, что не ларионовская.

- А ты бы меня купил за тридцать сребреников.

«Ты». Она сказала: ты.

- В Греции драхмы.

Так вот откуда взялись у него тридцать драхм, а ведь зевнул. Правда, в библейском тексте фигурируют тетрадрахмы, да и вычитал где-то, что за эти деньги в гомеровскую

эпоху можно было приторговать до двадцати овец, а это неплохая цена за девственницу.

- Я старый жирный грек, на что мне рабыня?

- А зачем заводят кошек и собак?

Стоп. Уже похоже на розыгрыш.

- У меня нет ни дома, ни мышей. К тому же зверушки лезут в постель к хозяину, а я брезглив.

Ух, как вспыхнула. Ничего, в другой раз подумает перед тем, как брякнуть.

- А где твой котёнок?

- Сбежал. Или соседка прибила.

Что она там увидела под потолком? Странная девочка.

- А куда ты ходишь с портфелем по воскресеньям?

- Никуда. - Удивлённо нахмурилась, словно сама себя отчитала.

- Наша первая встреча состоялась в воскресенье, на берегу пустынных волн. Ты была с портфелем.

- В субботу.

- Ты ничего не путаешь?

- Я путаю всё, но не это.

Ларионов почувствовал острую боль в боку, словно ему воткнули в ребро раскалённый прут.

- Пишешь что-нибудь?

- Ага. «Души моей последняя услада - Эллада».

- А дальше?

- Не помню, что-то про эвридиток.

- Эвридик. Ты всё же собери свои перлы и покажи мне. Над стихами надо работать. Я буду приходить по субботам, скажем, в четыре часа. О'кэй?

Смотрела, не отрываясь, сквозь никуда. Она была невозможно красива.

С крыльца, провожая его, бросила:

- А ты всё-таки купил меня, жирный грек.

Он сделал вид, что не расслышал.

Глава 19

Ночью спал как убитый, а в воскресенье читал «Евгения Онегина». И был потрясён. До чего свеж и упруг пушкинский язык, как живо он проникает во все излучины мыслей, в закоулки сознания, в непролазные хляби чувств. Дар в чистом виде, вне временных и пространственных измерений, потому что сам и мера и ход событий. Воистину дух, сошедший с небес.

Здесь нет натяжки. Тридцати двух слов, отпущенных для понимания в племени тумба-юмба, вполне достаточно, чтобы выразить душу этой маленькой, но гордой общности, пожирающей себе подобных. Спасибо Тургеневу, высказался по существу: великий язык дан великому народу. Дескать, по Сеньке шапка и всем сёстрам по серьгам. Размах-то русский, да счёт немецкий. Ну много нас, ну и что с того, саранчи на полях не меньше, спросите у Пушкина, он воевал. Величие не величина, и «о, могучий» обязан своим рождением не безвестным баянам и протопопам, и не Сумарокову, настучавшему на

Ломоносова, и не Ломоносову, заклинателю од, и даже не Державину, а единственно - пушкинскому языку, на котором и через двести лет будем думать и говорить. Умей народ рождать гениев, их было бы всё-таки больше, и у французов и у китайцев. Позвольте, запальчиво возразит иной фольклорист, но и до Пушкина сочиняли и после него печатались, и ваша литература не весь язык. Да не о речи речь - о великости, а русская словесность и есть наша первая непреходящая слава. Не балет же.

Пушкин прост? У всех на слуху, на духу, зачитан, искомментирован и потребляем в огромных количествах и с неослабевающим интересом. Минуточку, уважаемые товарищи господа. Нам тоже изредка удаётся производить детей способом, как мы думаем, весьма доступным. Попробовали другим - чёрта с два. Резвость, бойкость, лёгкость, эти хрестоматийные дефиниции, о которых так долго болтали большевики, к Пушкину никак не относятся, а Пушкиным относятся, как встречным ветром, к ним самим. Нет у арапа белых черновиков, нет блудливой игривости, а сладостный труд ума и «могучей страстью очарован». Но что биться головой о стену, во все времена хватало «необходимых глупцов», пролезающих в мифы, как Авгий со своими конюшнями.

Положив сие, Ларионов решил, что жить как-никак придётся, и «в любви считаясь инвалидом», можно себя попробовать в другой полезной деятельности и даже реабилитироваться, если с умом сочетать постельный режим с мероприятиями по активизации в домашних и пограничных (с ними) условиях.

Он ещё не начал выздоравливать, но уже перестал болеть и занялся тем, чем положено заниматься нормальным людям. Сходил в парикмахерскую и расстался с бакенбардами, так напугавшими Аню. Состриг и гриву. С удовольствием бы носил суворовскую косицу, и лбина дай боже и затылок бугром, но и в Москве хихикали, а в этой дыре с полубоксами под горшок и подавно освищут.

Ну и волос, разбуркалась парикмахерша, щёлкая заржавелыми ножницами, железо и то не берёт. Все здесь, и грамотеи, говорили не «волосы», а «у вас красивый волос», «я волос отпустила», зоологический дублет. Бритва была отточена до синевы, но на сей раз девушке мешал его нос, и так им вертела и так, и наконец выдала: бог вас носом не обидел. Бог меня ничем не обидел, ответил и был приятно удивлён возвращением в форму.

За трёшку тётя Дуся выстирала ему рубашки и поменяла вне очереди постель, посуду вымыл сам. Идя навстречу многочисленным пожеланиям, нанёс визит Сосновым. Пробыл недолго, часика два, для приличия. И позвали его со скуки, не с чего было воспылать к нему любовью. Промолчали, но ведь обиделись, что не досидел до конца спектакля, не оценил Верунчика, не рассыпался в благодарностях за доставленное удовольствие. Витьлексеич на следующий день справился: «значит не обознались?» Ларионов приложил палец к губам, и оба остались довольны.

Сосновы с гордостью продемонстрировали преимущества устроенного быта, определяющего степень самодовольства. Югославская стенка, велюровый диван, кресла, назначенные для полной утраты двигательных функций, телевизор, подставки, столики и ни одной книги. В спальне не повернуться: торшеры, комоды, пуфики, трельяж, укладистый шифоньерище и «первая по качеству» (завидуй, Шекспир, не гостевая) кровать из заморских опилок. Дрова назывались то ли «Ганка», то ли «Мирна», то ли «Варта», но точно не «Мерседес», хотя идея прослеживалась.

Угощали скромней. Обед состоял из борща с переваренной капустой, нарубленной топором (потому что ножом шинкуют), из колбасы, «Зубровки» и консервированного компота. Спокойно поесть не дали, без конца расспрашивали. О себе говорили мало, им

было уже тоскливо наедине, но они ещё делали из этого тайну.

Ларионов всё расхвалил, в том числе и Ольгино вязанье (дырок больше, чем ниток), и тут же сочинил байку про встречу Нового года на подмосковной даче с девочками из кордебалета. Вставил несколько известных имён, фривольных подробностей, в общем, получился забавный святочный рассказ.

Нечто похожее приключилось и с ним, но балерины объелись пирожными и упились французским коньяком и португальским портвейном (как будто бывает иной коньяк и порто), и блевали из открытых окон на пышные росомашьи снега. А потом и напрочь всё спуталось, спарилось, и остался туман в голове и не менее знаменитая, чем коньяк, французская courbature (ломота и чрезмерная усталость после интенсивных физических упражнений).

Нет, что-то писательское в нём было, может, не в стиле и не в идеях, но волнение, которое его охватывало всякий раз, когда он растекался мыслию, белкою, лужею, было самым что ни на есть подлинным, чтобы не сказать безумным или священным, что одно и то же.

Ларионов очаровал Сосновых. Правда, показалось, что «они» уже не рад, что пустил козла в огород. Ольга раскраснелась, сняла очки и не сводила с Ларионова истомных блекло-выпуклых глаз. Зачем ему понадобилось искушать молодку, он и сам не знал. Быть может, чтобы себе доказать, что он ещё хоть куда, или натянуть нос Соснову, посмевшему усомниться, что столичный лев (или всё-таки козёл?) опасней мелкопоместного волокиты, к тому же предпенсионного возраста. Не велика беда. Муженёк задумается, жёнка подтянется, и нечто тонизирующее, глядь, и запузырится в их семейной болотине.

Случайно узнав, что Фаина Марковна собирается клеить обои, напросился в помощники, и в пятницу, после лекций, с шести вечера до двенадцати ночи возился с мучным клеем и строптивыми рулонами, не желавшими развёртываться и послушно, без ужимок, прилипать к стене. Обклеили кухню, коридор и закутки в комнате, с полками решили не связываться.

На кухне соседка Ада Львовна поднесла ему стопочку водки и солёный огурчик и благоговейно смотрела, как он пьёт и хрупает. Сухонькая и сморщенная, она кокетничала, как курсистка.

- Фаинька, а нет ли у вас на примете ещё одного Геракла? Срочно требуется шестой подвиг.

Блеснула учёностью и сощурила едкие глазки: ну что, лопушок, скумекал?

Мне и второй не улыбается, молча ответил, и девятый, и двенадцатый... ни с места, пора научиться сдерживать беллетристические поллюции, большой мальчик.

Расставив мебель и вымыв руки, надулись вишнёвки и пустились во все лёгкие, малиновые, с перезвоном. Фаина Марковна избегала спиртного, но пила умеючи, чем очень польстила Ларионову.

- Вы бы почаще ко мне заглядывали, - вскинула его пальто с вешалки и распялила на руках. - Ладно уж, поухаживаю, раз пошла такая пьянка. И барышню свою приводите. Она книгочей?

Ларионов изобразил сосредоточенность мальчика, вынимающего занозу.

- Она, она... что-то мне это напоминает...

- Живёт через дорогу. Вижу, как бегаете.

- Сдаюсь в руки родной милиции.

- Обижаете, - печально произнесла, но глаза блестели бедово. - Как-никак перестарок,

в окно дышу.

- Давайте завтра, сегодня то есть, - предложил Ларионов. - С одной стороны обои не терпится показать, а с другой - себя. Со стороны обоев.

- Давайте, только без ромашек. Я пирог испеку. С чем хотите?

- Хоть с манной кашей. Теперь я готов на всё.

- Знакомое чувство. И чтобы поставить все точки над «е», не дразните Лиду. Охмурили и правильно сделали, но не будите в ней зверя, поцарапает. Она и так после скандала на взводе.

Хмель сразу слетел. Не хватало ему четвёртого Карфагена.

- Какого скандала?

- Прошлогодней давности. Остросюжетный роман с Дыховичным. Жена, партком... и все в дерьме.

- Так вот почему он её назвал романтической натурой. Череп приходит за своей обезьяной.

- Ша. И впредь не базарить.

- Он чмокнул Фаину Марковну в щёку, пахнущую клейстером, «замётано».

- Я тоже хочу с вами попрощаться, - выпорхнула в коридор Ада Львовна. - Наше вам большое русское спасибо.

- Гуд бай.

В подъезде выдыхалась влюблённая парочка. Заслышав шаги, ромео прикрыл рукавом лицо своей дульцинее. Приличия были соблюдены. А лапки-то засветились, школьные. И ахнула, как зайчонок. Вот и жалей их после этого.

А история с Карфагеном стоит того, чтобы её рассказать под огурчик. До умопомрачения бесхитростная, но так-таки феерическая. Самое невероятное в ней то, что она произошла на самом деле. Поведал её Ларионову Стасик, сосед по московской квартире. Он был военным корреспондентом и отбывал повинность в гарнизонной газете одной из закавказских республик, «ради бога не упоминай в какой именно», попросил. Ребята в редакции подобрались на редкость неглупые и шкодливые. Одурев от жары и агитпропа, они развлекались тем, что дурачили своё непосредственное (весьма посредственное) начальство. Больше остальных доставалось замполиту, мужику тупому, но аккуратному - на любое сообщение снизу, каким бы нелепым оно ни было, он реагировал рапортом, тем снимая с себя всякую ответственность (и без того жарко).

Мистификация требовала поистине офицерских, не в советском смысле, качеств: дерзости, изворотливости и артистичности. Ребятам было не занимать.

И вот в один прекрасный день дежурный по хохмам берёт телефонную трубку и через платок, скороговоркой, с неподдельным ужасом докладывает замполиту, что рядовой такой-то (следуют точные данные: фамилия, подразделение, объект службы) разрушил четвёртый Карфаген. «Будешь травить, уточни, что их было три», посоветовал опытный Стасик.

Сказано - сделано. И рапорт идёт по восходящей. И всех трясёт. Ехать по пеклу проверять что долбанули и с какой целью, никому не охота, объект за горами, за долами, и оттуда, всё подстроено, тоже нечленораздельно, но с леденящим трепетом отвечают, что действительно происходит нечто экстремальное, но обещают справиться собственными силами. Короче, доходит это до Москвы и какой-то нервный генерал говорит «мать вашу» и, срываясь на хрип с высоты своей многоэтажной эрудиции, посылает всех на... восстановление четвёртого Карфагена. Где-то через полчаса из Генерального штаба

приходит новый приказ, отменяющий прежний, и распоряжение в течение суток представить объяснительную. Ребят не застукали, замполит вскоре оправился от медвежьей болезни, посмеялись многие и в том числе он, неисправимый Ларионов.

Вот как важно знать историю. Не эту, а вообще.

Глава 20

- О чём говорит твоё имя? - спросила Элпис, растирая в латунной ступке асбестовые волокна.

Пигмалион всегда подмешивал в алебастр немного асбеста. Для крепости формы и духа. Было что-то кипучее в хрупком минерале, прозванном «неугасимый». Он доверял словам, сохранившим первоначальный смысл, и с подозрением относился к тем, что от частого употребления снашивались, как вещи, и требовали перелицовки.

Она оказалась смышлёной, длинноногая девочка, похожая на букву «ка» в кипрском слоговом письме - стрела остриём вверх. Не прошло и месяца, а преуспела во всём, с чем еле справлялись его подмастерья. Пигмалион с лёгким сердцем вернул мальчишек родителям: и бестолковые и ленивые, и самонадеянные - вот он, триплекс бездарности, тройное доказательство утверждения по Пифагору. Носился с ними, как курица с яйцом, учил уму-разуму, а научил опытной дури. И то верно: сколько ни шлифуй агат, он смарагдом не станет. Но со временем из шалопаев могли получиться мастеровые, да и привык он к ним, и жалел их по-своему, по- куриному.

Досадили тем, что без конца задирали Элпис, соревнуясь друг с другом в ловкости и нахальстве, а она, то покрикивая, то смеясь, не осаживала их, а напротив, пришпоривала. И Евпраксия, старая склочница, развесила уши и распустила язык, потешаясь над ним, потерявшим покой в собственном доме. Правильно сделал, что прогнал бездельников.

С уходом мальчишек Элпис притихла и подтянулась. Может, и скучала без их петушьих выходок, но работала с большим усердием, а главное, охотно. Он её поощрял: обучил резьбе и шлифовке, объяснил свойства каждого материала, показал, как управляться с гончарным кругом, печью для обжига. Роспись ей сразу далась. Был уверен, что как только она разберётся со счётом и мерками, осилит и разметку.

Он проводил с ней всё время и говорил, говорил, не понимая, откуда берутся слова, раньше обходился десятком-другим. Элпис слушала жадно, часто переспрашивала. Она не стыдилась того, что не знает самых простых вещей, а для этого мало детского любопытства, нужна известная храбрость и то, что называется «нус», перводвигатель понимания.

- В переводе с ахейского: кулак растворяющий, - ответил Пигмалион.

Он затирал пемзой голень очередной Афродиты, сердясь, что поздно приметил внутренний разлом - фигура закончена и голова туго стянута яичным компрессом. Его изобретение, потому и «дышат» пигмалионовы лица. Всё же известняк – неблагодарный материал, сыпучий и жёсткий, с мрамором не сравнить. Зато дёшев, заказчиков хоть отбавляй. Элпис тревожно поглядывала на него, не умела сдерживать нетерпение, думать без подсказки.

- Как это? Я не понимаю.

Он передразнил. Притворилась, что не услышала, свела насмешку на нет. Странно,

подумал он, внешне ребёнок, физически неразвитый, а внутри давно готовое существо. Это несоответствие не раздражало его, а притягивало, но двусмысленность простительна мужчине, в женщине она опасна, прежде всего для неё самой.

- Пока не научишься читать и писать, ничего не поймёшь. На слух можно песню выучить и то, если уши чистые. Пигмалион - человек, отводящий удар. Считай, что миротворец или сокрушитель, как тебе больше нравится.

- Мне нравится твоё имя, а не то, что за ним. Оно говорит о тебе, а ты похож на себя.

- Ты выбираешь чудные слова, Элпис.

- Это потому, что я говорю по-своему. Я слышу отдельное слово. А вы всё смешиваете, как сало с мёдом, в котором варится ваш тарихос. У вас много двойных слов. Вы хотите сказать «золотой цветок», а говорите «хризантема».

- А как он называется у вас?

- У нас таких цветов нет.

- А какие есть?

- Антарам. Неумирающий... нет, как сказать о том, кого не похоронили?

- Не погребённый.

- Да, это он. Мёртвый, который может ожить.

- Сухоцвет, гелиптерум. А ещё?

- Манушак, самый первый цветок. Он рождается под снегом.

- Кикламенос наверно. Что-нибудь означает?

- Маленький, но сладко пахнет.

- А теперь открой уши: душистый цветочек.

Элпис была сражена. Невидящими глазами скользнула по потолку и опустила голову.

- Правда, это я пропустила. Но всё равно, у нас говорят просто и понимают легко.

А ведь она тоскует по своим горам, смутился Пигмалион. Пусть крохотная, почти никакая, но там осталась её жизнь, та, что даёт ей силы жить дальше, цепляться за голые камни и прорастать сквозь расселины то бесчувственной колючкой, то нежной задыхающейся фиалкой. Какая неистребимая жажда самоутверждения течёт в жилах её племени, вырабатывая бродильную закваску, en zəmē. ? И язык подстать. Ан - тар - ам... Голос колокола и лужёной меди. Ману - шак, ману - шак... Шорох плотницкой колодки, натяжение плотно пригнанных поверхностей. И даже в желании быть услышанным - та же ремесленная энергия и горловое усилие.

- Ваш мир молод. Дети не понимают красоты, они в неё играют. Слушают птиц и подражают им, смотрят на зверей и перенимают их повадки. Простым чувствам не нужны особенные слова. Беда в том, что ваши люди боятся всего чужого, а замкнутый мир рано или поздно вырождается. Не вылетев из гнезда, летать не научишься.

Элпис промолчала, но он ощутил сопротивление, идущее от неё. Словно отгородилась невидимой, но прочной стеной, через которую не проникают звуки.

- Эй, - позвал, - оставь раствор, не масло пахтаешь.

Обиделась со злостью и удивлением, как женщина и как ребёнок.

- Вот ты, - продолжил, давая ей время остыть, - когда жила в своих горах, разве нуждалась в этих куклах? - Он обвёл рукой купидонов и афродит. - Значит была богатой и без них. А теперь, если их у тебя отнять, ты почувствуешь себя нищей, ты никогда уже не разбогатеешь, потому что красота ненасытна и понимающие её ненасытны тоже. А приобретая новое, мы теряем власть над прежним, оно отворачивается от нас. Но так глупо устроен человек: он дорожит лишь тем, что потерял. И любовь... это страх потери. Когда-

нибудь ты поймёшь, что я сейчас сказал.

- А что такое эйдосы? - Ещё упиралась, а сама просилась к нему.

- Откуда ты знаешь это слово?

- Не помню, ты говорил.

- Это внутренние силы вещей.

- И у меня они есть?

- Конечно.

- Но я не вещь.

- Внутренние силы - основа живого. И любви.

- Но не всё живое может любить.

- Чудо моё! - вскричал Пигмалион. - Ты заговорила!

Ему хотелось продолжить главу, дописать то, что не давало покоя, но восклицание Пигмалиона повисло в воздухе, как топор.

Ничего, пусть дорогой читатель поворочает мозгами, хватит и того, что он наворотил. И пусть останется тайной, что в ту ночь девочка сама пришла к Пигмалиону. Пришла? От угла в изголовье его кровати, где она спала на тюфячке, туго набитом высушенной морской травой, до циновки, где валялись его сандалии - раз, два, три, всего четыре шага... но в спешке ласк, в лихорадке близости разве не шепчем: иди ко мне?

Она стянула с себя рубашку, не развязав тесёмок. Холст вздыбился, затрещал и облепил ей голову, как сорванный ветром парус. Она разгрызла зубами узел и сдёрнула ворот, ссадив лицо.

Пигмалион беспокойно ворочался, постанывая во сне. Она присела на корточки и дотронулась до его чёрной с проседью, колючей бороды. Вскинулся, как ужаленный, и ударил её по руке.

- Это я, не бойся.

Он приподнялся на локте, мутно вращая глазами, подрагивая спросонья. Всегда просыпался с трудом, словно возвращался из мёртвых.

- Чего тебе?

- Я поняла, что ты сказал. Я боюсь тебя потерять.

Проворчал, шумно отодвигаясь:

- Никуда не денусь.

Элпис скользнула под простыню и свернулась клубком, обхватив колени.

Он всё ещё просыпался. Из открытой двери текла влажная солёная духота. На одной ниспадающей ноте стрекотали цикады; резко вспархивая, копошились в траве ночные птицы; обморочно пахли амариллисы и холодно олеандры; слышно было, как сыпались истлевшие иглы с верхушек реликтовых сосен.

Пигмалион комкал сухую неженскую плоть, вдавливал в мякоть жёсткие косточки, растягивал твёрдую кожу. Он ждал волнения, которое приходило к нему через руки, а не дождавшись, не начинал ни любви, ни работы. Он был гордый, Пигмалион. Но он был не только гордый. Он был старый.

Ларионов запустил ручкой в окно. Она ткнулась в занавеску и закатилась под стол. Вот и случилось то, чего он боялся пуще охоты и пуще неволи. Он стал жирным греком. Но грек не желал быть Ларионовым. У него была своя логика. И девочка оказалась упрямей, чем он загадал.

Впрочем, что могло произойти в ту ночь? Пигмалион целый день работал и устал, крепко поужинал и тяжело заснул, и внезапно разбуженный, не испытал всей мучительной и опустошающей радости, которая связывала его с этим ещё не близким, но уже родным существом.

И девочка ждала не любви, а подвига, чудесного превращения. Ну что он мог совершить? Остановить землю, опрокинуть небо и уничтожить всё, что было до, что отложилось, окуклилось, сбросило оболочку, а после перегорело и стёрлось в порошок?

Куды потечь? чтобы на руинах тысячелетней гомерической усталости, на обломках... ай да сукин сын, самовластья, на обмылках, фр-р... сладострастья... потёк.

Ларионову страшно, до спазмы в горле захотелось заплакать. Ему стало жаль себя, только себя, завравшегося, обессилевшего, переступившего черту. И есть хотелось как-то противно, и кинуться к кому-нибудь, хоть к Лиде, чтобы погладили, утихомирили, и никаких рабынь, ни чёрных, ни рыжих, ни греков, ни соседей, чтобы совсем один... а как же Лида? Завал.

Разыскал ручку, вежливо положил на стол. Без двух минут шесть. «Души моей последняя услада...» Какого ляда?

Допустим, подвиг свершён. Неожиданный поворот - ребёнок ждёт ребёнка. Ходит с пятнами на лице, хватаясь за поясницу. Осуждающие взоры загорелых греческих баб. Женится, покупает браслеты. Назовём его Амфибрахий (краткий, сжатый с обеих сторон). Дальше что? Анапест (отражённый назад), Дактиль (перст указующий) и «лучше выдумать не мог»? Весело.

Умирает в родах. Бёдра узкие, молока нет. При чём тут молоко, если умирает? Пигмалион сопротивляется бреду жизни и ваяет бессмертную Галатею. Сваял. Смотрит часами. Трогается. И она вместе с ним. Миф задействован.

Пигмалион не тронул девочку. Но ведь комкал, мял. Невозможный язык, коварный, как загадка сфинкса, которую разгадать под силу только ему. Сколько это может продолжаться? Год, три? А там геморрагия или подагра, тоже милое слово, греческое, и девочка, ей за двадцать... неинтересно.

Во все стороны пустота. «Гелиос с моря прекрасного встал и явился на медном...» Гелиос с моря прекрасного встал и явился намедни. Дым, гарь, завтра опять будет кашлять. Почему завтра? Сегодня же, не откладывая.

Он сделал последний рывок. Вымыл пепельницу и потушил свет. Лида жила рядом.

Он сделал последний рывок и выстрелил себе в рот. Рот был рядом.

Он сделал последний рывок и увидел во сне рыжую девочку. Она сама пришла к нему. Он не сделал ей ничего плохого. Он дал ей то, что она хотела. И взял то, о чём не просил. Но это было далеко.

Глава 21

- Я прочла «Как делать стихи». По-моему, чушь. Руководство по эксплуатации

нагревательного прибора типа утюг.

Аня очень старалась выглядеть серьёзной. Даже глаза, скорее синие, чем зелёные, приобрели серый рассудительный оттенок. А с первого взгляда показалась темноглазой. Обманули зрачки, необыкновенно подвижные, пульсирующие. В зависимости от того, что она чувствовала, а настроение у неё скакало, как стрелка сейсмографа, они то суживались до точки, то слепо расширялись, затопляя радужку. Она была нервной, нет, не нервозной, наоборот, слишком погружённой в себя, оттого что быстро росла и не поспевала сама за собой. В ней шла скрытая, не утихающая ни на миг работа, и тревожно-радостное возбуждение, сопровождающее любой труженический акт, отражалось в её нетерпеливых глазах.

Ларионов выдержал паузу и убедился, что не только не навеял прохлады, а прибавил жару. Аня рвалась в бой.

- Делать стихи! Всё равно что делать детей. Так говорят одни идиоты.

Ей-богу, вчера спустилась с гор.

- Пушкин тоже так говорил.

- Знаю, - скривилась половинкой рта. - Но это в письме и с большим подкидом.

- С кем-чем?

- Игра такая, в подкидного дурака. Сбрасываешь шестёрки, а козыри зажимаешь.

В горах читали чужие письма и резались в карты.

- «Выхожу один я на дорогу...» - это агитация за то, чтобы девушки гуляли с поэтами", - процитировала сквозь зубы. - Девушек по кремнистым путям не водят, там искры почище ленинских, зашибут.

Схватить и расцеловать?

- А ты иди от противного... не спеши острить, от противоположного. Отрицательные примеры доказательней положительных, потому что они агрессивны. А ты не иди на поводу...

Что он мелет? Иди, не иди. Тоже мне, мастер слова.

- Чувствуешь, как тепло пляшет от печки? Но тот же огонь уничтожил когда-то храм Артемиды в Эфесе. Слыхала о Герострате? Эфесцы его не казнили, а постановили... забыть, дабы не притязал на бессмертную славу.

Полез в болото. Аня сидела прямо, словно проглотила кол. Вспомнил, что есть два способа внимания (осторожно! отглагольное существительное): откинувшись назад и подавшись вперёд - пассивный и активный. Аничкин был неописуем, хотя слушать она умела, но не поднимала глаз, чтобы не видно было, о чём думает, перескакивая с чужого на своё и обратно.

А ведь для меня принарядилась, стрельнул вороватым лекторским взглядом. Платье дурацкое, в обтяжку, и причёска, как у продавщиц из центрального универмага, «ласточкино гнездо»: на макушке начёс, а затылок плоский как меню.

- Конечно, диптер стоял на болоте, и сто двадцать семь колонн с металлическим стержнем, подпиравшие его, одновременно своей тяжестью вдавливали его в подушку котлована...

Опоры какие-то символические. Не так ли и он поддерживает Аню? И меню ни к селу ни к городу, привет из Крыма. Трижды едал в ресторанчике под самой крышей «Ласточкиного гнезда», с перерывами в несколько лет, и каждый раз подавали фирменные охотничьи колбаски и пошлые маринованные грибки.

- Какие эйдосы?

- Эйдосы? - переспросил по-сосновски. Что он там наболтал? - Идеи, выродившиеся из древнегреческих образов.

- Да, идеями мы богаты.

Чего смеётся? Почувствовала, что отлетел?

- Вывод: никогда не играй с огнём, тем более с мировым.

- Как ревтрибун?

- То есть?

- Как Маяковский. Революционный трибун. Сказал же, что не различает ни ямбов, ни хореев и не собирается различать.

- Как ты.

- Уже нет. Мне стало противно, и я от него пошла. И всё вызубрила. Можешь спросить.

- Верю.

Пока он учил её ползать, она научилась бегать.

- И ещё. - Воинственно задрала подбородок. - Нужна не целевая установка, как у него, а нулевая. Поди туда не-знаю-куда, принеси то не-знаю-что. А для цели есть паровозы и броневики.

Ну, Горацио, такое не снилось вашим мудрецам.

- Возвращаюсь к Маяковскому. Главное, не обезьянничать, ни принимая, ни отрицая. Помнить, что мы на два процента другие, чем шимпанзе.

Понесло по периметру. Рассказал про ДНК, нарисовал заклятый треугольник. Разболтался, как жирный грек. Впору порассуждать: жизнь обгоняет искусство или искусство предвосхищает события?

Припомнил собрата по филологической крови. Как-то на семинаре обсуждали проблемы этики. От стоиков перешли к субстанции и модусам, потом к автономной и гетерономной этике и так далее, пока не упёрлись в Маркса. Профессор, не желая распространяться на тему классовой борьбы, попросил студентов самостоятельно сформулировать понятие этики. Вызвался пламенный комсомолец Витя Рябчиков и начал так: «Прежде чем сказать, что такое этика, я скажу, что такое эстетика». Вот так простенько, в двух словах.

- Ну? - спросила Аня.

Оказывается, он читал её стихи - перед ним лежала раскрытая тетрадка. Почерк твёрдый, размашистый, с сильным наклоном, словно трава полегла под копытами диких лошадей.

- Ни тпру ни ну. Читаю.

Мы краснокожие провинций,
под грохот бубна, крик орла,
вне порицаний и традиций
проносим гордые тела.
И разбиваются поверья,
и словно бы багряный град,
горят рассыпанные перья,
и губы гроздьями горят.
А за любовь в огонь и воду,

не за великого вождя,
а за великую свободу
во имя солнца и дождя!

Не торопитесь, Сергей Петрович, умерьте юный пыл.

- Славно. Напор, аллитерация - всё имеется. Теперь по строчкам. Бубен н к чёрту. Во-первых, восточный инструмент, во-вторых, не грохочет, а звенит. Орёл никакой. Поставь вместо него «скрип весла», ничего не изменится, значит, образ проходной. Ещё подумай. Откуда взялись поверья и почему разбиваются? Уточни или выкинь. Багряный град вообще не годится, что ты имела в виду?

У Ани полыхали щёки. Сидела по леву руку, чуть припав к нему, заглядывала в тетрадь. Правая щека была совсем пунцовой. Ларионову тоже сделалось жарко.

- Чёрт меня знает, - пробормотала с досадой. И писклявым несчастным голосом: - А разве можно так.... о поэзии?

Знакомая ретирада.

- Э, друг мой, это ещё не поэзия, это пока что стихи и не очень грамотные. - И отодвинулся вместе со стулом. - «Гроздья» срочно заменить, в первую очередь. Вот тебе карандаш, изобрази мне это губьё.

Она не боялась своего невежества, а для этого нужна известная храбрость и то, что называется «нус»... и по тексту. Короче, взяла карандаш и нарисовала виноградные кисти в форме губ. Вышло недурно.

- Ну знаешь, и я могу наделать кроликов из удава и показать их в разрезе. Образ должен быть зримым, хотя бы на время учёбы. Подчёркиваю «гроздья» жирной чертой. «Гордые тела» тоже не находка. Ты же хотела сказать: гордо проносим тела. И почему проносим? Носят покойников. И тела... слишком примитивно... если уж и порицания имеются и традиции, а?

Он с улыбкой повернулся к Ане. Сжала рот. Рот фронт, «но пассаран», буквально. А зрачки расплылись, сузились, замерли, расплылись. Разброд и шатания, контрреволюция в повстанческих рядах. А что если посадить на колени и прокатить с ветерком? Девочки, пишущие стихи, любят езду в незнаемое.

- Последняя строфа чистенькая, - сказал Ларионов. - Мешает двусмыслица: за любовь или за свободу?

- А это одно и то же.

- Зачем же повторять?

- Для недогадливых.

- Хорошего же ты мнения о дорогом читателе.

Он расправил плечи и потянулся. Жар схлынул, но раскалённый воздух свистел в ушах. Должно быть, вышел на орбиту. Близится день космонавтики? Небесное тело, искусственный спутник, с ума сойти, какие ассоциации.

Разобрали ещё шесть стихотворений. Аня схватывала на лету. Способный ребёнок, но как сложится судьба? Грех обнадёживать, а похвалить бы надо, и так трясётся. Он уже дважды отодвигался, но перепады её тепла налетали с нездешней силой.

- Следи за словом. Рифмуешь «уйду - сойду», всё равно что ботинки и полуботинки. - И это он знает, винокуреец эпикурович. - Когда читаешь, следи за правописанием. Например, перрон пишется с двумя «рцы». Держи интонацию, это перводвигатель поэзии. Бери след, как гончая, открой глаза и уши.

- Я не умею по-собачьи.

Ну вот, схлопотал благодарность. Что со временем? Почти семь.

- У, мне пора. Опаздываю в гости.

Тепло свернулось, ртуть на нуле. Некрасиво, душка Ларионов. Но как отказать себе, любимому, в любимом удовольствии?

Дева царапала ногтем прилипшую к скатерти крошку. Вьюноша, глядя на деву, гекзаметром пел о разлуке.

- Между прочим, и тебя приглашали. Эти, Фаины Марковны. Я о них рассказывал.

Тепловой удар.

- Мне переодеться?

- Нет. Расчешись.

Посыпались шпильки, брызнули медные стружки.

- Какая ты рыжая, - не то восхитился, не то опечалился Ларионов.

- Ничего хорошего, рыжих бьют.

- Значит любят.

- Вот-вот, очень любят бить.

Ну, любитель аллегорий, сегодня ты получил мат, что по-персидски «умер». Говорили же тебе древнегреческим языком, что персиянка.

Пирог с яблоками удался и поболтали мило, по-вечернему. И заторопился он вовремя, к девяти. Аня набрала книг, он помог ей советом. Незаметно подсунул перепечатку «Тёмных аллей». Пусть развивается и заодно понюхает тамиздату.

Медленно прошлись по двору, за ручку перебежали дорогу, посмеялись на углу. Он и не помнит, что их так развеселило. Потом тропинка кончилась.

- Тебе было хорошо?

Сколько раз он спрашивал, но у других и о другом. Аня мелко закивала головой, вытянув лицо и округлив глаза, такой экономный детский жест - согласиться, но промолчать.

Он наклонился и поцеловал её. Мягко, долго. Она стиснула зубы и перестала дышать. Ну что ж, рано или поздно это случилось бы. Лучше раньше, зато по-человечески. У него не колотилось сердце и не стучало в висках. Умеренное волнение и ничего больше. Улыбнулся: «жива?»

Показалось, что спит стоя. Не умерла же. Он легонько потряс её за плечи.

- Что-нибудь не так?

И вдруг ослабла, осела, еле успел подхватить. Взял на руки и отнёс к дому, усадил на крылечке. Смотрел на неё и шатался, как пьяный.

- Дойдёшь сама?

Кивнула. И он ушёл.

В чём себя упрекнуть? Все девочки целуются и все ларионовы на посту. Чуть не упала. От избытка чувств? Или... от противного? С маленькими да удаленькими хлопот не оберёшься. И Пушкин тебе говорил: страшися девы, Ларионов. А ты ударился в эфиопики.

Опять эта средиземная тоска, эти фригийские серьги в ушах, шутовские колпаки и sans culotte, «без штанов».

Он выпил прямо из бутылки оставшуюся с чумных времён водку и шумно ворочался в постели, пока не затих.

Утром Ларионов сказал, что со школьницами покончено. Хуже не будет. И грек с ним.

Глава 22

На две трети он состоял из воспоминаний. О людях и событиях, и о том, чем жило его воображение. Удерживая в памяти множество сказаний, притч, георгик и бесхитростных бабкиных песен, он постоянно их перебирал, обновлял и даже систематизировал, словно собирал некий фантазический библион, запасами которого мог бы воспользоваться в годы прожорливой старости, когда истощится хлеб души, но усилится жажда жизни. И воздушные замки он строил из воспоминаний.

Пигмалион любил свои мечты, потому что только в них был абсолютно свободен. Предаваясь им, он не испытывал ни сопротивления материала, ни диктата формы, ни временных и промежуточных ограничений. Его элевтерия была устойчивой, как независимость греческого полиса, не имевшего себе равных в мире, и такой же эфемерной, как любое человеческое представление о свободе. Иди куда хочешь, но знай зачем. Однако, поставив цель, ты уже не свободен. И бесцельно любя свободу, ты подчиняешься ей.

Пигмалион вздохнул и положил руки под голову, согревая их теплом затылка. Всё от ума: и горе и радость.

Забавную историю рассказал ему рапсод Полибий. Явился к нему отрок и предложил себя в аэды-сопроводители. Он был богато одет, пригож лицом и строен как Адонис. Но едва он запел, стало ясно, что юнец не способен к пению и учить его бессмысленно - голос можно поставить, когда он есть.

Полибий медлил с ответом, подыскивая слова утешения, чтобы не обидеть мальчика резким отказом, но тот, приняв молчание рапсода за немой восторг, стал расписывать свои успехи в риторике, декламации, игре на кифаре... Он долго перечислял, самораспаляясь и хорошея от гордости.

Полибий внимательно его выслушал и добродушно сказал:

- Уж лучше бы ты умел петь.

Пигмалион рассмеялся - он живо переживал воспоминания, но перехватив удивлённый взгляд Элпис, сразу поник. Разве он не похож на этого мальчика? Преуспев во многих талантах, напрасно напрягает голос, чтобы спеть о любви.

- Душно как, - пробормотал. - Видно, дождь собирается. - И вдруг взмолился: - Поговори со мной.

Элпис заёрзала, устраиваясь поудобней. В ней не было ничего от женщины, предлагающей себя в награду или дающей в долг.

- Ты начни.

Она не забегала вперёд, она уступала ему дорогу, и он подумал, что женственность не имеет возраста и в этом ребёнке она растворена, как соль в морской воде.

- Спеть тебе песенку?

Потёрлась щекой о его плечо.

- Лемех правит борозду, / я правлю лемех. / Мне послушна борона, / покорна мотыга. / Хейя-хей, хейя-хей. / Если б ты была со мной / так великодушна, / жатве не было б конца, / меры урожаю. / Хейя-хей, хейя – хой.

Элпис мало что поняла, она не знала пастушеских слов, но голос у Пигмалиона был

сильный и ровный, а в горах старики учили: не верь лицу, верь голосу.

- Ты себя чувствуешь великим или просто веришь тому, что о тебе говорят?

- И где же ты это слышала?

- Не скажу.

Евпраксия? Сопляки? Никто у них не бывает. Ласточка на хвосте принесла?

- А ты чувствуешь, что у тебя есть рёбра? Вот эти тонкие косточки?

- Когда ты давишь.

Он усмехнулся.

- Когда меня давят, я тоже чувствую себя великим.

Элпис придвинулась ближе и дохнуло чем-то острым и влажным, как проросшая пшеница.

- Расскажи про статую, что у тебя ожила.

Один раз была с Евпраксией на рынке, пару раз брал с собой на пристань.

- И где ты набралась этих бредней?

Ждала распахнув глаза.

- Ладно, слушай. Мой дед Пигмалион действительно был мастером, я не стою ремешка его сандалии. За что он ни брался, всё у него получалось отменно: от горшков до краснофигурных ваз. Днём он работал по заказу, а ночью для себя, и так много лет подряд, не зная отдыха и усталости, силищи был необыкновенной. Я всегда бешусь, когда слышу, что гений – это труд и терпение. Как раз наоборот: мера таланта определяет меру труда.

- Потому что талант не от человека?

- И да и нет. И вот в одну прекрасную ночь он закончил свою Галатею, деву из белой слоновой кости. Дед был страшен как я, чёрный мохнатый, и никто, кроме этой девы, не улыбался ему так ласково. Он любил над собой посмеяться и часто, не глядя на статую, говорил: «а ну улыбнись, радость моя», и когда поворачивался к ней, она ему улыбалась. И умницей была: никогда не капризничала, не жужжала над ухом, не приставала с просьбами. За это дед дарил ей ожерелья и запястья, украшал венками из орхидей. А в дни празднеств Афродиты приносил в жертву богине белых тёлок с вызолоченными рогами и просил её подыскать ему жену, такую же разумную, как Галатея. И Афродита сжалилась над ним - он встретил мою бабушку.

- Значит ты уже был?

- Вот глупая. Бабушке шёл пятнадцатый год. Правда, она не была красавицей, но улыбалась и молчала великолепно. Они так сильно любили друг друга, что боги им подарили чудесную девочку. Это всё, что я знаю. А тому, что болтают, не верь.

- А девочка?

- Выросла. И стала моей матерью.

Элпис заслушалась и не заметила, как прильнула к нему.

- Боги ошиблись, когда не дали тебе лицо твоей матери.

Пигмалион высвободил руки и сжал её рёбра, холодные и податливые, как мрамор.

- Боги никогда не ошибались, когда имели дело с моим дедом.

Она засмеялась с закрытым ртом, словно боясь расплескать свой грудной смех.

- Тогда и у тебя будет красивая дочь.

- У нас. - Он посмотрел ей прямо в глаза. - Если ты...

- Да, - ответила Элпис. - У нас.

Глава 23

- Однако вы ленивы и нелюбопытны, - изрёк ректор с удовлетворением человека, переступившего порог своего развития. - Даже в партком не зашли.

Ларионов, а уж на что игрец, и то бы не додумался так пересобачить пушкинскую фразу - вроде незаметно, но оскорбительно.

- Садитесь, в ногах правды нет.

Как будто в заднице её больше.

- А зря, задание ответственное. Создан литературный кружок, под вашим началом. Выявляйте таланты, прививайте чувство прекрасного. Можно страничку в городской прессе организовать. Дадим под шапкой: «Литературное объединение пединститута». Или какое-нибудь поэтическое название.

Северные петуньи, чуть не ввернул Ларионов.

- Подумайте, потом вместе обсудим. Вы человек творческий, к вам потянутся. Ребята у нас способные, да и кто сегодня не поэт?

- И много желающих?

Как же, свиньём валит.

- Пока что один, Гаврилкин с филфака. Надо бросить клич. Как говорит наш буревестник...

Ректор утюжил седую пучину, долетали слова: заинтересовать, проявить инициативу, живым примером.

В Африку уехать, что ли? Где ещё придёт в голову вздыхать о сумрачной России?

- Подготовьте тематический вечер, раздайте задания, пусть выучат стихи, разные изречения и отрывки. Только без всяких там евтушенок, что-нибудь воспитательное. Я бы назвал «Южные зори».

Мужайся, Ларионов, мало тебе было зорь коммунизма.

А всё же любопытно, как мечется отечественная символика между севером и югом. Уже одно слово «восточный» (человек, роскошь, дикость) режет среднее русское ухо, вызывает патриотические судороги. Еврейская тема - особняк, хотя и в торговле и в медицине предпочитают иметь дело с жидами, так надёжней, и Ойстраха с Гилельсом слушают, невзирая на протоколы сионских мудрецов. С евреями в России разобрались и дюже однозначно.

Запад не просто ненавидят - его боятся. Ненависть сама по себе вполне человеческое чувство: помесь обиды с досадой (отвергли) и самолюбования (как я страдаю) с подпалинкой мазохизма (так мне и надо). Словом, она – дериват, производное от инстинкта самосохранения. Но чувство растёт, подмешиваются страх одиночества, подлость зависти (тем хорошо, кто не с нами, всегда так кажется), начинается мутация и... о, чудо превращения! сформировалось нечто, исполненное безотчётной злобы и непримиримого отпора. Из этого гадюшника выползли все «акулы империализма», все «гидры международного капитала» и прочая пропагандистская нечисть.

Тяжба с закатом затеялась не вчера. Милые семейные перепалки славянофилов с западниками незаметно переросли в междоусобные драчки либеральных народников с монархистами и houps! - этот англосаксонский упс, взвой, когда на твоих глазах

разбивается любимая чашка - и да здравствует ледовое побоище до победного конца, и Ленин с нами и Чингисхан! Но советский патриотизм беспределен, это надо помнить, заводя разговор о зонах влияния. Про то, что догоним и перегоним Европу, Азию и Америку, кричат не только в Москве, стонут в каждом глухом городишке. А чтобы всем было ясно, откуда мы такие прыткие, на западных и восточных воротах развешаны устрашающие щиты, и даже здесь, в потудани, на лбу привокзальной площади выжжено тавро: гостиница «Северная» - ресторан «Юг».

- Это непростая работа, - сказал Ларионов, умело интонируя важность момента. - Необходимо составить план, переговорить с ребятами...

- Знаем, как вы шевелите мозгами, - перебил ректор, - седьмой месяц пошёл, а всё не раскачаетесь.

- Скоро только кошки родятся. Народная мудрость.

- Смотрите не перемудрите, - насупился ректор.

Как все облечённые властью, он легко переходил от заклинаний к угрозам.

Парторг крутился за дверью, и Ларионов угодил в его расставленные руки. Казанский шутил своеобразно.

- Вас поджидаю, здравствуйте и процветайте.

- Спасибо, - оторопел Ларионов.

- Надо бы чин чинарём, да у меня в кабинете ремонт, батарея потекла. Пойдёмте в уголок, на два слова, вы уж извините.

За глаза его называли «казанской сиротой». Говорил сбивчиво, и жесты у парторга были сиротские: поджимал пальцы в рукава, кривил шею, словно припадал слухом к земле, часто моргал и при этом как-то обиженно улыбался. Овечья голова на геркулесовом торсе, карикатура на пушкинского Ермолова. Ну, Ларионов, застрял ты в Арзруме, рефлектируешь, как гермафродит.

Пошли по коридору в поисках уголка. Казанский передвигался опасливой трусцой, загребая носками внутрь. Пристроились у окошка. Пригладил свой каракуль, кашлянул в кулак.

- В курсе последней сплетни? Будто шестимесячную делаю, в смысле завивку. Догадываюсь, кто пустил, больше того, понимаю, что не причёска моя, а я их не устраиваю, а если глубже копнуть, то и не я, а место моё.

Всё это он провернул полушёпотом, куда-то в сторону, с обречённостью попрошайки, вынужденного постоянно оправдываться.

- Другой бы расстроился, а я горжусь. У человека с принципами должны быть... ну да это неважно.

- Враги? - спросил Ларионов.

Казанский хихикнул, обнажив жёлтые редкие зубы. В углах безгубого рта шелушилась серая накипь слюны. Ларионов на всякий случай отодвинулся, и без того чувствовал себя оплёванным.

- Не враги, а недоброжелатели.

И принялся пространно объяснять, как тяжело жить человеку с принципами.

Окно выходило во двор переговорного пункта. Строительство нового здания телеграфа началось несколько лет назад и теми же ударными темпами могло продолжаться до второго пришествия, а посему междугородняя связь временно осуществлялась на чердаке ветхого

строеньица, к которому снаружи пристроили шаткую деревянную лестницу. Двор не пустовал ни зимой ни летом. В ожидании разговора часами томились дети, взрослые, старики, кто на земле, кто на ступеньках, то под зонтами, то под газетами, и каждую минуту раздавалось зычное: Кривой Рог! Ростов! Алма-Ата! Третья кабина! Первая! Пятая!

Ларионов присел на подоконник.

- Сразу видно столичного человека, - засуетился Казанский. - Позы у вас раскованные, не то что мы, куда ни повернись, всюду в центре внимания. Вы всё-таки слезьте, студенты смотрят.

Неподалёку от них шушукались девицы.

- И не подумаю, - отозвался он с лёгкостью необыкновенной. - О чём вы хотели поговорить?

- Да так, о жизни, - стал уползать Казанский. - У меня много всяких соображений, полезных в целом и в частности.

- Давайте прямо обо мне.

Поджал лапки, горестно заморгал.

- Зря вы Печорина играете, герои теперь совсем другие.

- Одни и те же, - миролюбиво сказал Ларионов. - Меняются времена и нравы.

- Вам лишь бы спорить. Нравы у нас, между прочим, на уровне, есть кому позаботиться. Проблемы тоже имеются и трудности... определённые. По той простой причине, что педагогический состав неоднороден. Да, вы не ошиблись, обычная групповщина, перетягивание одеяла на себя.

- Зачем же спать под одним одеялом? Разрежьте его на куски и раздайте всем в порядке очереди.

Казанский зафыркал, как выкипевший чайник, выпуская остатки пара и железного терпения.

- И знаете, что будет? Каждый забьётся под свой лоскут, и жизнь остановится.

- Стало быть, групповщина выгодна?

- Ну вы меня убиваете. Надо, надо, мой друг, ходить на политзанятия, расширять кругозор. Это же диалектика, единство и борьба противоположностей.

- Я так и понял. Кстати, о жизни и смерти. Как вы себе представляете кружок из одного человека?

- Шарада?

- Литературный кружок пединститута. Ваша идея, если верить ректору.

- Ну и хитрый же вы! - с неожиданным восхищением воскликнул Казанский. - Такие выражения находите... обтекающие. - И обиженно отвернулся. - Вам поручили, вы и выполняйте.

- Разрешите идти?

Не просто сконфузился, а переконфузился, изошёл слюной. Комедия, чёрт побери, занервничал Ларионов, разыгрывается какая-то дурная комедия.

- А вообще-то, - вновь потеплел парторг, - я вхожу в ваше положение. После Москвы наш город вам кажется деревней, да он и деревня, вчерашний аул. Для вас, образно говоря, что-то наподобие кавказской ссылки. Вы же не по собственному желанию прибыли к нам?

- В досье всё сказано.

- Что за шпиономания? Вам жаловаться грех: красный диплом, своевременно защитились и характеристика лестная, не по форме. Что-нибудь глубоко личное?

- Высоко безличное. Южные зори.

Он хохотнул, как босяк, сторговавший алтын за полушку.

- Зори роскошные, но не они способствуют росту, продвижению то есть наверх.

Куда же он гнёт?

- Я к тому, что хорошая работа требует благоприятных условий, а благоприятные условия требуют особых заслуг.

- Хорошая работа требует знаний и сосредоточенности. Это парторгами рождаются, а профессионалами делаются.

Опять рассмешил.

- Вам не хватает здорового честолюбия. Но вообще-то вы везучий. Я вот что хотел сказать: тут разнарядка пришла на кандидата в партию, нужен молодой специалист. Пишите заявление, я за вас поручусь, несмотря на ваши поэтические вольности и неразборчивость в выборе друзей. - И стыдливо потупился.

Ларионова охватило тихое бешенство, он даже оглох, что случалось с ним в острые моменты. Задели не подковырки и не то, что его обложили, как волка, и долго, хотя и бестолково, гоняли от флажка к флажку, а то, что дешёвый любитель, дилетант, был уверен, что ему по силам его затравить, его, которого не могли достать и заправские охотники.

- Для партии я не созрел, - ответил Ларионов, глядя Казанскому в лоб, лишь бы не видеть этих маленьких голубеньких глаз, полных сиротского недоумения, - но достаточно возмужал, чтобы не проглотить ложку с кашей.

Парторг скорбно улыбнулся.

- А мы вам поможем созреть. Мы познаёмся в беде.

- От беды беды не ищут, - бросил уже на ходу.

Ухватился за соломинку.

Глава 24

Вот и Полибий всплыл, обеспечил полифонию. Разгрёб мутные волны раннего средневековья (не случайно полифония возникла в эпоху единовластья) и босиком зашлёпал к завалинке, где живописно расположилась группа вечеряющих пейзанов. Отпрыски греческих фетов распевали георгики о тяготах отработочной ренты, тема была привычной, и рапсод с непосредственностью, свойственной меломанам, влился в подголосье.

Фу, Ларионов, как длинно и многотрудно. Не феодальный междусобойчик, тебе нужен античный хор, непременный участник спектакля (потом его сменит безмолвствующий народ). Оговорка, что Пигмалион работяга и одиночка, натянута и весьма. Ну там бани мелькнули, меднолобые нумидийцы (славненький контрапункт), доходяга приспел в тени оливы. Ни уму ни сердцу. Где среда? эта бездна пылающая, заедающая, точней. С кем-то же грек препирался или немотствовал, иначе бы не сбежал в себя, а торчал на агоре не отрываясь от коллектива. Распорядок дня ахейских мужей известен: с утра пропадать на рынке, набирая провизию и узнавая последние новости, мимоходом беседовать с диалектиками и ораторами, что не прочь по холодку ввязаться в жаркий спор; днём заседать в собраниях и судах, вечером - на симпосиях... наёмные повара, флейтистки, декламации, танцы, игра в вопросы-загадки... жёнам присутствовать не дозволяется, что-нибудь ляпнут, однако гетеры... Да, были люди в ненаше... точка. Пигмалион.

Выйди и ты на городскую площадь, присядь на деревянную, каменные построят поздней, ступень народного собрания, рядом с отцами полиса, или приткнись в прохладе портика, где день и ночь горланят их блудные сыны: художники, бродячие философы, аэды. Подыми себе веки.

Вот напротив, утопая в бронзе и мраморе, высится пританей (горком). Там в поте лица трудится правящая коллегия, без перерыва на обед, но завтрачки и подзавтрачки, как повелось с незапамятных пор, за счёт заведения. Справа, уже поскромней, на каменном цоколе громоздится фигурно выложенный кирпичом булевтерий (горсовет). Слева, окружённый гранитными колоннами, мрачно вздымается дикастерий, святилище чести, обслуживаемое жрецами Фемиды. Триаду власти отгораживают от мира построенные полукругом торговые ряды, вплотную примыкающие к агоре.

Обычно место собраний и рынок располагались посреди жилых кварталов (Афины) или близ гавани (Милет), но в городах поменьше им отводилась центральная часть акрополя. Публикации (решения совета, почётные декреты, проксении - визы для иноземцев), прежде высеченные на камне, теперь писали краской на кирбах, выбеленных деревянных досках в человеческий рост, составленных в виде призмы, вращавшейся на оси. Тоже весьма трудоёмкая работёнка: для законов Салона понадобилось шестнадцать кирб. Выпуски начинались словами: «В добрый час! Совет и народ решил...»

Скрип повозок, выкрики водоносов, разноголосый пёстрый шум. Торгуют всем, что делается руками и произрастает само по себе, но преимущественно вином и оливками, без которых эллин не представляет себе нормальной жизни. В толпе ныряют остроконечные скифские шапки, красные колпаки фригийцев и их полосатые рубахи с кисточками по подолу, белые арабские бурнусы, всегда в паре или в куче - и в городе бедуины соблюдают гуртовой обычай пустыни. В праздник и в будний день жизнь полиса бурлит, как даровая похлёбка в медном котле, вмещающем триста шестьдесят эвбейских сиклей.

Не забудь уточнить, что это составляет около двадцати шести килограммов, именно столько, сколько ежедневно выделяет булевтерий из казённых щедрот. Не густо, но когда было иначе? Но это пища и разговор для бедных, фил Ларионов, а лучше - аристос, потомок «лучшего» рода. Судьба твоя поразительно похожа на талан эллинской знати во времена великой архаической смуты.

Всё знакомо до ужаса. Полис раздирают распри. Обнищавшая и доведённая до отчаяния чернь грабит плутократов («плуты» по-гречески, да и по-русски – «богачи»), сбрасывает с полей закладные столбы, сжигает долговые книги ростовщиков. Защищая своё право на собственность, уже право, а не только имущество, аристократы отвечают насилием, и родовая вражда разрастается в гражданскую войну. Восстания и перевороты сопровождаются зверскими убийствами, массовыми изгнаниями и NB (нота Бени!) полными конфискациями, вплоть до рабов. Нелишне добавить, что последнее - основная статья дохода для вооружения, подкупа, в общем для успешного завершения революционного мятежа. А Беня тоже при чём: на Кипре и в средневековье существовало целое Иерусалимское королевство, основанное финикийцами бог весть когда.

Результат смуты общеизвестен. Полисная община истощена морально, физически и, наконец, духовно. И тут...

Смотрите, кто к нам пришёл!

Сильный человек. С чёлкой на лбу или с прокуренными усами, с кепочкой в кулачке или с серебряной бляхой на плече, знаком гвардейской власти... какая разница, все они на одно лицо, и ещё в младенчестве их, кусавших до крови груди кормилиц, ласково называли

«мой сладкий тиранос». В голубом периоде (девятеро из десяти пережили голубиную страсть к пухлощёким мальчикам) они уже плевали на традиции, а в желтушном (нарушился отток желчи) в бешенстве топтали законы.

Захватив власть, демократы (а как же, все писистраты, если не вышли из народа, то вовремя ушли в люди) тотчас же начинали расправу со своими политическими противниками, в основном с бывшими союзниками, сохранившими авторитет. Их казнили без суда и следствия, а «обезглавленные» семьи и даже роды отправляли в изгнание. Имущество (заметь, снова бенино и аристархово, и аристодемово, и аристотелево - корень один) переходило, на сей раз без изъятия, в казну тирана. Чаще всего жертвами репрессий становились выходцы из старинных фамилий. Те, что физически уцелели, ущемлялись в правах. Им возбранялось заниматься гимнастикой, собираться на дружеских пирушках, приобретать рабов и предметы роскоши.

И-эх, нам бы их заботы, а, Ларионов? Разумеется, им было нелегко, отверженным ариям, но мы не сломались бы без гимнасий и симпосий. У нас отняли не только образ жизни, но и образ человеческий, который немыслим без свободы умственного и душевного передвижения. Мы оплакивали жалкие дребезги чёрнофигурных ваз, доставшихся нам в наследство от пелопоннесской бабушки, и, заламывая руки, носились по дому, разыскивая материну иконку или отцовский нательный крестик (вдруг куда-то завалились и уберeглись), и не заметили, как нечаянно смахнули рукавом драгоценный, не видимый глазу сосуд, в котором веками хранился генос... а надо бы мемос, но есть ли такое слово, производное от памяти и происхождения, с подголоском мелоса? Ничего ты не знаешь, дубина, сын пустыни, бедубина.

Но ты кое-что забыл. Агора не просто людской муравейник, когда над ней возвышается храм. Его стены украшены скульптурами и разрисованы в яркие тона, потому что вера должна быть радостной, а бояться надо не божьей кары, а собственной мерзости, обречённой на муки.

Ты ещё не вошёл в обиталище духа, а лепной вызолоченный портал всем своим великолепием приглашает тебя быть избранным гостем, словно твой бог возвещает, что ждёт тебя и понимает, что ты устал с дороги и проголодался. Ты получишь лучший кусок небесной пищи и килик самого выдержанного вина, если до того, как пуститься в жалобы и предстательства, помянешь молитвой усопших предков и заодно пожелаешь здоровья и благополучия родным и друзьям. Тебя встретит не деревянный истукан, а мраморная или отлитая из бронзы статуя с живым человеческим лицом, одетая в человеческие одежды и увенчанная орхидеями.

Впрочем, в Древней Греции храм не служил местом собрания молящихся. Культовые обряды совершались около алтаря для жертвоприношений, установленного перед восточным фасадом церкви, обнесённым оградой и деревьями, т.е. в теменосе («тема» дословно «основа»). Храмы богам искони были обращены престолом на восток, а обожествлённым героям - на запад, к царству мёртвых. Однако желающие и тем более избранные свободно могли пройти внутрь, к статуям и посвятительным дарам, культовым плитам и стелам с текстами государственных договоров.

В дни празднеств ты с гирляндой цветов, с зажжённым факелом прошествуешь к храму через весь город в процессии, сопровождаемой вооружённым эскортом, под звуки флейт. Но и в обычные дни градодержец готов принять и твой наивный восторг и стыдное раскаяние. Он ещё не отец и не станет тебя высмеивать и мелочно попрекать, он пока что великодушный мастер, согласный возиться с тобой, бестолковым сподручником. Твой

бог не только всезнающ, но и сказочно богат, оберегая казну полиса, куда стекаются штрафы, налоги и другие виды доходов.

Храм всегда стоит в стороне от шумных кварталов, но всегда над ними: гордо, мощно и одиноко. Не для него суета рыночных сделок, ахинея риторик и даже задор агонов (массовых атлетических состязаний, оттуда же и «агония»), потому что цветущая плоть... и когда же ты вырастешь, Аничка? хороша сама по себе, но для физических упражнений существуют специальные залы и площадки, а для агап - блудные дома и заповедные рощи: бейтесь, кулачники, разворачивайтесь, дискоболы, дерзайте, любовники!

Ну ещё, ещё, Ларионов, поднажми, поднатужься, ты же любил лекции по архаике, не твой ли дед, милостью божьей...

Ларионов вскочил, выбросил вверх кулак и завопил что есть силы. Всё! Он! Понял! Всё! Ника! Виктория!

В дверь уже колотили, высунулся, «ударило током», и пустился по стенам, столам, потолку, пока не бухнулся на пол и не проклял в сердцах агонию.

Никогда, вы слышите, писистраты, сухорукие и кудрявые в валенках, и лающие шикльгруберы, никогда Ларионов старший не был предателем, никогда, ни под смоковницей, ни под платаном, ни под осиной! Его любили боги! Не люди - боги его признали, а боги не ошибаются, нет!

Экстаз схлынул, и обнажилось выщербленное дно. Мёртвые пучки водорослей, потускневшая на свету галька, бурый, осатаневший от болтанки песок. Добежал, допрыгался. Какие у тебя длинные ноги, Адонис. Особенно левая.

Глава 25

Армавир. Арр-мяв-фрр. Брачный гимн мартовских котов. Арматур. Строевая песня бетонщиков. Арма-был-дыр. Сарматский свадебный плач. Армадур, Армагог, всё подходит. Тем и хороша бессмыслица, что затемняя суть, восполняет пробелы.

Правда, местные краеведы отрабатывают иную легенду: арма по-черкесски долина, вир - ветер, в итоге долина ветров. Черкесы отбиваются руками и ногами.

Братья! Земляки! Есть латынь. Мёртвая, но прекрасно сохранившаяся. Арма - оружие. Вир - мужчина. То, что надо. Берите, дарю.

...Полугород-полустаница на левом берегу бесноватой Кубани, в половодье затопляющей добрую сотню домов. Жёлто-бурая, с комьями песка, ила и ржавой глины, не река, а всемирный потоп местного разлива. Дома строили с умом, подальше от неё и повыше, благо кругом полно бугров и горок. Но умного разговора не получится, если один из собеседников... Кубань не умела слушать. Было в ней что-то саморазрушительное, кочевое, снова на радость краеведам, утверждавшим, что весь Краснодарский край поднялся со дна бывшего Сарматского моря. Ну как не позавидовать невежеству, читатель, что ещё упоительней?

Схлынув, доморощенная янцзы с тем же упорством восстанавливала порушенное русло, словно отстаивала азы своей алгебраической азиатчины. Не в неё ли пошла лихость казачья, рубацкие замашки пшеничных мужичков?

На два берега - поля, поля, поля: гречишные, ячменные, ржаные, просяные, кукурузные; луга, бахчи, огороды, сады, палисадники. И налёт дуста и селитры, и душок

братоубийственных битв за урожай, и отрыжка свекольно-картофельной патоки студенческого энтузиазма. Картошку и корнеплоды убирали всем миром, а помидоры (сотни гектаров) гнили на корню - ни рук, ни перевоза, хай мрёть.

...Вавилонское смешение наречий: от кубанского гэканья и армяно-черкесского хаканья до погудок украинской мовы и еврейского причита. Заговорить чисто по-русски даже русским удавалось с трудом. Великий и могучий в пятидесятые годы сделался принадлежностью книг и ностальгических реминисценций очень отдельных людей, лихорадочно скрывающих своё образованное прошлое. На улицы и площади выплеснулась тарабарщина: обезьяний язык гримас и глухонемая азбука жестов. Радиосводки шибали уксусом конармейского галопа и нечеловеческих усилий, которыми насквозь пропиталась революционная сознательность.

...Ветер, пыль, две церквушки на взгорке, русская и армянская (что за прелесть! воскликнете вы, жмурясь от пересверка сусального золота), то заколоченные крест-накрест, то забитые метизом и списанным инвентарём. Даровые склады переходили из рук в руки, но никому не приносили счастья: ни тем, кто брал, ни тем, кто давал - при каждой ревизии обнаруживалась недостача, и материально ответственным оставалось только молиться богу. Или богам: русскому православному и армянскому григорианскому. Откат в язычество тоже входил в планы кремлёвских истуканов.

Другой достопримечательностью города был вокзал. Не само здание (нечто среднее между конюшней и мавзолеем, в духе сталинского классицизма) и не подвёрстанные к нему застенки узлового партийного комитета, пункта скорой помощи и отделения (от чего?) милиции, и не мосты, зависшие над широченным железнодорожным полотном (желчные пути человекооборота), а вокзал как ирреальность, театр времён Эсхила.

Обрядовые действа носили строго канонический характер, хотя совершались по неписаным правилам:

круглосуточное бдение у касс с перекличкой по списку, напоминающему перечень кораблей греческой армады в «Илиаде», с перепроверкой ладоней, на которых химическим карандашом намалёван номер;

переброска ручной клади с телеги в зал ожидания, из зала ожидания на перрон, с перрона в камеру хранения, «местов нет», обратно на перрон (дождь, снег, жара на вынос), обратно в зал ожидания и так много, много раз, как в незабываемой песне;

торчание в станционном буфете (из горячего – токмо чай, бледный как воспоминание о Великом Китае);

давка в общественной уборной на пересечении трёх стихий: шквал хлорки, выброс адреналина и прилив гнева на создателя за несовершенство человеческого организма;

толчея у колонки с холодной и горячей водой - запасаются впрок, за деньги вдосталь не напьёшься, а на станциях страшно отстать от поезда, едут с чайниками и бидонами, а то и с канистрами из-под керосина;

хитроумные засады и штурмы кабинетов начальника станции и дежурного по вокзалу («мать помирает», «баба рожает», «дембиль, батя, трое суток не жрамши») - пролезают только блатные и узкопартийные.

А маханье платочком вслед поезду, выталкиванье на ходу безбилетников, а дежурное оцепененье солдаток с невыносимыми восковыми цветами и невыносимым ожиданием на увядших лицах...

К пятидесятым годам балаганное зрелище простых человеческих перемещений расцвело в истинно драматический жанр прощания навек. Отцу трагедии и присниться не

могла изобретательность отца народов, который не ограничился вторым актёром, а вздёрнул на подмостки всю страну.

Императивы с большой земли прибывали в почтовых вагонах и запломбированных пульманах, и город начинал трепыхаться, как реаниматик, подключённый к системе. Радость возвращения к жизни поддерживали вагоны-агитки, распевающие в тупике, а волю к победе крепили платформы-транзитки с танками, зенитками и прочей убойной техникой.

В привокзальном сквере бил фонтан, выложенный из крупных сколков какого-то уральского минерала купоросного цвета. Бесформенная груда называлась «Каменный цветок» и символизировала собой народную мудрость, как доходчиво объяснил представитель горкома, пустивший первую струю. Благодарные граждане собрались не по зову сердца, их согнали, как скот, чтобы обеспечить поголовье, необходимое для проведения важного художественно-политического мероприятия.

Но лишь цыгане, месяцами ютившиеся в привокзальном сквере в ожидании бесплатного проезда на очередную родину, оценили прикладное значение этого фундаментального сооружения. Фонтан попеременно служил им корытом для стирки и многоместной ванной для купанья.

О рынке, верней, базаре, стоит сказать особо. На мрачном фоне хлебных и сахарных карточек, ливерных очередей, обложенных рабоче-крестьянским матом, базар возвышался, как алтарь отечества, на который приносили не только смятые рублёвки, серебряные молотобойные полтинники и золотой старушечий лом, но и судьбы, исковерканные отчаянием и злобной решимостью выжить во что бы то ни стало.

С ночи начиналось крычанье телег от станиц и хуторов к городу – крестьяне, или как их дразнили «мешочники», везли на продажу свои садово-огородные достижения и мелкий кустарный промысел.

И откуда брались об ту раскулаченную пору чугунные гири окороков, пласты густо обсыпанного солью и розовеющего на срезе сала, кадушки с разносолом, жбаны огненного и жирного, как топлёное масло, мёда, тазы с гремучими раками, бадейки крепко сбитой сметаны, горшки с простоквашей, ряженкой, варенцом... Слова и те пропали, зато просочился гемофилический ацидофилин, от одного названия стынет кровь.

А какие затейливые кружева, связанные крючком, иголкой, коклюшками, чуть не задаром отдавали грудастые и задиристые молодайки, какие воздушные пуховые платки, протекающие в обручальное колечко, специально припасённое напоказ, вязанки из грубой овечьей шерсти, нестерпимо яркие янычарские одеяла, сшитые из разноцветных лоскутов, костяные гребни, резные полочки, рушники с петухами... Всё это пело и звенело на тысячу ладов, что народная мудрость и впрямь бессмертна, сколь её ни символизируй.

И базар в свою очередь потрясал трудящихся, как древнегреческая трагедия, и заставлял пережить катарсис, которым так дорожил Аристотель, а впоследствии – Фрейд, несколько иначе понимавший чувство страха и сострадания. Чего-чего, а страха хватало за глаза, и даже обвешанные орденами фронтовики с неопровержимыми культями не упускали случая высказаться за Сталина, лучшего друга всех инвалидов.

На базар, как в театр, ходили семьями и влюблёнными парами, у ворот под часами назначали свидания, на коопторговском пятачке выясняли отношения и виды на урожай, бывало, и рожали, не рассчитав сил. Под телегами и дощатыми прилавками ночлежничали убогие, меж торговых рядов шныряла шпана, сводя свои копеечные счёты, каждые два-три дня кого-то выносили вперёд ногами.

Классовое расслоение, как малярия, обострялось по вечерам. Авангард глушил самогон

и забивал козла. Вчерашние «беспашпортные» станичники, правдами и неправдами перебравшиеся в город, по привычке копались в земле, запасались на зиму или готовились к лету. Бессознательный элемент лузгал семечки и чесал языки. Прослойка облачалась в трофейные габардины-мадепаламы и чинно прогуливалась по аллеям центрального парка культуры и отдыха, любуясь гипсовыми дискоболами, девушками с веслом и головами вождей мирового пролетариата.

Парк с гигантской танцплощадкой был разбит ещё в двадцатых на месте старого кладбища, так что отдыхающим приходилось буквально шагать по трупам и плясать на костях. Многих, прежде всего верующих, это отпугивало, и, чтобы просветить темноту, руководство города бросало в очаг культуры миллионы рублей и ревностно раздувало пламя. В парке устраивались обязательные для всех субботники, воскресники, митинги, отмечались профессиональные праздники. В рекордные сроки были построены эстрадный театр, лекторий, летний кинотеатр, аттракционы, игровые площадки и очень популярные, особенно в Армавире, комнаты кривых зеркал. Дураковать на Руси любили всегда, причём без всякой для себя пользы, а порой и в самоущерб, может, поэтому с таким интересом разглядывали собственное безобразие. Демокрит, заключив, что быть дурным невыгодно, не учёл поразительного бескорыстия, которое породнило в веках абдерцев и армавирцев.

Вдоль железной ограды тянулись грядки с настурциями, ирисами, ноготками, розами, гвоздиками - цветов произрастало великое множество и разнообразие, но клумбы вокруг вождей были засажены только петуньями, и в этом, наверное, тоже был политический смысл.

Оставим досуг досужим и вернёмся к работице, что, конечно же, не исчерпывалась базаром и вокзалом, но мелкие предприятия и захудалые фабрички, в основном перерабатывающие, не могли тягаться ни с житницей, ни с путями сообщения - слишком туго был завязан железнодорожный узел, слишком щедро плодила земля. Город разрывался между своим натурально-замкнутым происхождением и необходимостью строить коммунизм и всякий раз прыгал через голову, сворачивая себе шею.

Постепенно слово «купить» потеряло значение. Магазины пустовали, рыночные цены кусались, так что неуклонный рост народного благосостояния существовал лишь в больном воображении пропагандистов, а бурные аплодисменты отражали состояние умов с той же достоверностью, с какой «Кубанские казаки» запечатлели ужасы сталинских лагерей.

Разговорная речь мужественно сопротивлялась натиску печатного бреда и отделывалась идиоматическими оборотами. Так стилистически отреагировало народное сознание на подмену смысла. «Достать дрова», «выбить путёвку», «прикрепиться к поликлинике», «стать на очередь», «дают хлеб», «выбросили ситец» и тдрп. Эти обогатившие родную лексику идиоматизмы всё же больше сказали о живучести, чем о деградации о, великого, о, могучего, о, языка. Больно, грустно, читатель, но кто обещал, что будет весело?

Однако именно в эти годы, пятидесятые с хвостиком, Армавир переживал свой бурный расцвет. Каким-то чудом он оказался одним из первых в списке городов, разрешённых для проживания врагам народа, отбывшим срок заключения или ссылки. Первым в том понимании, что был ближе прочих к Москве, что и определило приток бывшей столичной интеллигенции и в конечном счёте лицо города.

Кадры решали всё, и в больницах рядом с коновалами встали профессора московских клиник; в институт, где заправляли рабфаковцы, пришли преподаватели МГУ; в газете, засиженной выдвиженцами, появились профессиональные журналисты. Здоровье,

образование и частично культура впервые оказались в умных руках, которые и вынянчили будущих армавирских сен-симонов.

С этих пор началось раздвоение города, как личности, в которой бессознательное и сознательное теперь могли существовать только в форме конфликта или клинической патологии.

Глава 26

Как удивительно... всё свелось к ней, сошлось одно к одному. Ларионов добрёл до рощи и повернул обратно.

Пятидесятые, неправда, что Гуляев подсунул, сам вцепился, започувствовал – самые важные для него. В эти годы Армавир осуществился как город. Так ребёнок, ползающий на четвереньках, вдруг встаёт и делает первый шаг, так аул, распластавшийся плоскими кровлями на обжитой земле, однажды поднял голову и потянулся вверх.

Это лирика.

Ничего не бывает вдруг. Город – живой организм, он развивается по законам природы, но для качественного скачка необходимо самостоятельное внутреннее усилие, встречный поступок.

Армавир совершил его, осознав себя частью универсума. Громко? Ну и что, все дети кричат, как оглашённые, заявляясь в мир. И всё же разве мало других захолустий, где до сих пор живут, уткнувшись в свою тарелку с ботвиньей и не желая знать, за что им такое счастье быть венцом творенья?

Легенда рассказывает, что первые поселенцы были гаями («гай» по-армянски: армянин), выходцами из араратского Армавира, бывшей столицы государства Армения Великая, которое в 387 году н.э. было разделено между Персией и Византией. Потеряв столичный приоритет, этот культурный и религиозный центр тем не менее просуществовал до пятого века и был знаменит в древнем мире, как «город храмов и библиотек».

Нашествия арабов, сельджуков, монголо-татар, иранцев и турков развеяли по ветру и славу Армавира и пыль его руин. К началу девятнадцатого века, когда произошло присоединение Восточной Армении к России и образование Эриванской губернии, это было уже небольшое село, шэн, в несколько десятков дворов, феодальное по форме, а по сути общинно-родовое.

Турция, проигравшая России (виват Суворову и Ушакову!) третью по счёту войну, однако не собиралась мириться с потерей своих владений в Северном Причерноморье и на Кавказе. Приграничные селения первыми ощутили толчки надвигающейся катастрофы, предтечи армянского геноцида. Вылазки аскеров и разбойничьих банд (угон скота, грабежи, убийства) заставили здравых людей сняться с родных мест и двинуться на юг России в поисках лучшей доли. Отправились со своими волами, повозками, чадами, женщинами и стариками, как некогда иудеи за Иордан.

Кто их вёл? Безымянный пророк? Парон, богатством и благоразумием снискавший власть? Деревенский умник? Или крикун, который всегда найдётся в разгорячённой толпе?

Нет, их вели тертеры. Священнослужители. Отцы армянской церкви, сыгравшей уникальную роль в миру. Так сложилось, что Армения возникла и утвердилась на пересечении караванных путей и захватнических интересов. С потерей государственности

нация рассеялась... по собственной, но ей уже не принадлежавшей территории, занимавшей когда-то огромное пространство от Чёрного до Средиземного моря, и только вера могла возродить умирающий этнос. Армения первой в мире приняла христианство, в форме государственной религии, и за пятнадцать веков накопила бесценный духовный опыт, который позволил армянской церкви проявиться в народе, как образующее и формирующее начало.

Миссия возрождения ознаменовалась тем, что священники распахнули двери уцелевших храмов всем нуждающимся в приюте и хлебе насущном: бездомным философам и художникам, странствующим музыкантам и летописцам, бродячим актёрам, ремесленникам и лекарям. В гостеприимных стенах соборов и монастырей были написаны тысячи тысяч хроник, научных трактатов, поэм, музыкальных и живописных шедевров, лечебников и практических руководств. Образованные тертеры обучали паству грамоте и ремёслам, наравне с верховодами общины решали хозяйственные вопросы, воспитывали сирот и подкармливали бедноту. Церковь была не только религиозным, но и просветительским центром, настоящей народной школой. Знания, опыт и дух, то есть самое дорогое, что было у гаев, они взяли с собой в дорогу. И книги, пуды папирусов и пергаментов. И связки виноградных лоз.

Сколько лет занял путь из Армавира в Армавир, сколько людей начали его и кончили, неизвестно. Есть предположение, что исход совпал по времени с подписанием Белградского мира, и, таким образом, скитания длились целый век. Маловероятно. Сорока лет вполне достаточно для легенды.

По дороге переселенцы осели в карачаевских горах и смешались с горцами, но вере своей не изменили. Законным признавался брак, совершённый по христианскому обряду, так что вскоре армянская община пополнилась новообращёнными из числа влюблённых и сочувствующих. В долину ветров (удачней не назовёшь, занесло) черкесо-гаи, народность, изобретённая краеведами, пришли уже в 1839 году. С этой даты аул Армавир и повёл свою родословную.

Остальное более-менее достоверно. Вольные казаки из беглых крестьян России и Украины, сравнительно недавно обжившие эти места (в 17-18 вв. по традиционной версии и хронологии), приняли чужаков дружелюбно. Тому было несколько причин. Впадина, продуваемая со всех сторон, бугристая и суглинистая, не годилась для земледелия и считалась ничейной, бросовой. Горцы повели себя разумно, сразу оговорив с казаками условия общего проживания и взаимопомощи. Местных и пришлых объединяло главное: единая вера, почва и судьба.

Чернозём для огородов привозили с пойменных лугов, саженцы и семенной материал поначалу брали в долг. Дома строили по старинке: из самана, кизяка и глинобита, несмотря на обилие леса. Первой из камня соорудили церковь. Казаки охотно помогали её возводить, и вновь совершилось чудо христианского милосердия - дальние стали ближними. И русскую церковь поставили рядом, метрах в пятидесяти. Потом не раз перестраивали и подновляли, но до сих пор! обе! стоят! В назидание нам.

Революция, коллективизация, ежовщина, весь комплекс умерщвляющих мер по оздоровлению общества не смогли сломить веры в церковь, потому что она была уже частью культуры и частью мира. В катакомбах не прятались, а по домам собирались, делились чем бог послал: кто хлебом, кто учёностью, кто уменьем. Поэтому самые грамотные, и книжники и мастеровые, выходили из этого шумерского братства... а как ещё назвать русско-армяно-черкесо-украинско-еврейско-греко-всякое? Они-то и совершили

качественный скачок.

Ларионов вдруг обессилел и присел на плоский камень, подвернувшийся под ноги. Снег давно сошёл, но земля тяжело дышала, словно выкарабкивалась из мёрзлых глубин. От дыхания поднимался пар, понизу влажно-зелёный, поверху дымчатый до голубизны, он струился в воздухе, и вместе с ним струились деревья, заречный луг и песчаные холмы, обступавшие долину с юго-запада.

Так что сказал себе Ларионов? А сказал, этот козлиный ментор, наводящий панический страх на девочек, что всё одно к одному и надо бы это перековать на орала и что-нибудь вспахать. Вот какие сельскохозяйственные переживания охватили его, глядя на просторы родной Кубани. Вроде как «Подъезжая к станции у него (у Чехова) слетела шляпа» или «Подъезжая к Болдину у меня (у Пушкина) были самые мрачные предчувствия». В шутку и всерьёз. Над вторым смеяться не стоит.

Да, пятидесятые. Да, важные. Для него. Аня родилась. И другая рыжая девочка из другого, араратского Армавира, лучшее, что создал Пигмалион, вновь ожила, спасибо Ане. И очерки деда по греческой архаике, прочитанные им в пятидесятых, пригодились благодаря... И открытие, перевернувшее его жизнь, которое он сделал, думая о ней.

Слишком много совпадений, это вылет, как говорят парапсихи, а он никогда не любил астр. Но «пара» по-гречески: «вдоль». Значит, истина где-то рядом, если идти по берегу.

Но орало орало, требуя земли и воли. И он бросился напролом, через кусты, чей-то вскопанный огород, перемахнул через низкую изгородь и в автобус, к себе, к столу - успеть! Так прихватило, как дурнота в очереди за колбасой: и вредная старушонка взяла и мухомор в галошах, перетянутых резинкой для вздёшки, остался вихрастый мальчик с белой полоской шрама на макушке... а упал на прилавок, животом, грудью, щекой по скользкому мрамору и ничего не хочу - ни мяса, ни счастья на земле.

Глава 27

- Научи меня лепить, - потребовала Элпис.

Пигмалион усмехнулся. Ни одной просительной нотки. Быстро как у них.

- Зачем тебе?

- Просто так.

- Значит незачем, если не знаешь зачем.

- Я хочу сама что-нибудь сделать, без тебя.

Он чуть не выронил резец. Обрадоваться или затопать ногами? Ум подсказывает первое, сердце - второе. Аристотель прав, крайности разрушительны, но принцип умеренности хорош, как идея, а как правило, спорен. Агесандр тоже вывел закон гармонического деления. И эта что-то придумала. Все умные, один он дурак.

- Сама так сама. Вот глина, вот вода.

- Ты плохо понял, что я сказала ночью.

Она говорила с ним, как с провинившимся ребёнком. Почему захватив власть, слабые спешат ею воспользоваться? Боятся, что не удержат?

- Объясни.

Он вырезал из кости киаф, рукоять которого собирался отделать серебром с чернью. Простая затея, но до сих пор металл украшали костью. Евпраксия точно подметила, что

всегда это в нём сидело - сломать или починить, но переиначить. Старая карга убеждена, что он всё делает из вредности и упрямства. Ничего подобного. Как умеет. Он не знает, что плохо, что хорошо, в этом смысле он, как всякий художник, безнравствен, но у него есть вкус, мера, такт, и он знает, чего не хочет, даже когда желание ещё не оформилось. А чего он хотел, растолкуют критики, они горазды на выдумки. Взять хотя бы этот черпак. Будут им разливать похлёбку или хватят по лбу осточертевшего супруга, или выставят на видном месте и станут хвастаться перед гостями, уже не его дело, не его.

Пигмалион увлёкся и не слышал, что говорила Элпис. Голос её журчал, как ручей, удаляющийся от истока - чудо возникновения произошло и начался долгий изнурительный труд обживания русла. Элпис вошла в силу, теперь она не пропадёт, но как это «без тебя»?

- Поэтому я хочу научиться страдать, - сказала с досадой.

Пигмалион не решился переспросить, хотя признание его порядком обескуражило. Детская дурь или женская дурость?

- Я сделаю всё, чтобы ты не страдала, Элпис.

-Ты можешь только то, что ты можешь.

И вся логика. Возражать бессмысленно, будет стоять на своём, как скала, да и мысль чёткая, что оспаривать?

- Подожди. Сейчас я приведу пример, немного далёкий от нашего разговора, но ты поймёшь, во всяком случае попытайся понять. Думаешь, стекло придумали греки? Нет, девочка, оно пришло к нам из песчаной Сирии. И добывать пурпур из моллюсков нас научили сирийцы. Мы гадали по звёздам, когда в Египте чертили астрономические карты, мы рисовали на песке закорючки, а вавилоняне разрабатывали геометрическую систему. Даже денежную чеканку мы переняли у мидийцев. Знаешь, что такое драхма? Горсть. Шесть медных брусков, то есть оболов, составляли драхму, столько их умещалось в руке. Веками греки расплачивались горстями железок, лишь потом появился талант, главная единица веса, равная шести тысячам серебряных драхм. Недавно один остолоп сказал: Греция родина монументов. Вот увидишь, это подхватят и начнут распевать на все лады. Остолопам ведь невдомёк, что грандиозными памятниками мы обязаны александрийцам. Я хочу сказать: научиться можно многому, была бы охота. Мочь - понятие растяжимое, хотя всему есть предел, кроме человеческой глупости.

Ах, как жадно она слушала, как легко загоралась вслед за ним и как благодарно затихала, когда он выбивался из сил.

- Слава богам, и мы кое-что умеем. Никто не делает пайку прочней, чем греки, а бронзу лучше не отливает в формах. Латынь умрёт, попомни моё слово, а на языке Гесиода ещё долго будут говорить, недаром дети патрициев зубрят наш альфабет.

Её взгляд прояснился, она улыбалась. Кому-то там, далеко.

- Пусть будет по-твоему, - прошептала. - Я ни о чём не пожалею.

Он заставил себя продолжить.

- А коринфская керамика... и в колониях знают о ней, а беотийские статуэтки... Не всегда мы носили козлиный мех. Так-то. Смочи руки водой, да не пальцы, руки. Не стряхивай, говорю, иди ко мне.

Глава 28

Ларионова хватило на три дня. В среду, не постучавшись, он вломился к Ане. Собирался грянуть с порога: «уезжаю, примите и проч», да выход сорвался - героини на сцене не оказалось.

На диване, задрав полосатые носки, похрапывал железнодорожник. Ларионов попятился, надеясь незаметно провалиться сквозь землю, но папаша открыл глаза, крякнул и начал подниматься.

- Простите, - сказал идиот Ларионов, - я вас, кажется, разбудил?

- Не кажется, а точно. - Он грубо растёр ладонями помятое лицо. - Входите, чего уж там.

- Аня дома? - ещё умнее спросил.

- За хлебом пошла. - Нашарил носками тапочки, посмотрел на часы. - В ночь мне, вот я и сплю. Да садитесь вы, сейчас придёт.

- Я даже не знаю, как вас зовут.

- Дядя Лёша.

- А по отчеству?

- Иваныч, да я не привык.

Ларионов, ну идиот, идиот, вытащил из кармана билет и показал дяде.

- В Москву еду. Зашёл сказать, что в субботу урока не будет.

- Какого урока?

Сразу и не ответишь. Из тех, что дают в тишине.

- Я занимаюсь с Аней... литературой. Она у вас одарённая девочка.

Дядя Лёша поскрёб в затылке.

- У меня? Вот новости. Чем же это её одарили?

- Она у вас стихи пишет.

Долго думал, разглядывая на руках конопушки.

- Ну и как?

- Ещё как.

- То-то карябает день и ночь. - И пфыкнул: - Только пушкиных нам не хватало.

Ларионов зашёлся. Выдал, выдал девочку, сукин сын. Теперь зашпыняет, затюкает.

- А кто у вас был?

- Плотники, слесаря... повар, кажись. Без фантазёров оно как-то спокойней. - Ударил в последний слог.

- Да уж фетам до Фета. – Последовал ударному примеру.

- Чего?

- До лампочки, говорю. Конечно, спокойней. Но без детей в доме пусто.

Дядя Лёша хитро прищурился.

- Откуда вам знать? Или тоже родитель?

- Я не о детях - о фантазёрах.

- Н-да, подвезло папке с дочуркой.

- Да вам гордиться надо! - вспылил Ларионов. - Борщ она вам и так сварит.

- Как же, дождёшься.

Надо было срочно спасать положение.

- Дядя Лёша, не расспрашивайте её ни о чём, про стихи то есть. Пусть сама вам скажет.

- Добре, добре, не враг я ей. - Довольно захмыкал. - Что-то мы с вами обратно в тайны играем.

- Какие тайны? - Аня вошла неслышно и остановилась у двери, с беспокойством

оглядывая то одного, то другого.

Дядя Лёша открыл рот, но Ларионов его опередил:

- В Москву еду. За песнями.

Она пошла к дивану, вернулась, положила буханку на стол, опять к дивану и назад, к нему.

- Пойдёмте, я вас провожу.

Ларионов пожелал дяде счастливо оставаться. Тот буркнул: «привет Москве».

В коридоре Аня схватила его за руку и бегом потащила в обход дома, за выступ стены, где начиналась (кончалась) тропинка. На том же проклятом месте, не переводя духа, выпалила:

- Насовсем?!

- Вообще не поеду, - тоже разволновался Ларионов, - если...

- Не пущу.

И просунув руки под его локти, крепко обняла, уткнулась лицом в ёлки-палки. Горячее мокрое просочилось насквозь и прилипло к ребру.

- Ну что ты, - забормотал он, целуя её жёсткие волосы, клонясь всё ниже, словно что-то гнуло его к земле.

- Вась, - метнулось со дна туннеля, - бач, шо видбуваеться!

Аня ещё крепче прижалась к нему, шепнула:

- После семи... придёшь? приходи...

Он провёл ладонью по её спине. Под тонкой шерстью кофты хрустнули позвонки, мелкие, как речная галька.

- Не приду.

- Уедешь?

Ларионов сунул билет в нагрудный карман аниной кофты.

- На, чтоб наверняка.

Отступила на шаг, спросила:

- Почему ты всё делаешь против себя?

- Такой я дурак, Аня. И потому что ветер дует в твою сторону.

- Мой ветер... ты не любишь, когда...

Он отыскал её губы, «люблю», и замучил, терзал, пока не поняла, что нельзя так, играя, бросаться на ветер. Тем более в пустыне.

- Ты всё делаешь против себя, - сказала, собирая распухшие губы с капелькой крови. - И против меня, ведь нас двое.

- Нас двое, - тупо подтвердил Ларионов, - но голова у нас одна. Догадываешься, чья?

Фыркнула и схватилась за рот. Глаза смеялись. Что такое, почему не падает в обморок? Может, из тех, кому нравится, когда чуточку больно?

- Всё равно приходи.

- Не приду, - сказал уже со злостью.

Глава 29

- Ну как вам моя барышня? - спросил Ларионов, прихлёбывая крепко заваренный чай.

До времени, до семи, рванул к Фаине Марковне, опасаясь, что не удержится и наломает

дров в пустыне, уж очень хотелось погреться у огня, по ночам в песках свежо. Явился пред светлые очи с огромной связкой бубликов на шее, «цезарь приветствует вас».

- Аве, аве, - втащила за рукав. - Не бузите, соседка хворает.

- Мигрень?

- Архангельская астма. Дважды неотложку вызывали.

Тихо, как мыши, пили чай. Он и спросил.

- Посплетничаем? - ответила вопросом на вопрос.

- Как мужчина с мужчиной.

- Понравилась. Только говорит ужасные вещи.

Ларионов повесил на нос чайника недоеденный бублик и развёл руками.

- Немая сцена.

- А по-вашему мило, когда семиклассница заявляет: «какого чёрта рассуждать о нравственности, когда все под Сталиным лежали»?

- Так-таки лежали.

- Допустим, не все, и речь-то шла о нравственном выборе.

- Да постеснялась она толком объяснить что ей там втемяшилось.

- Экая скромница.

- Дурная она, - вспыхнул Ларионов и тут же погасил отцовский порыв. - Хотя дурость ещё никому не прибавляла ума.

- Ладно, я поморщилась и промолчала. Вы, я вижу, даже не поморщились. Ну а ляпнет где-нибудь в учительской или на классном собрании? Там не станут разбираться, какая maxima sententia засела в её башке, вмиг расчехвостят, а то и из школы попрут.

- Сор-роковые р-роковые... слава богу, прошли.

- Вам только кажется, что наступили новые времена. Изменились лозунги, а не люди, которые их выдвигают и подхватывают. Любой дремучий мужик знает, чем опасна ранняя оттепель - ударят заморозки и похерят посевы. А нашей премудрой интеллигенции всё невдомёк, что впереди голодуха. Так что не спешите радоваться бурному таянию снегов.

- Я мрачный тип, Фаина Марковна, а школьниц не интересуют новые времена, их раздирают античные страсти.

- Это вы насчёт желаний, которым грех сопротивляться, если они сильней тебя? Крепко выразилась. Эдак и до змейки недалеко, вам, цезарям, должно быть известно.

- «Я был в Египте лишь рабом». Конец цитаты.

- Смейтесь, смейтесь. Были бы построже, и вам не во вред и ей на пользу.

- Да я и так... - чуть не сболтнул, но вовремя прикусил язык, - нравоучаю. По ходу дела.

- А что она у вас делает?

- Она у меня стихи пишет.

- Ах вот как. И о чём?

Хотел сказать «про эвридиток», да пожалел ребёнка.

- О смерти, о чём ещё.

Фаина Марковна понимающе улыбнулась. У неё были светлые глаза. Не легкомысленно голубые и не пронзительно серые, а именно светлые, умные и спокойные. Глядя в них, не надо было искать непостоянных эпитетов, а удивляться, что бывает такая ясность.

- Кто-то сказал, что в юности мы стоим ближе к смерти, потому что ещё не умеем беречься. - Она задумалась, рассеянно помешивая ложкой в пустом стакане. - Как вы думаете, какой допрос самый страшный?

- Первый, наверное. Или последний.

- Второй. И не только допрос, а всё в этом ряду. Знаешь чего ждать.

Что же я натворил, закручинился добрый молодец Ларионов, с трудом читая, бо неграмотен был детина, древнерусскую клинопись на придорожном камне. И с места не стронулся, а голову потерял и коня решился.

- И обман в том числе.

Его замутило.

- О чём вы, Фаина Марковна?

- О Сергее Михайловиче. Я всё же дорасскажу вам эту историю. А то мы с вами увлеклись перипетиями, а про развязку забыли.

- Вы нарочно меня изводите? - уже обиделся Ларионов. - Разве я похож на графомана, который путается в деталях? Я помню, что у Наташи Ростовой один глаз синий, а второй чёрный. Поясняю: Лёв Николаич описал её синеглазой, а через несколько страниц у неё вдруг сделались большие чёрные глаза. Выправил уже в корректуре.

- Пейте свою заварку и не кипятитесь. Был у Сергея Михайловича ученик. Не то чтобы талантливый, но многообещающий и даже симпатичный. Почти родственник, будущий зять.

- И кто же это?

- Человек, о котором вы как-то упомянули. Очень трогательно заботился о вас во время приёмных экзаменов.

- Румянцев?

- Он самый. Или Галатеон, как окрестил его ваш дед, обыграв имя пигмалионова детища. Так вот, «ларионовским делом» мы все по гроб обязаны ему.

- Господи. Вы не ошибаетесь?

- Нет.

- Подождите... сейчас очухаюсь и начну соображать. - Он закурил и в три затяжки высмолил сигарету. - Румянцев донёс на деда?

- На всю контрреволюцию.

- Невероятно. Ради чего?

- Любопытный вопрос, ну да бог с вами. Галатеон, мягко говоря, кое-что позаимствовал у своего учителя. Идею принципиально новой датировки античной и средневековой истории. «Творчески» переработал и опубликовал, как собственный реферат. И стяжал лавры. Вот вам голая фабула.

Сквиталась за «детали». Сколько в этом поколении непримиримости.

- Ларионов, естественно, был оскорблён. Не оттого, что пострадало его авторское самолюбие, хотя двадцать лет каторжного труда давали ему право на пиетет, а потому что в работе Галатеона были допущены грубейшие датические ошибки, а главное, искажён подход. С кондачка производительных сил и производственных отношений можно рассуждать об основах политэкономии социализма (наука неизведанная и загадочная), но рассматривать феномен возникновения цивилизаций под углом прибавочного продукта - это, согласитесь, отсутствие всякого присутствия. Сергей Михайлович потребовал созвать учёный совет университета, где собирался выступить с опровержением. Лёва был близок с ним через своего отца (египтолог Файнберг, его взяли ещё в тридцать четвёртом), так что лаокоонская драма разворачивалась на его глазах. Однако Галатеон предвосхитил события. Он не только донёс на Ларионова, «посягнувшего на святыни марксизма-ленинизма», но и выразил готовность присутствовать, как свидетель, на очных ставках.

- И на одной из них... Вы сказали, что дед обманулся дважды.

- Не говорила.

- Значит, я плохо понял. Но что-то произошло, сам бы он не полез в петлю.

- Сергей Михайлович оставил предсмертную записку. Я узнала о ней на пересылке, передавали устно.

- Ну?

- «Галатеон, тепло ли тебе на свете?» И подпись: Ларионов.

- Странная записка. Слишком интимная.

- Какая есть. Сообщение звучало так: «Боря Михайлов, Лубянка, камера 74, передаёт...»

- Где он, кто?

- Ничем не могу помочь.

- Что же вы молчали? - Ларионов уронил голову на стол и крест-накрест накрыл её руками. - А мать... она знала?

- Спросите у неё.

- Но она сама свела меня с ним.

- Она его любила.

- То есть как любила?

- Ну когда желания сильней тебя и нету сил...

- Постойте, не так быстро. Она знала, что он... и продолжала?

- Мне неведомо, что происходило в Москве после января тридцать седьмого года. Пятнадцать лет там и двенадцать здесь.

- Это невозможно, - сказал Ларионов. - Я декабрист. Я умею считать.

- Прежде всего, не делайте скоропалительных выводов. Предлагаю сварить кофе и начать сначала.

Ларионов посмотрел на часы. Поезд ушёл. Фаина Марковна бесшумно ходила по кухне. Несколько минут спустя он уже взбегал по шаткой лестнице в задышанный, истошно вопящий полумрак переговорного пункта. На кабинке с табличкой «Москва» белел листок. «Связи нет». Он приписал: «Всё кончено меж нами».

Ставни были открыты. Аня сидела на диване, поджав под себя ноги, и что-то строчила в блокноте. Однажды призналась, что ей не пишется за столом - хлебный дух забивает. Ты просто раззява, поддел он, не умеешь сосредоточиться и придумываешь отговорки. Нет, ничуть не обиделась, это не от меня.

На тумбочке у окна горела настольная лампа, отбрасывая зелёный полукруг, и Аня ему показалась чужой и взрослой. Он постучал монеткой по стеклу. Лампа погасла, и окно распахнулось.

- Лезь.

- Открой дверь, я ненадолго.

Увидел в темноте, разбавленной светом сигнальных фонарей, как вспыхнули её щёки. Поднялся на крыльцо и столкнулся с соседкой.

- Поздно, молодой человек. По ночам в гости не ходют.

Он молча её отстранил. Аня выбежала навстречу, схватила его за рукав, как Фаина Марковна, и потащила в комнату, «что?»

- Не тереби, сам.

Солдатское одеяло, ширма, «Справочник путейца», заложенный карандашом. И скрип

половиц в коридоре.

- Здесь не могу.

Аня стянула с вешалки верблюда. Дохнуло самумом.

- А я тебя поведу гулять.

Слова были родными, и он успокоился. И ветер сразу улёгся. Закрапал реденький дождь.

- Анька, вернись! - кричала с крыльца соседка. - Поимей совесть! Всё отцу расскажу!

Аня, не оглянувшись, подошла к забору, отделявшему двор от склона туннеля, и поднялась на цыпочки.

- Видишь длинный камень? Сейчас мы туда проберёмся.

Они дошли до электростены и с другой стороны забора, держась за него, осторожно двинулись по узкой полоске земли к прямоугольному тёсаному камню, что держался на весу, одним боком упираясь в мощёный склон, а другим - в стволы трёх акаций, сросшихся корнями.

- Летом здесь настоящий тайник. Снизу не видно, сплошной лес, а со двора не подойдёшь - времянки. Я когда была маленькой, сбегала сюда пожалиться.

- Кому?

- Себе.

- Часто обижали?

- Нет, это я обижалась.

Она говорила про себя легко, словно про человека, с которым случайно познакомилась в дороге и который не вызвал в ней ничего, кроме попутного интереса. Детская рассудочность? Не сказал бы. Быстро растёт? Ну растёт. Но эта дистанция...

- Ты тоже садись, - кивнула на камень, - жалко, пальто испачкается.

Обняла колени и отвернулась, «давай». Он начал с Пигмалиона и закончил разговором с матерью.

- И как мне жить после этого?

- Так и жить, - улыбнулась в небо. На нижней губе чернело пятнышко, его отметина. - Всё это произошло давным-давно и повисло в воздухе. Надо идти дальше.

Он покачал головой. Что повисло? Совсем не умеет говорить. И с ней наплачутся и сама не рада будет.

- Я не знаю, куда идти. И замерз, как чёрт.

- У тебя есть Ларионов старший, Пигмалион... и я. Возьми мою руку. Слышишь?

Он взял обеими руками её кисть, холодную, он точно помнил, и ощутил лёгкое тёплое покалывание.

- Что это?

- Седьмое чувство света. Приходит и уходит. - Отняла руку и стряхнула свои иголки. - Я часы не могу носить из-за этого. Они у меня зашкаливают. То вперёд убегают на час и два, то назад, то совсем никуда. Даже отцовские, мозеровские, на мне стоят. Папка наденет - опять идут. Я не люблю часы.

Она говорит стихами, вновь изумился Ларионов. Каждый ряд имеет свой период, поэтому речь кажется рваной и бессвязной. И замечать эту странность она не может, она думает так. Он мысленно выстроил абракадабру.

Седьмое чувство света.
Приходит и уходит.

Я часы не могу носить,
из-за этого,
они у меня зашкаливают:
то вперёд убегают на час и два,
то назад,
то совсем никуда...

А в конце фразы проскальзывает рифма. Это уже техника. Неужели пошло-поехало?

- Я услышал, - сказал он. - Ты меня любишь.

- А Волга впадает в Каспийское море.

- «Волга в сердце впадает моё...» - промычал с задумчивым идиотизмом, с каким исполнялась эта песня по радио. - Бежим на вокзал!

Вскарабкались наверх и, подталкивая друг друга, перепрыгивая через лужи, понеслись по двору, по скверу, мимо фонтана и как угорелые ворвались в зал ожидания. Аня вытряхнула из верблюда трёшки и мелочь.

- На, я сдала твой билет, чтоб не пропал. Купи что-нибудь, я умираю есть хочу.

Он попросил двух бабушек потесниться и усадил Аню на широкую деревянную скамью, которая опоясывала колонну, крепясь к ней по конусу массивными брусьями. Идея мёртвая, погребённая в песках пляжей и детских площадок. Дощатые грибки, передранные у французов парасоли. Но внезапный железнодорожный поворот и, может быть, «сидячая колонна» отпечатается в истории архитектуры, как армавирский раритет.

Очередь в буфет не дремала, несмотря на то, что кипяток кончился и закуски расхватали. На витрине, засиженной прошлогодними мухами, досыхали бутерброды с любительской колбасой и коржики, похожие на шестерёнки.

Ларионов затылком чувствовал анин взгляд, но упорно не поворачивался. Из пяти касс работала одна, возле неё переминались несколько человек. Кассирша то и дело взрывалась, что на сегодня свободных мест нет, а билеты на завтра будут продаваться завтра, и люди молча выслушивали эту белиберду, но не расходились, а по привычке чего-то ждали. На чемоданах и тюках, сваленных вдоль стен, спали дети, рядом, примостившись на корточках или сидя на полу, клевали носом женщины и старики. Мужчины курили на перроне, поминутно сверяясь с расписанием. Ночных поездов оставалось два: ростовский и московский. В это время вокзал погружался в искусственный анабиоз, что давало пассажирам силы дотянуть до рассвета.

- Зал ожидания всего, - усмехнулась Аня. - Хоть тут не соврали.

Её волчьего аппетита достало на полшестерёнки и пару глотков крем-соды.

- Ну и едок ты, - вздохнул Ларионов, подчищая за ней. - Всё человеческое тебе чуждо. В чём душа только держится.

Аня не ответила, смотрела на дубовую стойку, на которой были разложены газеты, журналы, брошюры, художественные открытки. Разъедающий запах свинца и типографской краски резал глаза. Злобой дня торговали всю ночь.

- Спать хочу умираю... - вдруг пробормотала, качнувшись назад. - Я всегда, как наемся...

Он обнял её, «со мной не уснёшь», и вывел на перрон, гулкий от стука почтовых тележек и отрывистых диспетчерских команд. У окна телеграфного пункта Аня остановилась.

- Давай отобьём Галатеону ларионовскую записку?

Он не сразу врубился.

- Я и адреса не знаю.

- На университет.

Глупая выходка, но отступать было поздно. Аня заполнила бланк.

- Имя?

- Нет у него имени. Румянцев и всё.

Телеграфистка повторила текст, с подозрением глянула на Ларионова, очевидно, решила, что он в уме, и приняла телеграмму.

Возвращались дворами, так было ближе, друг к другу. В непроницаемой темноте белели лишь анины нитяные чулки.

- Ты всё-таки не носи такие короткие юбки, - дал ценный совет Ларионов. - Все задирают головы, когда взвиваются сигнальные ракеты.

- На войне как на войне, - ответила.

- Это генеральская острота. Она имеет успех на свадьбах, а не в окопах. Солдатня шуток не понимает, так что драпать тебе придётся как миленькой.

- Вот и не хочу запутаться в юбке.

Анино окно призывно горело в нощи, роняя прямоугольник света на аккуратно разбитые грядки.

- Спокойной ночи, - сказал Ларионов. - Спокойствие прежде всего.

Аня помахала с крыльца рукавом верблюда, которого держала за шиворот. На углу он обернулся.

- Эй, я говорил, что я тебя люблю?

- Не помню.

- Я говорю, что я тебя люблю!

- Ничего, завтра скажешь.

- Тогда разбуди меня пораньше!

- Спи, спи...

Шёл и смеялся: два сапога пара. Жаль, что не пара и не два сапога. Никогда он не был так несчастно счастлив и так счастливо несчастен, как в эту ночь. Но было утро.

Глава 30

Рассвет ещё не наступил, но день намечался сырой и ветреный. Тяжело, одышливо хрипело море, всё ближе подкатываясь к городским стенам, с разбойничьим свистом перекрикивались чайки, и гудело, трещало в накренившемся небе, словно рвались паруса и валились мачты исполинского корабля.

Пигмалион проснулся от тоски, что отзывавшейся болью во всём теле. Ему снилась дорога, пустая нескончаемая дорога: то мощёная камнем, вдоль которой тянулись заросли лавра, выгоревшего на солнце, и фонтанчики с питьевой водой, подведённой из окрестных источников, то пыльная просёлочная, в рытвинах и ухабах, усеянная лепёшками коровьего помёта, то извилистой тропкой петлявшая по лесам, то арканом заброшенная на холмы. Он дошёл до её середины и вдруг почувствовал, что у него нет сил двигаться дальше. В клубах тумана, наплывавшего со всех сторон, не было просвета и вдали не виднелось ни блуждающего огня, ни живых очертаний. Почудилось, что дорога повисла над пропастью и

сейчас случится что-то бессмысленное и непоправимое. Бессилие наполнило его яростью и заставило сделать последний шаг... и очнуться.

Если душа это форма, которую стремится принять тело, подумал Пигмалион, то он уже где-то на полпути к бессмертию. Как замысел облекается в материал, так и плоть тяготеет к духу. От тяготы и тоска.

Он боялся предутренней бессонницы больше ночной, потому что голова свежа и в редких сумерках видно, как сыплется время в песочных часах. Блаженны сонливые и незрячие.

Он не всё рассказал Элпис о старом Пигмалионе. Жизнь деда не была похожа на легенду, потрясавшую киприотов своей сказочной простотой и множеством счастливых совпадений. За ними угадывался продуманный литературный сюжет. Народная молва сохранила бы и неувязки и нелепости.

В самом деле, громкая слава Пигмалиона плохо вязалась с годами изнурительного ремесленничества, без чего не обходится ни один начинающий художник, если он незнатен, небогат и не имеет влиятельных покровителей. Роковая страсть к статуе, никогда не выставлявшейся на обозрение, не предназначенной для продажи и ритуальных игр, и поздний брак на девушке из бедного рода тоже не проясняли любовной тайны Пигмалиона, которая по мнению критиков могла объяснить всё, вплоть до секретов творчества. Поговаривали и о двубрачии, потому что повитухи уверяли, что дочь его, обыкновенный ребёнок, была произведена на свет такой же обыкновенной женщиной, из костей и мяса.

Ученики и друзья оспаривали всё подряд, полагая, что честь и слава мастера распространяется и на них, и это даёт им право правильно распорядиться наследством. Представления о правильности у каждого были свои, но сошлись на том, что божественная статуя имела чисто художественный смысл и являлась произведением искусства, а то, что она ожила, объяснялось тем, что после смерти Пигмалиона она бесследно исчезла. Изваяние не могло раствориться в воздухе, а без помощников, то есть живых свидетелей, старику не удалось бы вынести Галатею из дома и упрятать в отдалённом месте (поблизости всё перерыли и перетрясли).

...Элпис вздрогнула во сне и спугнула воспоминания. Она тяжко носила ребёнка, с отчаянием превозмогая женский долг. Это его удручало, он привык думать, что материнство - лучшее, в чём может естественно проявиться женщина, а естественное должно совершаться непроизвольно и радостно. Пора бы привыкнуть, что жизнь опрокидывает любые представления о ней.

История, которую ему рассказал дряхлый Эпидиус, сохранивший верность пигмалионову дому, уже потому походила на правду, что была совсем уж невероятной. Она не ложилась на музыку и не годилась для назиданий.

Средиземноморская чума, как смерч, пронеслась по острову и отняла у Пигмалиона родителей и молодую жену. Дочь вскоре оправилась от болезни, но не от горя - заговаривалась, дичилась и целыми днями пропадала на молу, вглядываясь в море, как будто оттуда к ней возвращалась потерянная душа. Пигмалион пытался уйти в работу, но и она ему изменила. Он отпустил учеников со словами: «Если я ни на что не способен, мне нечему вас научить».

Однажды дочь не пришла к обеду. Кто-то видел, как она садилась в лодку со светлобородым матросом, собиравшимся плыть в Сирию. Никто не знал его имени, ни откуда он взялся, но сказали, что с лодочником расплатился золотом и провианта набрал с запасом.

В тот день Пигмалион посадил платан, в дальнем углу сада, за миртовыми кустами. Эпидиус по обычаю окропил его вином, посмеиваясь над причудой деда: «Ты создал более долговечное, чем дерево, которое живёт всего две тысячи лет». Всё человеческое временно, отрезал Пигмалион.

После второго фиала Эпидиус разоткровенничался. Я давно пришёл к выводу, начал, что непрерывна лишь морфология, формообразование людского рода, а не конгениальность, под которой подразумевается образ мыслей, поэтому как бы мы ни тщились передать потомкам свой дар и опыт, они останутся глухи к нашим трудам, ибо с жизнью человека пресекается его психогенос. Ну и что, удивился дед, пусть каждый проживает своё и не валит вину на другого. Но это значит, продолжал Эпидиус, что судьба случайна, а история прерывна и не в нашей власти что-либо изменить: ни улучшить мир, ни развить собственный талант, и даже наши творения нам не принадлежат. А это мы посмотрим, ответил дед.

К утру, не дождавшись дочери, он раздробил молотом прекрасную Галатею и осколком её белой кости взрезал себе вены.

Вдохновлённый скорбью Эпидиус написал поэму о рукотворной деве, ожившей в объятьях мастера и увлёкшей его в царство бессмертных грёз, а Полибий спел её под кифару растроганным соотечественникам. И перелилось в мир «молоко бога», что в переводе с ларнакского - Галатеос.

Когда до сирийских песков долетела весть о гибели деда, мать вернулась на остров с ним, сыном светлобородого, и разожгла огонь в потухшем очаге.

Возможно, дом обладал энергической силой, или наперекор Эпидиусу генос торжествовал, но Пигмалиону передалась тяга деда к скульптуре, а заодно и его способности. Любители мифов увидели в этом ещё один божественный знак, но толковали его несколько шире: как небесное расположение к кипрскому народу, умеющему создавать и ценить прекрасное. К двенадцати годам Пигмалион понял, что обречён быть продолжателем каких-то великих традиций, которые надо развить и обогатить, и, подрядившись юнгой на судно, отплывавшее на Родос, разом покончил с избранничеством и обречённостью. Мать не перенесла разлуки.

...Громко хрустнула ветка, сломанная порывом ветра. Потихоньку, чтобы не разбудить Элпис, он встал и проверил, плотно ли закрыты двери. Издалека донёсся лязгающий вой - рвались с цепи сторожевые собаки. Наверное, люди и звери одинаково чуют безнадёжность прошлого и полное безразличие к ним будущего. И самое древнее на земле - тоска.

Пигмалион рассердился и ударил себя кулаком по бедру. Нечего жаловаться, отнимется и последнее. Всё хорошо. Статуя закончена. Она улыбается, как живая, и поднимает руки, будто хочет обнять того, кто бросится к ней навстречу. Двадцать лет, тайком от всех, он вырезал из белой слоновой кости новую, нет, вечную Галатею. Сам наносил и скреплял разломы, словно собирал её из осколков. Кому припишут красавицу, деду или ему, неважно, Галатея одна и она существует. Ну а сколько было пигмалионов, пусть подсчитывают пифагоры.

Но почему так пусто в нём, точно дух отпал? Где ласточка, что хлопотала под крышей? А Элпис... куда подевалась её улыбка? Всё отдано Галатее, всё, что знал и любил. На другое уже не осталось сил и даже ярости сделать последний шаг.

Пигмалион обошёл мастерскую, вглядываясь в незаконченных купидонов и афродит. Скучать будет некогда, заказчики позаботятся, чтобы он во благо употребил талант. А благо они видят в том, приносит пользу, служит, верней, прислуживает им.

Как задувает… Обитатели плодородных равнин недаром строят высокие крепости, разбивают сады и не вырубают лесов - пустое место притягивает ветры. Вот и зашевелились пески сирийской пустыни, хлынула сушь, и отяжелел влажный путь. И в нём всё гудит и шатается. Это боги испытывают его.

Прямо, это он их испытывает.

Глава 31

- Сергей Петрович! Москва на проводе!

На каком ещё проводе? Стрелка будильника ползла к шести, в окне колыхалась промежуточная муть. Почему он спит в ботинках? Он в ботинках, потому что не спит. Логично.

- Поспешайте!

В кухне что-то горело, клубы вонючего дыма вываливались в коридор.

- Сергей Петрович уже идут! – бодро выкладывал в трубку Никитич, словно рапортовал о досрочной сдаче Парфенона.

- День, ночь? - спросил Ларионов.

- Вечер, вечер, говорите!

Он сразу узнал его голос. Низкий, бархатный, с воркующей хрипотцой.

- Слушай меня внимательно...

- Я не ваш сын, - оборвал.

В трубке раздался треск и пиликанье симфонического оркестра.

- Я заказал тебе билет на самолёт из Краснодара. Подойдёшь к начальнику аэропорта. Вылет завтра в девять сорок утра. До Краснодара возьми такси, о деньгах не думай. - Он отдавал команды чётко, но торопливо, как будто его мучила одышка. - Остальное при встрече.

- Вам лучше побеседовать с Еленой Сергеевной.

- Разве тебе не переда...

Баритон пропал, и раздались сухие прыскающие щелчки. Ларионов сжался, как под ледяным душем, и начал быстро считать. Обычно его закалки хватало до тридцати, но на этот раз жилиться не пришлось, «соединяю» взвизгнуло на середине.

- Мама в больнице. Сердце. - Он густо откашлялся. - Я делаю всё.

Ларионов выронил трубку. И в кухне что-то грохнуло, покатилось. Он схватился за стол и еле его удержал, потому что и пол поехал и потолок, стены сдвинулись, затряслись в каком-то остервенении, бешеном галопе, а в уши вонзился свистящий, металлический, всё покрывающий звук. Да ты что, придурок! крикнул. В тот же миг извилины выпрямились, и сумасшествие улеглось.

Он напился воды и собрал вещи. Чистых рубашек не было, сунул в сумку одну грязную, хмыкнув «инфернальненько». Сам не соображал, за него думал другой, бесчувственный Ларионов, который ему подсказывал, что и как, и посмеивался над его чувствительностью и неповоротливостью. Он-то и вызвал в памяти колдуна, появлявшегося на шабашах в мерзком рубище, и пояснил, что нечистая сила не нуждается в благообразии. И чистая тоже, добавил с ехидцей. Ларионов устало согласился, потушил свет и прилёг на

дорожку.

Он тогда сказал матери (три часа ждал, пока дали Москву, успел всё обдумать):

- Я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Это условие, иначе бросаю трубку. Ты знала, что Галатеон доносчик?

Пауза длинная, как ночь в пустыне.

- Серёжа...

- Мама.

- Я... в общем, да.

- У тебя были очные ставки с дедом?

- Это не телефонный разговор. - Вздох, сморканье.

- Да или нет?

- Да.

- Галатеон присутствовал?

- Серёжа... - голос уходил и возвращался, - что с тобой, ты как с цепи...

- Отвечай: да или нет?

- Да, но...

- И в последний день заседали? А... у... понятно. Что же вы такого, голубчики, сказали ему?

- Ты не смеешь... я запрещаю тебе... папа был в ужасном состоянии, мы...

- Мамочка, - просипел он, - это ты его убила?

Послышались всхлипы, обрывки фраз: «ты просто не понимаешь», «я постараюсь тебе», «упрямый осёл».

- Я родился в декабре! - орал он, пиная кабину. - Значит всё произошло потом, ты и этот...

- Немедленно прекрати!

- ...и никакой не Петрович, не Абдуллаевич, а сын этой мрази?!

- Только мой... - Она задыхалась. – Я тебе напишу...

Он бросился из кабины, налетел на стул с охнувшей тёткой, ударился головой о косяк. Слух прорезался.

- Эй, парень! - кричала телефонистка. - Сдачу возьми!

Противная липкая дрожь расползлась по телу. Он поднялся и вышел на улицу. И вдруг забыл, где находится вокзал, в какую сторону идти, хотя путь лежал по прямой, и с минуту метался между магазином грампластинок и афишной тумбой на противоположном углу. Его обуял страх, не паника заблудившегося человека, а суеверный утробный ужас конца. Чуть не попал под машину. Ничего не почувствовал, кроме толчка, но в голове прояснилось, и вокзал всплыл на глазах, и если бы не судорожная мозговая тошнота, засевшая в затылке, подумал бы, что дурь ему примерещилась.

Потом вспоминал, что он бежал, ехал, бежал, опять ехал, топтался и, спотыкаясь, снова бежал и уже не мог остановиться. Мысли обгоняли ноги, а ноги перепрыгивали через мысли, и этот двойной агон наглядно демонстрировал безумие, которым исчерпывается всякая целеустремлённость. И теперь, лёжа ничком на своём допотопном, в шрамах растрескавшейся кожи диване, он чувствовал, что всё в нём продолжает куда-то нестись.

...Он узнал бы его из тысячи, отпечатался в памяти, как след на мокром песке. Высокий породистый, с крупной головой, слегка наклонённой вниз, словно готовился взять

препятствие, с резко вылепленным лицом, уже обрюзгшим, но зорко подвижным (были когда-то и мы рысаками), с патрицианской брезгливостью в поджатых губах, которая сразу же исчезала, едва он начинал улыбаться, выжидательно и подбадривающе.

Он не узнал его из одного. Дорогу преградил сутулый старик в измятом макинтоше и дымчато-серых пижонских очках. Правой рукой он прижимал к груди шляпу, левой, левша, размахивал тростью с костяным набалдашником в виде химеры, распластанной на брюхе.

- Дайте пройти! - нервно сказал Ларионов.

От старика сильно разило водкой и валидолом.

- Серёжа... - Он попытался его обнять.

Ларионов отпрыгнул и налетел на кого-то, получил по спине чем-то увесистым.

- Где она?

- Там, - промямлил, уставясь в стеклянный потолок отстойника.

- Где, чёрт бы тебя подрал?!

- В бакулевском морге.

...Ларионов перевернулся на спину и будто впервые увидел комнату, в которой прожил всю жизнь. Материна тахта, сбоку тумбочка и на ней пузатый фарфоровый ночник, «боровичок», говорила она, «зажги боровичок»; двустворчатый шифоньер, пахнущий лавандой, «и моли не будет и как на взморье»; кресло деда с вытертыми подлокотниками, книжный шкаф, «чтива обломский»; задвинутый в угол круглый стол и письменное сооружение о двух тумбах, тоже ларионовское. Ну и его лежбище, «прохрустово ложе», где он просвистал свои соловьиные ночи.

Здесь они жили, в слепой комнате, без окон, в бывшей прихожей бывшей квартиры профессора Ларионова. Деда уплотнили ещё в тридцать четвёртом. Большую часть научной библиотеки конфисковали в пользу народного образования, а рукописи и редкие издания изъяли во время ареста. И до самой войны не прекращалась «расчистка помещения», как горько шутила мать. Квартиру поделили на пять семей, но с соседями повезло, скандалов почти не было. В сорок втором квартира опустела (посадки, мобилизация, эвакуация), они опять остались вдвоём с матерью. Последние жильцы вселились после Победы. Опять повезло, даже дружили.

Бледно-жёлтые обои, «выплетенные» рогожкой, давно потемнели и скукожились. Их наклеили десять лет назад, когда Ларионов закончил школу. Ждали в гости Галатеона, хотели показать, что у них всё как у людей.

Он не вошёл - возник из ночных окуджавских огней. С цветами, конфетами, с бутылкой шампанского. Красавец, московский барин. Запустил шляпой в кресло, небрежно расслабил галстук, брызнула пуговица, «шут с ней, дай поцалую». И приподняв мать за локти, приложился к её губам. Неторопливо, по-хозяйски. Нехотя отпустил и так посмотрел на неё, что Ларионов вспыхнул до корней волос. Потом удивлённо разглядывал его, «вылитый дедуля», и вот тогда... мать вышла из комнаты.

Да, крепко его ждала Елена Сергеевна. Наготовила, как на маланьину свадьбу, стол ломился от винегретов и «селёдок под шубой». Но им было не до этого. Весь вечер не сводили друг с друга глаз: она, смущаясь, расцветая, отнекиваясь; он, любуясь, нападая, дразня. Ларионов мыкался из угла в угол (и уйти нельзя и некуда деться), разобиделся и надулся. Провожая гостя, мать шепнула ему что-то на ухо, он громко рассмеялся и шлёпнул её... ну да, по заднице, как официантку, «лады, позвоню».

Что знал Ларионов о своём так называемом отце? Историк, аспирант, был репрессирован, умер в Свирьлаге. Расписаться не успели, фотографий не сохранилось,

звали Петром. Сколько ни пробовал расспросить мать, начинала плакать.

Вспоминалось тяжко и разорвано. Белое лицо под белой простынёй. Сморщенное. Чужое. «Завтра в тринадцать ноль-ноль можете забрать, принесите одежду».

Кто у него есть? Бабушка погибла (упала с лошади), когда матери исполнилось семь лет. Бабушкина сестра с семьёй ещё до революции отбыла в Германию. Глухо. Наталья, сестра деда, умерла в Ленинграде во время блокады, её единственный сын Николай погиб в бою под Таганрогом. Как звали её мужа? Жив? Глухо. У матери ни сестёр, ни братьев. У него тем более. И друзей нет и не было.

Та правда, которую он мог рассказать о себе, мало походила на правду, он и сам это понимал. А биографический интерес в русской дружбе стоит на первом месте. Чей? Где живёшь? Кого знаешь? Не жид? Одним казалось, что он их дурачит, напуская на себя таинственность, другим, что хочет что-то выведать - бдели все. Эта крысиная подозрительность заставляла его без конца оправдываться и врать.

В пионеры его не приняли из-за деда, в комсомол выдвигали только пионеров, так что рудиментарный вопрос о партийной принадлежности отпал сам собой. То, что он вообще поступил в университет, несмотря на блестящие отметки, было чудом - непроходимые школьные характеристики составлялись умелой рукой. Университетом он обязан Галатеону, тут обсуждать нечего. И аспирантура стала возможна, благодаря его нажиму, а не реабилитации деда, как ему хотелось бы думать. Очевидно, и мать избежала ареста не без его одисеевой хитрости.

Были, конечно, приятели. И подруги. На воскресенье, на вечерок, с музычкой и словами, его кобелиная песня. Дольше других продержалась Ядвига, гордая полячка, Ядзя, как потом обзывал, когда не давала ему проходу, подстерегая то тут, то там: «ну что ещё придумаешь, душка Ларионов?» Холодная, расчётливая, пол-Москвы за нос водила, годами, а его – неделю, ну, две. И ресторанов не просила, и подарков, а только... да бог с ней. Через полгода расплевался и сидел сычом, пока не скрутила бессонница.

Никого у него не было. Отделывался полу-отношениями, полразговорцами, жил от себя к себе, да ещё имел наглость считать, что это и есть свобода. Увяз по горло, по уши.

Он перебрал бумаги в столе, ворох документов и квитанций. Открыл шкаф и задышался средиземноморьем. В тумбочке, набитой лекарствами и женской всячиной, наткнулся на свою фотографию, в полный рост, «Привет из Армавира!» Куда ни ткнись, отовсюду лезет архаика. Осенило: где-то среди книг сборник ларионовских лекций. Переворошил - нигде.

Разложил на кровати материну одежду. Чёрное платье с малахитовой брошкой, выходные лаковые туфли, бельё. Так и не сообразил, нужны ли резинки к чулкам или ни к чему. Снова заломило в затылке. Упал лицом в материну подушку и оглох. Очнулся от боли - что-то твёрдо вдавилось в висок. Из-под подушки торчала книга. Не совсем книга, а рукопись, отпечатанная на машинке, подшитая и переплетённая, в самодельной обложке: «Методика датировки и распознавания статистических дубликатов». Раскрыл наугад и увидел полустёртый обрывок бумаги с карандашной строкой наискосок: «Галатеон...» Буквы запрыгали и слились.

Глава 32

В судьбе деда скрестились шпаги всех эпох русской общественной мысли. Дико звучит, но памятуя «посильней Фауста» и «песню песней» в приложении к Коммунистическому манифесту, можно позволить себе некоторое халдейство. Дед ни при чём, он чист от повапленных и поваренных аналогий, и со шпагами Ларионов не переборщил.

Сын известного адвоката, ближайшего сподвижника Сперанского, с которым тот участвовал в кодификации законов Российской империи, Ларионов старший с детства наслышался разговоров о священном долге дворянства - верой и правдой служить своему народу (подразумевалось: богу, отечеству и царю). Вера в «русское чудо» с тех пор основательно пошатнулась, а правда была такова, что гениально задуманная крестьянская реформа не привилась на помещичьей почве, и безземельное батрачество хлынуло в города искать защиты у либералов от либеральной смуты. Историк сказал бы, что зарождение стихийного капитализма совпало со стихийным недовольством обнищавших масс и спровоцировало консолидацию разночинной интеллигенции. Поэт, что взять с поэта, заметил бы, что идеи ишутинцев, «чайковцев», «москвичей» и других народнических организаций в силу своей утопической грандиозности распалили голодное воображение именно молодых людей, выросших в достатке и наслушавшихся разговоров о... (см. выше). Кстати, дед не любил стихов.

В двадцать лет он стал народовольцем. В двадцать шесть был приговорён к бессрочному заключению в Шлиссербургской крепости, где самостоятельно изучал химию, физику, астрономию, математику, историю. Его университеты длились девятнадцать лет и дали ему образование, которому могли позавидовать выходцы из Геттингена и Оксфорда.

В 1905 году народовольческая тюрьма была упразднена, и дед попал под амнистию. Уже на воле он завершил работу над книгой «Иоанн Богослов», где проанализировал датировку знаменитого библейского текста (на основе астрономического гороскопа, обнаруженного в нём) и пришёл к выводам, противоречившим традиционной хронологии. Согласно ларионовской концепции, датировка Апокалипсиса сдвигается примерно на триста лет ближе к нашему времени. Книга произвела эффект разорвавшейся бомбы, столь любезной сердцу каждого народовольца (восемь покушений только на Александра Второго). Но тьфу-тьфу, дед уже отошёл от политики, разочаровавшись в кадетах и октябристах, что не помешало ему жениться на дочери ярого монархиста Софиньке Ш. Бабушка увлекалась сонетами «солнца, мёда и луны» и коллекционированием antiquitй (произносила в нос).

Брак оказался довольно прочным, но не слишком счастливым. Деду было под пятьдесят, с коринфскими вазами он разобрался и с бабушкиными увлечениями тоже, и сутками просиживал в кабинете, в «шлиссербурке», запершись на ключ. Там и узнал о рождении дочери. Следующая книга, посвящённая анализу датировки библейских пророчеств, вышла через семь лет.

После революции дед работал в естественнонаучном институте, где закончил главную часть исследований по древней хронологии, после чего снова заперся в кабинете. В начале тридцатых он опубликовал фундаментальный труд «История культуры», где подверг полному пересмотру традиционную версию хронологии древности, а также выдвинул и обосновал гипотезу об искусственной растянутости древнего периода. Полемика, разгоревшаяся вокруг «Истории», вынудила деда уйти в преподавание, чтобы обеспечить прикрытие и семью. Он ещё напечатал несколько статей по архаике и римской летописи, сборник лекций по хронологии древнего мира, но это были уже учебные, а не научные работы. После ареста ларионовский архив осел в подвалах Лубянки или где они прячут своё

«грабь награбленное», сохранился лишь этот наскоро выправленный черновик. Весточка из небытия.

«Геродот (История, кн. 2, § 125), рассказывая о строительстве пирамид, отмечает: «Сколько же денег пошло на железные орудия». Современный комментарий: «Во времена Хеопса, т.е. в первой половине третьего тысячелетия до н. э. египтяне пользовались только медными орудиями».

Вместо эпиграфа.

Ларионов сварил кофе и углубился в книгу. Он и не смог бы заснуть, но ковырять рану считал для себя зазорным. В отношении к горю, как в отношении к богу (неловко, но верно), есть своя интимная тайна и свободное право на сокрытие или разглашение. Одни выбирают молчание, другие - кликушество.

Глава 13. «Пусть Д - достаточно большое конечное множество реальных династий (р - династий) длины К; каждую из них можно изобразить вектором в евклидовом пространстве размерности К». Заглянем в энциклопедический словарь. «Евклидово пространство это пространство, свойства которого изучаются в евклидовой геометрии». Доходчиво. «Евклидова геометрия это геометрия, систематическое построение которой осуществлено в «Началах» Евклида». Неужели Евклид это Евклид? Нет, древнегреческий математик, уф.

Он тянул время, поджидая Галатеона. Позвонит, хотя бы позвонит. Такие, как он, всегда сводят счёты, за ними остаётся последнее слово.

Ларионов не удивился, когда в замке повернулся ключ и вошёл Галатеон, он поразился перемене, произошедшей с ним: гладко выбрит, одет с иголочки, ослепительно хладнокровен. Бросил ключи на стол, пальто в кресло и, выдвинув стул на середину комнаты, картинно сел, закинув ногу за ногу. Неотразим.

- Тебе придётся объясниться со мной. - Сразу прижал к ногтю. - Но прежде чем мы перейдём к глупостям, поговорим о деле. Похороны я беру на себя, это пожелание твоей матери. Место хорошее, на Ваганьковском, недалеко от деда. Собираемся в час возле морга, будут приличные люди. Не забудь взять её вещи. Ты обязан сделать кое-что ещё, но об этом потом.

Ларионову захотелось стукнуть его по голове, но любопытство пересилило.

- Чем же я вам обязан, Галатеон?

Поправил запонку и закачал ногой в чёрном и блестящем, как спиричуэл, ботинке.

- Хамоват-с. Ну да это твои проблемы.

Ах ты дерьмо, чуть не крикнул Ларионов, но Галатеон не дал ему раскрыть рта. Взмахом руки он разрубил воздух, как божественный Тит, «любовь и отрада рода человеческого», посылающий свои когорты на Иерусалим.

- Зачем ты прислал эту идиотскую телеграмму?

- Это копия предсмертной записки Сергея Михайловича Ларионова, адресованной вам. Оригинал в надёжном месте.

Галатеон сощурил глаза и хищно выпятил нижнюю челюсть, но не зверское, а животное проступило в его чертах. А ведь слыл милягой.

- Серьёзное обвинение. Но почему ты решил, что Галатеон это я?

Ларионов был нечеловечески спокоен. И осторожен.

- Я знаю, что вы Галатеон, я знаю, что вы вор и доносчик, и мерзавец, каких поискать. Я не спрашиваю, почему вы предали своего учителя, подло обошлись с моей матерью, но скажите: тепло ли вам на свете?

- Тепло, - с неподдельной искренностью ответил Галатеон.

Ларионов испытал нечто вроде уважения, о котором говорил Соснов, отзываясь о профессионалах.

- Я не нарушил ни одной заповеди, - продолжал негодяй с той же сердечностью. - Не украл ни копейки, не лжесвидетельствовал, никого не убил и даже в прелюбодеянии замечен не был. Напротив, работал с полной отдачей, заслужил авторитет и сверх того любовь женщины, которая мне доверяла... - он с шумом выдохнул воздух, - до последнего дня. Ну как, победителей не судят?

- Вы забыли о протоколах допросов и ларионовском архиве. Уверен, они в сохранности...

- Сынок, - ласково перебил Галатеон, - и ты думаешь, что тебе по силам свалить меня? И наступит час, когда агнец снимет седьмую печать и на всей земле воцарится царство истины? И грешники разорвут на себе одежды?

- Вы плохо знаете текст или передергиваете по привычке. - Ларионова уже колотило, зуб на зуб не попадал. - А сказано так: «И не раскаялись они в убийствах, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своём, ни в воровстве своём».

- Вы это по старославянскому проходили или по научному коммунизму?

Галатеон расхаживал по комнате, сжав пальцами локти, как это делал и он, чтобы расслабиться и мигом сосредоточиться.

- Ну и чем кончается это последнее девятьсот девяносто девятое предупреждение? Се аз воздам? Или в новой советской редакции: «блаженны алчущие»?

- У вас есть дети? - спросил Ларионов.

- У меня есть всё. Сын, жена, друзья, ученики. И представь, всеми любим. Не ожидал?

- Не всеми. - Ларионов поднялся. - Вас никогда не любили боги.

Галатеон резко, по-бычьи, напружил шею, шагнул к дивану и вдруг начал медленно заваливаться набок... Упал, опрокинувшись навзничь. Ларионов кинулся к тумбочке, схватил нитроглицерин и, разжав ему челюсти, сунул таблетку под язык. Скорая приехала через двенадцать минут. Откачали и, погрузив на носилки, унесли.

Они любили друг друга и умерли в один день. Так не бывает.

Глава 33

Аня болела. Лежала на высоко взбитых подушках, закутанная по глаза и плечи в пуховый платок, как крестьянская девочка с иллюстрации к некрасовскому «Плачу детей». Отрывисто хрипнула: «хайре» и приподнялась. Дядя Лёша хлопотал у плиты, что-то варил, шевыряя половником в прокопчённой кастрюле.

- Лавруху в суп ложат? - обратился к Ларионову, как к старому другу. - В борщ обязательно, а в этот вот, с потрохами, бис его знает.

- Ложат, - сказал Ларионов.

- Не клади, - съёжилась Аня, - он противный.

Дядя Лёша метнул на неё свирепый взгляд.

- И давно дитятко тятю мает?

- Шестой день пошёл, всю душу вынула. - Он принюхался к супу и сдвинул кастрюлю с конфорки. - Воспаление лёгких. Ширяют и ширяют, живого места не осталось.

Ларионов примостился у Ани в ногах.

- За песнями ездил? - спросила, разматывая платок.

- Я мать похоронил.

Дядя Лёша вскрикнул и чертыхнулся. Половник, описав над ним дугу, шмякнулся на пол. Дядя Лёша затряс ошпаренной рукой, приговаривая: «надо же, надо...» Аня молча уткнулась лбом в его плечо, и Ларионов вздохнул с облегчением, слава богу, обошлось без излияний. Заранее известно, что скажут: какая потеря, все там будем, отмучилась бедняжка, такова спортивная жизнь. И придётся поддакивать и всё-таки притворяться, ведь освящается не горе, а ритуал. Плечо затекло.

- У тебя температура. Где градусник?

- В куче.

На табуретке, придвинутой к кровати, валялись горчичники, порошки, таблетки. Стрептоцид, норсульфазол, альбуцид. Медицина для бедных.

- Тебе нужны антибиотики.

- Заказали. Тетрациклин.

Каменный век.

- Сердце? - участливо справился дядя Лёша.

- Сердце.

- Добрые умирают от сердца, а злые от желудка. Квартира на вас записана, не отберут?

- У меня здесь временная прописка.

Аня попробовала суп и скривилась:

- Ты соль не положил.

- Да ну тебя, поклал. - И к нему, словно прося поддержки: - Всё пересаливает, дура такая.

Ларионов изучал градусник. Тридцать восемь и шесть.

- Когда следующий укол?

- Через час.

Дядя Лёша переодевался за дверкой шифоньера.

- Сегодня я в ночь. Вы последите, чтоб она все таблетки выглотала. Соседка сходит за тетрациклином.

- Хорошо.

Широкогрудая медсестра неопределённого возраста, от тридцати до пятидесяти, пришла ровно в семь.

- Давай, кудрявый, топай в коридор.

Выйдя, бросила:

- Папироска найдётся?

- Сигаретка.

- Ништяк. - Закурила по-шофёрски, зажав в зубах. - Ты кто ей будешь?

- Внучатый дядя.

- Нездешний, что ли?

- Тутошний.

- Ну будь здоров, не кашляй.

- И вас туда же.

Хохотнула: «ну юморной».

Аня попросила чаю с малиновым вареньем, он налил ей и поднёс. Выпила и стянула через голову свитер, оставшись в байковой рубашонке с лопоухими зайцами. Пробежала пальцами по пуговицам, проверяя, все ли застёгнуты. Советская граница на замке.

- Тридцать семь и восемь, - доложил Ларионов, стряхивая ртуть. - Дозор продолжается.

- Ты ничего не говори, - вдруг отвела глаза, - если само не идёт.

Ларионов кивнул. Не шло.

- Рассказать, что я умею?

- Угу.

- Чур, не смеяться. Я умею загадывать сны... нет, людей, которых хочу увидеть... или время... или место...

- Остановись.

- Вчера я разговаривала с Ахматовой.

Ого, какие превращения.

- О чём?

- Была ночь. Приморский сад. Кафе на набережной. Фонари. Никого, кроме неё. Всё происходит до революции, но она уже старая и толстая, как сейчас. Я села за соседний столик, а она низко, почти басом: «подсаживайтесь ко мне». Я и подсадилась, и чёрт меня дёрнул, такое понесла про неё и ошибки...

- Какие ошибки?

- А «смуглый отрок»? Пушкин никогда не был смуглым, она это прекрасно знает. И Муза. Загорелой была, а смуглой - ни отродясь.

- Каждый видит по-своему.

- Я рыжая?

- Жуть.

- Зачем же врать, что не рыжая?

- Так ты и Музу видела?

- Как тебя.

- Опиши.

- Рыжая, худущая, бледная. Глаза то светлые, то тёмные, смотря о чём думает. Средняя, но кажется высокой. Чуть-чуть картавит. Зубы мелкие и круглые, а голос длинный. Растягивает слова. Очень разная, с ней не договоришься.

Одуреть можно.

- А что Ахматова?

- Усмехалась. Потом отругала и благословила. Я сказала: вы не обижайтесь, но если бы я была вами, я писала бы лучше вас.

- Ну и нахалка.

Аня рассмеялась и тут же закашлялась. Ларионов поцеловал её в потный лоб.

- Я пою, - оттолкнула его обеими руками. - В уме. Беру самые верхние ноты и самые нижние. Чисто-чисто. Слух у меня есть, но отдельно от голоса, голос меня не слушается, и я его, а про себя могу хоть первый концерт Чайковского, хоть листовскую рапсодию, целиком. Весело - Моцарт, тошно - свирепствую, как Бах.

- Надо попробовать.

- Ещё я умею животом... такого слова нет, сейчас найду... вот, сердцебиенить. Слушай. Только не сразу, дай собраться. Считай на двадцать два до десяти.

- Как это «на» и «до»?

- Нам в фотокружке объяснили: когда произносишь в нормальном темпе «двадцать два», это равняется одной секунде. Загибай пальцы, как грек.

Ларионов навострил ухо. В животе булькало. На пятой секунде чётко и мощно засердцебиенило.

- А как ты собираешься?

- Я перестаю думать, и живот просыпается.

- Физзарядка?

- Какой-то знак. Я вообще всё чувствую животом.

- Ну и как он ко мне относится?

- Плохо. Он от тебя болит.

- Знаешь, почему?

- Болит. А что?

- Ничего. Расти быстрей.

- А ещё я останавливаю время. У меня и стихи есть: «Я останавливаю время, как останавливают кровь».

- Рифмуется с «бремя» и «любовь».

- Ни с чем. Пока две строчки. Это трудней всего. Надо лечь на живот...

Ларионов сцепил зубы, его разбирал смех. Аня же раскраснелась и чудо как похорошела.

- ...положить руки на горло, отставив большие пальцы, прижать их к сонным артериям...

Психопатка?

- ...и выключить из себя сначала свет, потом звук, голову, тело и в конце - дыханье. И время останавливается.

- Ты засыпаешь?

- Я лечу. Звук и свет и др. возвращаются, но я не здесь. Там всё незыблется, пишется вместе, и молодо, как в первый день мира.

- Но ты летишь?

- Я не двигаюсь, но я лечу.

- А как возвращаешься?

- Ну когда гаркнут: «Анька, принеси воды!» или «В эфире пионерская зорька!»

Ларионов сооружал зиккурат из таблеток и порошков. Дошёл до третьего яруса и свернул строительство.

- Ты мне не веришь?

- Верю, верю. Какие и когда?

- Только аспирин.

- А зачем тебе это? Полёты во сне и наяву?

- Чтоб узнать, что умею, а что нет.

- Но это игра?

- Суровые пограничные будни.

Ларионов вздрогнул.

- Пограничные?

- Читай своего Камю.

Мать честная, она и его сосчитала. Ларионов направился к вешалке.

- Уходишь?

- Тебе спать пора.

- Ладно, тогда на прощанье я покажу тебе сову. Иди ко мне.

Она взяла ладонями его лицо и придвинула к своему, лоб в лоб, нос к носу.

- Смотри не мигая. Видишь?

- Вижу... сова...

И случилось то, с чем он боролся столько дней и ночей. Острое раздирающее желание вздёрнуло его на дыбу, вывернуло суставы, отшибло мозги. Он разорвал ворот аниной рубашки и зарылся в мокрую шею, выпирающие ключицы, в груди с тёмными торчащими сосками, разжал колени...

Аня закашлялась, зашлась и долго, исступлённо, то выгибаясь под ним, то проваливаясь в подушки, сотрясалась, пока не хлынули слёзы.

- Деточка моя, - простонал Ларионов, срываясь с дыбы, - будь я проклят...

Она тяжело дышала и тускло смотрела на него расширившимися зрачками.

- Не молчи, скажи что-нибудь, ударь...

- Мне холодно, - пролепетала.

Ларионов подоткнул со всех сторон одеяло.

- Ань, ты в порядке? - раздался в коридоре голос соседки.

- Кашляю я! - крикнула Аня.

- Так идтить мне в аптеку?

- Да!

Ларионов опустился перед ней на колени.

- Ты только не пугайся, так бывает, мы все немножко скоты, больше никогда, будь я проклят...

- Если ты сейчас уйдёшь, я умру, - сказала Аня.

И он ей всё рассказал.

Глава 34

Было над чем мерекать. Почему Галатеон замялся, сказав, что мать доверяла ему - пауза, выдох - до последнего дня? Что-то стряслось накануне или он использовал один из своих задушевных иезуитских приёмов?

«Ты обязан сделать кое-что ещё». Это уже не обмолвка. Сразу выложить не рискнул, приберёг под конец. И с богами вышло чудно: наивная фраза буквально сбила с ног. Он не собирался сдаваться, он почти победил, а тут мышка прибежала, хвостиком махнула... вытянули репку.

Видел ли Галатеон «Методику»? Скорее всего нет, пустил бы в ход. А вдруг мать перед смертью проговорилась? Не стал бы его дожидаться, чай, при ключах.

Но очные ставки... В качестве кого присутствовала мать? Жертвы, свидетеля, провокатора? Нарочно втравил, чтобы пикнуть не смела? Мог, он на всё способен. Или сталинская мясорубка перемолола и выплюнула? А если и любить принудил? Сама. Знаем мы этот «пламень поневоле». И насильно не рожают. Любила. Сыном хотела удержать.

А дед, надо же, какую кличку дал. Вот и не верь в переселение душ.

Ларионов перелистал рукопись. Некоторые страницы он уже помнил наизусть и легко прокручивал в памяти. Первое впечатление было оглушающим, он даже засомневался: а возможно ли? уж не мистификация опального эрудита? Вчитавшись, убедился, а

убедившись, поверил. Дед приводил любопытные выдержки из малоизвестной «Краткой хроники...» Ньютона, который тряханул традиционную хронологию вельми чувствительно. Не так, конечно, как Ларионов, поначалу считавший, что летопись древнего мира является достоверной лишь начиная с IV в. н.э. Позже он продвинулся ещё выше, то есть ближе к нам, обскакав Ньютона на шесть веков. Ссылался и на профессора Саламанского университета де Арсилла, который в шестнадцатом веке утверждал, что древняя история сочинена в средние века. К тем же выводам пришёл и иезуитский (со знаком плюс) историк и археолог Жан Гардуин. В начале двадцатого немецкий филолог (спасибо, друг) Роберт Балдауф выдвинул гипотезу, что и древняя и ранняя средневековая история - фальсификация мудрецов эпохи Возрождения и последующих веков, вплоть до Рисорджименто. Так что сомнения в правильности традиционной хронологии возникли не вчера, в этом смысле постановка вопроса была известна. Новой можно назвать лишь разработку темы. Как скажем, знаменитый греческий огонь, сыгравший свою зажигательную роль в морских битвах античности и забытый на много столетий, вновь вспыхнул в средневековье.

Дед обработал десять основных хронологических таблиц и более ста фундаментальных первоисточников. Все эти тексты содержали в сумме описания практически всех стержневых событий, сведения о которых дошли до нас.

Таблицы, таблицы... пары зависимых династий. Графики длительностей правлений визуально идентичны. Означает, что указанные династии являются отражениями какой-то одной реальной династии, «размножившейся» в результате ошибочного датирования разных списков (текстов), описывающих одни и те же события.

Безумные в своей простоте параллели. Каролинги - фрагмент из Третьей Римской империи (средний сдвиг по концам правлений 359,6 года, совпадает с первым жёстким сдвигом хронологии на 360 лет). Периоды Римской империи: X-XIII вв. н. э. - IV-VI вв. н. э. (средний сдвиг 723 года, один из основных параллелизмов). Священная Римская империя германцев в Италии X-XIII вв. н. э. - Вторая Римская империя от I в. до н. э. до III в. н. э. в Италии (средний сдвиг по концам равен уже 1039 годам!) Дубликат готской - троянской войны. Клавдий - Нерон (полное имя и того и другого «Чёрный»).

Расшифровка способов записи дат, перечень хронологических «повторов» (накладок).

Ещё одна головоломка. Когда в действительности был создан Альмагест, знаменитый звёздный каталог Птолемея? Во II в. н. э. или выше, с интервалом от 600 до 1300 гг. н. э.? А если учесть ссылку на Гиппарха (II в. до н. э.), как на реального автора каталога?

Сопоставление истинных координат звёзд из Альмагеста. Плоскость эклиптики, наклон около 20 дуговых минут... чёрт, вот неуч, ни в астрономии, ни в математике, ни в химии, ни в зуб ногой. Ну что это: «широкая невязка хорошо измеренных звёзд»? Почему она не может быть меньше тридцати пяти дуговых минут? А ведь это делает гипотезу о составлении каталога в эпоху ранее 200 г. н. э. невозможной. Значит не Гиппарх и вообще в средние века?

Сходил бы ты, астролюб, в планетарий вместо того, чтобы напарившись в термах и надувшись разбавленного вина, пялиться на створоженные средиземные звёзды.

А это попроще, как раз для тебя. История знаменитых римских памятников. Хаос «древних» и «средневековых» названий. Критика ортодоксальной концепции историков от литературы, так называемого художественно-дидактического направления в античной историографии. «Храм Весты считался храмом Геркулеса Победителя, а в настоящее время археологи дружно считают его храмом Кибелы». Дружно это хорошо, «все мы гайки

великой спайки», так и дохнуло родиной. «Церковь св. Сергия по праву называется и церковью св. Вакха». По праву, опять по-нашему, одним махом двух убивахом. А теперь С. М. Ларионов: «Все эти отождествления напоминают увлекательную игру, а не научно обоснованные утверждения». Не напрягая голоса. Не брызгая слюной. С достоинством человека, уверенного в своей правоте, но не унижающего, не то что уничтожающего оппонента. Горькому с его матерью и врагами, которые не сдаются, это было недоступно.

И всё же невероятно, волосы встают дыбом. Значит, при князе Игоре, гой еси (по традиционной хронологии), Капитолий (по новой) ещё стоял, сверкая стеклом и золотом? И сенаторы в высоких митрах и парчовых мантиях объявляли законы, произносили речи, решали судьбы мира? И призрак гражданской независимости уже бродил по Европе?

Выходит, и агапы (блудные ночи), а вовсе не филии (дружеские возлияния) совершались в «мрачные» средние века, и все их оргиастические атрибуты, отброшенные в глубокую древность, свято почитались бесноватыми испостившимися монахами? И в конце одиннадцатого века (бери выше) собор в Шалоне на Саоне (маленький Армавирчик посередь Хранции) запретил женщинам в церквах петь неприличные песни, а почтенным феодалам в Пуатье тешиться «праздниками безумных», «праздниками осла» и «праздниками невинных»?

И Пигмалион где-то рядом с Вифлеемом, и тысячелетие (нашей эры!) на исходе... как я угадал!

Но если история вдвое короче, то и память мира вдвое бедней? И вдвойне бессмысленно надеяться на человеческий опыт, который в будущем убережёт нас от ошибок прошлого, вправит вывихи культового сознания, зашлифует внутренние разломы? Неужели тоска по мировой культуре так и останется тоской во все времена? И блаженны алчущие власти, славы и любви? И любви не в христианском понимании, а в языческом: либо брачные фаллические церемонии с целью продолжения рода, либо элевсинские празднества и брокенские вакханалии. Ах, эта значительная вальпургиева возвышенность, поднимающаяся над окружающей местностью, где происходили оргии, водились хороводы колдунов и ведьм - весьма распространённый сюжет в немецкой литературе. И в немецкой действительности. Именно там сейчас заседает советская радиоразведка, глушит не наши голоса. Свято место пусто не бывает. Шабаш продолжается, господа!

Однако с выборками из библейских текстов Галатеон промахнулся. Блаженны не просто алчущие, а «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Ибо.

А ведь и Голгофа приблизилась к нам, и конец света, которого ждали на рубеже второго тысячелетия, вполне обозреваемого на пороге третьего, обещанного. И Киевская Русь с её полянами, родимичами и кривичами, и ночами на Ивана Купалу, сдвинута в опричнину и «сей поезд... что над Элладою когда-то поднялся», эти вагончики, буфер к буферу - всё катится под уклон (вверх) с сортировочной горки времени...

Собственно, ничего страшного не произошло, ничего не пропало (Колизей в своём гнезде, князь Игорь в своей ячейке), только время сгустилось. Ничего, новые греки разбавят его водой. Трижды «ничего». Ничего себе.

Но как могло случиться, что не умница, труженик, а жалкий выкормыш Галатеон... А ведь выкормыш. Тоже из народовольческой ватаги, с фиалками в кулачке.

Вот оно, выпавшее звено, разрыв в цепи. Между дедом и внуком, старой культурой и только нарождающейся разверзлась пропасть, советский период, а попросту дыра, пожравшая целую эпоху. Яйцеголовые в теории связи научились методами кодирования восстанавливать утерянную информацию. А нам, простым смертным, доступно ли усилием

воли (душа - дура, интеллект - подлец), ладно, духовным усилием преодолеть провалы в памяти, возобновить её непрерывность? Как ему, Ларионову, лично дорогому, вытеснить из сознания безотцовщину?

Пс-с... какой греческий пафос, какая талмудическая осведомлённость. Будь скромней, наследник революционных традиций. В переводе с греческого pбthos и страсть и страдание. Очень ловкий омоним. Ты-то сам - яблочко от выблочка, забыл? И по заповедям прошёлся яко посуху, а отряхнулся и нате вам, Иван-царевич, кровь с кипятком. А девочку развратить, это из каких эмпирических соображений? Или космогонических? Иррациональных? Фридрих, между нами, мальчиками, тоже ведь был страстным дионисийцем? Ах, в сумерках боги проделывают то же самое, что и критики чистого разума.

Неча, неча на лужу пенять, коли рожа крива. Не ты ли, пламенный абитуриент, так восхищался Галатеоном? Приревновал к матери, обозлился, не без того, но потом спрашивал же себя: «а что бы он сделал на моём месте?» «а если выдать, как он?» Выдать, игра слов.

А твой Пигмалион? Мало, что ревматик, обжора, но и старик, кустарь-одиночка. Заставил философствовать, а в собеседники кого подсунул? Не архонта, не басилевса, а девчонку какую-то, правда, рыжую.

И всё сразу вылетело из головы. Моя, от ребра. Сестра, невеста. Эх, быть бы ей братом, учить её уму-разуму, чем не соломоново решение? Но сестра мала, вот и вся песня. Пересчитай себе рёбра, паскудник. Сделал бяку, напугал ребёнка. Но ведь живой, третий месяц сублимирует. Чем кончится эта возгонка в эмпиреи? И Лиду жалко обманывать и от Лиды... как он пойдёт к ней? К дуре, летающей на животе?

Нет, что ни говори, а в процессе эволюции мы крепко деградировали. Погнались за прогрессом, нахватались сведений, а старые добрые обычаи растеряли. Паровой котёл - хорошо. Космический корабль - замечательно. Тройной одеколон - тоже изобретение. Но и в шабашах что-то было.

Он захлопнул книгу и вновь открыл, перечитал последний абзац: «Вывод: реальная устойчивая хронология начинается с XIII в. н. э. Никаких неожиданных дубликатов в период от XIII в. до XX в. автором не найдено».

Глава 35

С утра было две пары: спецкурс и текучка. Ларионов наспех начеркал план, авось да выкрутится, и только собрался в магазин (радио кстати напомнило о первоочередных задачах - напитать народ), как влетела Лида и повисла на нём, обливаясь слезами. Ошеломлённый (шеломчик пришлось снять) Ларионов заслушал причитающиеся ему причитания: «ой, горе, ой беда, ой какая несправедливость, все об этом говорят», уже не удивляясь, как лихо решаются на периферии проблемы передачи информации. Но сочувствие привередливо и требует активного участия страдательной стороны. Отвечать на садистские лидины вопросы у Ларионова не хватило бы ни сил, ни времени, и в порыве отчаяния он заткнул ей рот поцелуем.

Это было больше, чем преступление, как сказал Талейран в частной беседе, это была ошибка. Лида настолько перевозбудилась, что и Ларионов озверел и пал жертвой своих же

низменных наклонностей. И тут же обвинил себя в предательстве, потому что сразившую его мысль, что душевные муки обостряют плотские, иначе, чем предательской, не назовёшь.

- Ты не голодный? – озаботилась Лида, убирая постель и естественно переходя от роли жены к роли матери. - У меня есть свежий кефир и батон.

- Я всегда голодный, - ответил расстроенный Ларионов, - на мои потребности уходят все мои способности.

Лида сбегала в кухню, раздобыла яйца и масло, и вот его кормили, поили и ублажали, обращаясь с ним, как с дорогой, но совершенно бесполезной вещью, к примеру, одним из семи фарфоровых слоников, выставленных у Лиды в горке.

- Что-то ты нынче тихий, - пожурила, подавая ему пиджак.

- Пелестрадал.

Подобное пережил и Пигмалион, обезоруженный превращением Элпис из боязливо мечтательной девочки в самоуверенную хозяйку. Лида в сравнение не шла, но параллели тем и хороши, что не пересекаются.

- А как она умерла?

- Кто?

Лида смотрела с укором, вызывающим у мужчин «чувство сокращённого будущего».

- Отстань, - попросил Ларионов. - Ты такая милая, когда ни о чём не спрашиваешь.

- Другой и обругает, да не в обиду. Ты же как будто добренькое сказал, а мне реветь хочется.

- У, какая умница. - Он погладил Лиду по голове, по чёрному рассыпчатому шёлку. - И волосы у тебя красивые.

- Утешение для кикимор.

- Ссылка на источник обязательна. - Он порадовался про себя, что народной мудростью его уже не возьмёшь. - Ну пореви, я тебя успокою.

Лида что-то мудрила.

- Сама изводишься, меня изводишь. То я грубый, то недобитый, всё тебе не так. Будь проще: хорошо тебе со мной - молчи, плохо - скажи, не томи мил-друга.

- Худо мне с тобой, хуже некуда, а без тебя, как мама говорит, ещё хужее.

Ларионов ощутил прилив чисто писательской благодарности к чётко сделанной фразе. Недаром же был стилистом, а не рядовым инженером душ. И он подарил Лиде волнующее воспоминание о том, как Ларионов умел быть нежным и предупредительным, какие сладконоющие находил слова и даже в мёртвых паузах, которые неизбежно возникают в неравной любви, не был негодяем, нет, ну разве что чуточку, для горчинки, так освежающей вкус.

Но Лида ничего не поняла.

- Перебирайся ко мне, - предложила, словно выровняла слоников и сдула с них последние пылинки.

- Я докторскую пишу. Мне нужна тишина.

- Здесь тишина? В этом бедламе? Я с мамой договорюсь, мы перегородим её спальню, получится отличный кабинет.

С мамой, в спальне, с пельменями, «исты будыш?»

- Разве я против... Закончу и переберусь. На святки.

Вот-вот, с ряжеными, с колядками, «кукалки, куку!» А пришовши туда, йон и ажинився на ей.

- А ты не обманываешь?

Ларионову сделалось стыдно, больно. Ведь что ни говори, а жена, гражданская, советская, никакая, но из жён человеческих. Прилепился, очистился, свят.

Он крепко обнял Лиду, пригнул ей голову, чтобы не видела его позорных глаз, и со всей искренностью, на какую был способен, прошептал:

- Обманываю, обманываю, но клянусь, ты одна мне помощь и отрада...

У, как дальше стало неинтересно. Ларионов, агнец сионский, кудесник, любимец богов, схлопотал по морде. И рыдали над ним стоявшие на горе сто сорок четыре тысячи слоников.

Глава 36

«На сегодня всё». Защёлкнул портфель и вышел из аудитории. Машинально глянул на часы - до звонка оставалось восемь минут. Как это он сплоховал? Профессорская рассеянность? Вроде рано ему ходить с расстёгнутой ширинкой. Вернуться, пока не подняли гвалт? Ага, и спросить: так на чём мы остановились? Да, давненько не били его по мордасам, отвык.

И тут, как назло, в конце коридора появился ректор и гранитной правительственной походкой направился к нему. Ларионов задёргался, в темпе соображая, как бы не ударить в грязь лицом (лицо болело), но ситуация была слишком школьная, слишком классическая.

- Вы свободны, Сергей Петрович? - спросил с отеческой теплотой, впервые называя его по имени-отчеству. - Попрошу вас зайти ко мне.

Медведь в лесу сдох? Наши пришли?

В приёмной распахнул перед ним дверь кабинета, уважительно пропустил вперёд.

Ларионов ватными ногами прошёлся по ковровой дорожке и погрузился в указанное ректором кресло.

- Примите мои искренние соболезнования, - загудел, возвышаясь над ним, как памятник. - Сожалею, что не узнал заблаговременно, иначе бы принял меры.

Очумел?

- Машину бы выделил для проезда в аэропорт, материальную помощь в экстренном порядке, да мало ли что.

Метаболист.

- На то и друзья, чтобы в трудную минуту протянуть руку помощи.

Или подставить ножку сочувствия. Ларионов сник. Он сразу раскисал, когда инициативу разговора захватывали другие, и стремительно выпадал в осадок. Но на этот раз что-то его насторожило и заставило удержаться на поверхности.

- Работа тоже лечит, - наставлял уже за столом, внушительным, как линейный корабль. - Могу вам накинуть часов шестьдесят. Вполне достаточно для спецкурса по литературным течениям двадцатых годов, тема вам знакомая.

Боже правый, воля твоя.

- Не откажусь.

- Всегда бы так. Завтра оформлю приказом, а с учебной частью утрясите сами.

- Спасибо. Я пойду?

Ректор приподнялся и как-то вымучено-любовно посмотрел на него.

- У меня встречное предложение: выпьем по граммочке коньяку? Я не большой охотник до этого и вы, надеюсь, тоже, но зачем забывать добрые русские традиции?

Откровение от Ивана.

Прошествовал к шкаф-серванту и достал из широких глубин бутылку армянского коньяка «Ани» и два гранёных стакана, щедро налил до половины.

- Помянем. Светлая память.

Ларионов последовал.

- Прошлым летом отдыхал в Армении, - поплыл по волнам ректор. - Дикая страна, одни горы и коньяк. Кстати, Ани - их бывшая столица, погибла от землетрясения. Теперь в Турции.

Моё анийское царство, похолодел Ларионов, как это я раньше не связал.

- Ну давайте, Сергей, за прекрасное прошлое.

Они выпили, каждый за своё. Потекла беседа, кто где побывал, что видел. Ларионова развезло, едва он покончил с третьим священным тостом за коллектив и чувство русского локтя, так что за мир во всём мире ректор отдувался в одиночку. Он уже побагровел и заикался.

- Сейчас поеду домой, сосну чуток. Вечером заседание в горкоме, надо прочухаться. И ты бы, Серёга, того... пока не накрыли.

Из него попёрли русизмы, обычные для элитных советских сборищ и неофициальных обстановок с икоркой, матерком и клубничкой на десерт. Ларионов слушал вполуха про какую-то Галю, которой пальца в рот не клади, про уйёвый клёв в устье Урупа и про гадов-немцев, что чуть не удрючили кирху в Прочноокопе.

А ведь там Лермонтов проезжал, по дороге в последнюю ссылку. Был май, цвели яблони и розовые кубанские прищепы, и только что вышло в свет первое издание «Героя нашего времени», и Мишель, как его звал друг Раевский, нисколько не унывал, попивая с гадами пенистое, в аккурат снятое молоко.

- Ты вот Печорина играешь, - неожиданно подхватил ректор лермонтовский мотив, и тотчас же объяснилось, с чьих слов пел Казанский, - сбиваешь людей с панталыку. Если бы не батя, так бы и думал, что заезжий гастролёр, а ты вон какой серьёзный парень, без пяти минут писатель.

- Чей батя?

- Да твой, не скромничай. Вместе учились в аспирантуре, свои люди.

Потом ректор размахивал руками и раззевал рот. Ларионов ничего не слышал. И стало всё равно.

- Давай на боковую, - дышал перегаром, высаживая у общежития. - Прямо иди. Ишь, хлипкий какой.

...И всю ночь, всю ночь зудела Лида про мембраны и перегородки; цыркала Галя, сверкая золотым зубом; низко, на бреющем брюхе пролетел Никитич - огромный лещ с выпученными глазами; вслед посыпались всадники на белых лошадях, верблюдах и мальчик на красной свинье; четверо в сутанах прикатили яйцо величиной с бочку, скорлупа треснула и в проёме вспыхнул свет - там шёл пир: полукругом сидели сросшиеся уроды, по столу бегали крысы; что-то текло, обжигая пальцы, воск? на траве трепыхался кувшин с отростками, похожий на волынку, выскрипывал: «пляшите, пляшите, вам письмо от матери, Елены Сергевны»; всё расплылось. В церкви было душно и накурено, дымилось лампадное масло; слева жалобно выводили: «Упокой, Господи...», справа вразлад запевали: «Богородице, Дево, радуйся...» Пол вздыбился и задрожал, к аналою подвели невесту, туго,

как мумию, спеленатую в фату; Ларионов протиснулся к брачующимся, но жених, старикашка, побитый молью, отпихнул его. Вдруг откуда-то дунул вихрь, пыль взметнулась столбом и обрушился купол, зашатались стены, а на хорах вздулись каменные пузыри; вопли, скрежет каркасов, хруст человеческих рёбер, пол надломился...

- Аня! - закричал Ларионов и, вцепившись в фату, начал метр за метром разматывать скользкий сверкучий газ, тянул на себя, проваливаясь в дыру, расколовшую церковь надвое.

На уцелевшей половине ещё ликовали и перемигивались свечами, а Ларионов падал, тянул, и ветер свистел в ушах. Остро, дико пахнуло шерстью и серной тухлятиной; «не могу», всхлипнул Ларионов, но судорожно цепляясь за край фаты, упиралась, молила Аня: «холодно, холодно...» И он отпустил.

День стоял изнурительно яркий и отчаянно звонкий, какой бывает только с похмелья. В коридоре, в кухне, в душевых шла жестокая непрекращающаяся возня: капало, звякало, верещало, «московское время восемь часов ноль-ноль минут, в эфире...»

Я жив, поздравил себя Ларионов, как хорошо, что жизнь так настойчиво заявляет о себе, и рад бы усомниться, да не дурак же.

На полу лежало письмо. От матери. Отправленное за день до.

«Серёжа, твой звонок (зачёркнуто) ты сумасшедший... папа всё понял (неразборчиво) что зависело от меня? Ни словом, ни мыслью (прочерк) не предала (перечёркнуто) запомни!!! А душа (вымарано) моя и ничья. Человека, которого ты ненавидишь, я любила, люблю и умру-буду-любить (зачёркнуто) никаких иллюзий... раскаиваются от бессилия.

На всякий пожарный: дома, под моей подушкой, папина рукопись, сохрани. Она бесценна, но время её не пришло. Михайловская записка (неразборчиво). Краснодар, ул. Седина, 25, кв.2., телефона нет. Скажи ему (вымарано). Если тебя не дождусь... единственная просьба: всё предоставь Евгению Петровичу. Но верю, увидимся, и это письмо будешь читать (зачёркнуто) с улыбкой. Любящая тебя мама».

Ларионов попробовал улыбнуться, но вышла кривая ухмылка. Из зеркала на него пялился жуткий тип, каких даже в мертвецкой накрывают клеёнкой, чтобы не травмировать санитаров. Вода воняла хлоркой и обжигала рот.

Телефонный разговор и письмо почти совпали, но что-то выпирало. Не думать, само выскочит. Краснодар. Суббота. Из неотложных дел... задействуем ПЮМ (памятка юного маразматика). У-у, сколько всего: вернуть одиссеи в б-ку, постирать рубашки, звякнуть Гуляеву, дать по мозгам Соснову... что он имел в виду? купить носки, выкрасить яйца (пасхальная шутка). Не думать. Душ и «стрижка, брижка, завижка», дореволюционный тупейный юмор.

Позвонил-таки сволочь, прикрыл щенка. Отчего ж не Румянцев, а Ларионов, полюбопытствовал ректор. Да так, рокотнул, грешок молодости, но сам понимашь, кровь, евгеника.

Еры! И треснула скорлупа.

Глава 37

- Сначала это, - протягивая таблетку, сказала Фаина Марковна, - потом это, - он выпил какую-то гадость, - а теперь, - поправила плед, - закрыть глаза и тихо-тихо слушать.

Ларионов похлопал её по руке.

- В третий раз говорю: простое совпадение, к Еры отношения не имеет, хотя и тот был Румянцев, но не сват, не брат. Что вас так потрясло? Ну спустился бы на ступеньку ниже, легче бы вам стало? Меня смущает одно - книга. Маловероятно, чтобы он о ней не знал. И лежала почти на виду и с его ухватками... «но днесь пред нами, о том помыслим».

- Востоков, «Ода к меценату».

- Да уймитесь вы наконец. Жёлтый, выпотрошенный, а всё за слова цепляется.

- Тем и живы... - Веки отяжелели и язык залип.

- ...успеется... а... у...

Сперва подумал, что сошёл с ума. Лежал в чужой кровати, в женской ночной сорочке, у Лиды? в сплошном тумане, успел? Бабка в автобусе так и сказала: «Мой на вербное успел».

- Эй, кто-нибудь, - позвал, пробуя голосом слух.

Тут же послышалось шарканье, зажёгся свет, и с кружкой воды и тазиком появилась Фаина Марковна: «приступаем к водным процедурам».

- Почему я здесь и в этом? - Ларионов оттянул воротник рубашки, разглядывая цветочки. - Меня переделали в бабу?

- Как вы мне надоели.

Сунула ему в руки кружку, поставила таз на пол и, подойдя к окну, отдёрнула штору. В комнату хлынуло солнце.

- Ну правда, почему?

- Да вас чуть в больницу не свезли. Такой синдромчик отмочили, что и переодеть пришлось и с невропатологом разругаться.

- А что со мной?

- Вам по-научному или по-бабьи? Нервы у вас шалят. Ничего особенного, но врачу показаться надо, я не отстану. И хватит о болячках, умываться и завтракать.

- А по-научному?

- Второй дед. Пока все корни не извлечёт, не успокоится. Как-то пристал, почему я скептически отношусь к «Современной идиллии» и превозношу «Богов...»

- Фаина Марковна, дорогая.

- Что за манера всё время перебивать?!

- Драгоценная...

- Расстройство сознания на фоне геморрагических симптомов. Довольны?

И это накаркал.

- Так сколько я провалялся?

- Сутки. - И сердито добавила: - У нас исчезают и на более длительный срок. Ну, умывайтесь.

- Я встану.

Ларионов сел, но комната зашаталась и в глазах потемнело.

- Что за чёрт...

- Вам, конечно, получше, но может, вызвать врача? Дядечка дельный.

- Ради бога! Какой сегодня день?

- Святая суббота.

- Очухаюсь.

Умылся над тазиком, как паркинсоник в последней стадии. Выдул чайник заварки, есть не мог.

- Как насчёт переодеться?

- Ни за что. - Фаина Марковна шагнула к двери и заняла оборону, которой могли позавидовать триста спартанцев во главе с царём Леонидом.

И вдруг поняла, что не она решает. Вышла и вернулась с его причиндалами. Выстиранными и выглаженными.

- Век не забуду.

Через час Ларионов уже ходил по комнате и диктовал Ане Мандельштама: «Когда бы грек увидел наши игры».

Глава 38

Мерзок всё-таки человек. Пока не прижмёт его, не скрутит, разве он думает о чём-нибудь дальше порога и выше пупа? Даже те, что могут ночь напролёт просидеть над книгой, переживая вместе с героями чудесные превращения авторской мысли, или разрыдаться в картинной галерее, увидев в натуральную величину шедевр, знакомый им по вкладке из «Огонька», или порассуждать об избранничестве отдельных народов, всегда метавшихся между нравственностью и количеством урожая с га, даже те не рискуют встревать в дебри самосознания. А что говорить о птичках божиих, которые в собственном садике перепархивают с грядки на грядку, откладывая яйца и щебеча: а знаете, а знаете, и на Марсе будут яблони цвести! Очень популярная песня. Устремляет ввысь и как бы незаметно отвлекает от мерзостей жизни. Планетка и высоко и далёко, строй хоть глазки, хоть гипотезы. А что Марс - бог войны и у него два естественных спутника Деймос (Ужас) и Фобос (Страх), про то в песне не сказано. Зачем утяжелять смысл? И гиганты срывали мышцы, выжимая пудовые гири добра и зла.

Но кольнуло в бок, в дырку от адамова ребра, шваркнули рылом о калашный ряд, ущемили в правах, а заодно и в обязанностях, и зашевелилось сознание, это идеальное воспроизведение действительности в человечьей башке.

Первый позыв: вспомнить что было, и сравнить с тем, что стало. А так ли я сделал, а то ли сказал... Но восстанавливая прошлое, приближая его к себе, мы вытесняем настоящее в будущее, а там... бр-р. Внезапно наступившая старость. Или в результате долгой и продолжительной болезни. Кому повезёт - безвременно. Все понимают, что от смерти не отвертеться, но хочется подольше задержаться на земле. Иначе зачем ходить к врачу, есть пареную репу и радоваться, что у нас не линчуют негров? И тут уж не спасают ни байки о надвигающемся изобилии, ни марсианские хроники.

Второй позыв: господи пронеси! И опять: а так ли я сделал, а то ли сказал? Но не умозрительно, а ближе к совести. И заболело и поехало, и жарко и холодно, и есть хочу.

Третий позыв: слезть с печки, засучить рукава. Поле деятельности огромное. Сонмы униженных и оскорблённых. И щи солёные. Если сегодня не схлебать, завтра стухнут. Но битва-то начата, чтобы Господа разжалобить. Стало быть, за себя, родненького. До веры ещё далеко, дальше, чем до Марса. А плечо раззуделось, и кровь побежала по членам.

И вдруг... отпустило. Ну там с женой помирился, начальник руку пожал, справку наконец выдали, что не идиот. Боль унялась, а с ней и желание философствовать. Айда в кино! Рванём на рыбалку! Что это, дай почитать! Девушка, который час?!

А те, что после себя оставляют след? Всем жертвуют: и здоровьем, и собственным благополучием, и терпением домочадцев (натяжечка ещё та). Ради чего? Чтобы продлиться в трудах своих. Смертию смерть поправ. Но это значит, что не верят в лучшую, загробную, жизнь, где смогут себя проявить наиболее ярко и монументально. Напрашивается крамольный вывод: творчество несёт в себе атеистический заряд. Борьба духа всегда гигантомахия.

А если не быть чересчур строгим? И садик, любовно возделанный, тоже рай? И человеческое разумно? И не надо тузить торгующих в храме, ибо трудящийся достоин пропитания?

Есть ведь люди, которым легко договориться с собой, и не обязательно безмозглые твари или бесстыжие ловкачи. Ну, чуть самодовольней и толстокожей тех, что читают по ночам и рыдают в галереях, но вполне почтенные граждане. Находят время и для работы и для активного отдыха: поел, поспал, сходил. Или в театр. И дети у них бывают. И жена, хоть и стерва, а декабристка - на край света пойдёт, лишь бы шубу купил. И стоят на земле уверенно и ничто их не берёт: ни медицина, ни пропаганда.

А тут и мыслитель, и кобель, и гигиенист (существенно), а там гляди, да не туда, а сюда - певец родной Кубани, и на тебе, лежит тощий, беспамятный, без всякого интереса к богатствам, которое выработало человечество. И какие там женщины, на портреты доярок и то не может без содрогания... Что она снова спрашивает?

Аня его навещает. Опять суббота и лень вставать. Ничего у него не болит, тошно и всё.

- В школу ходишь?

- Ходишь.

- Не кашляешь?

- Не кашляешь.

Вредный ребёнок, весь в него.

- Что читаешь?

- Про тебя. Мифы Древней Греции.

- Ну и?

- Что и?

- Нравлюсь?

- Если читать, то нет, если думать, да.

- Раньше ты была ко мне добрей.

- Выросла.

- Тогда замуж иди, нечего книжки читать.

- Не берут.

- Ну и дураки. Давай про Грецию.

- Раньше был вечный, предвечный, бесконечный, бесчеловечный...

- Кончай.

- ...Хаос. Мимо. Но если он источник жизни и создал Землю, то есть Гею, уже ничего.

Земля породила Небо, он же Уран. Мимо. Но Уран воцарился в мире и взял себе в жёны Гею. Это правда, что между мужем и женой есть что-то сыно-материнское?

Ларионову страстно захотелось выругаться.

- На каком языке говоришь?

- Ну ответь.

- Допустим.

- И я считаю, что есть. Итак, взял.

Она действительно говорила ужасные честные вещи.

- Там пошли дети, сто штук. Пропускаем. Но только любимчик Крон сумел обхитрить отца и отнял трон. Почему не Океан, не Гипперион, почему Крон? А, любимчик. Запомним. Дальше рассуждения: Уран переоценил Крона или тот недооценил отца? Кто за кого не отвечает? К тому же Крон мамочкин сыночек...

- Что ты хочешь сказать?

- Скучно. Семья и школа. Но если подумать, что Крон - Хронос, Время, тогда страшно.

- Или интересно?

- Масло масляное. Можно, конечно, прикинуться дурачком...

- Дурочкой.

- Ты хочешь меня сбить. Не выйдет. Можно, конечно, прикинуться дурачком: такое время, царь умер, да здравствует царь. Опять эти верхи, низы, не могут, не хотят... Но Хаос - источник жизни, а раз есть начало, должен быть и конец. Даже если он растянут на миллиарды лет. А что, если время ускоряет то, что должно произойти? Ну как волк - санитар леса? Очень опасная мысль. А вот сейчас открой глаза. Крон берёт в жёны сестрёнку Рею. Опять дети, ума не надо. Но Крон уже опытный, он хронолог и умеет считать: год-другой и наследнички подрастут и отнимут трон. И он их пожирает. Он их заглатывает целиком! Ты меня понимаешь?

- Ты забыла про младшенького.

- Зевс ещё не родился.

- Господи боже мой! - Ларионов схватил Аню за колени (умоляющий древнегреческий жест). - Выходи за меня замуж.

У неё побелело лицо. Она его уже боялась.

- Ну и не надо. - Отвернулся к стене. - Кто бы меня уговорил.

Нет, он не дурит. Он решает философскую задачу. Что предпочесть: созерцание или действие? Он готов исчерпать свои возможности. Как сказал этот средневековый нарушитель моральных и религиозных норм? «Разве для того, чтобы любить сильно, необходимо любить редко?» Но это в Испании, там жарко. В Дании задумывались чаще.

Заснуть и не проснуться. Провалиться в сияющую, зияющую, завывающую... ыва, щую... и откудова ента ордынщина? Да оттудова, батюшка Ариосто, и выветриться, и дальше... Нет, всех в монастырь, всех, и бабушек, и внучек, и выпускать по великим праздникам, в честь ослов и безумных.

- Поговори со мной.

Похоже, что сказка становится былью, то есть перестаёт быть сказкой. Слова Пигмалиона произносит женщина, мужчина жмётся, как рабыня.

- О чём думаешь? - Налетела на стол, зазвенели стаканы.

- Что больше: синус или косинус.

- Синус?

- Сначала косинус, потом синус и по кругу, как у попа с собакой, только всякий раз

собака другая.

- Бедный поп, - громко вздохнула. - Я знал его, Горацио.

Ларионов от неожиданности подскочил и ударился лбом о стенку. Хорошо, что Аня не видела, стояла к нему спиной. Но как она уловила его гамлетовский улёт? Они что, перетекают друг в друга?

- Жизнь прекрасна, но в это трудно поверить, - прошептал Ларионов, а про себя крикнул: а ну улыбнись, радость моя!

Аня повернулась. На её губах блуждала улыбка.

- А это правда, что вы любите глазами?

Ух, какой поворот.

- Мы синеблузники или мы профсоюзники?

Терпеливо ждала.

- Где вычитала?

- Не помню. А женщины ушами, как ослы?

- Ослы это мы.

- А я не пойми что. Наверно, кентавр какой-то, но женского рода. Поэтому от меня все шарахаются.

- А ты не кружи над городом.

Глянула свысока, словно горный демон: какие вы маленькие внизу.

- Ты что у себя больше любишь?

Ларионов потёр ушибленный лоб и отодвинулся подальше от стенки.

- Сейчас скажешь: вечно у тебя любит - не любит, плюнет - поцелует, к сердцу прижмёт - к чёрту пошлёт.

У него вспотели ладони. Возникла жажда бурной деятельности. В голове как раз было пусто. Он встал и направился к Ане.

- Ну руки, ноги или..

- Или, - передразнил. - Ты вообще думаешь перед тем, как сказать? Или очень хочется?

Густо покраснела, словно на неё обрушился багряный град с гроздьями и перьями.

- Я же к тебе не придираюсь. - И бочком к двери, и с безопасного расстояния: - А я это люблю. - Приложила кулак к солнечному сплетению. - Мой верхний живот.

- И что в нём хорошего?

- Моя кащеева жизнь. Я вижу, слышу и понимаю отсюда. До тех пор, пока низы не затевают грызню с верхами.

Да, на комсомольском собрании сорвала бы аплодисменты. Пропадёт. Без меня пропадёт. Возмущённый коллектив. И муж-пьяница.

- А душа на что?

- Подначивать, а потом синяки считать. Не моя она и ничья.

У той - моя и ничья. У этой вверх и ближе. Максимальный сдвиг по концам правлений.

- Пошли. - Ларионов стиснул её кулачок. - Я должен поговорить с твоим отцом.

Дядя Лёша, похрапывая, читал газету. Держал её перед собой и дрых, задрав полосатые носки. В этом мире ничто не менялось.

- Что пишут? - спросил Ларионов.

Подскочил и вновь осерчал. Промолчал опять же.

- Сходи за хлебом, - сказал Ларионов Ане, так и оставшейся стоять на пороге.

- Есть хлеб, - пробурчал дядя Лёша, влезая в шлёпанцы. - Чего это вы

раскомандовались?

- Виноват. Я... - И потерял дар речи.

Что надо просить? Руку? Сердце? Бухнуться на колени? К дяде Лёше?

- Отдайте мне Аню. Замуж. Это серьёзно.

Тот поскрёб ногтями щетину.

- Анька, выдь.

Хлопнула входная дверь.

- Да, не ожидал, - протянул, принимаясь за другую щёку. - Садись, уж коли пришёл. Можно тебя на «ты», зятёк? А ну выкладывай, что у вас на уме.

- Это серьёзно.

Полный завал.

- Как это понимать?

- Любимся, значит.

Уже жалел, что пришёл.

- Самого ноги не держат и эта - дохля. Что делать будете?

- Детей, - брякнул Ларионов. - Зачем ещё женятся? - И зашумело в ушах.

- Собака ты, - чуть не плача, сказал дядя Лёша. - Испортил девчонку?

Ларионова повело, повело, подло, неотвратимо.

- Ребёнка ждём.

Только бы отдал.

- Давно?

- Не знаю.

- Убью! - взревел дядя Лёша, набрасываясь на него. - Чего ты не знаешь?!

Ларионов залёг на стол.

- Ничего не знаю, не хочу...

Звенело, трещало по швам, сыпалась штукатурка. Тонко, длинно кричала Аня: «не трогай меня! не смей!» Два уха, продетых стрелой, выпали из абажура и, жирея, набухая кровью, шлёпнулись перед ним.

Глава 39

Тёмные внимательные, чуть навыкате глаза, сеть морщинок.

- Ну, братец, видишь меня?

- Вижу. Кто вы?

- Невропатолог Тенин. Дохтур по-нашенски.

- Почему тыкаете?

Рассмеялся мурлыкающим смехом. Рядом стояла медсестра в белой негнущейся шапочке, стряхивала градусник, «тридцать пять и четыре», тоже посмеивалась.

- Этой ночью и вы со мной не церемонились. Сперва в греки произвели, опосля в жидомасоны. Где я только по вашей милости ни побывал: и в Тартаре, и на строительстве пирамид, и, страшно сказать, аж за красной дверью. - И обернувшись к медсестре, «Зоечка», начал что-то тихонько диктовать.

Типично земский врач, из астровых или старцевых, неуклюже ироничный и лениво обстоятельный: спешить некуда, все болеют, Пава, изобрази.

Так Ларионов, субъект познания, источник активности, стал пассивным объектом медицинских исследований, кроликом собственных рефлексов. Голова ещё болела и левая половина терпла (чудный украинизм, у нас равного глагола нет, «немеет» притянуто, а «мурашки бегают» и «отнимается» - ни два ни полтора), но язык, о, великий! уже не помещался во рту и вываливался при каждом неудобном случае.

В шестиместной палате он очутился один. Как пояснила Зоечка, к майским рассосались, а к победе ещё не хлынули. Однако скучать было некогда: кололи, измеряли, взвешивали, обшаривали глазное дно, готовили к пункции, брали кровь и конечные продукты и вдобавок беседовали, выясняли, как он дошёл до жизни такой. В ответ на его художества (капризничал, отстаивая индивидуальность), стращали прогнозами. Куражился, когда припугнули повышенной чувствительностью, «как-нибудь садаптируюсь», хорохорился, прослушав курс о расстройстве речи, «буду как все», но нежёсткий матрац сломил его рахметовскую волю.

Тенин оказался потвёрже чеховских лекарей, не закалённых в горниле советской психиатрии, и гораздо начитанней. Те за чаем мусолили «Ниву», этот полистывал Фрейда, превозносил Адлера с его «жизненным стилем», копался в Аристотеле, а потому плевал на выполнение плана по койко-дням. И советы давал нетрадиционные.

- Вы почаще поругивайтесь с Зоечкой. Она из вашей команды, вся в чуйствах и навязчивых состояниях. Цветущая баба, хватка феноменальная, а самореализация на нуле. Сообща проанализируйте разрыв между вашими думками и эмоциональными матрицами. Психословарь у меня в кабинете, пользуйтесь. Надо, братцы, иной раз сделать себе клизму вместо того, чтобы вертеться перед зеркалом, выдавливая прыщи. Не обижайтесь, все коновалы лягаются. С кем поведёшься.

Zoē по-гречески жизнь. Греки умели придумывать звучные и значительные имена. Лет тридцати, миловидная, словоохотливая, склонная к полноте и розовой меланхолии. Муж бросил, сыну пять лет, будет космонавтом.

Плавно входила в палату, бросала ему на постель веточку сирени, подаренную очередным шизофреником, которому зоечкина одинокость была дороже международной солидарности, и сладко вздыхала:

- Жизнь прошла...

Сквозь тонкий халат просвечивали бретельки и кружева, замысловатая женская подоплёка.

- Весна, премию дали, радоваться бы... закатайте рукав, выше... и не очень старая... оп! плечо не тянет? ослабьте мышцу, хоккей... иголка новая, препарат проверенный... и не уродка...

- Вы вообще мой идеал.

- Зажмите ватку... свёртываемость у вас нормальная, а идеалы умерли в прошлом веке, вместе с барышнями и гимназистами. Я, да будет вам известно, педучилище кончила.

Логику там не проходили.

- Сдрейфила, что в деревню сошлют, и перекинулась в медицину.

- Гуманист по призванию.

- А вы не ехидничайте. Побывали бы в наших станицах: грязь непролазная, в магазинах пусто, за хлебом и то в город ездят. А вы кто по профессии?

- Педофил. Филолог с педагогическим уклоном.

Сморщила курносый легкомысленный носик и с прежней тоской:

- Опять окна грязные... Не было горя, так зарядили эти кислотные дожди. Говорят, что

от них волосы выпадают. Глупость, конечно, но на психику действует, обстановка у нас такая. Правда, платят больше, чем в других отделениях, и повариха хорошая. А для души - Тенин...

- Зоечка, когда он меня отпустит?

- Думаю, через недельку, он вами доволен.

Слава богу, хоть кто-то.

- Ах, почему жить не хочется? - Потягивалась у раскрытого окна. - И жасмин расцвёл, и тюльпанчики... жёлтые, цвет разлуки.

- Не горюйте, сегодня же оборвут.

- Дайте ватку. Ага, порядочек. - И покатила свой пыточный столик. - Сирень оставить?

- Оставьте. Не обидитесь, если передарю?

- Кого-нибудь ждёте? По крайней мере, красивая?

- Рыжая. - Сказал и разжарился, словно ему впрыснули адреналин.

- Мне, что ли, покраситься? Может, скорей обратят внимание...

- Не выдумывайте, Зоечка, лучше некуда.

- А, чем лучше, тем хуже... и давление скачет... весна...

И уплывала, дыша туманами.

По ночам Ларионову не спалось, и когда дежурил Тенин, он приходил к нему в ординаторскую поболтать, чтобы освежить голову. Тенин мучился язвой, ему тоже было не до сна. От операции отказался (как большинство медиков, к собственному здоровью относился наплевательски) и лечился «бабкиным способом»: кусочек сливочного масла и добрый глоток спирта. Боль на время стихала, и это его устраивало.

Был он родом из-под Воронежа, в дыру угодил по недоразумению: прикатил на свадьбу к товарищу и «втюрился» в подружку невесты, отчаянную казачку. В тот же день и обвенчались в армянской церкви (в русской стоял метиз), «да какая мне разница, я не богу, я бабе моей присягал». И до последнего дня жил в примаках, обслуживая и пользуя многочисленную женину родню, «дебил на алкоголике». Пробивался с трудом, «по своей педагогике можете судить, что творится в психиатрии», но неврологическое отделение в горбольнице выбил, и теперь в Краснодар отправляли одних буйных и запущенных. С начальством не ладил, о коллегах отозвался коротко: толковых на периферии не удержишь, от дубарей не избавишься.

- Не пойму, - сказал Ларионов, когда они немного сблизились, - вы человек контактный и профессионально непотопляемый, откуда к вам такая враждебность?

- Мешаю, поди. Я ж из тех, кого бьют, когда спасают Россию, только из второго эшелона.

- Про второй не знаю. Просветите.

- Интеллигенция, братец. Жидов бьют для отвода глаз, чтобы поднять настроение в массах, у нас по части зрелищ хронический недобор. А главные противники: ты да я, да мы с тобою. В открытую против нас не попрёшь - интеллектом забьём, а втихую, в обход, запросто, и любой предлог сгодится для борьбы с нами, проклятыми: и моральная неустойчивость, и профнепригодность, и неумение поставить себя в коллективе.

- А что советуете, как врач?

- Поменьше условных выражений для мнимых чувств. Не двоедушничайте. Нравится вам человек, идите навстречу, нет - «извините, спешу». Не бойтесь искренней реакции, она сильней других аргументов и вас освобождает от лишних объяснений и дискомфорта.

- Ну да, ректор меня отчитывает, а я ему: «иди гуляй», в магазине толкнули, а я по

матери, народ на субботник, а я в нумера... дайте договорить! Проработки, политзанятия, заседаловки - всё приходится делать через не хочу.

- Ваш бунт от ума, а от подкорки нежелание вступать в конфликт. Вы снимаете раздражение, подавляя себя, а насилие - доказательство в пользу насилия. Это в личном плане. Что до трудовых свершений, работайте по совести и весь сказ. Сосуды я вам подтяну, а свои противоречия распутывайте сами. Есть масенькое «но». Интеллигенты обожают комплексовать: обострённое чувство ответственности, вины и в том же духе. Будьте осторожны, это авторитарная установка. Все мы, к прискорбию, ягодки одного силового поля, а жёсткие нормы поведения провоцируют их нарушение. Интеллигентский психоз - от противного, а там, где недовольство, там и баррикады. Революция, конечно, мероприятие весёлое, как сказал поэт, да мне больше нравится лозунг еврейских мистиков: выравняй весы.

- Греческая метриопатия, главная аристотелевская добродетель. Но что за штука быть добродетельным...

- А вы не финтите, филолог, ищите смысл в самом слове: делающий добро.

- Растворяющий кулак. Так переводится имя Пигмалион.

- А, ваш старый друг, наслышан. Любопытная интерпретация: погибает, спасая своё творение, а оно вознаграждает его вечной славой.

- У меня этого нет!

- Может, на бумаге пока что нет, а в подкорке засело и выговорилось в бреду. Не исключено, что вы смоделировали своё отношение к кому-то через этот сюжетный ход.

- Что?! - подскочил Ларионов. - На фиг мне слава! Я её никому не отдам!

Тенин спокойно улыбался.

- Вы только что продемонстрировали ваш болевой синдром. Хотите, вместе покопаемся в механизме?

Ларионов припомнил судороги, угрозы Тенина валяться в лангетках и заново учиться ходить с «козелком», чтобы на своих двоих доковылять до амнезии, и ответил:

- Я уважаю ваш опыт и готов разворотить моё повреждённое сознание, но к ней я вас на выстрел не подпущу.

- Стреляться не будем. Как я понял, затронута честь дамы, приношу глубочайшие извинения.

Обесчестить, затронуть, какая литературщина.

- Лягаетесь вы, дохтур, технично, но как говорит другая дама моего сердца: «принято».

- Фаинка?

- Вы знакомы?

- Привет участникам слёта! А кто вас откачивал в прошлую пятницу? И в смирительную рубашонку я запихал, а вы мне чуть палец не оттяпали. Каб не Фаинка, стал бы я с вами чикаться, упёк бы в стационар и враз купировал приступ. Моя промашка. А что, не раскололась?

Ларионову стало смешно. То рассуждает суконно, как спец, то калякает на деревенском, ситцевом языке.

- Да уж.

- Оченно на неё похоже.

- Тоже лечилась у вас?

- Я у неё. - Тенин ладонью пригладил залысины. У него был широкий лоб с открытыми углами и сжатыми морщинами, лоб умницы и упрямца. - Дело Гаськова. Слыхали?

- Краем уха. Журналист. Какая-то тёмная история.

- По мне, так дюже прозрачная. Облыгали парня, да было за что. Гаськов замахнулся, цитирую вас, на отцов города.

Мама родная, что он нагородил?

- Собрал факты должностных нарушений, взятки там, протекции, и провёл самостоятельное расследование. Ниточка потянулась в край, а оттуда в Москву. Перед тем, как передать материалы в Верховный суд, Гаськов решил заручиться поддержкой наших законников, дядьёв города. Ничего не надо объяснять? В общем, состряпали уголовный процесс, обвинили в подлоге, клевете и прочих смертных грехах. А чтобы спустить дело на тормозах, факты-то вопияли, постановили признать его невменяемым и поместить в психушку. Я имел счастье находиться в составе медицинской комиссии, а Фаинка на правах лингвиста участвовала в графологической экспертизе. Дружба с первого взгляда тоже бывает, как у нас с ней. Подсказала мне массу процессуальных ходочков, она же дока. Вдвоём мы пытались вытащить парня, но нас культурно отшили. Как думаете, за что?

- За моральное разложение.

- Почти. За некомпетентность. Меня этот балаган вогнал в депрессию, но Фаинка провела со мной серию восстановительных бесед и ничего… жив. Когда мне предлагают помощь, в которой я нуждаюсь, я принимаю её с благодарностью, не люблю темнить.

- Зацепил же я вас. Не сердитесь, дохтур.

- Я прежде всего врач и с удовлетворением отмечаю, что у пациента наметилась тенденция к устойчивой мотивации. Завтра сменю дозировку и начну готовить вас к выписке.

- Ой, - заёрзал Ларионов, - выпустите меня в субботу, чего вам стоит...

- Братец, ты хоть не напирай, у меня эти повышенные обязательства во где сидят. Чёрт, снова тыкаю, довёл старика. Пигмалиона дашь почитать?

- Подарю на вечную память. С автографом на суперобложке.

- Вот и лечи вас после этого.

И погнал Ларионова спать.

Глава 40

Кто угодно мог припожаловать к нему в больницу, включая первых посетителей только что открывшегося в городе клуба «Вторая молодость», как сообщили по радио в утренних новостях, но увидеть дядю Лёшу Ларионов не чаял.

- Дай пять, - протянул клешню, - мячик прыгает опять.

И на этого стих нашёл, удивился уже по инерции и, не поднимаясь с кровати, сделал приветный взмах. Обойдётся, да и чувствовал себя не ахти, после укола подташнивало.

- Что-нибудь с Аней? - спросил, чтобы ободрить заробевшего родителя, а также дать ему щелка и заодно выведать, совсем она отказалась от него, ни разу не появилась, или просто мотает нервы в отместку за учинённое безобразие, женщина всё же.

Дядя Лёша покрутился и, отвернув край матраса, уселся на сетку.

- Дурью мается, как всегда. Ты-то пошёл на поправку?

- Пошёл я...

- Ну и молоток. Я тебе витаминов принёс. - Полез в карман и вынул четыре маленьких

сморщенных яблока. - Куда их?

- Я не ем яблок. У меня от них оскома.

- Прямо не ешь, характер показываешь. - Хитро прищурился с дураковатой улыбкой. - Это твоя тумбочка? А чего пустая? Аня тебе привет передаёт.

- Болеет?

- С чего ты взял?

- Сама бы пришла с приветом.

- То-то и оно-то. Такое выкинула, что на люди стыдно показаться, дома отсиживается. Да ты лежи, лежи, у тебя, видать, нешутейное, что это за журавль?

Ларионов сдёрнул пластырь с иголкой и отвязался от капельницы.

-Ну?

- Язык не поворачивается сказать. Ты бы ей по-дружески растолковал про гордость и поведение, это... отравилась она. Живая, живая, в понедельник в школу пойдёт. Лишь бы там не пронюхали, ох будет позорище... Да живая, говорю, не психуй!

- Чем отравилась?

- Разве от неё добьёшься? Упрямая как мать, армянская порода.

- Аня армянка?!

Дядя Лёша изменился в лице.

- Да какая она армянка! Ни одного ихнего слова не знает! Мать сама в России родилась, а умерла, Аньке и десяти не было. Мы и не расписывались, и вообще жили врозь, бес попутал. Анька и не помнит её, ей-богу, русская она, русская, наша!

Ларионов залпом выпил стакан кефира, оставшийся после завтрака. Дядя Лёша испуганно хлопал куцыми выгоревшими ресницами.

- Один её поднимал, без помощников. Знаешь, как дорого она мне досталась? И до сих пор нянчусь, вправляю мозги...

- Кулаками.

- Сроду не лупцевал, ни ремнём, ни этим... - Вывернул свою узловатую ладонь в жёлтых мозолях. - За волосья да, оттаскал, что было, то было. А ты как думал? Твою бы дочь обрюхатили...

- Да наврал я вам!

- Ну, я тоже не дурак. Теперь у меня справка есть.

- Какая справка? - Ларионова прошиб пот.

- Медицинская. Я её к врачу сводил, чтобы всё честь по чести. Девка. Я ей даже спасибо сказал, а она... Вот что твоя брехня наделала.

Ларионов вцепился в него мёртвой хваткой.

- Я к ней иду, а ты, гад, сиди здесь и жди меня, понял? Сымай пинжак!

И сорвав с обалдевшего дяди Лёши китель, сиганул в окно. На тебе искреннюю реакцию. Безраздельно твой.

- Аничка, Аничка... - целовал ей руки, тряс за плечи, заглядывал в лицо, серое, подурневшее, - простишь когда-нибудь, простишь меня?

- Закрой дверь на ключ, - сказала, не разжимая губ.

Враскачку двинулся к двери, пальцы не гнулись, два раза повернул ключ в замке.

- Аня... - И обомлел.

Она скинула с себя одеяло и рубашку и смотрела на него круглыми черными глазами.

- Сделай это.

Ларионов обнял её одеялом, билась, не отпускал.

- Если нет, я тебя возненавижу, я слова тебе не скажу!

- Аничка, я... ты сама не хочешь...

Толкнула коленом в живот. Он отшатнулся и вдруг увидел все её родинки, приснившиеся ему в кипарисовой роще.

Аня не плакала, но слёзы текли крупно равномерно, как дождь по отвесной стене.

- Не могу... - попятился Ларионов, натыкаясь на стол, на стулья, - не сейчас... не здесь... пожалей, если любишь...

- Анька, ты чего заперлась?! - ломилась соседка. - Не верь ему, он одманщик, проститут несчастный!

- Все сошли с ума, - с каким-то радостным ужасом сказала Аня. - Открой этой дуре дверь.

Глава 41

- У меня к вам мужской разговор.

Ларионов просительно глянул на Тенина и вопросительно на Зою, поливавшую цветы в тенинском кабинете. Горшков и кадок с геранью, фикусами и китайскими розами было штук двадцать, не меньше. Тенин кивнул и тоже повернулся к Зое с насмешливым докторским любопытством. На неё это не произвело. Можно выразиться и так, пресекая фразу на взлёте, как это делают французы, не размениваясь на обстоятельства, естественно, грамматические. Говорят же: «оставляет желать», а уж лучшего, худшего или ещё чего - на усмотрение собеседника. Скупость и расточительность уживаются в них фантастическим образом.

Зоя, не торопясь, обошла всё хозяйство, пристроила лейку под раковиной, вынула из бачка марлевую салфетку и, подтерев лужицы, укоризненно произнесла:

- Вот несчастье быть женщиной, посплетничать и то не дают...

Тенин, как обычно, прервал её на середине тирады:

- Не рефлектируй, души в себе Клару Цеткин.

- Тогда отпустите пораньше. Сегодня в детсаде укороченный день, а Кольку некому забрать, бабка наша в Новокубанку гулять уехала.

- Топай, топай.

Высунулась в окно, потянулась.

- Только б дождя не было...

Тенин вновь перебил:

- В восемь на привокзальной площади. И Кольку прихвати. До побаченья. - И подмигнул Ларионову. - Продемонстрируем нашу врачебную сплочённость, если к завтрему не перегрызём друг другу глотки. Что у тебя?

Зоя нехотя удалилась.

- Тупиковая ситуация. Я люблю её. Она любит меня. Хотим пожениться, но отец стоит насмерть. Тенин, что вы мне кололи? Я стал идиотом.

- Брачную сыворотку. Отец-то при чём?

- Ей четырнадцать лет.

Дохтур присвистнул.

- Русский вопрос: что делать?

- Морализировать, - ухмыльнулся. - Или усадьбы жечь.

Ларионов вытянулся в кресле и прикрыл глаза. Острить он и сам умел.

- Вы бы как поступили?

- Я терпеливый. В кино бы ходил, уроки с ней делал. С отцом резался в «козла». А года через два женился. Разумеется, на другой. Я не верю в смертельную любовь.

- Уж вы-то вступили в брак по расчёту.

- Да, братец. Я встретил жену. Не русую девушку в кофточке белой из песни под гармошку и не очи чёрные из театра «Ромэн», а свою законную половину. Представил, как будет ходить по дому, кормить детей, меня пилить, что торчу на работе. С пузом представил, в мокром фартуке, а по праздникам - в дурацких кудерьках. Я знал, чего хотел. То и имею. Четверо пацанов, дом-крепость, пироги-варенья. И пилит дай бог, но опилки за собой подбирает.

Лида. Ещё одна Лида.

- Вы влюбились в своё семейное благополучие.

- Ладно, продамся. Я врезался в её шрамчик. Вот тут, в уголочке рта. Даже, когда ворчит, кажется, что улыбается.

- И вы бесконечно счастливы, каждый день.

- Братец, мы опять упёрлись в твои геркулесовы столбы. Для тебя главное - назвать, изречь. Может, это писательский бзик, а может, страх выйти за пределы своего понимания. Ты и воюешь с собой понарошку, чтобы нервы себе пощекотать, исход сражения тебе неинтересен. Другие стремятся навести порядок в собственных мыслях, а ты нагнетаешь хаос. Тебе нужен экстаз, потому что ты не способен радоваться простым вещам: солнце светит, травка растёт. Пойми, твоё средиземное море не конец света, за столбами мир, окиян. Обязательно надо, чтобы искры из глаз? Счастье это когда просыпаешься, а у тебя ничего не болит. Ты мальчишка и максималист. Тебе не жена нужна, а нянька, чтоб горшок за тобой выносить.

Ларионов придирчиво оглядел себя в зеркале. Хорош. Пусть и у него будет праздник. Майский день, именины френа... phrēn по-гречески и душа и ум, его помещали в том месте, где находится солнечное сплетение, верхний анькин живот, и расщепляю, schizo, происходило там.

Разговор с Тениным получился скомканный и не совсем о том, что беспокоило Ларионова. А что мог посоветовать дохтур? Лечебную гимнастику? Аутотренинг? Избегать ситуаций, травмирующих психику? Да вся его жизнь в нарывах и кровопусканиях. Просыпается - всё болит. Одно живое место и осталось: дырка от адамова ребра. А Тенин блаженствует?

Не верю, сказал бы Константин Сергеевич Толстой, он же Лев Николаевич Станиславский, вы меня пугаете, а я вам не верю. И жена его, похоже, солоха, «мама, опять ты поставила чайник на Фрейда!» и дядья с брательниками держат за дурака, и Зойка перед всем отделением выставила на посмешище, только олигофренов могут разжалобить её горемычные потягушки. И в придачу четверо казачков и Колька на полставки. Ничего святого нет, если его не выдумать. И Анька, жеребёнок, ребёнок же, и где вычитала? в какой-нибудь популярной энциклопедии, в главке про марксову половую жизнь, что

мужчины любят глазами, а не жабрами. Чепуха, всем и сразу, и чтобы света побольше. Нет, он не циник, хотя расщепляет всё и вся, да, бред реформаторства и самоуничижения ему не грозит. Он достоин счастья и свободы. Он идёт на парад.

Глава 42

В центре армавирского акрополя обреталась площадь.

Ещё раз, не ленись.

В центре армавирского акрополя... прозябала? простиралась? только не лежала, не находилась, не располагалась и не... Обрыдло.

В сердце дыры зияла дыра. Она втягивала в себя празднества и пожирала народные чаяния. В будние дни хлябь пустовала - горе жмётся по углам, страх забивается в щели.

Символ переживаний олицетворял Ленин. Чёрный маленький железный, он стоял на циклопическом постаменте, вмурованном в полукруглую гранитную трибуну со ступенями, расходящимися на север и юг. За спиной вождя продолжалась улица Мира, одним концом упиравшаяся в базар, другим - в Сенной переезд (так и не переименовали). За ней под железнодорожное полотно подныривал туннель, уводя город в заводские трущобы и армянские планы (ударять на «ы») с виноградниками и шелковицами.

Если взобраться на трибуну (этого не хватало), то справа можно было улицезреть Дворец культуры (ферма № 2) и ленинский парк; ниже по улице Кирова - мрачный булевтерий, через арку сросшийся верхними этажами с горкомом, заседалищем пританов; слева, за сквером Победы (т.е. Сталина, каково?) - утопающий в зелени дикастерий, шемякин суд; выше - монументальное жилое здание, занимающее целый квартал, где размещались гастроном, булочная, универмаг с аптекой, канцтоварами и очагом культуры - театром им. Луначарского.

Три-четыре поперечные улочки, и акрополь, ничем не обозначенный, выдыхался, начиналась казачья слобода: тупики, проезды, белёные мазанки с огородами в подсолнухах и лопухах. За границей акропольского централа всё росло, цвело и плодоносило: жирный чернозём прорывался даже сквозь кордонный асфальт, выстреливая то абрикосовым, то ясеневым побегом, и разворачивал плитки на склонах туннеля одуванчиками и подорожниками, придавая державному сооружению деревенский вид. Мёртвой была лишь площадь. Цветы к подножию памятника не возлагали за неимением такового - основанием служила трибуна с гранитным барьером), и хитрые голуби кормились на рынке и на вокзале. Кружили одни вороны, по кладбищенской памяти, парк-то взошёл на костях.

... День был высокий и гулкий от синевы, промытой вчерашним ливнем и за ночь продутой ветром. Толпы ликующих собирались у вокзала, чтобы тут же разъединиться: привилегированные службисты, медики и высшее образование группировались в направлении к площади, а в сторону Сенного переезда по ранжиру выстраивались всякие железнодорожники, производственники, торгово-купеческое сословие и напоследок, уже без музыки, пионеры и школьники. По окружным улицам то и дело проносились галопы казачьего отряда (фольклорно-патриотический анахронизм) в кубанках и бурках, сверкая надраенными газырями. Люди шарахались, матюгались, но понимали - коней не заставишь часами топтаться в очереди к Ленину.

Рядом с Ларионовым заливалась двухрядка: «милка, чо»; у цветочного киоска, вечно

закрытого на обед, бухал духовой оркестр пожарников в золотых архангельских касках; напротив, под окнами знойного ресторана, наяривали лабухи из Санпросвета, вокально-инструментальный ансамбль «Романтика», перекрывая своим «бессаме мучьо» прощание угоревшей славянки. Как странно, подумал Ларионов, что русское «целуй меня крепче», чисто фонетически, оставляет меня равнодушным, тогда как тарабарское мучьё вызывает приток совершенно отчётливых сил.

Подъехал грузовик с открытой платформой, задрапированной кумачом, привёз транспаранты, флаги всех республик и портреты от Маркса до Микояна. Раздавали по списку, ответственные норовили урвать что поновей.

Ларионов, порядком заёрзанный какофонией и толчеёй, стоически изнемогал, поджидая Аню. Договорились встретиться у цыганского фонтана, но подлежащие ликованию всё прибывали, и вскоре привокзальный сквер превратился в кишащее месиво крепдешина и чесучи, осыпающихся букетов и лопающихся шаров. Он забеспокоился, что Аня его не отыщет, и вспрыгнул на бортик фонтана, выглядывая её через головы. Там и был схвачен за ногу поддавшим Сосновым.

- Символизируешь народную мудрость? - гоготнул. - Я тоже хочу, подвинься.

И этот тыкал.

- Витьлексеич, убьёшься! - кричала Ольга, проталкиваясь к ним и прикрывая театральной сумочкой свой вздувшийся живот. - Ну скажите им, Сергей Петрович, чтоб слезли, приняли они с утра!

- Стань в сторонку и не возникай, - храбро ответил Соснов, расправляя покатые, по-бабьи обвисшие плечи. - Что это наша мудрость нонче не фонтанирует?

Зелёные минералы за зиму поблекли и покрылись ржавыми полосами пересохших струй. На дне фонтана грудой лежали осколки бутылок, бумажный сор и сиротливая половинка резинового мяча, наполненная дождевой водой.

- Олечка как поправилась, заметил? - Соснова распирало от гордости. - Пока молодёжь лечилась, старичьё давало пороху.

- Поздравляю, - сказал Ларионов. - Нам так не жить.

- Эй, - ёкнуло за спиной.

Обернулся и чуть не опрокинул Аню, поднявшуюся на бортик. Подхватил на лету и не смог оторваться, сомлел.

- Пусти.

Белая блузка с отложным воротничком, короткая плиссированная юбка, волосы собраны, бант. Настоящая школьница. Если бы не глаза и губы.

Соснов дрожал от нетерпения, заглядывая через Ларионова то с того, то с другого боку, и, наконец, свалился в фонтан. Втроём кое-как вытащили. Ольга ныла: «говорила, не пей, говорила, не лезь, чисть их теперь, неугомонных».

- Познакомь, - не унимался Соснов. - Друг детства?

- Невеста.

Аня вздрогнула. Ну и пусть, я радуюсь, мне прописали, успокоил себя Ларионов.

- Ольгунь, слышь? Лучшие люди уходят, ёлки-моталки. А это не тайна, можно на хвосте унести?

- Шуток не понимаешь, - опомнился Ларионов и поймал ещё один испуганный взгляд.

Радость отодвигалась.

- А почему вы здесь? - внезапно отрезвел Соснов, отдирая от брючины карамельный фантик. - Наши почкуются у кабака.

- А вы?

- Да пива выпить захотели, - вновь пожаловалась Ольга, - а увидели вас и всё на свете забыли.

- Ну дак, неотразим. - Ларионов подбросил монетку. - Орёл. Правда, Аничка?

- Серп и молот.

Сосновы смешались с толпой, а он приступил к осмотру своей несостоявшейся половины. Синие круги под глазами, бледненькая, осунувшаяся, но уже какая-то лёгкая и дерзкая, вся за поворотом.

- Зачем намазюкалась?

Провёл пальцем по припухшим губам. Не помада. Но горели натруженно, как после ночи неусыпных лобзаний.

- Кто тебя вчера развлекал?

- Монтень. И туфли новые, - выставила ногу, - на шпильках.

Трёхсантиметровый каблучок, безобиднейший, пригвоздил бы любого.

- Для кого стараешься?

- Для тебя. Пошли.

У него бешено заколотилось сердце.

- Пошли. Куда?

- Ты к нашим славным педагогам, я к нашим советским школьникам.

Ларионов знал, что столкнётся с ним, для того и назначил Ане свидание в сквере, и с чувством потряс шершавую от хлорки тенинскую лапу.

- Первое мая, курица хромая, - мурлыкнул дохтур, запечатлев и юбчонку и бантик. - Как настроеньице?

- Прыгаем. Тенин. Аня.

- А это хорошая девочка Лида.

Одной ручищей он сжал анину ладошку, а другой притянул к себе довольно-таки молодую полногрудую женщину в кудерьках. Ларионов прилип взглядом к шраму, крошечной белой полоске в правом углу рта. Хорошая девочка улыбалась. Нехорошая не отнимала руки.

- Славное имя, оно вам очень подходит, - отвесил поклон Ларионов. - С древнегреческого: «прибывшая из Лидии», малоазийской страны, богатой крезами, кремнием и красавицами. Пушкин его любил, он разбирался в именах-выменах. - Он сделал паузу и убедился, что «вымена» прозвучали вполне безобидно, как повторение «имён» и никого не шокировали. Да и кто, кроме литераторов, знает, что знаменитое пушкинское «что в имени тебе моём» грешит той же двусмыслицей? И невинно продолжил: - Ваш братец, он всех величает братцами, не сочтите за фамильярность, тоже большой знаток и психолог.

Шрамчик подпрыгнул. Тенин отпустил Аню и крепче прижал к себе жену, смущённо притихшую в его медвежьих объятиях.

- А меня вы не узнаёте, - втиснулась Зоечка в их тесный семейный круг. - С праздничком! Колька, скажи дяде «здрасьте».

Крутолобый Колька грыз петушок на палочке и настырно молчал.

- Ужасный ребёнок. И в кого он такой? - И смутив Ларионова, повернулась к Ане: - Это вам он мою сирень передаривает?

Как говорится, тяжёлый случай.

Аня мужественно кивнула. Дохтур с усмешкой прикидывал, что к чему, и поглаживал

Кольку по загривку.

В толпе началось движение, призывали строиться и выносить знамёна.

- Может, заглянете вечерком? - предложила Лида, ткнув Тенина в бок.

- А что, давайте, - поддержал тот без особого энтузиазма. - И Фаинку прихватите заместо Сусанина.

Ларионов посмотрел на Аню, та растерянно промолчала.

- У нас пироги с курагой, - прибавила Лида.

- Тогда точно придём, - засмеялся Ларионов и дёрнул Аню за хвостик: «беги, в двенадцать у педа».

Плечом к плечу, задом к переду, спрессованные в едином порыве, попёрлись к площади. Ларионов вздымал транспарант с пролетариями всех стран. Сзади семенила Лида с портретом Макаренко и букетом ландышей, всем видом показывая, что Ларионова в природе не существует, но как бы нечаянно пихая его в спину концом древка, и в этом было что-то воспитательно-босяцкое. Безнадёжно испорченный Ларионов не поддавался и, через раз оборачиваясь, великодушно прощал.

- А где товарищ Файнберг? - спросил, лишь бы прицепиться, слишком Лида была нарядной и невозмутимой.

- Саботирует, - наступила на ногу и не извинилась, - но больничный представит, будь спок.

- Ну и сучка ты, - тихо сказал.

«Слава советским педагогам!» жахнуло с трибуны. «Ур-р-ра!» грянули демонстранты. Ревели дружно, как маралы перед случкой. И то ведь, когда ещё разинешь пасть на площади?

Спустились по улице Кирова к институту, и здесь солидарность кончилась, уступив место казанской групповщине. Колонны распались, и трудящиеся стали сбиваться в тёплые кампании, чтобы напиться вдрызг, наораться всласть и передраться, а иначе какой же праздник? Обыкновенное партсобрание, только на свежем воздухе.

- Голова не кружится? - вспомнила о нём Лида, оставшись невостребованной.

Времени было достаточно, он не спешил.

- Не от чего.

- Хочешь, вскружу?

Санпросвет лабал «сесибо», ландыши щекотали ноздри, а женская наглость - самолюбие.

- У меня полупостельный режим. Берегу силы для великих свершений.

- А тебя основательно подлечили.

Лида заткнула букетик ему за пояс и, загородившись портретом, припала к его бедру. И он привычно потянулся к ней, лапнул, «могу уделить полчасика». И зацепенел. В двух шагах стояла Аня, глядя на них, но не понимая, что они вытворяют. Он бросился к ней, она от него, отбиваясь коленями и локтями, с размаху, как в воду, бултыхнулась в гущу тел и знамён.

- Держи! - Ларионов швырнул транспарант отскочившему с воплем Соснову и приударил за ней.

И тут произошла дикость. Какой-то бдительный чурбан, решив, что ловят воровку, сграбастал Аню и вывернул ей руки. Ларионов двинул его по уху и такое загнул, что сам оглох и зашатался, и если бы не Аня, отбившая его от разъярённой общественности, лежать бы ему в цветах. Сгоряча, распылались оба, заволок её в общежитие, запер дверь и спрятал

в карман ключ.

- Пили, - приказал, - имеешь право.

- Я тебе не жена! - крикнула писклявым голосом.

- Жена. Пили.

- Сам пились, ты любишь всё сам!

Ой как тошно сделалось Ларионову. Ей-богу любил, но возвышенно и в гордом одиночестве, чтобы никто не подсолидарился. Всё-таки не занюханный самоед, а благородный идальго, самомучас.

- Торжественно клянусь: впредь ни сном ни духом.

- Всегда готов, всегда.

Всё хужее и хужее.

- Ты что, детёныш, ревнуешь?

Ни звука. Отгородилась стеной.

- У нас с ней давно, тебя ещё не было.

Дурак.

- Я сто раз зарекался.

Набитый.

- Что сделать, чтобы простила? В ножки упасть?

- Отдай ключ.

Опять не слушались пальцы, ключ не попадал в скважину.

- Сама открывай.

В затылке глухо потрескивало, но внятно болело в груди, от ребра. Радуйся, розовопёрстый, радуйся, утро на тебя наступило. Он съехал по стенке.

В небе летел корабль.

Глава 43

- Забирай! - гаркнул дядя Лёша. - И чтоб духу вашего не было!

Ларионов взял обеими руками чемодан, перевязанный верёвкой, фибровый, с металлическими наугольниками, какой-то зощенковский реликт. И горьковский, ведь сказал, что жена - чемодан без ручки, и нести тяжело и бросить жалко.

Ах, какой сумбур... Женщина в литературе. Роль индикатора. Говоря о ней, писатель засвечивается всеми своими передовыми идеями и задними помыслами. Пешковская «медаль на шее» и враги, которых уничтожают, прекрасно укладываются в эту схему, как девичьи пожитки в чемодан с оторванной ручкой.

Аня обняла его, и они побрели вдоль рельсов, накатанных до синевы и гудящих в пустом после дождя воздухе. Мимо промчался пассажирский поезд, люди высыпали на перрон, и пришлось свернуть в сквер, белый от цветущих кустов. На Кубани их называли «невестой», а в Греции «вертихвосткой». Наше вам с кисточкой.

Поезд отъехал и стало темно. Летом ночь наступает сразу. На севере. А на юге весной. Никитич не впустит Аню, потребует паспорт. Соврать, что завтра распишутся? Несерьёзно. Подмазать? Наложит в штаны. Ларионову расхотелось идти.

- Заночуем в фонтане?

- По-цыгански? - обрадовалась. Ей нравилось всё неожиданное. - Ага, разобьёмся

табором! Но сперва я постираю бельё.

Глупая какая, расстроился Ларионов, вещи-то чистые, из шкафа, и глаженые. Не зря бабьему полу приписывают физиологическое слабоумие, и талмудисты сходились в том и ницшеанцы. Кицаи (с древнееврейского «не разбей лба»), так те и по улицам разгуливали с зажмуренными глазами, чтобы не смотреть на женщин и не дуреть. Потому и расшибались.

Но Аня и не собиралась открывать чемодан, а вскочила на бортик и прыгнула в чёрную неподвижную воду. Ларионов, жмурясь, как фарисей, смотрел, как она брызгалась, хохотала и тёрла на себе одежду.

У них дома когда-то была цинковая стиральная доска с поперечными волнистыми рёбрами. Мать не смогла к ней приноровиться, и однажды «циночка» исчезла. Он предложил купить новую, «ну уж нет», рассердилась. Какая связь?

- Вылезай, - позвал, потеряв терпение.

- Я не стираю, - плеснула в него водой, - а стираю!

И впрямь, блузка стёрлась, как бумага на переводной картинке, и проступила сверкающая изумрудная чешуя. Русалка, похолодел Ларионов, или у меня что-то с глазами, и полез к Ане в фонтан. Вода доходила ему до плеч и ей тоже, видно, здорово выросла за последние дни. Нет, кожа у Ани была гладкой, как у женщины, и коленями она сжала его не по-русалочьи.

Он заскользил по родинкам, мелким, нелепо разбросанным... Такие он видел в созвездии Жертвенника на Дюреровских гравюрах к звёздной карте Птолемея. Всё у вас вверх ногами, сказали Альбрехту бюргеры, всё в корне неверно, а когда-то вы рисовали себя с цветком клещевины, символом верности, хотели сразить невесту, как её звали: Анхен? Агнес?

Молочай, кипяток, чёртов крест, неизречённая женская поза. Он вырвался, «не хулигань».

- Догони меня! - крикнула и, кося глазами, завлекая его, поплыла по кругу, от него к нему.

Он вытащил из кармана спички и сигареты, но они превратились в кашу. Хорошо, что дома есть нераспечатанный блок. Пусть Никитич попробует заартачиться, он ему даст леща. За грудой камней прошелестел чей-то шёпот и анин смех.

- Хватит, деточка, - попросил, - пошли спать.

Выбрался из корыта и поразился, что насквозь просох. Воды в фонтане не было, ни капли. Валялись сломанные флажки, хвосты ландышей и всякая послепраздничная дрянь. Половинка мяча исчезла. И Аня улетучилась.

Ларионов поднял с земли чемодан, тот с треском распахнулся, и выпала сморщенная лягушачья шкурка. Его стошнило прямо в фонтан, в народную мудрость, которой было наплевать на своих детей, погибающих от любви. Потом он бегал по скверу и ломал ветки «невесты», пытаясь вспомнить, чем кончилась сказка: царевна стала лягушкой или лягушка царевной и сколько их всех было.

Тенин что-то шептал Ане в самое ухо, касаясь губами её пылающей щеки.

- Я не сплю, - проворчал Ларионов. - Перестаньте сплетничать.

Они улыбнулись синхронно, как... синхронические таблицы параллельных царских династий... как он мог забыть?

- Мне надо в Краснодар. - Твёрдо сказал, но вышло вяло и неубедительно. - Мне в

Краснодар надо. Надо мне в Краснодар.

- Поедем, - мурлыкнул Тенин, - прямо туда и поедем.

Аня гладила его по лицу липкими пальцами. Нестерпимо жали перстни.

- Сними, скорей...

- Что снять? - бестолково спросила. Всегда, когда обижалась, притворялась, что не понимает.

- Я ненавижу женщин, - поклялся Ларионов, - в упор их не вижу... ты меня простила?

- Она простила, - заверил Тенин.

- Я вас не спрашиваю, она...

- Она простила.

- Я вас...

- Ты меня не слышишь? - всхлипнула Аня. - Я иду домой за вещами!

- Не выдумывай, сядь.

- Она вернётся, и мы поедем, - засуетился Тенин, поправляя съехавший матрас. - Я уже вызвал машину.

Ларионов его оттолкнул.

- Я ненавижу их всеми фибрами, из которых прессуют чемоданы! Моя образная система закрыта для них. Ревизия! Переучёт! Я приступаю к расчистке помещения! Книги только мешают, писатели врут, философы расширяют значение слов, пока в них не остаётся ничего от первоначального смысла... откуда цитатка, дохтур? Эх вы, грамотей. Любят ведь то, что понимают?

- Не обязательно.

- Не спешите опровергать, чтобы не быть опровергнутым. Пошленький ахеризм, зато собственный. Допустим, я высказал спорную мысль, давайте спорить, зачем бить с носка? Сами меня предостерегали от авторитарности, сами же и страдаете. Я не о понимании, а о вашей манере всё упрощать. Не надувайте щёки, это вас старит, хотя... Умным дурочкам нравятся старики. Принцип корреляции максимумов опирается на принцип затухания частот.

Тенин ощупал ему затылок и плечи.

- Что-нибудь чувствуешь?

- Здоровую злость.

- Ты меня обнадёживаешь.

- Взаимно. Где мои ландыши, светлого мая привет?

- Ты потерял их, когда мы дрались, - улыбнулась Аня, всё-таки похожая, очень похожая на лягушку: и лицо мокрое и рот врастяжку.

- Пусть она уйдёт, - Ларионов снизил голос до хрипа, - а вы позовите Лиду, я её люблю.

- Лида ждёт гостей. Жарит-парит. Тарихос.

Кто ему рассказал про тарихос? Аня. Они сговорились. Его не везут к Михайлову, его везут в сумасшедший дом.

- Выйдите в коридор, мне нужно переодеться.

- Я тебе помогу.

Какой прохиндей.

- И закончить Пигмалиона. Поставить точку. Это не займёт много времени. У меня друг в Краснодарском издательстве. Я вас познакомлю.

Тенин подвёл его к столу. Ларионов плавно опустился на стул, демонстрируя чёткую координацию движений.

- Я суеверный, не подглядывайте. Вышли бы, а? Там моя девочка... голенькая.

- Не ерунди. Ставь свою точку и давай собираться.

- Пушкин сказал, что «первая любовь - дело чувствительности, а вторая - чувственности». А последняя? Что вы думаете по этому поводу?

- По дороге поговорим.

Отобьюсь. Что у нас в арсенале знаний? Архимедова праща? Отстоим родные Сиракузы.

- Как вы узнали про тарихос?

- Про что?

- Про то, что жарит-парит Лида.

- А, традикость, наше с ней словечко. Традиционная дикость, все эти первомайско-ноябрьские приёмы.

Ну до чего хитёр.

- Боже мой! - подскочил Ларионов. - Он же её не отпустит! А я без неё не поеду! Умоляю, Тенин, уговорите этого мудака! Позвоните соседям, у них нет телефона, 2-34, попросите Чеханцова, Лексея, придумайте что-нибудь, ну пожалуйста! А меня закройте на ключ.

- Дожал. 2-34?

- Да, да!

Он ни разу не сбился, он сыграл блестяще: и спокойствие, и волнение и связную речь. Естественно, он был моложе Архимеда и у него не болела душа за какие-то сиракузы.

Тенин запер дверь и отправился устраивать его счастье. Не Фрейда, дохтур, пророков надо читать! Если бог закрывает дверь, он открывает окно, всё давным-давно предусмотрено.

Ларионов перемахнул через подоконник на улицу и, низко пригибаясь, прокрался мимо вестибюля. Тёти Дусин язык доведёт его до Краснодара. У него превосходная память, даже не слушая, автоматически запоминает. Лучше всего на автобусе, четыре часа, две остановки, в Кропоткине и Усть-Лабинске. Просто, как дважды два. Это только бредовая идея обладает большой структурной сложностью. Он не геометризирует, не платонствует. Нервы, нервы шалят.

Боря Михайлов был седой, но жилистый и порывистый не по-стариковски. Он шагнул к Ларионову и прижал его к своей богатырской груди.

- Я привык, что все ниже меня, - сказал Ларионов, - а вы мне сразу поубавили спеси, я страшно рад, что вы такой большой, спасибо вам.

- Папку с мамкой благодари, не моя заслуга. Дай посмотрю на тебя. Как ты похож на деда, бывают же такие накладки.

- Накладка это ошибка, промах.

- А на чертёжном жаргоне - калька, точная копия. Да что мы стоим, садись, вот сюда, на тахту, устал ведь с дороги.

- Я двужильный, - похвастался Ларионов, - я с пристани уй что таскал.

Ни слова про нумидийцев. Простоват. И чернозём под ногтями.

- Так вы чертёжник или рабочий?

Михайлов перехватил его взгляд и рассмеялся.

- Огород копал. Жена с дочкой пошли в гости, а мне спецзадание дали. Как говорится,

мало, чтобы тебе было хорошо, надо, чтобы другому было плохо. Шучу. Я математик, школьный учитель.

- У меня кое-что есть.

Ларионов вынул из-за пазухи книгу и вытряхнул записку. Михайлов надел очки и начал читать, шевеля губами.

- Кто тебе её дал?

- Мать.

- Это не та записка. Сейчас я мою принесу. Ты приляг, у тебя глаза слипаются.

- Нет, я не сплю, я брежу. - У него внутри всё напряглось, как накануне «великого взрыва», который потряс вселенную и подарил ей время. - Столько всякого напроисходило, что я тронулся, вроде, бы.

- Держи. - Он вложил Ларионову в руку истрёпанный обрывок бумаги. - Тебе плохо? Выпьешь водички? Давай прочту.

- Сам. «Галатеон, тепло ли тебе на свете? Ларионов». Борис... - он запнулся, - как дальше?

- Андреевич.

- Слово в слово. И тот же почерк.

- А ты сравни.

Ларионов почувствовал, как что-то толкнулось в нём, крупно как ребёнок, и выплеснулось сквозь поры. Показалось, летит в разрежённом морозном промежутке, не двигаясь, распластавшись, что времени ещё нет, но вот-вот начнётся отсчёт: раз, два, три...

- Это мамин почерк, - улыбнулся он, пряча свою записку, - а это ларионовский, возьмите.

Михайлов отвёл его руку, «твоя».

- Я потом объясню, мне надо собраться. Расскажите про деда.

Михайлов снял очки и положил их в пластиковый футляр. У него были отрывистые сильные жесты. Он и думал так: чётко, сжато. Никакой филологической расхлябанности, затекающих членов предложения. И в комнате каждая вещь на своём месте. Взвешено, измерено, сочтено.

- Меня взяли двадцать девятого января. Сутки держали в боксе. Тридцатого вечером после допроса отвели в семьдесят четвёртую камеру. Наверное, был разгрузочный день, сокамерников уводили по очереди. Я остался один.

Как я в палате, усмехнулся Ларионов. Привычка разговаривать с собой стала моей второй натурой. Всю информацию я получаю из вторых рук.

- Поздно ночью привели Ларионова. Мы познакомились. Выглядел он неважно. Сказал, что, мол, ломали мою девочку, а сломали меня. Чуть погодя спросил, не откажусь ли я передать ей записку. Я согласился, он тут же её написал. Я спрятал её в ботинок, под стельку, и пошутил, что ещё вопрос, кто из нас выйдет раньше, а он ответил, что всё зависит от того, как поставить вопрос. Больше мы не говорили. Проснулся я от шума. Мои нары стояли в правом углу от окна, а ларионовские слева, ближе к двери, так что я увидел только спины надзирателей. Их было четверо. Ларионов не шевелился, я решил, что он без сознания, что его откачивают. Мне приказали повернуться лицом к стене. Услышал, что кому-то крепко нагорит за то, что у Ларионова оказался ремень. Ругались, кричали, что вчера ремня не было. Я догадался, что он повесился. Когда его унесли, я прочёл записку, а на пересылке раззвонил. Всё.

- Но кто подсунул удавку, как и зачем?

- Задача с тремя неизвестными.

- А соседи из семьдесят третьей не стучались к вам?

Михайлов привстал.

- Ты что-то знаешь?

- Предполагаю, - смутился Ларионов.

- Спрашивали морзянкой, но для меня это тёмный лес, ни черта не понял. Отбил что-то в ответ, наобум лазаря.

Неразлинованный клочок обычной машинописной бумаги почти истёрся, карандашный оттиск был едва различим, но буквы, плотно пригнанные друг к другу, всё же выстояли. У деда был прямой и размашистый почерк. Противоречивый.

- А после лагеря? Вы встретились с ней? С Еленой Сергеевной Ларионовой?

- Когда освободился в пятьдесят четвёртом, обосновался в Ставрополе. Был под наблюдением, права выезда не имел. Разыскал её через московских друзей, связался по телефону, предупредил, что записку отдам из рук в руки, не хочу рисковать. Она обещала приехать, но, видимо, не смогла. После реабилитации переехал в Краснодар, снова позвонил, сообщил новый адрес. Сказала: ничего не предпринимайте, ждите моего сына Сергея Петровича Ларионова, отдадите лично ему.

- Какой год?

- Пятьдесят восьмой.

Он закончил университет и готовился к экзаменам в аспирантуру. Галатеон радел. В обоих смыслах.

- Я недавно узнал. Случайно.

Ларионов вкратце пересказал свою неправдоподобную историю. В конце добавил:

- Без пол-литра не разберёшься. У вас есть водка?

- А как же, - засуетился Михайлов, - и выпьем, и пообедаем. - И забегал от холодильника к столу, от стола к буфету. - Вот хлебушек, мяско, ты режь, а я в погреб спущусь за огурчиками.

Как все на Кубани, он сыпал уменьшительно-ласковыми словечками (вокруг еды), но московский, глотающий гласные говорок прорывался сквозь гэкающие длинноты. Ларионов словно прозрел ушами, нет же такого глагола, обозначающего внезапное возвращение слуха, и жадно впитывал урчание холодильника, свист закипающего на примусе чайника, радостный визг детей, запускающих во дворе воздушного змея. Как много звуков. Слышащий да услышит.

- Ты здорово сделал, что приехал, я ждал тебя, - говорил Михайлов, расставляя тарелки и стаканы. - Двадцать шесть лет сидела во мне заноза, а выдернул и будто чего-то не хватает. Погостишь у меня?

- Я бы переночевал, а завтра назад, на работу, преподаю в Армпеде.

- Историк?

- Филолог, словоблуд.

- Смотря как поставить вопрос, - засмеялся Михайлов, и остро блеснули глаза, скорей дальновидные, чем дальнозоркие. - А что ты прячешь за пазухой?

- Статистическая хронология, последняя работа деда. Он ведь и математиком был, как вы.

- Куда там, это я, как он, и то с большой натяжкой, через десять ноликов после запятой. Дай почитать, за ночь осилю. А утром договорим, ты хотел мне кое-что объяснить.

- Лучше сейчас, только сначала выпьем.

- Ну давай. За деда.
- За деда.

Глава 44

Тенин привстал со стула и замер, словно бегун, взявший фальстарт.

- Я пришёл извиниться, - шаркнул ножкой Ларионов, - за то, что надул, и за то... есть одно хорошее слово, да русская литература не позволяет... в общем, презрел я ваш диагноз. Но в здравом уме и твёрдой памяти заявляю, что без вас, вашей Лиды, вашей Зои, без вас я никогда бы не выздоровел и... слава богу. Восклицательный знак.

Тенин нехотя разогнулся и вперевалку направился к нему. Свирепо, как в ДОПРе, обшмонал взглядом, продырявливая насквозь. Ларионов вывернул карманы. Дохтур поморщился и оттянул ему нижнее веко, с силой сдавил предплечье, «эй, полегче», рявкнул Ларионов, наклонился и ребром ладони хрястнул по бедру, «больно, говорю».

- Гляди-ка, - осклабился, - воскрес мертвячок. - Нет позывов на рвоту?

- Кой-какие. Вчера полбанки раздавил.

- Мать твою. Пошли к глазнику, проверим дно.

- Вы что, Горького на ночь читаете? Мать, дно... фу, Тенин, это ж художественная уголовщина.

- Тише, не на собрании.

- Как хотите, но я не спятил, голову потерял, а не рассудок, улавливаете разницу? А давеча перебесился и смотрю: солнце светит, травка растёт, я радуюсь, следовательно, существую. И вы бы не удивились, если бы верили в мой психоз. Ваш постулат, не отвертитесь.

- Включи молчалку.

- Не грубите, и среди нормальных попадаются впечатлительные идиоты. И Сократ сказал, что всё созданное человеком здравомыслящим затмится творениями исступлённых. Я к ним отношусь. С уважением.

Залёг на дне и насладился своим позором.

- Гриша, ты что-нибудь видишь? - обратился к глазнику.

- Полное восстановление. Подозреваю, что...

- Я позже заскочу. - И потащил Ларионова назад в кабинет. - Дашь сделать пункцию?

- Не сегодня. В среду или в четверг, и то если будет хорошая погода.

- Не пыжься, - обиженно просопел, - как говорил Фрейд, правда, по другому поводу, в этом мире всегда дурная погода.

- Ты злишься, врачу, значит, с тебя причитается. Тоже кто-то сморозил, из безымянных этрусков, этих русков, слонявшихся по священным империям. Я не люблю, Тенин, когда передёргивают классиков.

Вновь засопел, как пристыженный медведь. Он и ходил вразвалку и к вечеру обрастал щетиной.

- Ну, если ты такой дотошный, возьми и разберись, почему ты в бреду жёстко фиксируешься на «не могу». Это у тебя точнёхонько совпадает с верхним пределом аффекта, потом наступает спад. Возможно, связано с нарушениями потенции. Я бы с тобой потолковал, но ты уходишь от прямого ответа, а кокетничать с тобой, как с девушкой, я не

стану. Может, идёт от какой-то императивной установки. Что заметался? Ладно, не буду тебя травить, во-первых, не должен я...

- Ух ты! - вскричал Ларионов. - Да это же Пушкин! «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу»! Какой я кретин, какой я француз недоношенный, ежу и то понятно!

- А мне не очень.

Ларионов по пояс высунулся в окно. Небо заволокло тучами, собирался дождь. Куда-то или с чем-то. С мыслями, например.

- А вы покопайтесь в источнике, там чёрным по белому. Рекомендую полное собрание сочинений. С комментариями.

- Делать мне нечего, - пробурчал, потирая воспалённые глаза. - А состояние спутанности, а утрата ориентировки, воспоминаний... это куды девать? И амбивалентность...

- Блейером развлекайте девушек, они обожают двойственные переживания, чтобы и козы целы и волки под рукой. Пока.

- Всё же не премини зайтить, окажи любезность.

- Ыгы, - ответил Ларионов. - До новых встреч в эфире.

- Дался тебе этот эфир. Никто, кроме тебя, не жалуется. Ну, сухость во рту, некоторая вялость... Когда на свадьбу позовёшь?

- Вот и я о том же.

В шутку можно и правду сказать.

Глава 45

Пигмалион взял на руки девочку и осторожно, стараясь не дышать на неё, всмотрелся в красное сморщенное личико.

- Что с ней? Она улыбается.

Элпис подошла сзади, обдав его запахом тёплого сладкого молока. Так же пахла и девочка, и чем-то ещё, неуловимо знакомым. Кутиями? Конечно, медовыми пирогами, которые выпекают на поминальные дни.

- Глупый, бывает.

- Спасибо, уже и глупый.

Прижалась к его спине, и брызнуло молоко, промочило хитон. Пигмалион поцеловал дочь в потный лобик.

- Я никогда не видел новорождённых. Но слишком уж она маленькая.

- Такая же, как и все.

- Прямо, как все. Она у меня красавица. Совсем на тебя не похожа.

Шлёпнула его не сердито, а и не ласково, и отняла ребёнка.

- Отнесу в сад, пусть подышит солнцем. И мирт цветёт...

Почему она двигается, как слепая, прислушиваясь? Тихий голос, измученное лицо. Кормит слишком часто? Девочка жадная и неспокойная, вся в него, ест помалу, но без передышки, и засыпает с трудом, любит, чтобы с ней нянчились. Говорят, поздние дети взрослеют рано, а растут медленно, через силу. Элпис изводится с ней, понятно, первый ребёнок, да и сама... Или он ей в тягость? Почувствовал бы, у него чутьё на эту проклятую тяготу. Эх, нянька, не вовремя ты отправилась на тот свет, поспешила, хотя какая от тебя

помощь, одно ворчанье.

Не разбрасывай вещи, когда ты научишься порядку... где тебя черти носят, твои мадамы оборвали телефон... опять в сапожищах завалился на диван...

Всё, что было пустячным, случайным, после её смерти стало значительным, необратимым. Мыла посуду, по локоть в пене, «ой, Ларка, нос зачесался, чесни”. А как-то вернулся под утро и на цыпочках, чтобы не разбудить, прямичком к постели, «не выкомаривайся, зажги боровичок». А бог знает когда, ещё до войны, ходили на Красную площадь смотреть парад, и всегда просила стоявшего рядом дяденьку поднять мальчика, на минуточку, и красивой, упрямо улыбающейся, никто ей не мог отказать. Однажды забежал на Кузнецкий мост, в букинистическую лавку. Кто-то навёл, что Соломончик, бог и царь книгоедов, раздобыл третий номер «Мнемозины», редкость немыслимая, и если накинуть сотню, можно заполучить. И он плюнул на свою голубую мечту, верней, тёмно-синюю, купить вельветовый пиджак, только вошли в моду (и Ядзю надо было положить на обе лопатки), и оторвал сокровище. А на выходе вдруг столкнулся с ней, раскрасневшейся от мороза, в съехавшей на ухо вязаной шапочке, и впервые увидел седую прядь. А она от радости вспыхнула, как влюблённая девочка, и повисла на шее, «Ларка, родной...»

Ларионов стиснул зубы и поплыл назад, против течения. Тоска по матери, которую он душил, не позволяя себе разжалобиться, сама схватила его за горло.

Зачем скопировала записку? Когда это было? В пятьдесят четвёртом? Раньше узнала, не от Михайлова? Представил, как вручает Галатеону свою цидулку, а тот… наверное, сгрёб её и шепнул что-то известное ему одному, неотразимое, и обезоружил, взял голыми руками.

«Вернись, я всё прощу...» И оттяжка. Звенит гитарная струна. А-а-а-нь... Смолкла, а над сценой ещё висит умирающий звук.

Он устал грести и отдался воле волн. Хлюп, хлюп, ишь, как быстро дело пошло. «Когда на свадьбу позовёшь?» Тенин 11 583-ий, который советует жить, как все. Порядочная цифра. Как много у него всех.

«О, Лида, если б умирали с блаженства, неги и любви!» Пушкин к Лиде, шуточная элегия. «О бесценная подруга, быстрый обморок любви...» Он к ней же, частушка. Заявиться и каркнуть: «Узнай любовника!» Это сам Пушкин о тебе написал! Скорчит рожу. Дальше божества и вдохновенья не заходила и «эта чума с её карантинами» ей даром не нужна. «Тому свидетель сам Платон». Там же.

Элпис дремала, уронив голову на ворох высушенных пелёнок, сваленных на скамью. В последнее время она часто так засыпала, внезапно, словно проваливалась в забытьё.

Поднялся ветер и зашумели деревья, громко захлопнулась раскрытая настежь дверь. Пигмалион вспомнил о дочери, оставленной в саду, и на бегу вытирая руки, кинулся к ней. Два-три мазка, и он бы закончил роспись блюда в подарок Элпис. Попросила восьмиугольное, выдумщица.

Малышка крепко спала в плетёной ивовой люльке, укрытая от ветра кустами мирта. Он склонился над ней. Веки её трепетали, будто что-то разглядывала во сне. Пигмалион прикоснулся губами к мягкому родничку и ощутил острую горечь. Так отдавала соль земли и родная речь, с которой началась Великая Греция. Дочь улыбнулась ему, бессмысленно

вздрагивая уголками рта.

И красота неразумна, подумал он, потому что она часть природы, равнодушной к жизни и смерти. Мы наделяем её человеческими свойствами, пытаясь найти в ней то, что утратили в себе: величие и гармонию. По нужде научились смешивать краски, соотносить пропорции и даже замахнулись на соразмерность. Асимметрия нарушила равновесие, но застывшие формы пришли в движение - благодаренье богам и сирийскому ветру, занёсшему на острова художественный беспорядок. Кажется, Фидий сказал, что пользы и прочности можно достичь с помощью техники, а чтобы создать красоту, необходим чувственный опыт. Опыт нашего несовершенства? Безрассудной страсти? Но величие и гармония существуют в пределах разумного.

Пигмалион так и не узнал, что случилось в следующий миг. Чудовищная тяжесть обрушилась на него. Он упал на ребёнка, выгнувшись, как зверь в прыжке, и уже мёртвый, коленями и локтями вдавился в землю.

...Ураган, налетевший на остров, всё сокрушал на своём пути. С оглушительным треском разламывались деревья, снопами взвивались в воздух камышовые крыши, и кустарник, вырванный с корнем, носился в тучах пыли, как безумный Гипнос, осыпаясь роем тяжких соцветий.

Элпис проснулась от детского плача и еле протиснулась в дверь, ходившую ходуном. Комья песка и листьев ударили ей в лицо и залепили глаза, но ребёнок кричал, и она, пригибаясь, шаря руками в темноте, бросилась в угол сада, туда, где росли миртовые кусты. Иссиня-чёрная молния, словно гигантский спрут, опоясала землю, и сквозь судорогу дождя Элпис увидела поваленный платан, Пигмалиона и белый лоскут пелёнки, бьющийся на ветру. Не помня себя от страха, выгребла девочку и приложила к груди.

Кто-то вошёл, сквозняком сдуло листы со стола.

- Ты всегда появляешься в кульминационный момент, - не оборачиваясь, сказал Ларионов. - Платан тому свидетель.

Глава 46

Ларионов не находил себе места. Смерть Пигмалиона была на его совести, и как всякий честный преступник (убил не корысти ради, не из мести и не с целью самозащиты, а случайно, как говорится, волею судеб, то есть по дурости, это ли не судьба?), он ударился в панику. Вдруг обнаружились те самые неподозреваемые и неожиданные чувства, выскакивающие поминутно ненужные мелочи - улики расстроенного воображения, которые и вызывают классическое достоевское сумасшествие и желание переписать эпилоги, похожие на эпикризы. До теории «арифметики» и сердобольного идиотизма он не дотянул, да и мучился фигурально: и с рук сошло и освободился от навязчивого образа, и «почему не стонут?» незачем было спрашивать, ведь пролил не кровь, а чернила. Но что-то в нём умерло вместе с Пигмалионом.

А если подсыпать перцу в пресную поминальную кашку, прогреческую кутью?

В нелепой смерти столько же трагики, сколько и гротеска (тут литература не отстает от жизни по количеству бреда на душу населения), и впечатление от неё двойственное, в

духе свободного романа: переживание смазано, идея развоплощена. Ещё не горько, но уже не приторно.

Логика действия продиктовала логику обстоятельств, поэтому совесть его была спокойна. Однако не испытав угрызений, он не почувствовал и удовлетворения от поступка, что тайно присутствует во всех разборках. Собственно, он ничего и не совершил, за него это сделал грек. Ну и ладно, герой, он по определению герой, хотя бы этимологически. Автор сам по себе, из тех же соображений. Будучи скептиком, Ларионов подвиги презирал, считая, что цельность характера свойственна людям примитивным, не окультуренным праздностью ума (сравни с пушкинской «подругой размышленья») и виртуозной игрой на нервах (не сравнимой ни с чем).

Мёд с перцем, кровь с молоком, справа налево не сочетается. И ни в одном варианте презрение не приближается к зависти. А он завидовал Пигмалиону, страшно завидовал. Это было для него совершенно новое захватывающее чувство, одновременно острое и тупое. Что ж, не зря затеял самоубийственный роман, много исключительного узнал о своих способностях. Однако всё, всё раздражало, что не давало сосредоточиться на простенькой мысли: ради чего?

В общежитии усиленно готовились к празднику Победы. Кухня превратилась в плацдарм для развёртывания широкомасштабного жреческого спектакля. Если бы так. Но смолкли сиринксы и кимвалы, отцвели уж давно орхидеи эллинских дионисий. Под сурдинку героических здравиц будут выделывать обнаковенные брокенские коленца, с блудливой монашьей оглядкой на дверь, откуда в любую минуту может появиться доминиканец Никитич. Надо, конечно, гордиться, что мы победили инквизицию и фашизм, естественно, что охота гульнуть, но эта фальшь, этот режущий ухо петух...

Так заради чего? А не покривить. Пусть все, как все, а я, как я, не хуже себя и не лучше, но сам, самый что ни на есть.

- Ни о чём не спрашивай, - с ходу предупредил, - был в Краснодаре, виделся с Борей Михайловым, подробности письмом. Где отец?

- Дежурит, - удивлённо, будто видит его впервые, ответила и закрыла книгу.

- Всё мифы мусолишь? Обратила внимание на число верховных божеств?

- Двенадцать.

- Апостольский дубликат. А вот образчик возвратного: сан «папы» изобрели в Древнем Египте. Кстати, о папе. Он воевал?

Сидела на диване, в заветном уголке, поджав ноги, как курица на насесте.

- Три месяца. И четыре года в плену.

- Я хотел его поздравить. - Ларионов извлёк из штанин бутылку «Столичной». - Что ж его в такой радостный день погнали на галеры?

- Скользящий график. И четыре года в плену. Ты сбежал из больницы?

- Тенин капитулировал. Я безоговорочно здоров и годен к строевой. Разве сегодня не суббота?

- День Победы, суббота, девятое мая, тысяча девятьсот шестьдесят четвёртый год от Рождества Христова.

- Не известно, когда он родился. По некоторым данным, в одиннадцатом веке.

- Главное, что родился. И было слово.

- Возможно. Что ещё надумала, читая бессмертные произведения?

Аня низко нагнула голову, и рыжие языки лизнули бледное, бледное особой бледностью, как у всех рыжих, лицо. Повторенье... мать. Ларионов перелистал фиванский

цикл.

- Мы придумали древнегреков или они были лучше нас?

Да, подумал Ларионов, большое беспокойство приобрёл ты за тридцать тугриков. Но он любил, когда его слушали. В каждом литераторе надсаживается ритор и брызжет слюной трибун.

- Сначала разберёмся, кто они и мы. Если Аристотель, Еврипид и наоборот Чернышевский, Вишневский, который Всеволод, то я молчу, это ниже уровня спора. Если говорить о фетах и наших колхозниках, то тут я плаваю. Духовные запросы тех и этих выше моего понимания, но ваш Светличный на своём комбайне за один трудодень собирает больше кукурузы, чем на всём Кипре.

- Свёклы, - поправила Аня.

- Тогда её не было. Как, впрочем, и кукурузы. Собирает больше оливок, чем на всём Кипре.

- Древоуборочный комбайн.

Ларионов громко вздохнул. Очень тяжело говорить одно, думать другое, делать третье, а хотеть четвёртое. На каком это языке?

- От Великой Греции нам достались в наследство великие развалины. Парфенон, утопавший в роскоши и славе, теперь утопает в пыли. Не сохранились, сгинули статуи Фидия, описание которых можно прочесть во всех мало-мальски доступных книгах по искусству, ни бронзовой Афины Промахос, ни золотых Афины Парфенос и Зевса Олимпийского. Даже «Мальчик, вынимающий занозу», веками приписывавшийся Пифагору Регийскому, не путать с Самосским, в галерее Уффици значится, как копия с... неизвестного мастера.

- Ты был там?

- ... и неопознанный Лаокоон, шедевр родосской триады, не говоря о безродной Афродите Милосской, выставленной в Лувре. Правда, в каталоге она упомянута, как реплика статуи Праксителя, но кто, кроме японцев, роется в каталогах? Не был. Даю слово.

Он дал ещё одно слово. Два дня назад. Дорого бы дал, чтобы не разбрасываться словами.

- Руины молчат, но год от году всё громче кричат наши представления об архаике. Громадное расстояние увеличивает эффект присутствия с помощью освобождённой от времени фантазии. Хорошо сказано. А что такое фантазия? Отражение отражённого в отражении. Ты что-нибудь понимаешь? Это проще пареной свёклы.

- Понимаешь, - упавшим голосом сказала Аня.

- А сейчас напрягись. Самую древнюю Библию мир прочёл на греческом языке. Первый сложный сюжет, «Роман об Ахикаре» (V в. до, предположительно ассирийского происхождения), дошёл до нас на арамейском. На Руси был известен, как «Сказание об Акире Премудром». В мировой литературе насчитывается шесть его версий. Поди пойми, где оригинальный текст, где перевод, а где чистейшая лажа.

Действительно, так накрутил, что и сам запутался. Но рыжая, рыжая-то какая.

- Вот тебе пример с Альмагестом. Это одна из крупнейших работ по астрономии древности, которая помимо прочего содержит каталог более чем тысячи звёзд. Традиционно считается, что Альмагест написан Клавдием Птолемеем во II в. н. э. Но издавна историки-астрономики обсуждают вопрос: не Гиппарх ли (II в. до н. э.) является реальным автором? Дело в том, что Птолемей был последним астрономом древности, после него наука о небесных телах затмилась. Интерес к астрономии якобы вспыхнул вновь у арабов в VIII-IX

вв. н. э. Они перевели Альмагест, понастроили обсерваторий и, так сказать, ударили астропробегом по бездорожью. И посейчас самые ранние рукописи каталога сохранились на арабском языке. Но гениального Клавдия, создателя геоцентрической системы мира, блестящего географа, математика, перекрывшего славу птолемеевской династии от сына Лага до умницы Клеопатры, до сих пор подозревают в использовании трудов Гиппарха. Закавыка в том, что данные Альмагеста расходятся с реальной астрономической обстановкой II в. н. э.

- Гений и зло?

- Не зло, а «злодейство, две вещи несовместные, неправда...» обрыв цитаты. Потерпи, я сужаю круги.

Натянула кофту на свои телеграфные чашечки, вырез поехал вниз. Заёрзала. Нервненькая. А нервненькие в постельке чудо как хороши, сказал бы дядюшка Мармеладов. Ну ладно, Карамазов.

- В Берлинском Пергамон-музее собрана уникальная коллекция греческой скульптуры, в том числе Пергамский алтарь, алтарь Зевса, II в. до, эпоха Гиппарха. В том же веке в этом малоазийском городе начали изготавливать пергамент, названный по имени Пергама, троянского кремля, знаменитого своими библиотеками и врачами. Кажется, в психопатии есть термин «шизофренические ассоциации», характеризующие мой способ изложения, но если бы ты не дёргалась, я бы так не метался. На горельефном фризе - изображение выступает над плоскостью более, чем на половину своего объёма, намотай на ум, пригодится - изображена битва богов с восставшими гигантами. Нет, ты послушай, как звучит: ГИГАНТОМАХИЯ... Потрясающе! И «эх», и «ах» и «махая крылом», по-самофракийски, как Ника, богиня Победы. До сих пор спорят: голова отбита или нарочно не приделана. Победа ведь безголовая, достаётся тому, кому повезёт, а кому везет? Между прочим, в Апокалипсисе Пергам назван престолом сатаны. Там и произойдёт страшное разбирательство в конце света. То бишь в Истамбуле, но я не о том. Знаешь, что поражает, особенно в женских лицах? Умиротворённая рассудительность. Греки видели в женщине мать, и культ женской красоты восходил к физической мощи и нравственной целостности. Все эти крутые чресла и вздутые молочные железы говорят о том, что женщина прежде всего продолжательница рода, образующее начало.

Аня скрестила руки на груди, прикрывая срам.

- Разумеется, женщина-мать вызывает простые сыновние чувства, но в этом понимании красоты греки были умнее нас. Пресыщенный архаикой Рим увидел в женщине образ жены. Исчез тяжёлый подбородок, сузился торс, грудь уже предназначена не для кормления, а для ласки, но во взгляде появилось беспокойство, в улыбке соблазн. Это ещё не средневековые блудницы с флорентийских плафонов и не ухмыляющаяся Джоконда, которая в трапезной отчитывает опального поэта, а в гроте... но тебе это рано знать, читай про гордых полячек. Где я застрял?

- В Пергаме, - прошелестела. - В Берлине.

- При чём тут Берлин, я Шиллера вспомнил. Ключ к пониманию греческой да и любой эстетики - в отношении человека к богам. Так вот, Шиллер, а уж на что мужик, сказал, перевожу с ихнего дословно, не знаю, как это отштамповано по-русски: «Когда боги были более человечны, люди были более божественны». Вот откуда надо пить, утоляя жажду по Греции.

- Мужик-просветитель, понятно.

Она сбрасывала его на землю. Каждым своим вопросом, замечанием, взглядом вбок.

Она мерилась с ним силами. Ларионов прикинул на глаз расстояние от двери до дивана, решил, что места достаточно, и подвёл черту.

- Потому что жил в доме со скрипучими полуметровыми половицами, где всё пропахло мастикой, мочой и гниющей мебелью. И жена, купчиха, обзывала его мужланом.

- Ты был там.

- Шучу, Аничка, абсурдирую. - Он расстегнул ворот рубашки. - Жарко у вас.

- Был.

- О, с моим воображением я был везде! И даже видел на одном постаменте Гёте и Шиллера, а на веймарском кладбище, в усыпальнице, их рядом прозябающие гробы. Это мне напомнило дубль-герму: две головы, сращённые затылками, Сократ и Сенека, в том же Пергамоне. Родство непреходящее. А источник один - тоска по утраченному. Гёте бредил Римом, он и в порог гостиной вмуровал плитку с латинским приветствием «Salve». Прочти его римские элегии. А Шиллера занесло в Испанию. Что их могло вдохновить в крохотном заштатном городишке, да и во всей тогдашней захолустной Германии? Самодовольство сильных и гордое отступничество слабых? А они были гигантами, им нужна была гигантомахия. Хотя... так было во все времена. И здесь мы равны с греками. О, во многая мудрость многая печаль.

- Отрава?

- Отрава. Но алкалоиды в малых количествах действуют, как сильное укрепляющее средство. Вот почему в учёбе важно чувство расстановки. Не надо заглатывать знания, а по нескольку капель, с сахарком, и желательно на ночь. Когда все сидят по углам и не скрипят половицами.

- Не в тиши библиотек?

- Лучше дома. И чтобы в спальню можно было пройти из кабинета.

- Как у Шиллера?

- У Гёте. Холостяцкая спальня с солдатским одеялом.

- Замкнутый круг: кабинет - спальня.

- Э-э, девочка моя, тут ты ошибаешься. Из спальни есть второй выход. В таинственную полупустую комнатку с чугунной печкой и единственным креслом. Там принято было дожидаться, когда их позовут.

- Кого их?

- Ну вас, какая задница. Каламбур. Могу извиниться.

Сидя, сползла с дивана. Поднялась, улыбаясь одними углами губ, пресловутой «архаической улыбкой».

- Я, кажется, проголодался, сообрази пожрать. Вино, яблоки... что ещё полагается изнемогающим?

- Макароны с тушёнкой.

Вот сволочь.

- Аня, - сказал он, положа руку на её сердце. - Ты создана для любви. Это не гименей - орен, я никогда не был так кладбищенски серьёзен. Выслушай меня, пожалуйста. Я вижу на столике яблоки и распечатанный «Кагор». Я знаю, ты прочла «Песнь песней». Но тебе не нужен этот кустарный рай с шалашами, кущами то есть. Ты хочешь всего человеческого. И я хочу. Одно твоё слово перечеркнёт все мои. Не дай мне уйти.

- Ты давно ушёл, - заплетающимся голосом сказала Аня. - Из кабинета тоже есть второй выход. Должен быть.

- Нет, - попятился Ларионов, - клянусь... дай хотя бы чаю.

- Vale. - Аня закрыла руками лицо. - Что значит «вали».

Его выставляли. Ларионов застегнул рубашку.

- Что-нибудь ужасное на прощанье, Аничка.

- Правда ужасна, когда она против тебя. Она убивает.

- Ничего, я бессмертный, - сказал Ларионов и вышел.

Глава 47

Всё шло к концу. Хронос делал своё дело. Ларионов тоже слез с печки и пошёл защищать родину. Ему не было тридцати и Илюхой его не звали, и Добрыня у Никитича ещё не родился, а поповичи уже полегли, но чуть свет примчался апостол Петька и сурово, как подобает привратнику, нахамил: «Вы тут дрыхнете, а там Аньку судят».

И вот со стеснённым сердцем Ларионов отправился на поругание толпой. Погода заблаговременно испортилась, лил дождь, и крест оттягивал плечи.

Говоря петькиными словами, произошло следующее: кто-то засёк, что Анька в химкабинете нарубалась серного порошка, что ходит с длинным, что у неё несчастная любовь, нахватала пар и вообще морально разложилась. И теперь перед лицом своих товарищей обязана встать и умыться кровью.

- Кто ваш классный руководитель?

- Софья Викентьевна, математичка. Она вообще нормальная, но все поголовно сбесились.

Школа гудела и тряслась, как вулкан, изрыгающий сладкую вату. В зашиканном воздухе клокотала пыль, и плотно, несокрушимо стояла вонь ускоренного физического развития, гормональный выброс советской школы. Недаром Геру, богиню плодородия, изображали с увеличенной щитовидкой, продуцирующей жизнедеятельность.

Ларионов прошёл прямо в учительскую и представился пожилой даме с угрюмым рябым лицом: «коллега, озабочен происходящим». Слово за слово разговорились: о погоде, экзаменах, плохих учебниках. Софья Викентьевна показалась ему неглупой, с долей если не помпейской мудрости, то солдатского здравомыслия. Ну да мы, цезари, и помпеев бивали. Разрешила присутствовать, но предупредила, что будет горячо. «Тогда я разденусь», ответил и оставил плащ в учительской.

Войдя в класс, бегло скользнул по рядам, но Аню не углядел. Боком втиснулся за последнюю парту, попросив подвинуться девочку с соломенными косичками. Аня нашлась в противоположном конце. Сидела у прохода, подперев рукой щёку, и неотрывно смотрела в окно. Медные стружки, перехваченные чёрной атласной лентой, были предельно накалены.

Появление Ларионова вызвало в классе лёгкий обморок: закатывали глаза, сдавленно перешёптывались. Соседка по парте толкнула Аню, та обернулась и сгорела, он видел дым. Тут же продребезжал звонок, и судилище началось.

Бойкая девочка, похожая на отличницу, зачитала перечень аниных грехов: грубая, высокомерная, не прислушивается к мнению товарищей, не участвует в школьных мероприятиях. И всё бы не так страшно, если бы не замахнулась на самое дорогое, что есть у советской школьницы.

Ларионов быстро перебрал: комсомольский билет, девственность, жизнь? Оказалось,

успеваемость. Это он пропустил мимо ушей. Потом цитировали островские «бесцельно прожитые годы» и маяковские «рубить дрова». Софья Викентьевна не проронила ни слова. Он ей мысленно похлопал.

- Ни для кого не секрет, что Чеханцова бегает за взрослыми мужчинами...

Нет, Аня была жива. Она медленно повернулась к нему и обласкала таким откровенно любящим взглядом, что отличница запнулась и выронила шпаргалку. Кто-то фыркнул, все разом загомонили и повскакали с мест. Софья Викентьевна зычно осадила повстанцев.

- Насколько я понял, речь зашла обо мне, - сказал Ларионов, вставая и направляясь к доске. - Но перед тем, как мы дружно приступим к четвертованию, я прочту вам небольшую лекцию на тему «Этика», что в переводе с греческого означает обычай, нрав и характер. Вы позволите, Софья Викентьевна? Так вот, Аристотель, основоположник формальной логики и бессменный наставник Александра Македонского...

Ларионов оседлал своего конька и пустил его мелкой рысью, зорко поглядывая по сторонам, а когда убедился, что когорты построились в боевом порядке и сплочённо двинулись за ним, натянул поводья и поднял буцефала в бешеный галоп и взлетел на Голгофу, и сбросил крест.

Увлёкся? Ничуть. Он чётко разграничил возможность и осуществление, причину и цель, он знал предмет и внятно истолковал субъекты и предикаты (о, Греция, слава твоим мужам!), но закончил, как римлянин, свободный гражданин, обращая сердце к плебеям:

- Научитесь уважать человеческое достоинство и не устраивайте свалку в Капитолийском храме - здесь решается ваша судьба. - И добавил уже с улыбкой: - А учиться, разумеется, надо и дерзить только в крайнем случае.

Народец безмолвствовал. Ларионов подошёл к Софье Викентьевне и тихо сказал: «Аню я забираю, а класс возвращаю вам». Та кивнула: «Чеханцова, можешь идти».

Ларионов грял командорскими шагами, волок свою донну за руку; она, спотыкаясь, прилепётывала за ним; ещё припустил, нарочно, хотел её уморить, загнать, чтобы поняла, что всё - ничто, кроме желания выжить. Резко свернул к общежитию.

- Куда ты меня тащишь? - пискнула, приседая на корточки и тормозя пятками.

- Вставай, вставай Мессалина, я научу тебя целоваться.

Никитич всё в той же позицьи сидел на посту, стерёг полковую бдительность.

- Вам Лида Санна звонила, я сказал, что вас нету, а она, что опять...

- Меня нет. Можете повторить?

- Вас нет.

Вот пентюх.

- Так и передайте.

Снова запер дверь, но ключ опустил в нагрудный карман аниной кофты.

- Как ты говорил! Как ты говорил! - стрекотала без передышки, пока он возился с её траурной лентой и выпускал на волю краснопёрок. - Все сидели, как пришибленные, такого ещё не было, честное слово! Даже когда ты понёс про триумфальное шествие советской власти с Марсова поля на Капитолий, никто не врубился, не дёргай, ай!

- Я это делаю в чисто воспитательных целях, - продолжал долбить Ларионов, - у меня френ отсыхает, как подумаю, что какой-нибудь Петька, Васька, Гога из Таганрога со своими слюнями... вздумает тебя учить.

Ей было скверненько. Вертелась волчком и хваталась за вещи. Зачем-то задвинула ящик письменного стола, цапнула с подушки книгу, раскрыла и в ужасе отшвырнула. Картинки и впрямь дурацкие.

- Иди ко мне.

- Ты лучше теоретически.

Поцелуйчики из пробирки, новое направление.

- Нет уж, милая, погрязла в разврате, изволь блудить.

Вцепилась в спинку стула и принялась раскачиваться вместе с ним.

- Глаза обязательно закрывать?

- Как хочешь.

- А дышать можно?

- Смотря какую преследуешь цель. Если задохнуться от счастья, то ни в коем разе.

- А зубы...

- Эй, ты раньше не целовалась?

- Ну и что.

Она отстаивала свой позор с упрямством фанатика, которому легче погибнуть, чем признать себя побеждённым. Точно пропадёт.

- Давай. Первая позиция. Зажим правой.

Ларионов легонько привлёк её к себе и зафиксировал на пионерском расстоянии. Мягкие травяные губы, вкус родимых степей. Она ещё не умела хотеть и слабо сопротивлялась, и язык был безвольным и скользким, как овсяный кисель.

- Отвратительно, - сказал Ларионов. - Я от тебя не ожидал. Такая способная девочка.

- Разозлюсь.

- И столько скрытой страсти, - он придержал дыхание, - в этом гордом повороте шеи, в этом нежном затылке...

Приподнял её волосы и увидел незнакомую родинку, бледную и пугливую, и пресёкся.

- Плохой я учитель, Аничка, прости дурака.

- Как ты говорил, как ты говорил... - У неё голова была забита другим. - Разреши мне прийти на твою лекцию, ну пожалуйста.

- Исключено. Никаких одновременных сеансов, никакого абсолютного ускорения.

- Кого?

- Это я с Тениным полемизирую, он хочет списать меня в импотенты.

Аня виновато улыбнулась. Она не знала этого слова.

- Что же мне с тобой делать?

Ларионов вытянулся на койке и подложил руки под голову. Пигмалион.

- То, что делаешь всегда. Ты меня любишь.

- Очень люблю, Аничка, так люблю, что самому противно.

Она склонилась над ним и смотрела, не отрываясь, а потом зрачки расплылись, потускнели, а губы стали твёрдыми и тягучими, как зимний мёд в сотах.

- Боже мой, ты совсем большая. - Он ещё пробовал отшутиться. - Ну хватит, слезай, я не железный.

- Мне не стыдно, - сказала Аня. - Это бывает. Ты сам говорил, ты обещал...

- Будет больно, - сказал Ларионов.

- А я...

Она уснула мгновенно, как Элпис упала на скамью. И Ларионов скомкал себя, смял, как ворох высушенных пелёнок, высушенных до хрипоты, но ещё горячих от солнца.

Глава 48

Ларионов наскоро набросал главу. Было бы лучше, если бы наоборот, но всё-таки жизнь обгоняет искусство, торжествует не разум, а материализм. Ну и хрен со мной, напишу вредную книгу, ни одна библиотека не купит. Если напечатают. Это и есть второе и последнее право свободного художника в свободном мире - не быть.

«Торжествует не разум, а материализм». Пример того, как можно ловко передёрнуть смысл. Фраза гладкая, штаны об неё не порвёшь, а получается, что жизнь - сплошной материализм (так и есть, во всяком случае наша, советская), а искусство - разум, в том числе и гладковский «Цемент». Читатель проскочит её, не задумываясь, особенно тот, у кого штаны перештопаны, ему не до смысла, он торопится, в анекдоте важен конец. Не проходите мимо! Запоминайте в лицо каждого нарушителя! Не дай бог придётся встретиться в тёмном месте и лично пострадать. К вопросу о величии русского языка, точнее, мании величия.

Торжествует не дух, а материя, и, завершая мысль, было бы лучше, если бы наоборот.

А вдруг напечатают и через какой-то эончик откопают его «Пигмалиона», ну не в Александрийской, так в Урюпинской библиотеке, уж эти возьмут, у них по перечислению, и то, что сегодня не пригодилось, завтра станет жизненно необходимым. Как например, знать, что любовь к детям растёт вместе с ними. Ан сократится число комплексующих родителей и соответственно количество искалеченных детских судеб. А для чего ещё писатель? Сказать то, что до него никто не сказал, и тем самым удружить всем, нуждающимся в совете (ищи дураков).

А этот аполлонов отпрыск, бог врачевания Тенин поднял на смех: «тебе важно назвать, изречь». Во времена Пушкина над этим уже не смеялись. Теперь же всё передёргивают, и карты (игральные, политические, этнографические, санаторно-курортные тож), и мысли, и слова. В каждый дом пришёл абсурд, на каждой улице праздник безумных. Почему бы не написать автопортрет невесты или не сделать товарищу харакири? Блазнём? Старая форма от глагола «соблазниться». К сведению тех, кто роется в словарях.

Аня, Аня, а может, «воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано всё, что подвластно ему?» Ты же читаешь чужие письма, могла бы и сообразить, что мы понимаем и любим по памяти, восстанавливая потери прошлых мыслей и чувств, что по знакам пережитого мы узнаём настоящее и проникаем в будущее. Но это предвидение - прозрение вспять. Вот она, разгадка «магического кристала», сквозь который поэт различил неясную даль, простиравшуюся, как позже предположили, далеко впереди. А никакого чуда и не было. Любая стекляшка в его руках превращалась в источник света, когда он смотрел вслед своей стремительно уходящей жизни.

Ларионов убрал листы в папку и бросил её в нижний ящик стола. Анина тайна должна отлежаться, время горького опыта ещё не пришло. Пусть детка наиграется в заговоры и пророчества, суеверием надо переболеть (типично для ранней стадии развития, целые народы недомогали), чтобы потом, глядя в прошлое, верить, что это будущее посылает ей свой пионерский привет.

Да, он влез ей в душу, как вор, но ничего не взял. Аня даже не проснулась. Витала в своих вещих снах и сейчас витает, обняв его подушку, вытянувшись на животе... летит? Экзистенциалисты говорят, что надо пройти через другого человека, чтобы получить истину о себе. Он это сделал через другого себя. Кто же знал, что этот сукин сын присвоит

его истину, вслед за Пигмалионом? Слишком много мудрил в одиночку, не было у него достойных оппонентов. Откопал бы парочку армавирских архонтов, но они не более армавирские, чем везде, и в лице города не имеют ни одной отличительной черты.

А с рыжей действительно повезло. Но всё хорошо, что кончается. Усечённый вариант наполеоновской фразы, вдвойне оптимистичный. Ему уже опостылела абстрактная воля к победе и болтовня бродячих философов. Агора. А, гора. У, дыра. Ни тогда ни теперь люди не были ни счастливей, ни нравственней. Чего стоит посылка о раскаявшемся грешнике, который дороже 11 583 праведников. Кто считал? Вывод-то сделан задолго до Христа, а первым по этому поводу пошутил Еврипид: «Не согрешишь - не покаешься».

Утешение для слабоумных. Не для него. Он приступает к разработке новой темы: Ларионов, как совокупность поступков. Не мечтатель, а думатель, действователь, великий в цель попадатель. Решительно не по-русски, но не толстовским ли «делателем» восхищаются до сих пор? Впрочем, художественность никогда не была определяющей в нашей словесности, зацикленной на идеях.

Лида скреблась в дверь. Он встал на пороге.

- Тихо, ребёнка разбудишь.

- Но ты же... - и запричитала, как бабка над покойником.

- Я всё помню, - сказал Ларионов. - Конечно, поженимся. Только уйди.

Глава 49

Элпис не плакала и не звала на помощь. Всю ночь и наутро, и когда рассеялись тучи и проглянуло солнце, она боролась с упавшим деревом, раскачивая его, сдвигая и сталкивая в овраг, образовавшийся на месте вырванных с корнем кустов. Дочь, закутанная в овчину, спала рядом, под навесом у садовой стены, где в пифосах, по горло зарытых в землю, хранилось зерно и масло - остатки нянькиного хозяйства. Элпис изредка прерывалась, чтобы покормить её и перепеленать, но делала это бездумно, не отдавая отчёта, словно девочка стала частью её самой.

К вечеру дерево поддалось и с грохотом покатилось вниз, освободив Пигмалиона от последней обузы. Элпис обмыла одеревеневшее тело, завернула его в чистый холст и обложила хвоей. Так прощались у них в горах. Она смутно помнила, что вокруг умершего разжигали четыре костра и бросали в огонь кусочки сушеной живицы, сосновой или берёзовой, чтобы жалобы ушли в пепел, а молитва к богу, смешавшись с дымом, быстрей долетела до неба. Каждый молился про себя и своими словами, а потом кто-нибудь из стариков пел поминальную. Плач по матери недавно приснился ей и с тех пор постоянно чудился то в шелесте зелени, то в шуме воды, то в щебете ласточек.

Понесём тебя хоронить в саду,
тебе на радость, нам на беду -
ты дома, а мы в гостях.
Яйла нам, яйла…
Просеем землю сквозь кисею,
чтоб не давила на грудь твою,
чтоб легче пуха была.

Воды речной принесём в горстях,
цветами украсим путь.
Себя запомни, а нас забудь.
Яйла нам, яйла…

В тот день она привязала к шелковице лоскут из корзинки, в которой спала, когда была маленькой, и загадала, сказали, что сбудется, желание: увидеться с матерью. Дай знак, попросила, что ты меня слышишь. И вдруг не с ветки, а с неба на солнечной паутине к ней спустился крохотный паучок - весть, благая примета! И тут же исчез, как растаял в воздухе.

Дочь подала голос, и Элпис, очнувшись, вымыла руки солёной водой. Пигмалион говорил, что она обеззараживает любую грязь и заживляет раны, и всегда приносил с моря «живой воды». И у них в горах новорождённых купали в крепком соляном растворе, а весной, когда дули хворые ветры, слабогрудых подкармливали солёными лепёшками с агвелуком, диким чесноком, которым запасались на весь год, заплетая его в длинные косы и подвешивая в тёмном углу. Не от слова ли «аг» (соль) возник «агвелук»?

Малышка уже наелась и агукала, свесив головку набок и пуская молочные пузыри. Управившись с ней, Элпис начала рыть могилу прямо под Пигмалионом. Он был слишком тяжёл, она не смогла бы ни поднять его, ни перенести. Выкопав углубление на четыре локтя, она быстро выбралась наверх по верёвке, привязанной к каменному столбу навеса, и, оторвав оборку от юбки, обмотала ею стёртые ладони. Боли она не чувствовала, но теперь, когда приготовления подошли к концу, её охватило отчаяние, что на горе уже не осталось сил. Засыпая могилу, она опять удивилась, что на их языке «соль» означает «горечь», а на греческом «кислоту», и выражение «горькие слёзы» греки придумали для красоты.

Сырая глина пласталась комьями, и холм получился плоский и скособоченный. Эта нечаянная нелепость настолько её потрясла, захлестнула обидой за Пигмалиона и за себя, безрукую, что она разрыдалась, но без голоса и без слёз.

Зажглись звёзды, а она всё сидела, сцепив колени, и смотрела в чёрную пустоту открытой двери. Дочь испуганно всхлипывала во сне, словно и ей привиделось что-то страшное. Элпис отнесла её в дом и, засветив коптилку, разыскала вино и хлеб, и вернулась к Пигмалиону. Дерево ещё шевелилось в овраге, потрескивая жухлыми листьями. То самое, что посадил когда-то старый Пигмалион в упрёк дочери, оторвавшейся от родных корней. Жизнь и смерть идут по кругу, подумалось ей, и в этом столько же скорби, сколько и утешения. Она разрыхлила руками комья, окропила землю вином и выровняла холм.

- Ты один любил меня, - сказала вслух, - я одна тебя не забуду.

И приложила пальцы сначала ко лбу - память, а потом к животу - жизнь, и от сердца – любовь, к правому плечу - истинно говорю. Так крестятся григориане.

Держись, Ларка, не дрейфь! Схватят, схватят за руку, затопочут ногами: какой такой крест, какая хронология... А ты скромно отойди в сторонку: «глобальная, господа». Будь уверен, когда это прочитают, уже не будет ни товарищей, ни милиционеров - одни господа и сопровождающие их хари. Вперёд, к Риму, к праву! И не «ура», тюркское «убей», пронесётся по стройным рядам, а что-нибудь греко-ромейское. Впрочем, и наша империя когда-нибудь развалится, история не знает других примеров, но уракать не перестанем, это у нас в крови.

Когда ещё нам поверят, дед? Когда твой единственный внук спокойно проснётся в собственном доме? Как доказать, что в XII в. нашей эры! Парфенон действовал, как «латинский храм» афинской Девы Марии и до XIII в. не существовало оплаканного историей двойника - знаменитой Афины Парфенос работы Фидия? А в храме Афинской Богородицы, называемом ныне Эрехтейоном, древнегреки целовали серебряный крест? И митраизм по обрядам смахивает на христианство, и в день двадцать пятого декабря малоазийские греки вместе с персами праздновали рождение Непобедимого. И культ египетской Исиды с его заутренями, обеднями и вечернями напоминает католическое и православное богослужение. И монограммой Христа (крест с петлёй для ношения на шее, на поясе или в руке) переполнены древнеегипетские изображения, традиционно датируемые веками и тысячелетиями до нашей эры. И Осирис на третий день восставал из гроба, и Дионис превращал воду в вино, и Кришна открытым текстом упомянут в Библии. Христианский «петров» ключ охотно носили Геката и Гелиос, и нимб на остров Пасхи (античнейшее название!) был занесён не яблоневодами с Марса.

Древняя история была состряпана в XIV в. во Флоренции, где пресытясь инцестами и кутежами, затосковали по мировой культуре всякие Строцци и Медичи, филэллины, очень почтенные, очень богатые. Спрос на античность продиктовал писательскую активность многих, в том числе и прославленного гуманиста эпохи Возрождения Поджо Браччолини, автора первоклассных исторических трактатов и моралистических рацей. К слову сказать, гуманист не раз был уличён в изготовлении фальсификатов, но у него был влиятельный друг - учёный и книгоиздатель Никколо Никколи и могущественные покровители, они же клиенты: кланы Медичи, Сфорца, кардиналы Орсини, Колонна и др. Поджо создал целую студию по обработке античной литературы, собрав под своё крыло сотрудников и контрагентов. Блестяще образованных, но... тоже с подмоченной репутацией. Фирма Поджо - Никколо выпустила в свет Плутарха, «Географию» Птолемея, полного Квинтилиана, трактаты Цицерона и семь его речей, Лукреция, Петрония, Плавта, Тертуллиана, Светония и др. «Некий монах» (под этим именем и фигурирует в мемуаристике) лично передал Браччолини «Историю» Тацита. Продукция студии имела грандиозный успех, её основатель стяжал себе славу первооткрывателя античной классики. «Когда я сравниваю себя с древними, я опять верю в себя», говорил беспримерный Поджо (не известно по какому поводу). Но авторство человека с мировоззрением Возрождения выдаёт его с головой - манускрипты изобилуют толкованиями, не доступными для греков и римлян столь ранней эпохи и по осведомлённости и уровню подачи материала. Возможно, Браччолини описал реальные события, свидетелем которых он был, либо отстоящие в обозреваемом прошлом. И никто иной, как спесивый Козимо Старший, «восстановил» (основал!) платоновскую Академию во главе с премудрым византийцем Плетоном.

А вот и вовсе сумасшедшая история, рассказанная Рамоном Мунтанером, современником Данте.

«На мысе Атраки в Малой Азии находилась одна из троянских застав, недалеко от острова Тенедоса, куда обыкновенно...» ну и ну, пропускаем... «...отправлялись знатные мужчины и жёны Романии... для поклонения...» ни фига себе... «божественному изваянию». «И вот однажды Елена, супруга герцога Афинского, отправилась туда в сопровождении сотни рыцарей на поклонение, её приметил сын троянского короля Парис, умертвил её свиту... и похитил красавицу герцогиню».

Афинская Романия? Средневековая ахейщина? Помилуй мя.

Но есть достоверность, которую не опровергнет ни хронология, ни статистика. «И море

и Гомер - всё движется любовью».

Да что он всё о любви, да о любви! А о чём ещё? Через две тысячи лет мир изменится неузнаваемо, а любовь, как была, так и будет, и никакой водой её не разбавить и никакой идеей не замутить. Она и вечное чувство и вечное знание, говорили же «и познал ея». Тяга к женщине, к ребёнку, к няньке и вообще.

Интересно, а существовало ли в Древней Греции понятие «родина»? Не цветущий мирт и не злополучная агора, и не полный список кораблей панэллинского мореходства, а наше железобетонное «иди и умри»? Но государство должно исчезнуть, сказал Фромм, если человек оказывается настолько к нему привязанным, что благосостояние, мощь и слава государства становятся критериями добра и зла. Потому и ушли в небытиё великие империи и целые цивилизации, и мы собираемся в дальний путь, считайте нас коммунистами.

Беда, беда, что наша милая русская родина, печки-лавочки и «никому тебя не отдам» стала синонимом расползающейся по швам державы со столбнячным гимном и распятой на нём волей народной. Так-то-с. Тактос, почти греческое. У него мозги, как у Анички, работают в одном направлении. Но дорогой товарищ Время, нет чужбин и родин, а есть любовь и смерть. И язык, язык, без которого ни слова, ни поцелуя, ни раны зализать. А всё остальное чушь, отрыжка «угроз и обещаний» (Ф.Ницше, том 11 583, стр. 38 511, третья строка слева).

Глава 50

- Это правда, - ответил Ларионов. - Я женюсь на Лиде.

Фаина Марковна выронила букетик, и ландыши жалобно рассыпались по столу.

- Дружок, - сказала почти ласково, но подбородок дрогнул, а брови встали домиком, - может, не надо так быстро торопиться?

Ларионов одним движением сграбастал пук и воткнул его в стакан с карандашами.

- Я устал от китайских премудростей. Торопиться, так торопиться. Сказал император и почил в позе.

- То-то Лидок порхает.

- А вы порадуйтесь за неё.

- А кто за вас порадуется?

- Тенин. Он спит и видит меня на брачном ложе. Ему, как практику, любопытно, какое я дам потомство.

- А вам, как будто, всё равно?

Ларионов проверил, хорошо ли приклеены обои, и удовлетворённо кивнул.

- У нас с Лидой не будет детей. Оговорено.

Фаина Марковна схватилась за голову, как это, наверное, делала Евпраксия.

- Как вы можете, Сергей... Ларионов...

- Чему вы ужасаетесь? Прецедент давно установлен: Писистрат отказался иметь детей от своей законной жены, дочери Мегакла. И потом, в нашем роду женская линия всегда забирала вкривь.

Предоставив Фаине Марковне самостоятельно поразмышлять на тему, он начал прогуливаться вдоль полок. Трогал книги и думал, что в каждой встрече есть что-то от

прощания, та самая горчинка, соломинка, за которую хватается утопающий. Прощай, Мигель Унамуно, настоящий мужчина.

- Аня знает?

- А что, надо сказать?

Фаина Марковна вгляделась в него, как в нечто не поддающееся описанию.

- Простите, Сергей, но давайте договоримся: либо мы друзья, либо расстанемся друзьями.

- Вы предлагаете мне дырку от бублика? Вот уж верно, на вечную память, жуй не хочу. Я вам лучше расскажу одну занятную историю, которая приключилась с одним, опять же одним моим знакомым. Он был большим шутником и разослал своим друзьям, живущим в разных городах, телеграммы примерно такого содержания: смертельно болен, нуждаюсь в деньгах. Ему хотелось узнать, дорог ли он своим, опять же своим друзьям. Это всё эфир, Фаина Марковна, я стал хуже соображать.

- Ну, и много штук ответило?

- А вы догадайтесь.

- Все.

- До одного. Кто сколько мог, столько и прислал. Один... господи, опять один... целую тыщу.

- И что тут занятного?

«Мы сегодня встретимся с тобой там, где небо сходится с землёй». Прощай, товарищ Светлов, ты был настоящий писатель.

- Собственно, на этом рассказ кончается. А теперь рассказ в рассказе, очень художественный приём. Вскоре мой знакомый действительно заболел и умер. Но никто из друзей не приехал на его похороны. И знаете, почему? Потому что этот старый дурак, получив деньги, тут же отослал их назад с подробным объяснением.

- Я желаю вам счастья, - усмехнулась Фаина Марковна. - Но если вы от него помрёте, я тоже не явлюсь на ваши похороны.

Ларионов набрал в рот воздуху и прополоскал им всё тот же рот. Не полость же между верхней и нижней челюстями с характерным отверстием в нижней, ага, в нижней, не он один повторяется, части лица.

- Спасибо на добром слове.

Фаина Марковна вышла его проводить и зачем-то нажала кнопку звонка. Звука не последовало. Ларионов спустился на несколько ступенек и вдруг почувствовал страшную слабость, словно ему подрубили ноги. Он припал к перилам и быстро глянул вверх - не заметила? Фаина Марковна стояла в дверях бледная, как Лотова жена.

- Передайте Ане, что я вас безумно, безумно люблю! - крикнул и бросился вон.

Глава 51

Ларионов грохнул об пол самого главного слоника, а за ним тех, что помельче, и спросил Лиду, онемевшую от восторга:

- Что ещё можно кокнуть?

С восторгом он, кажется, перехватил. Но это стиль, как говорят французы, когда не надеются, что их поймут.

Лида молчала, не выражая ничего, не скорчив ни одной из гримас, припасённых ею на все случаи жизни, что и было шедевром, ибо верх совершенства - ничто, полное снятие.

В эпоху Писистрата трагедии вообще игрались с каменными лицами. Греки и на сцене переживали крах демократических иллюзий, но у них хватило достоинства не запятнать оптимизмом свои танталовы муки. В сталинское время лицедейство выродилось в притворство, с тех пор мы иначе и не воспринимаем это слово. Кто собирается спорить, пусть припомнит зверские рожи вишневских вожачков и ужимки александровских анют, тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюх.

А любопытно, что «арт» одинаково произносится по-гречески и по-латински, но в первом случае означает «пшеничный хлеб», а во втором - «искусственность». Потом этим термином стали именовать искусство. Может, сопоставление и натянуто, но то, что в греческой трагедии было самым насущным (характер - действие - идея), в римском театре свелось к нравам, перипетиям и морали. Достаточно сравнить Эсхила с Плавтом, а Еврипида с Сенекой-поэтом (как философ вне критики). К тому, что смысл рождает слово, а не наоборот.

Ан и греческий театр возник из культовых чествований. Городские Дионисии, учреждённые Писистратом, сопровождались пением дифирамба (хвалебной песни в честь бога), исполняемого корифеем (запевалой) и хором ряженых (сатиров), одетых в костюмы козлоногих спутников Диониса. Само игралище называлось «трагедией», буквально: «песней козлов».

Лида меж тем задумчиво подбирала осколки и уцелевшие фрагменты хоботства. Может, и в ней текла африканская кровь, освящённая страстью к большим животным. С русской глубинкой всегда аукался мир, но только в Армавире он слышал оскорбительное «хобот» со слоновьим ударом на последний слог, обозначавшее много чего: куркуль, дуролом, зануда.

- Ну, Лидка, не крохоборствуй.

- Снявши голову, по волосам не плачут?

- Поговорки придуманы для дураков, в прямом и переносном смысле. Как вымести сор из избы. Его выбрасывали за порог ещё при гогах-магогах. Возьми веник, ну.

Этим «ну» теперь начинались и кончались все просьбы Ларионова. Он понукал Лиду, потому что она не поспевала за ним, а ему хотелось по-быстрому, одна нога здесь, другая там.

- Какая ты безнадёжная баба: то слова не вытянешь, то не заткнёшь. Растрезвонила по всему институту, каждый лезет теперь со своими поздравлениями и соболезнованиями. Ну зачем тебе комсомольская свадьба, это позорище на двести персон?

- Я никого не просила, Дыховичный сам...

- Ах, сам. Это меняет дело. Он крепко тебя любил?

У Лиды поехал рот.

- Ну ответь, солнышко, ну не злись, тебе попался пытливый мальчик. Пардон, не мальчик, но муж. Он тоже неистовствовал? Нет, не в кабинете парторга... А что плёл? Неужто про ретрорекцию? Я бы с ним не лёг.

Лида с протяжным охом поднялась с колен.

- На когда назначено мероприятие?

- В четыре, сразу после ЗАГСа.

- Какое платье наденешь?

- Какое хочешь.

Выдвинула ящик комода и покидала туда слонятину.

- Белое. И веночек из флёрдоранжа.

Fleur d'orange, цвет померанца. Горького и несъедобного в свежем виде.

- Лидка, кто тебя учил целоваться?

- Не помню.

- Значит, никто. А кто первым обслюнявил?

- Забыла.

- У, какая ты старая.

- А тебя на девочек потянуло?

Ларионов ухнул горшок с геранью.

Это для любителей изящной словесности. Для тех, кому правда дороже: плюхнулся на подоконник, и черепушка свалилась в палисадник на грядку с зелёной клубникой.

- Я устала. - Лида скрючилась на кровати, слишком широкой для одинокой женщины. - Я от тебя устала. Или ты человек или катись ко всем чертям.

Ларионов гикнул, да так, что закачались грязи топучие, мосты калиновы и речки смородинки.

- Как звучу? По-моему, гордо.

- Бедная мама, что она подумает? Грохот, ор...

- Пойди успокой старушку, скажи, что я припадочный.

- Соседей позовёт.

- Ну, пентераментный али вще какой.

- Ты над кем издеваешься?

- Над теми, кто издевается над языком.

- Будь ты неладен.

Не ссорились - цапались, царапались. Не до крови. Играли в семью.

- Лид, а Лид... Ну прогнала ты его, а всё-таки вертится? Действуют же законы инерции, свободного падения тел по наклонной плоскости. Закатывается к тебе? Или ты к нему бегаешь? Какие у вас отношения? Вдруг завтра спросят, а я ни бэ ни мэ.

Он уже не мог остановиться. Несла его нелёгкая по долинам и по взгорьям, всё выше и выше и выше, в простор наших дней, в небывалые пути, к Марсу, к страху и ужасу... своему. Но Лида открыла рот, ей-богу, он её недооценил, и начала рассказывать, рассказывать, и всё как-то противно-подробно: он говорит, а я... он подошёл, смотрю...

Ребёнок прав: недооценка объекта напрямую связана с переоценкой субъекта. А ведь чуть не лажанулся.

- И где вы горели? На этих цветочках всмятку?

Он потянул на себя стёганое покрывало, импортное! нейлоновое! предмет лидиной гордости, причём профилирующий.

- Везде! - свирепо отбилась. - Везде нам было хорошо!

И кончилась прямая речь, потекла кривая. Про то, как ходил-обхаживал, величал-обзывал, все эти «лапочки», «чижики», «пупсички-манюпсички», любовная офеня, коробейный жаргон, перекинувшийся из прошлого века в нашу блатную феню.

Тут и скрутило Ларионова, здорово скрутило. Он и не подозревал, что ему ещё может быть больно. Чёрная ревность, чёрная зависть впились в его сердце, а в глазах запрыгали чёрные жабы в обнимку с белыми розами. Он кое-как дослушал до конца и сказал, что больше не будет.

Свадьба выдыхалась. Отгремели заздравные и прощальные тосты, иссякли шутки и двусмысленные напутствия, которыми принято взбадривать молодых, одуревших от выпитого, съеденного и вывернутого, и потерявших всякий интерес друг к другу. Гости разворотили столы, насвинячили на полу и, обнявшись по двое, по трое, мрачно ревели: «ой, мороз, мороз, не морозь меня...» В мае. Когда зацветает мирт.

Ларионов выбрался из-под задремавших на нём Сосновых и обошёл кучу подарков, сваленных на полу. Торшер возвышался, как фаллос. Он вспомнил мыс Атраки и подумал, что греческое «а» означает «не» и, возможно, в названии отразилось противопоставление: не-Тракия. Фракия то есть, историческая область на востоке Балканского полуострова («ф» и «т» в старых текстах частенько менялись местами).

Уже перевалило за полночь, и у столовки (окна актового зала на третьем этаже тоже выходили на улицу Кирова) было пустынно и тихо, только из бани под вопли уборщицы выскакивали, как ошпаренные, «засранцы» и «копуны».

Неслышно подкралась Лида и, поднырнув сбоку, обняла его с цепкой нежностью законной жены. Белое гипюровое платье припахивало нафталином, кукольная символическая фата еле доставала ему до груди. Чтобы поцеловать Лиду, приходилось сгибаться в три погибели. Он редко её целовал.

- Понравилось?

- А тебе? И торжественно и без выпендрёжа, и все от души накирялись. Торт был обалденный, я три куска слопала.

- На здоровье.

- Глянь, сколько понадарили. Надо сегодня забрать, а то знаешь, какая после свадеб неразбериха. У Сосны вон лошадь увели.

- Что?

- Голову мраморную, в натуральную величину. В худсалоне взяли. Чего смеёшься? Её и на выставку в край возили, и в газете писали. Сумасшедшие деньги отдали.

- Я бы спасибо сказал.

- Это ты, а Витя рыдал, ему эта голова кого-то напомнила. Он ещё кепку свою, балда, на неё напялил, с кепкой и свистнули. А торшерчик роскошный, немецкий, Пал Палыч на базе выбил.

- Завхоз?

- Да Казанский, ты уж совсем. Он и музыку организовал и приветственный адрес. А какой комплимент мне сделал! «Вы, Лидочка, настоящая русская женщина».

- В смысле?

- Я тоже спросила, а он круть, верть, существуют различные точки зрения...

- Типус пронырис. Метко Фаина его окрестила.

- А прийти не соизволила, твоя распрекрасная Фаина.

- Она не ходит на свадьбы и похороны.

- Для нас могла бы сделать исключение. Небось, когда ей нужно...

- Голубки, голубки, - загукал ректор, надвигаясь на них с пьяной решимостью. - Как собираетесь провести медовый месяц? На отпуск не рассчитывайте, экзамены на носу, а три денёчка отгуляйте, как положено, эх, завидую я вам... - И уже по-ректорски прогудел: - Важное событие, незабываемый день.

- На всю жизнь, - поддакнула Лида.

Как сказать. В пору московских шатаний, знакомясь с кем попадя и влипая в чужие

драмы, Ларионов оказался свидетелем незабываемого свадебного конфуза. Папа-актёр, известный бабник, громко шепнул сыну-актёру, счастливому жениху: «Пей, сынок, такое бывает два-три раза в жизни». Гости в смех, невеста в слёзы, кончилось дракой. Сын недавно женился в четвёртый раз.

- Дело молодое, а, Серёжа?

- Простите?

- Это я к слову. Отец почему не приехал?

Лида испуганно ойкнула: «да ведь», но Ларионов оборвал:

- Семейная тайна.

- Ясно.

Так говорят, когда ничего не ясно.

- При случае передайте большой привет, скажите, что договор наш в силе остаётся... останется. Я прочёл его статью в «Археографическом ежегоднике», замечательная работа. Он…

- Кто? - снова встряла Лида.

Ларионов встряхнул её, «перетанцевала», и протянул слегка оторопевшему ректору пачку «Герцеговины флор».

- Попробуйте. Коллекционные.

- Я ж не курю.

Однако взял, понюхал, «чувствуется класс», и начал робко втягивать дым и выдыхать его открытым ртом, словно опасаясь раз и навсегда подорвать своё здоровье. Курящий некурильщик чем-то похож на обезьяну, впервые взявшую палку.

- А вы, Лидия, хорошо танцуете, в особенности вальс. Незаслуженно забытый танец, а благороднейший. Я эти ваши ча-ча-ча органически не воспринимаю. Летка-енька ещё туда-сюда.

- А танго?

Они оживлённо заговорили. Ларионов смотрел, как запирали двери бани, проверяли сигнализацию, как проехал автобус с косеньким старичком, горланившим: «ах суббота ты моя, а я пьяница твоя». Следующая остановка у армянской церкви, конечная. И фонари были при издыхании.

- Артроз у неё, - изливалась Лида, - руки, как крюки, потому и постеснялась прийти. Во время оккупации немцы гоняли солдаток на Кубань стирать им одежду. Зимой, рассказывала, ходили с лопатами, лёд у берега обобьют и полощут, а от злости песни орут. Там она и голос и руки сорвала.

-Так вы в оккупации были?

- Что вы, мать меня к дядьке отправила, в Караганду.

- А сама почему осталась?

- Из-за бабушки. Она у нас старенькая была, лежачая. Мать с ней потом ещё лет десять мучилась.

- Вы её в Анапу везите, на грязи. Тёща моя...

У столовки остановились две загулявшие девочки, шлёндры, как здесь называли соплячек, шляющихся по ночам. Та, что с хвостиком, показала подруге на Ларионова пальцем. Ещё бы, тили-тили тесто. Другая, патлатая, вытряхнула камешек из босоножки и тоже уставилась на него. Эх, как мощно работает щитовидка у малолеток. Хвостик послал приветик и, не дождавшись ответика, принялся изучать объявления на двери парикмахерской. Патлатая прислонилась к стене, изображая Киприду. Так они с

Ларионовым и глядели друг на друга, пока Лида болтала с ректором, уделившим ей, наконец, внимание.

Внезапно со дна, из ахейских глубин, поднялась такая дурнота, что Ларионов схватился за раму и чуть не выпал на улицу. И девочка оторвалась от стены и побежала, высоко вскидывая жеребячьи голени и разбросав длинные руки.

- Мне плохо, - прохрипел он, отталкивая Лиду и ректора, - я сейчас…

И пролёт, второй, третий, уронив кого-то, с крыльца, прыжком через клумбу, площадь, к тропинке, камню, на плач.

- Аня!

- Я, ты, она…

Била его по щекам, кулаками в грудь, коленями по коленям, ударила головой в живот. Он полетел плашмя на деревья, распялился на ветвях.

- Психопатка, убьёшь меня!

Отдышался и скачками ринулся вниз по склону туннеля, по развороченным плиткам и сорнякам. Перемахнув мостовую, зачем-то полез наверх и растянулся на газоне возле стекляшки, построенной к майским праздникам, на крыше которой сверкала и переливалась надпись, выложенная разноцветными лампочками: «Миру - мир». Богу богово, кесарю кесарево, каждому по способностям. Библейское на шаманский лад.

Он почти не пил, за весь вечер несколько рюмок водки, но в голове шумело, как после жестокого перепоя, и во рту было горько и сухо. Неподвижное небо чернело над ним. Низко стояли звёзды, крупные южные, со слезой. Сладко пахло цветущим, акации? и горючим, мазут? Земля отсырела за ночь. Боже, какая ночь...

Ну кто из тех, кого он знал, застав его в это время, в этом месте, в этой позднелатинской прострации, сказал бы, что он нормален или хотя бы наполовину?

- Ты живой?

- Как видишь.

- Ты меня любишь?

- Любишь.

- Ты меня бросил?

- Бросил.

- Я без тебя не умру. Ты понял?

- Понял. В один день и час.

Они поднялись с травы. Сверчки деловито отсчитывали минуты, пронёсся курьерский, протарахтел грузовик.

- Поцелуй меня навсегда.

Она ещё просила. Он закрыл глаза и задержал дыханье. И время свернулось, как кровь.

- Пора, мой друг, - сказал усталый раб Ларионов. - На свете счастья нет. И остального тоже.

Аня разжала кулак и протянула ему пуговицу от пиджака, в которую вцепилась, когда он летел с катушек. Ларионов спрятал её в карман.

Всё было, как во сне. Она сама пришла к нему. Он не сделал ей ничего плохого. Он дал ей то, что она хотела. И взял то, о чём не просил. На хрен ему сдалась эта пуговица?

Глава 52

Итак, Ларионов совершил невозможное. То, что хотел. Нет, то, что должен был сделать. Почти дописал роман, женился на женщине, любившей его, и оставил в покое девочку, которой желал добра. Тем самым он бросил вызов своим богам, запрещавшим ему совершать разумные, но бессердечные поступки.

В результате успешно проваленной титаномахии Ларионов был приговорён, как Атлант, подпирать плечами небесный свод, который только древним грекам казался высеченным из монолита. Тверди, как таковой, не существовало, а давление и плотность воздуха с высотой убывали, и позорно было стоять с пустыми поднятыми руками. Пожалуй, он больше смахивал на кариатиду, что не служит опорой перекрытия, а образно выражает эту функцию. Бабье ничегонеделанье ему претило, и он начал ждать, когда обстоятельства возьмут его в плен, больно поза была вызывающей.

Простояв недельку-другую с вывернутой шеей, он убедился, что страдает самым пошлым демонстративным образом, ни у кого не вызывая сочувствия. Умней всего было расплеваться с небом и, отыскав в окрестностях земли укромный уголок, хорошенько поразмыслить над случившимся. Руки опустились сами, но спрятаться кто даст? Окликали на каждом шагу, нагло спрашивали: «как поживаете?» Хотелось крикнуть: да подыхаю я! но мямлил: «спасибо, плохо». Шутка имела успех.

Эпилог отодвигался, как линия горизонта, едва Ларионов приближался к нему. Элпис упорствовала в своём одиноком горе и равнодушии к фабуле, смысл которой в непрерывном следовании событий, обеспечивающих развязку. Возможно ли, что она смирилась с потерей Пигмалиона, ничем не пожертвовав славе его и любви. Антарам, клещевина, даже вырванные с корнем, не умирают ни на полотнах, ни на камнях, и как они цепляются за жизнь, так и жизнь цепляется за них.

Но рыжая вдруг исчезла. Иногда он хватался за голову: а была ли она? Город маленький, тесный от непредвиденных встреч, однако и нечаянная радость словно бежала его.

По ночам он выбирался через окно в палисадник и, усевшись под забором на грядке с укропом, прикидывал, вспоминал. К первым петухам (горланили, как в деревне), высмолив несколько пачек и дойдя до полного отупения, возвращался к разбитому корыту и отплывал в Грецию. Снилось одно и то же, пигмалионское: невольничий рынок, простыни, ураган. Очнувшись в могиле, он просыпался.

Неожиданно пропал аппетит. Тёщины борщи и лидины яичницы застревали в горле, запах сала и чеснока вызывал спартанскую изжогу. Взбунтовавшись, потребовал макароны с тушёнкой, но и к ним не притронулся. Так же внезапно возникла страсть к мелким галантерейным изделиям, которые он покупал в центральном универмаге и в магазинчике около железнодорожной школы. Лиду сводили с ума жестяные пепельницы и пластмассовые заколки. Напёрстки она выбрасывала не глядя.

Темнело поздно, к десяти. Полуночник, он начинал зевать по наступлении сумерек, а к одиннадцати замирал в постели и просил выключить свет. Вся эта комедия предназначалась для Лиды, не подозревавшей о его ночных вылазках. К счастью, её не мучила совесть, и она быстро засыпала.

Вспоминалось разное, но безобразное.

Аня что-то рассказывала, он по обыкновению поправлял. «Научись слушать, а?» резко оборвала. «Научись говорить, б!» рявкнул. Остановилась как вкопанная (переходили дорогу). Стал объяснять, что это игра букв, что мала она тыкать ему и цыкать. Куда там, стояла и стыла, не слыша, как сигналят машины, как он разоряется на всю улицу. Так и расстались, рванувшись в разные стороны. В субботу принёс ей обещанного Ксенофонта, взяла через порог.

Как-то отругал её за архаизмы. Ну кто теперь говорит: «предо мной», «заране»? Огрызнулась: я старомодная. Да ты ультрасовременная, психанул, так будут чувствовать через две тысячи лет! Я им не завидую, угрюмо ответила, у них все силы уйдут на это, они забросят науку и технику, и полёты в космос накроются. Ну и слава богу, фыркнул он, наконец-то займутся чем-то лично полезным. Ничего у них не выйдет, скривилась, они будут любить тебя, я им не завидую.

Шли по тропинке, упёрлись в стену и завелись на тему осознанной необходимости.

- Свободным может быть тот, кто уже свободен, - возразила, едва он заикнулся, что мера объективной свободы обратно пропорциональна степени субъективных заблуждений.

- Чёрта с два! От рефлективного недовольства до осмысленного протеста пролегают годы борьбы!

- Борьба - насилие, а не свобода.

У неё была отвратительная привычка сообщать готовое мнение, не утруждая себя доказательствами своей правоты.

- Как просто всё у тебя!

- Камю сказал, что простые истины открываешь последними. Я это знала, но не могла понять, он меня подтолкнул. Это здорово, я тоже кого-нибудь выручу.

- Видели бы вы меня с мотыгой, как похвалялся один лев толстой.

- Жаль, что ты не древний грек. Ты бы стал отцом анекдота.

Анекдот по-гречески «неизданный». Не накликала бы беды.

- И тебя бы удочерил, - продолжил он, как Гомер, состязавшийся с Гесиодом в умении сочинять стихи.

- Нет уж, - сморщилась, - я никогда не пойду к тебе в дочери, ты меня заешь.

- Заем, - подхватил, - и водой запью.

На этот раз Гесиод проиграл.

Полчаса описывал головку Нефертити с отбитым ухом и бельмом на левом глазу, сам себе надоел и подосадовал, что такая красавица досталась вислозадому, вислопузому Эхнатону, потому и родила ему шестерых дочерей.

- Ты ревнуешь, - ощетинилась, - ты думаешь, что все женщины твои.

- Ну да, - удивился он, - я их отслеживаю со времён великого хаоса. Я начал с Геи, а кончу тобой.

У неё вытянулось лицо и напомнило ему посмертную маску одного, вот именно одного, безымянного, из Птолемеев, выставленную в берлинском музее Боде, в соседнем зале с Нефертити, датированную III-II вв. до (какая скрупулёзная точность, недаром ходят слухи о немецком счёте), короче, тот же страх и ожидание, лунообразная улыбка и торчащие уши. И в зрачках блеск ядовито-жёлтого египетского золота. Испугался и спросил:

- Почему ты не любишь украшения?

- Золото жжёт, а серебро мерзлит.

- А цветы?

- Ненавижу жертвы.

- А музыку?

- Она меня сбивает. Надо, чтобы мы совпали.

- Как ты и я?

- Ты что, дурак?! Мы уничтожим друг друга сразу, как совместимся!

Словно ударила по ушам. Обида, стыд, злость охватили его с тем рассудочным бешенством, с каким он читал про советский народ, охваченный пафосом созидательного труда. Он двумя руками проехался по щербатой стене, обдирая ладони.

- Ну так слушай, - бархатно прорычал, - тебя никогда не полюбят на твоих условиях. И ты никого не осчастливишь своей любовью. Ты будешь хорошей матерью, верной самкой, но паршивой женой. С тобой будет очень надёжно, но очень тошно. Как на русских горках, когда ты крепко привязан к сиденью ремнями, точно знаешь, что не свалишься, но головокружение такое, что с нетерпением ждёшь конца аттракциона.

- Спасибо, - спокойно ответила. - Это то, что я хотела услышать. Для тех, кто боится горок, в парке есть песочница.

- И тебе спасибо большое, - раскланялся он. - Пойду налеплю куличиков. Тебе принести?

Сессия кончилась, зачался отпуск.

- Разве мы не поедем в Москву? - встревожилась Лида.

- Чего мы там не видали, царь-пушку? Нет, мы с тобой потечём в сторону моря, пить молодое вино и бронзоветь на солнце, а оттуда перенесёмся в горы. Я покажу тебе монастырь в скале и древо желаний на самом краю ущелья. Говорят, если пробраться к нему и привязать к ветке какую-нибудь тряпичку, хоть носовой платок, то сбудется всё, что загадаешь. Я куплю тебе ожерелье из обсидиана, я брошу все силы, чтобы отстоять твои женские слабости.

- Сначала надо достать билеты, - сказала Лида. - Завтра я этим займусь.

Глава 53

Легенды, легенды, переходящие из уст в уста, из книг в книги. Возникающие мгновенно и разносящиеся, как сплетни в восточных городах.

Потоп оторвал Кипр от Сирии.

Афродита вышла из пены близ Пафоса. Отсюда ее эпиклесы: Киприда, Пафия.

Здесь жил и умер Пигмалион.

В четвёртом тысячелетии до на Кипре были обнаружены месторождения медной руды. Открытие принадлежит неизвестному (по одной версии пастуху, по другой кифареду), поражённому тем, что на некоторых участках земли растительность окрашена в неестественно синий цвет. И своё название остров получил от слова «медь», на местном диалекте звучащем, как «кипрос».

Кипр - родина самого древнего в мире вина и первого христианского правителя, крещённого лично апостолом Павлом, прибывшим из Иерусалима с неофициальным визитом.

Ещё в бронзовом веке не подвергалось сомнению, что на Кипре самый сладкий и душистый мёд (знаменитый аттический уступает по сахаристости), самый дешёвый ячменный хлеб, самый кислый уксус и самая солёная соль. Кроме того, овощи остаются

свежими и в переработанном виде, а масло пахнет оливками и через тысячу лет. Неверующим предлагалось отведать масла из пифоса, зарытого Девкалионом.

Родом из Кития, города с финикийскими поселенцами, был великий Зенон, основатель школы стоиков. Сын купца, он ничего не смыслил в торговле и просидел сиднем без малого тридцать годков. Худой высокий ширококостный, с кривой шеей и толстыми ногами, он больше всего любил зелёные фиги и загорать на солнце. Когда ему это наскучило, он запросил оракул, как жить, и получил ответ: «Учись у покойников». Он понял и начал читать книги. Они и завели его в Афины, где он стал слушателем Кратета, у которого училась и Гиппархия, первая женщина-философ.

Прохаживаясь по «Расписной стое», галерее, расписанной Полигнотом, он создал учение о мире, как о живом организме, одушевлённом и целесообразном, заключающем в себе два начала: деятельное (разум) и страдательное (вещество). Последнее состоит из четырёх основ, гераклитовых стихий: огня, воды, воздуха и земли; из смешения их и произошли растения, животные и т.д. Своё учение Зенон Китийский подразделял на три части: физику, которую образно сравнивал с душой, этику (плоть) и логику (кости и жилы). Проповедовал твёрдость воли, самообладание и отрешение от всех страстей. Говорил, что достигнув бесстрастия, человек сольётся своим разумом с мировым и обретёт бессмертие. Также ему принадлежит замечательный софизм: «Ни одно зло не заслуживает уважения; смерть заслуживает его; стало быть, она вовсе не зло».

Вошли в обиход и другие его изречения: «Друг - это второй я» (по сообщению Аристотеля); «У нас для того два уха и один рот, чтобы мы больше слушали и меньше говорили»; «Знанием добра и зла владеет только добрый человек»; «Одна ложь не более, чем другая: кто находится за 100 стадиев от Каноба или за один стадий от Каноба, те одинаково не находятся в Канобе». Так прославился ничем не примечательный городок в окрестностях Александрии.

Впрочем, четыре века спустя, Страбон упомянул: «От Александрии тянется Канобский канал, который полон весёлыми домами, открытыми для ищущих удовольствия мужчин и женщин». Сохранились и описания храма Сераписа, обладавшего целительной силой. О, эти загадочные маленькие городки.

Зенон написал объёмный труд «Государство» и «Учебник любви», хотя имел один-единственный любовный опыт, затеянный исключительно с целью доказать насмешникам, что, как мужчина, он дееспособен.

Знаток стоических правд, он и в обычной жизни был умерен и честен. Ел сырую пищу, не нарушал обещаний, не давал воли природной горячности: «в гневе считай до тридцати». На вопрос, что дала ему философия, чистосердечно ответил: «с ней я охотно делаю то, что без неё делал бы вынуждено».

Умер он, задержав дыханье. При жизни афиняне вручили ему ключи от городских стен, удостоили золотого венка и медной статуи, а похоронили его на государственный счёт «за то, что он делал то, что говорил» (из народного постановления).

И всё? Афродита, Пигмалион, тут доказывать нечего, ибо не бывает имени без человека. Зенон... их было восемь в античном мире. Самые известные: наш и Зенон из Элеи. Почему же кипрские легенды молчат о поэтах, аэдах, историках, на худой конец, о кифаредах, слывших в Греции окончательными дураками? И это при врождённой способности киприотов мифологизировать всё, так или иначе относящееся к их действительно своеобразной культуре, впитавшей сотни других культур. Что за феномен?

Конечно, остров постоянно переходил из рук в руки: ассирийские, египетские,

персиянские. Был под властью Александра Македонского, Птолемеев, римлян, византийцев, британцев во главе с Ричардом Львиное Сердце, уступившим Кипр за сто тысяч дукатов ордену Тамплиеров, три века терпел притеснения династии Лузиньянов, сдавался венецианцам, османам и вновь британцам. Но и Лесбос был немногим благополучней в географическом отношении, а каких прекрасных поэтов дал миру, и Родос, вскормивший гениальных ваятелей.

Вопросы, вопросы, вопросы... Хочешь получить умный ответ - спрашивай умно. Древняя греческая поговорка.

Ларионов устал смотреть в раскалённое небо и перевернулся на живот. В десяти шагах от моря неподвижно стояли «красные», как их здесь называли, реликтовые сосны. Они и вправду казались ржавыми, даже бурыми, от оголённых узловатых корней до осыпающихся верхушек, не просвеченные солнцем, а выжженные насквозь, как пережившие старость старухи. Заповедная рощица была обнесена колючей проволокой, но вездесущие отпрыски Эета проделали в ней лаз и то и дело совершали набеги, обнося кусты ежевики и накрывая любовные парочки. По пляжу носились собаки, у изгороди паслись козы, пощипывая чахлую травку; кричала лоточница: «Покупайте конфеты! Мишка на севере, Машка на юге!»; с огромными цинковыми кастрюлями, прикрытыми марлей, пробегали продавцы кукурузы, за ночь вываренной до сахарной белизны; без конца приставали фотографы и гадальщики. Какой-то обросший тип на полном серьёзе предлагал гороскоп, составленный на 1894 год. На что мне это старьё, спросил Ларионов и, услышав глубокое: «качество, дорогой, так сейчас не умеют», не пожалел рубля.

Отдыхать диким способом не переводимо ни на какие языки, включая русский. Это спать, где придётся (на сеновале, в курятнике, гараже), есть, что достанешь, добираться чёрт знает на чём, с теми, кого бог пошлёт. Нет такой дикой усталости, с которой может сравниться дикий отдых. Лида, разумеется, злилась, что они переезжают с места на место, нигде подолгу не останавливаясь, но Ларионов, развив Зенона, доказал ей, что и в человеке борются два начала, деятельное и страдательное, и он без боя не сдастся.

Сосны не шевелились, но иглы потрескивали от налетавшего ветерка, и острый запах смолы обжигал гортань и заставлял сильнее биться сердце.

Безразличие и беспредметное любование, основные принципы стоической этики. Уж не путал ли сыроед любованье с любовью? Посвятив добродетели сотни бесед, он не продвинулся дальше фиговой сентенции: «Жить по природе значит жить по добродетели». Смотря какая природа. Хищник, терзающий жертву, тоже следует естеству. Не в пример многозначно выразился Сократ: «Истина и добродетель одно и то же. Как истина не может быть больше или меньше, так и добродетель. У неё собственная величина - полнота». Сократ неоспорим. И то ведь, не написал ни строчки, не к чему прицепиться. Зато Платона, обнародовавшего его идеи, трепали почём ни зря. Феопомп с Хиоса обвинил его в систематическом плагиате, а Тимон обозвал «великим чудотворцем», а Монтень через две тысячи лет прибавил, что там, где Платону не хватает человеческих доводов, он добавляет божественные наставления и откровения.

Пару лет назад по Москве разлетелась писательская шутка: не горюй, Христа тоже не печатали. А когда печатали ненаписанное? Разве что во времена Платона.

Ларионов отшвырнул путеводитель по Кипру. «Древняя цивилизация была распространена в основном вдоль южного и северного побережий». Тяготение к полюсам? Физическая отдалённость от собственно греческого мира и душевная - от азийского? Север-юг, не конь ли о двух ногах, далеко ли на нём ускачешь? А в результате не возникло

устойчивой живородящей среды, этой божественной пены, из которой выходят любвеобильные и очарованные (в том числе и злосчастные кифареды).

Легенды молчат для глухих.

Потоп оторвал Кипр от Сирии.

Глава 54

- Шла бы ты спать, душа моя.

- А ты?

Ларионов дёрнулся и опрокинул стакан, который Лида поставила на Фрейда. Молоко выплеснулось на стол и потекло густыми струйками на пол.

- Я сто раз тебе говорил, что молоко и масло, и все финты животного происхождения ненавижу. Не-на-ви-жу.

Лида заквохтала и кинулась промокать и подтирать, радуясь, что стакан не разбился. Будь он древним греком, изобразил бы женскую душу в образе курицы.

Они только что вернулись из кино. Долго топтались в очереди за билетами, перевидали почти всех знакомых, и всем Лида без утайки врала, как чудесно, неимоверно они отдохнули. Ларионов сонно кивал, но Лида набрасывалась: «что ты молчишь, скажи», и тут его било током, со вчерашнего дня дёргало, и он срывался на грубость или на глупость. Под ногами жирно хрустела подсолнуховая шелуха, в нос бил сивушный перегар - житница справляла праздник урожая. Перед Ларионовым тыкался квазимодистый мужичонка в чёрной кофте, обсыпанной перхотью. Когда он просунул деньги в окошко кассы, Ларионов увидел, что верхняя фаланга его большого пальца расплющена на два сросшихся отростка с двумя грязными ногтями. Ларионова замутило, он зажал рот рукой и выскочил из вестибюля. И серенада солнечной долины, и зажигательная «чуча», и шоколадная конфета, насильно впихнутая Лидой, лишь усугубили тошноту, и остаток фильма он просидел в фойе, слушая струнный квартет, развлекающий зрителей следующего сеанса. Окрепшая за лето молодёжь откликалась басами на высокий регистр и дребезгом стаканов в буфете. На стенах висели плакаты, предупреждающие, что искусство в СССР руководствуется методом социалистического реализма, что важнейшим из всех искусств является кино, что курить нельзя, а надо учиться. На них никто не обращал внимания. По неписаным законам, которыми так гордились греки, жили и здесь, но говорило ли это о силе свободного государства?

- Вырвал? - посочувствовала Лида, досмотрев фильм. - Ты бы сходил к врачу, хотя бы узнаешь что у тебя.

- И так знаю. Типичная эклампсия. Назовём его Родимчик.

- Типун тебе на язык.

Шутливое пожелание, раскрывающее секрет нашего невообразимого юмора.

Ларионов осушил Фрейда подолом лидиной цыганской юбки, припомнив ему и медведей и кочующий русский характер.

- Сгинь, я хочу покарябать.

У него был свой кабинет. С мамой через перегородку.

- А что ты пишешь?

Лида стыдливо потупилась, словно спрашивала о чём-то интимном до неприличия. Это его умилило.

- Руководство по использованию цитат. Сейчас зачитаю.

Он вытащил наугад из зелёной папки несколько исписанных страниц. До чего мелкий неразборчивый почерк. Экономия бумаги у него с войны, а завихрения с восстановительного периода.

«Полибий медлил с ответом».

- Говори что хочешь, добавляя в конце: «как сказал Антисфен», если мысль циничная, Картезий, если рацея, а Сперанский хорош во всех смыслах. Кто их теперь читает?

- Правильно, - с облегчением похвалила Лида.

Уж не думала ли, что муженёк кропает физиологический роман, исследуя интегрирующую роль нервной системы в организме? Или того хуже: программный документ борьбы за перерастание одной оттепели в другую, термидорские тезисы? «Thĭrmē» и «dōron», «тепло» и «дар», даровое тепло. К чёрту Грецию, слова не скажешь, чтобы не вляпаться в чью-то мудрость. Об Антисфене говорили, что он обладает великолепной памятью - умеет забывать ненужное. Впрочем, язва Тимон, недолюбливавший и киников, обозвал его «болтуном на все руки». Его, ученика Горгия, каждый день ходившего за сорок стадиев слушать Сократа (от Пирея до Афин восемь км).

«Поговори со мной!»

- Эпиграф уместен в книге. Никогда не начинай разговора с цитаты. Люди включаются не сразу, их надо разогреть. Афоризмы годятся любые, но парадоксы вызывают большее уважение. Не мешает сказать заране, что «гений - парадоксов друг», действует безотказно.

Лида, кажется, заподозрила подвох.

«Ты можешь сделать только то, что ты можешь».

- Цитируя, не следует пренебрегать пикантными подробностями, как то: «том первый, страница десятая, пятая строка сверху» или «точка с запятой». Впечатляет и небрежно брошенное: «конец цитаты».

- Это пародия?

Ларионову стало скучно. «Ты один любил меня». Конечно, один. Других таких дураков нет. «Совместимся». Сольёмся в экстазе. Никого у тебя не будет, кроме меня.

- Читай.

- Беседуя со специалистом в той или иной области, используй ссылки на авторов, не имеющих отношения к его профессии, дабы не уличиться в невежестве.

«Поцелуй меня навсегда».

- Помни, что цитата - средство политической борьбы и цель её - захват власти. Использование прибауток и общих мест в качестве цитаты строго возбраняется. Автоцитата допустима, когда высказывается мысль антитетическая. Помогая противнику опровергнуть её, утверждаешь свою правоту. Например. «Если вы считаете, что простым голосованием можно выбрать любого, то предлагаю считать ослов конями». Я высказался.

- А для чего ты это написал?

- Для себя. А напечатаю для денег. Пушкин в письме к другу.

- Он плохо кончил. Но не это меня волнует. Пойди к врачу. И по утрам уже прохладно, надевал бы ты пиджак. Я пришила пуговицу, молодец, что не посеял.

Ларионов захлопнул папку.

- Я давно хотела спросить. Помнишь, ты сказал о какой-то семейной тайне. Так есть у тебя отец или нет?

- Это длинно и неинтересно.

- Хоть что-то, милый. Я твоя жена.

- Меня родила мать. А тот, кто сделал её матерью, мне не отец. Но физически существует, ректор с ним знаком, вместе аспирантурили.

- Я вот думаю... есть ли на свете человек, который знает о тебе всё?

- Сказал бы что я, да неправда. Но ты не об этом спрашиваешь, жена. Мою биографию ты прочла в первый же день, при мне. Военный билет и характеристики тоже изучила, не сомневаюсь. Зачем тебе мои явки и пароли? Что пишу, что замышляю? Ну, предположим, мне нравятся блондинки, Махабхарата и ливерные пирожки. Остальное не требует доказательств: обитаю в твоём болоте, твой собственный крокодил, пасть не разеваю. И горшки не колочу.

- Уж лучше бы колотил.

Он улыбнулся, чтобы подсластить пилюлю, которую Лида проглотила не без усилия.

- А может, ты тайно влюблён? Кто она?

- Жена начальника электростанции.

- Ей за сорок и очень давно.

- Как все испорченные мальчики, я обречён путаться со старухами.

Она не обиделась, она привыкла к его чёрному юмору.

- Да, забыла сказать, в сегодняшней «Армавирке» стихи твоей Чеханцовой. Хочешь посмотреть?

- Нет. Я разлюбил стихи.

Лида поцеловала его в макушку, «ну не буду тебя отвлекать», и убралась. Вскоре в комнате погас свет. Ларионов выждал полчаса и, открыв окно, взобрался на подоконник, как Наташа Ростова. Прямо под ним колыхались астры, жёсткие, остроконечные, без запаха и жертвенного тепла. Середина сентября, а луна едва нарождается. И звёздный календарь не действует в этой дыре. И мысли у него работают с перебоями.

Я ухожу от вас не навсегда.
Не умирают воздух и вода,
а только возвращаются к исходу,
и можно вечно верить и прощать,
одним и тем же воздухом дышать,
сто раз входить в одну и ту же воду.
Конечно, муж эфесский знаменит,
на всех стихиях славен Гераклит,
но я слагаю гимны Гесиоду.

И под стихами Анино имя. Он выправил их чуть-чуть. «На всех стихиях» вместо неграмотного «на всех пределах». Пушкинское напросилось само, он как раз размышлял над последовательностью ряда: тиран-предатель-узник. В прямом прочтении не было остроты, подразумевалось, что тиран, совершивший предательство, становится узником

(совести ли, тюрьмы, возможны варианты), но в обратном угадывался убийственный смысл.

Он как-то рассказал Ане о Гераклите, но чем-то ей не понравился великий меланхолик, заявивший: «я знаю всё». А Гесиода подкинул весной, сразу влюбилась и написала эти стихи, и прочла ему на «камне плача». Он попросил повторить и запомнил. Тогда у него была память. Вернувшись из отпуска, он отстукал шедевр на машинке и отнёс Размолову: «девочке надо заявить о себе». Вот и напечатали. Завтра Аня проснётся знаменитой.

Тяжко глухо шумело море, шуршала галька. В кипарисовой роще было светло, как днём. В круглом небе спокойно сияла полная средиземная луна. Сколько у тебя родинок, ахнул Ларионов, до утра не сосчитать. А ты ещё приходи, сказала рыжая девочка, они у меня каждый день прибавляются. Это плохо, нахмурился он, к восемнадцати годам ты станешь чёрной, как эфиопка, когда мы пойдём в ЗАГС, на нас будут показывать пальцем. И так показывают, вздохнула, мы всем бросаемся в глаза, вдвоём нас слишком много. Глупая, сказал Ларионов, мы с тобой нефизические величины, у нас своя система единиц. Я ничего не поняла, выставила подбородок, из нас двоих ты больше математик, так что давай считай свои родинки. Мои? спросил Ларионов. Твои, ответила. Простудишься, усмехнулся он, и я не желаю знать, что ты прячешь за пазухой.

На две трети он состоял из воспоминаний.

Шум усилился, и вдруг хлынуло море, закрутило его, как щепку, и подбросило к небу. Он разжал кулаки и врезался в астры.

Глава 55

- Хорошее слово «ремиссия», - прожурчал Тенин, похлопывая Ларионова по руке пренебрежительно-утешающим докторским жестом. - Не греческое, но ласкает слух. Единственный недостаток: по контрасту ассоциируется с «рецидивом». Можно тебя на «ты»?

- Валяй.

- «Узнаю брата Колю». Это из «Золотого телёнка», вчера читал. Помнишь детей лейтенанта Шмидта?

- Хорошая болезнь склероз: ничего не болит и каждый день новости. Из анекдота. Вчера услышал.

Тенин рассмеялся. Он делал это беззвучно и как-то психотерапевтически. У него были крупные зубы цвета слоновой кости, ненатурально здоровые. Он не упускал случая их показать.

- Вчера ты, братец, ничего не слышал. Вчера ты убивал свою жену.

- Вы шутите? Я ещё слаб, Тенин.

Дохтур хитро прищурился, выжидая, когда у Ларионова начнутся регулярные мозговые схватки. Это был его индивидуальный подход.

- В бреду, братец, в бреду.

- И как, убил? - с надеждой спросил Ларионов.

- Не так, чтобы совсем, но физию себе разворотил капитально.

Ларионов потрогал лицо. Ссадины, губы вывернуты, как у эфиопа.

- Жаль.

- Чего тебе жаль, грек?

- Да физии, не пугайтесь. Я собираюсь обратно жениться, мне просто необходимо быть красивым и двадцатидвухлетним.

Тенин фукнул и пошёл гулять по палате, проверяя тумбочки и сердито принюхиваясь. Через две койки от Ларионова лежал парень с отвисшей челюстью.

- Привет, - сказал Ларионов. - Ты чей?

- Апраксин, - ответил тот.

Ларионов приподнялся на локте и с уважением посмотрел на сподвижника Петра.

- Как Марфа поживает?

- Кака Марфа?

- Да мать твоя, царица.

- Георгий Ефремыч, чо он ругается? - с обидой проголосил сосед.

Тенин изобразил кое-что непристойное.

- Звать-то тебя как, Апраксин?

- Ну Лёха.

- А я Серёга. Получается, что не зря с тобой встретились, вместе будем лежать, как братья по разуму. Ты на меня не обращай значения, я память себе отшиб. Марфа-то тебе не мать, а сестра. По батюшке ты ить Матвеич?

- Да вроде, - захлопал глазами Апраксин.

- Ё-моё! - откинулся Ларионов.

Тенин навис над ним, словно стервятник.

- Слушай сюда. Через неделю своим ходом почапаешь в Краснодар, в краевую клинику. Надо срочно снять эхоэнцефалограмму и проконсультироваться с нейрохирургами. А зубы скалить, пожалуйста, ко мне. - Нагнулся ниже, парализуя взглядом. - Апраксина тронешь, убью.

- А ещё в белом халате, - бросил вслед Ларионов.

Тенин не оглянулся, но задержался в дверях.

- Не фантазируй. Скатаешься и вернёшься. От меня не так-то легко отделаться.

Ларионов натянул на голову одеяло. Вот он честит, сволочит эту дыру, а каких невероятных, потрясающих людей встретил здесь, когда он любил стольких сразу? Один Асклепий чего стоит. А Лотова жена. И что такое город, если не люди? Баня № 6 или завод резинотехнических изделий?

Разбогатеть. Построить дом. В горах. На берегу моря. Просторный. Всех поселить. Читать, плавать. Ни родственников, ни соседей. Тенин ловит рыбу... в горах? Форель. Фаина Марковна воспитывает. Аня рожает. Он пишет книгу за книгой.

Четвёртый сон Веры Павловны. Кошмар.

Эх Лида, была бы ты чужой, как бы мы с тобой ладили, два раза в неделю, только бы не сдохнуть мне, твоему Кальдерону. При чём тут дон Педро? А, с любовью не шутят. Комедия, ставшая прологом к моральной драме, откуда и потекли крокодиловы слёзы литературных утопий. Сны, оплаканные во сне.

Господи, дай уснуть, дай увидеть её, несчастную, недовольную, пусть ударит его по рукам, «я слова тебе не скажу!» но рыжую, рыжую, ррры-жую...

Ларионов завыл.

- Ты чо? - всполошился Матвеев сын Апраксин.

- Песня такая, - пробормотал, - жутко жалостная, про Иоанну. Думали, баба, а там... «под юбкою герой».

- Бабы дуры, - надулся сосед, - их не спутаешь.

С ним-то что? С печки на голову упал?

Испокон веков на Руси блаженными звали выживших из ума. Рай предназначен для мёртвых и сумасшедших.

- Сергей, я не одна, - донёсся из преисподней голос жены.

- А, это ты. Здравствуй, Аня. Поздравляю с первой публикацией. Горжусь.

Глава 56

В сквере напротив горкома-горисполкома кипела жизнь. Меняли портреты вождей. Кукурузная эра отодвигалась в прошлое вместе с поверженными кумирами, наступала другая, а какая? Сядь на лавочку да помалкивай. Уцелевшие члены Политбюро тоже перемещались в пространстве советского времени.

Ларионов наблюдал за сменой декораций со скучливой хэмингуэевской пристальностью. Приставили лесенку к Суслову, «раз-два взяли» и сняли с крюков, опустили на землю и прислонили к железным трубам, подпирающим ареопаг. Отошли в сторонку, перекурили, «мать-перемать, опять кто-то ножиком полоснул». Главный, в брезентовом плаще и кирзовых сапогах, ходил взад-вперёд со списком, сверяя кувшинные рыла с инвентарными номерами. Карандаш торчал у него за ухом, он поминутно его доставал и задвигал обратно. Полезли за Подгорным и поволокли вниз, стоймя упёрли в мёрзлую грязь.

Анька говорила, что прямо звереет от роль-природы, обязательной темы всех школьных сочинений. Помнишь, закатила глаза, как Инсаров перед грозой набухал по дороге в церковь, а потом пролился дождём любви? Он ещё сказал: «следи за словами, дура». А этот несимметрично-растопыренный, упрямо продолжала, балконский баодуб, дубобаб, что он олицетворяет? Ряд безнадёжных мыслей? А ряд надёжных, наверно, в том, что он млеет, производя листья без сучков? И это вечное бесконечное небо... так и хочется лечь и отдать концы. Ох допросишься, промолчал.

Но куда от погоды денешься? Поздняя осень, грачи... да улетели, снялись с картины Саврасова, до срока опережая хрущёвское вороньё. И нивы, и рощи... и сжаты, и голы. И тоска... с тех пор, как «земля была безвидна и пуста, и божий дух носился над водою, и в завязи масличного листа дремало семя жизни молодое». А-нич-ка. Начала читать Библию и тут же зарифмовала.

- Не сымай, армян остаётся! - крикнул главный и сплюнул.

Рабочие, не торопясь, спустились с лестницы и передвинули её влево. Вертлявый хлопец с невыспавшимся лицом штопал порезанного ножиком Громыко. Скончал. Открыл заляпанный красками ящик и принялся замазывать шов. Действительность ярко проступала в наглядных образах.

«Сергей, я не одна». На людях всегда называла его полным именем, по-деревенски. Отрабатывала легенду, что он в доме хозяин, что живут душа в душу, что семья для них главное. И предупредила с намёком, мол, вхожу в твоё положение, но ситуацию контролирую. К счастью, морда была раскурочена и ничего не выражала, кроме общей покорности.

Учишься? Учишься. Что читаешь? Почище Фауста. Вот какая умница. Не она, а он,

просветитель. Светильник разума. Торшер. Пишешь? Пишешь. Прочти последнее. Вся разом подобралась. Он тоже выдрался из-под одеяла и скрючился в позитуре мыслителя (на толчке).

Когда на свете холод кончится?
Та-та-та, пальцев не разнять.
Простите, мне уже не хочется,
ни та-та-та-та-та, ни знать,
и как вам мучается, мается,
и как вам дышится с другой....
А дождь к асфальту прижимается
своей небритою щекой.

На «вы». Иду на вы. Понятно, сказал Ларионов. Первая строчка твоя, вторая тьфу, хотя рифма приличная, потом цветаевская ня-ня-ня, не могу, это ваше «дышится», точно скальпель в плевру, и под конец канонический ляп, как у Лермонтова с гейневской «сосной-пальмой», типичный лесбийский прострел, только у тебя педерастический. Сергей, что ты говоришь, содрогнулась Лида, она всё-таки девочка. Почему «всё-таки», возмутился он, ещё какая девочка, потому и говорю, что она этих слов не знает, а интонацию так схватит, «как дай вам бог», обрыв цитаты. Анька, ну разве асфальт женщина, чтобы этот небритый козёл полез к ней прижиматься? Ну, подумай сама. Ты прав, храбро ответила Аня, я всё наврала, кроме первой строчки. Лидочка, попросил Ларионов, уведи ребёнка, мне что-то нехорошо.

И впрямь неуютно. О тёплых ли странах, о перелётных ли веяниях вздыхать на продымленном городском сквознячке? Тут и там жгут листья, сгребая в пыльные кучи облетевшее золото и побитый дождями багрец. Галерею унылых метафор продолжает серое небо, застиранное, как больничная простыня, и растрескавшийся асфальт с островками исхоженных клумб. Осень в городе беспросветна. А в лесу, наверное, ещё тихо, тепло, посвистывают птицы, и деревья перешёптываются с травой, ау...

И эхо аукнется, и нейрохирурги откликнутся. Он побывал в Краснодаре, избегался по кабинетам, добиваясь честного разговора, но отовсюду его заворачивали: «не беспокойтесь, заключение направим лечащему врачу». Теперь тянул время, откладывая культпоход в больницу, а когда-то посмеивался: лучше плохо, чем ничего.

- Привет.

Ларионов уткнулся лицом в ободранного верблюда, вдыхая родной запах шерсти и песка. Два дня назад послал Ане открытку и назначил свидание. Опоздала на сорок минут.

- Наконец-то. Я уже всех членов отсидел. Ух ты, Косыгина снимают... чтой-то будет.

- Я в них не разбираюсь, - зябко поёжилась, - они для меня на одно лицо.

- Что ж ты хочешь, девушка, чай, не грузины.

Аня посмотрела на него с какой-то совершенно новой, опасной улыбкой.

- Почувствовал?

Ларионова качнуло влево (правую половину свело), туда, где рядом с Косыгиным вешали Брежнева.

- У меня летом кавалер завёлся.

Передвижники вновь закурили. Художник промасленной ветошью протирал Микояна.

- Поезд остановился возле нас. Я собирала вишни. Он выглянул...

- Поезд?

- Грузин. Томази. Не сбивай.

- А ты правильно строй фразу, чтобы не только тебе было приятно.

Рассердилась по-женски, уничтожающе. Секунду боролась с собой и, не справившись, сорвалась со скамейки, крутанула пуговицу на пупе.

- Ладно. Грузин. На мази. Что дальше?

Потянул её за карман, резко высвободилась. Работяги громко выразили одобрение и готовность прийти на помощь. Главный их поддержал:

- Ты чего девку займаешь?

- Аничка, сядь. Прошу тебя.

Села с размаху, вплотную, восстановила в правах. Он благодарно погладил верблюда по вздыбленной шерсти, заглаживая вину.

- Выглянул и...

- Спросил: можно вас, красавьица, прыгласить в кино? Говорю: можно. Я ответила на вопрос, я разрешила пригласить, не больше. А он: сычас, дарагая, только дэньги вазму. И выпрыгнул.

- Спрыгнул.

- Он из окна. Поезд уже поехал.

- Ишь, как прихватило. - Ларионов щелчком послал окурок в урну и промахнулся. - Что же ты, маленькая стерва, делаешь с мужиками?

- А вот этого я не люблю.

Вместе вскочили и с ненавистью уставились друг на друга. Ларионов сломался первым.

- Похоронила меня?

- Волга впадает в Янцзы.

Он закрыл ей ладонью рот.

- Я тебя провожу. Возьми меня под руку. Не злись. Я просто отвык от тебя.

Аня сильно вытянулась за лето. Шла, касаясь щекой его плеча, шла легко, не отставая и не сбиваясь с шагу.

- Хоть молодой он был, твой грузин?

- Второй курс политехнического.

- Вишни ел?

- Табуретку держал, чтоб я не свалилась. Папка хотел его шугануть, а он культурно так попросил отпустить сокровище на дневной сеанс, обещал вернуть в целости и сохранности. И вернул.

- Но за коленки хватал, надеюсь? Руки жал? В последнем ряду сидели?

- Не хватал, не жал и сидели в центре. Днём в кино ходят только грузины.

- А вечером?

- Уехал. За своим чемоданом. Он сунул соседу по купе сотню, и тот согласился ждать его в Москве на вокзале.

- Пишет?

- Договорились, что я напишу, если вдруг пэрэдумаю.

- Адрес не потеряла?

- Выбросила.

- Ну и молодец.

Он довёл Аню до тропинки и уже собрался уходить.

- Я была у Тенина.

Прямое вмешательство.

- Зачем?

- Неважно. Он сказал...

- Мне важно.

- Трояк отдала.

- Тенин ссужает тебя деньгами? Вот так новость.

- Он приезжал за мной на «скорой», а меня не было дома. Он оставил записку с трёшкой, чтобы я брала такси и гнала в больницу, к тебе.

- Так ты поэтому приходила?

- Да.

Очень внятно произнесла. И держалась невозмутимо, словно её спросили о чём-то элементарном. Например, можно ли по движению дыма определить направление ветра.

- А что сказал Тенин?

- Что я должна тебя отбить.

Ларионов напряг остатки слуха и недоумия.

- У кого?

- У всех, кто тебя давит.

- На тебя давит.

- Тебя. Чтобы ты почувствовал себя великим. А тебе это не нужно. Ты и так большой.

Он-то бредил, но Тенин... вот уж старый бредун.

- Аничка, ты продалась за трёшку, чтобы купить меня? Сначала подумай, потом отвечай.

- Нет, сначала было слово.

- Сейчас я тебя ударю.

И тут она выкинула штуку - распахнула пальто.

- Эй, это я, смотри.

Ларионов покосился на белый воротничок, на куцый фартук. Что она ему показывает? Ну, выросла.

- Чушь какая-то. Помню, что ты, а не узнаю.

- В больницу я пришла потом. Сначала я пришла к вам. С газетой. Тебя только что увезли. И Лида со мной поговорила. Я ей слово дала.

Оттуда и дул ветер.

- Пошли на вокзал. Мне надо выпить.

Наверх вела широкая лестница с красной ковровой дорожкой, открывая доступ в железнодорожный рай, где размещались комнаты отдыха и забегаловка ресторанного типа: два десятка столов, грязные скатерти и бумажные салфетки, разрезанные на осьмушки и веером торчащие из гранёных стаканов. Днём сюда мало кто заглядывал, и стояла мёртвая надмирная тишина, прерываемая треском динамиков и стуком тарелок.

Они выбрали столик в углу под развесистой клюквой, растением диким и живописным до безобразия. Окна ресторана выходили во двор бывшей ведомственной поликлиники, переехавшей в новое здание, но в избушке ещё работал рентгенкабинет, и на лавочках заседали ушибленные и недорезанные.

- Пока не выпью, молчи.

Водка была холодной и острой, как цикута.

- Это за папу. А это за любимчика Чезаре. Все Борджиа травились цикутой. А теперь

за Лукрецию, покровительницу искусств. Подозреваю, что при ней и появилась дубль-герма Сократа и Сенеки, не реплика, а обычный оригинал. Античный мастер, влюблённый в гармонию, ни за что бы не спарил таких разных философов, разнесённых во времени и в идеях. Что общего между ними? Лишь то, что оба были отравлены упомянутым способом.

Аня пристально изучала лепной потолок.

- О чём вы говорили?

- И этого я не люблю.

- А какого ты любишь? Товарищ гарсон! Дайте девочке манной каши!

- Не бывает, - злобно буркнул официант, до того костлявый, что даже в анфас казался повёрнутым в профиль.

-Тогда ещё один стакан. И чего-нибудь горького.

Не скрывая неудовольствия, которое ему доставляла любимая работа, малый сходил на кухню и принёс дымящуюся посудину со следами радужной пены.

- Протереть, - не стерпел Ларионов. - Живо. Как вас учили на курсах мойки и битья?

Пришлось убедиться, что хамство на хамов действует ободряюще. Профиль в точности всё исполнил и вежливо подал на блюдечке маринованный огурец величиной с рахитичную тыкву. Примерился и вскрыл его жёлтое жидкое нутро с одеревеневшими семенами.

- Пей, - велел Ларионов, - я тебе развяжу язык.

Аня глотнула водки, и у неё глаза полезли на лоб.

- Опять первый раз? С тобой не соскучишься.

Через полчаса клюква покрылась миртовыми цветами. Увечные тоже повеселели - начался приём.

- Выкладывай.

- Она спросила, было ли у нас, я сказала, что не было, а потом, что было, а потом запуталась, я боялась тебя подвести, а она разозлилась и стала кричать, что я маленькая дура, а ты урод и меня изуродуешь, и я ей пообещала, что тебя не подпущу ко мне... к себе... я пьяная.

- Страшный образ нарисовала?

- Я тебя люблю, я спать хочу...

- Думай, что говоришь, думай.

- Я пьяная, я спать хочу.

- Уже лучше, вставай.

Они вышли в простуженный двор, он усадил Аню на рентгеновскую скамейку и прислонил к стене.

- Следующий! - раздалось за дверью.

- Девушка, сфотографируйте нас! В нашей судьбе перелом!

Медсестра попалась невесёлая, но находчивая. Она послала их «на три буквы» и тем подтвердила факт, что русское взаимопонимание весьма условно и потому не имеет смысла.

- Ты никому не верь, - Ларионов целовал Ане ручки на радость соседке, прилипшей к окну, - только себе и в крайнем случае мне. А Тенин всё-таки сволочь, я устрою ему великую давку. Завтра вечером приходи в общежитие, притащи что накарябала, и за дело, хватит байдыки бить. Тенин, конечно, сволочь, но он навёл меня на хорошую мысль, я понял, как закончить Пигмалиона. Ну, катись.

- Что отцу сказать? Где я налакалась?

- Не маленькая, ври сама.

Глава 57

- Teras... урод по-гречески... существительное, перебежавшее в латынь, а оттуда в романские языки в форме прилагательного... означает «нечто чудовищное», в том числе и Ивана Грозного, то есть полностью деградировало, а наш урод ещё тот. Почему, спрашивается? А потому, отвечается, что уродиться у нас – от Бога, да-с, копыто судьбы.

У него не тряслись колени и не прыгала челюсть. Не было и в помине того африканского бешенства, с каким он тюкал слонов в саванне. Он даже улыбался, краем рта, как сумасшедший с бритвой в руке...

Голос из-за кулисы: «Интересное наблюдение».

...что крался за ним по следу в тусклом зеркале над комодом, без бритвы, естественно, и без шляпы, надвинутой на глаза.

Голоса с галёрки: «А ты не мешай водку с пивом!» «Ёрш – это гроб!» «Кончай базарить!»

Тень (отделяясь от стены). Эта скандальная сцена целиком лежит на совести...

Суфлёр. Автора.

Тень (сквозь зубы). Не слышу. (Громко.) Целиком лежит...

Смех в зале, выкрики: «И нехай лежит!» «Совесть – понятие растяжимое!»

Суфлёр. Автора!

Тень (отделившись). Автора!

Зал скандирует: «Автора! Автора!»

Суфлёр. Вася, в чём дело?

Тень (закипая). Дело в том, что Ларионову спьяну запомнились лишь отдельные эпизоды, дословно: «вставки». Дыры пришлось заткнуть красочными подробностями, которые...

Суфлёр. Делают честь его уму и таланту.

Тень (свистящим шёпотом). Шестнадцатый вариант.

Суфлёр (в панике). Изобличают отсутствие... Всё исчёркано! Которыми изобилуют...

Тень. Он надёргал...

Ларионов. Я???

Суфлёр (со злорадством). Пушкин.

Тень. Из рассказов Лиды и обрывков м-м...

Суфлёр (исступлённо). Две вторые страницы! Третья вторая! Пятая! Ни на одной нет

печати! Голубчик, что-нибудь, сам...

Тень. Знаний.

Суфлёр. Слава богу, нашлась! С меня бутылка! Сплетен!

Тень (сотрясаясь всем телом). Сплетен?

Зал взрывается: «Сплетен! Сплетен!»

Ларионов. Я протестую! Занавес!

Директор (из ложи). Музыка!

Дирижёр (взмахивает палочкой). И...

Звучит увертюра к матросской опере «Яблочко».

Суфлёр (позеленев). Танцуют все.

Режиссёр (выскакивает из уборной). Прекратить какофонию!

Музыка обрывается.

Тень (зловеще). Отсюда накладки и разночтения.

Вздох из ямы: «И то ведь, ёрш».

Ларионов. Пиши пропало. (Пишет и пропадает во тьме).

Лида, забыв, что минуту назад кокетничала, изобразила глубокую озабоченность, как при выписке, когда попеняла Тенину: «чем пичкать его лекарствами, вы бы запретили ему курить и кропать по ночам», и получила в лоб, что Ларионова надо не учить, а лечить, что рвоты и галлюцинации - цветочки по сравнению с тем, что его, а точнее, их, ждёт впереди. И верно, цветочки в разбитых горшках валялись на помойке. Ларионов давил ягоды.

Бедная Лида. Она принесла из лесу, куда водила его кружковцев на экскурсию (он, видите ли, передумал), ветки облепихи, и пока он где-то шлялся, аккуратно отдирала от колючек спелые плоды, выложила их горкой, и едва он вошёл, протянула ему гостинец с низким поклоном. Муженёк любил дурацкие позы, и она решила ему подыграть и себе поднять настроение. Но Ларионов выхватил миску и теперь мял и комкал золотые шары, превращая их в месиво, и нёс ахейскую ахинею.

- Просклоняем урода. Что ты ей наплела?

- Кому?

- Что ты ей...

И замахнулся миской.

Лида отпрянула и налетела спиной на комод. Звякнули, падая, безделушки, ручка от ящика воткнулась в лопатку.

- То, что есть!

- А что есть?

Ларионов зачерпнул горстью кашу и размазал её по лидиной щеке. Это вышло так нагло и неожиданно, что Лида присела. Он поманил её пальцем.

- Не торгуйся, ближе к милому, ближе...

От страха на Лиду напало какое-то опереточное остервенение.

- А то! Что кидаешься, как зверь, что тебе плевать, кто перед тобой: жена или девка!

- Или девочка, - ухмыльнулся он и обляпал ей другую щёку.

- Ничего, умней будет!

Лида пригнулась и отскочила, но он её подстерёг и загнал в угол между окном и кроватью. - Предо мной только светлое будущее...

- Не подходи!

- ...а подо мной только девки... изредка Кавказ. - Облепил гущей шею. - И ты девка. Законная, но порядочная…

- А ты кто? Муж? Третий месяц прошу утюг починить, лампочка в погребе перегорела, как об стенку горох! Весь дом на мне! И ты сверху!

- Туши свет...

- И работаю! Не за деньги! Не то что твои шлюхи!

- Ха! Мы добродетельны! А за какие заслуги тебя, полуграмотную институтку, произвели в преподавалки? А бриллианты откуда? - Мазнул по серьгам. - На зарплату купила? На сто пятнадцать рэ минус бездетность? Ы?

- Жжёт, ирод! Больно мне!

- Неправда, ещё терпимо. Я не отстану, не упирайся, мамочка.

Лида, помертвев, смотрела, как он расстегнул ей блузку и грязной пятернёй вымарал грудь и живот.

- Ух, какая ты ладненькая.

У него затуманился взгляд, и терпению Лиды пришёл конец. Ей захотелось, чтобы и ему стало больно и гадко, но вдвое, втрое гаже и больней.

- Да! Сказала! Что воешь, скулишь, как собака, что всё у тебя по-уродски, не по-людски!

Ларионов вдруг съёжился и словно усох и постарел лет на десять. Лида чуть не расплакалась.

- И она поняла? - спросил не голосом, а мышцами гортани, будто ему удалили связки.

Лида бросилась к двери, он одним прыжком настиг её и повалил на кровать.

- Ты соображаешь, что натворила? Тварь, ты соображаешь?

- Не меси меня, как дерезу!

Ей показалось, что он сейчас упадёт - запрокинул голову и выронил миску. Но он смеялся. Тихо, утробно.

- Д-дерезу?

- Облепиху, так у нас говорят.

- Ах у вас...

Вытер руки о покрывало и начал шлепками раскачивать абажур и припевать, попадая в такт его колебаниям:

- Дереза, дереза, гоп, царица дереза... а была бела-я глина, благо-родная белая глина...

А ведь болен, подумала Лида, и что-то похожее на раскаяние шевельнулось в ней, но облепиха жгла невыносимо.

- Дай умыться, ради бога…

Он не слышал. Он был далеко.

Рукомойник клацал, как ружейный затвор, но Лида уже знала, что казни не будет и быть не могло, просто приставили к стенке и до смерти напугали. Она принялась смазывать

обожжённую кожу кремом. Он глянул на тюбик, «Детский?» и опять криво, по-сумасшедшему усмехнулся.

- А как тебя обзываю в припадке чуйств, не сообщила?

- Иди ты, - всхлипнула Лида. - Это как раз нормально и никого не касается.

- Никого. - Он вдохнул всей грудью, задержал дыхание и резко выдохнул. - Именно никого. Именно. О, язык...

Сидел на кровати серый, как негашёная известь, широко расставив ноги и опустив плечи. Мальчишка, дурной мальчишка, избалованный и запутавшийся. Женщины взрослеют раньше, она в его годы была намного самостоятельней, а в свои тридцать пять годится ему ну если не в матери, то в няньки. Вот снова разнюнился и сам не разберёт: шутит он, измывается или изводится. Она осторожно сняла с него шляпу и поцеловала в короткие жёсткие завитки, горькие от дыма и одеколона. И вдобавок под градусом, всю ночь придётся откачивать и утешать.

- Стыдно? Проси прощенья.

- Тяжесть чудовищная и зверь в прыжке. Не случайно. - Он по-прежнему где-то витал. - Но зачем ты это затеяла?

- Тебя, дурака, жалко и её, дуру, жалко. Поначитались мифов и вообразили себе чёрте что.

- Чёрте что, - с удивлением повторил, - но не чёрте как. В том-то и чертовня. Умер и стал бессмертным. Ожил и фюйть! Воскресение, мёртвый день. Завтра пятница. Распинаться подано.

- Обними меня, я хорошая, - заволновалась Лида.

- Я ненавижу твои астры, - прохрипел он, раскачиваясь и вставая, - я люблю большие белые пахучие цветы... Они до сих пор носятся в воздухе, и я вылезу из могилы, чтобы увидеть их.

И стянув с шеи галстук, молниеносно нагнулся и связал ей лодыжки тройным узлом.

- Псих, - обомлела Лида.

- Да, псих, - подтвердил, - но по-гречески это душа. С поправкой на русское произношение. Посему отлетаю, прощай.

- Нет! - крикнула Лида.

- Да! - крикнул Ларионов.

- Ну уж нет, - процедила Лида, - это тебе не удастся, я весь мир на ноги переверну.

- Удачный оборот. - Он покидал бумаги в портфель и направился к двери. - Побереги себя, деточка.

- Не смей, - заплакала Лида. - Я тебя не отпускаю!

- Привет Казанскому.

И потушил свет.

Голоса в темноте.

Первый. Вы что-нибудь поняли?

Второй. А что тут понимать?

Третий. Тень ни к селу ни к городу. Может, это пародия на отца?

Первый. А вы сталинист?

Третий. Заткнитесь.

Второй. Товарищи, мы же интеллигентные люди. Из чего будем пить?

Первый. Из горла.

Третий. Я, простите, не алкоголик.

Второй. Поставим на голосование. Двое против одного. Пошли.

Удаляются.

Глава 58

Комната в общежитии по уговору с ректором оставалась за ним. Выпросил перед свадьбой. Всё равно бы пустовала: преподавателей в бытовку калачом не заманишь, студенты, продолжая калашный ряд, рылом не вышли. И лето на подходе. Предотъездная, отпущающая пора. Ректор, надо отдать ему должное, согласился, не отходя от кассы (разговор произошёл в гастрономе, где и встретились), хотя в очереди настойчиво советовал снять изолированную квартиру, взять ссуду на строительство пристройки к дому, записаться в жилищный кооператив. От Ларионова потребовалась одиссеева изобретательность, чтобы, расхвалив и то и другое, и третье, отказаться от них в пользу... цифры его преследовали - четвёртого. Но чего не сделаешь любя.

Эта невинная сделка (он тоже кое-что пообещал) влетела ему в копеечку. Лида пронюхала о самоволках и, вызвав его из аудитории в разгар экзамена, учинила разнос.

- А что, прикажешь в баню ходить? - огрызнулся он. - Или в корыте мыться?

В хибаре не было ни воды, ни душа.

- А чем ты лучше меня?

- Тем, что не задаю идиотских вопросов!

- И часто ты туда бегаешь?

- Утром и вечером!

- Ну что тебе сказать после этого?

- С лёгким паром!

Обычно после двух-трёх выпадов их пикировки так и заканчивались вничью. Лида, как многие, привыкшие жить табором, не видела скотства в повальном сожительстве и с подозрением относилась к тем, кто не ел из общего котла и не утирался братским полотенцем. А это нужда, не прихоть - побыть одному. Не в мыслях (в толпе и в тесной компании задумался и отпал), а физически, защищаясь временем и расстоянием от любопытных глаз и ушей, идущих в комплекте с носом.

Короче, пошёл он в баню. Впечатление несмываемое.

По внешнему виду, которым он любовался из институтских окон, заведение вполне богоугодное. Двухэтажный увесистый особнячок из красного кирпича с финтифлюшками. По-купечески строгий и аляповатый, чем-то напоминающий Моссовет. И вестибюль, пованивающий хлоркой и щёлоком, тоже сносен. Налево окошко кассы, со сводом правил и услуг; направо пустая раздевалка, но можно найти гардеробщицу и сдать пальто в обмен на жетон с бечёвкой, которой следует оный привязать к руке, ноге, «хучь к хвосту». В выражениях не стесняются.

В предбаннике общего отделения уже не до смеха. Узкие не запирающиеся шкафики, куда не втиснется и трёхлетний ребёнок. На хлюпком полу полусгнившие до черноты решётки, неловкий шаг - и ты по щиколотку в киселе.

Колонный зал уставлен широкими мраморными лавками с отбитыми углами. Повсюду пучки волос и ошмётки косматой пены. Форменное чистилище. Цинковые шайки берутся с бою, ветераны отхватывают по две: и ноги попарить и шею намылить. К кранам, брызжущим во все стороны, не протолкнуться. Моются сразу человек пятьдесят, столько же оскорбляющих и оскорблённых. Гвалт стоит столбом. У кого-то мыло спроворили, из парилки вынесли старичка при издыхании, там подрались, тут заржали, дикие просьбы: «потри мне спинку, браток», «дай хлебнуть пивка». Демократия совершенная - всем на всех.

Интеллигенция омывается на втором этаже. Ей предоставлены отдельные номера с облупленными ваннами и душевые кабины с выкрученными крючками. Нет-нет да и раздаётся истошный женский крик или скупое мужское словцо. Мойка производится сеансами: номерным отводится час, душелюбам в два раза меньше, но их в два раза больше, и дорвавшиеся до воды стараются хватить лишку. В итоге ожидание затягивается минимум на два часа. Разнополые, но желающие купнуться парно, обязаны предъявить паспорта с брачным штампом либо незаметно сунуть банщице синенькую. Незадачливых срамят прилюдно и безвозмездно, несмотря на то, что головомойка не входит в перечень бесплатных услуг, как пользование раздевалкой и туалетом.

Кашель, подагрический кряхт, сладострастное фырканье, художественный свист. Воздух пропитан паром, каплющим с потолка и льющимся по стенам кабинок. Вмиг сухое бельё превращается в мокрое, и в коридор выскакиваешь, на ходу отдуваясь, застёгиваясь и зашнуровываясь. Напоследок выясняется, что твоё пальто исчезло вместе с гардеробщицей, а в кармане ключ от квартиры и письмо нескромного содержания с обратным адресом. И слезами умоешься в бане. Так припечатают, что застрянет в памяти на всю жизнь, будь ты хоть четырежды женат.

Впрочем, Лида была покладистой, и Ларионов это ценил. Однажды в шутку сказал, что старый халат и разношенные тапочки - вот что он ищет в женщине. Лида приняла на свой счёт и целый вечер с ним не разговаривала. А просить всерьёз снисхождения и сочувствия архаично и авторитарно. Этим смутишь только Аничку, потому что ни этого, ни того от неё не добьёшься.

В последние месяцы он редко наведывался к себе. После астрального вылета не выблевал ни строчки и читал разве что на ночь, для отвода лидиных глаз. Не слоняться же из угла в угол в нежилой прокуренной комнате, которая не была для него даже тем, чем становится камера для заключённого, вынужденного испытывать к ней чувство ответной привязанности. И стены четвёртого измерения (четыре шага вперёд и столько же обратно) не спасали от страха и отвращения трёхмерной дыры.

Вернувшись в общежитие, откуда не чаял вырваться, Ларионов вдруг понял, что вернулся домой. Здесь его не ждали и не любили (дом это там, где тебя любят и ждут), зато ничего и не требовали взамен. А как приятно не пахло трухой и жиром, не тренькали вёдра, и никто не спрашивал: «а ты?» Ещё в детстве его напугал этот плакатный вопрос: «А ты записался добровольцем?» и образ Родины-матери, уличающе-осуждающий, с другого воззвания, навсегда связался с ним.

К приходу Ани Ларионов навёл чистоту. И в мыслях. Это было нетрудно, потому что ни к чему не обязывало. Для чего убираются? Чтобы нагадить. Не покаешься - не согрешишь.

Не вошла, а ворвалась, пылающая от гнева, с багровым рубцом от локтя до плеча. Заголила и продемонстрировала.

- Возчик скотина. Не дала ему хлобыстать осла, так он меня стеганул.

Ларионов иначе рисовал их встречу. Не уповал на чудо, но рассчитывал на вдохновенье и скромный фарт, бо истощился и обремизился.

- Торопишься жить. Неумно это.

Грубо оборвала:

- Нечего сказать, молчи. Жди, пока накапает.

- Дружеский совет или обыкновенное хамство?

- Греческое напутствие.

Детская наглость не задевает самолюбия, она смешит.

- Не нападай. Самозащита агрессивна, я тебя зашибу.

Зажмурилась и нырнула в себя, и тут же выплыла на поверхность с недоумённым лицом прыгуна в воду (точней – из воды).

- Не сможешь. У тебя слабые руки.

- Значит, нечего с тобой цацкаться?

- Ты цацкаешься со мной?!

Ларионова потянуло в скверик, под липки, где в солнечную погоду собираются бабушки с внучатами. Воистину бог бережёт юродивых. Он засмеялся, представив Аню в лохмотьях, верхом на осле.

- Ты всегда рычишь, когда смеёшься, - сказала сердито, но с закипающей теплотой. - Будто отпугиваешь. Я в тебе очень это люблю.

Такого ему ещё не говорили.

- По-русски, пожалуйста.

- Ну, как кричат «поберегись» или «кто спрятался, кто нет, мне дела нет».

- Не надо во мне копаться, уважай моё право на самоопределение.

- Своё изнутри не видно.

У неё всё было расписано по нотам, и у него, слава богу, но он интерпретировал, максимально используя индивидуальные особенности и технические возможности (артикуляция, фразировка, см. «исполнение музыкальное»), а она просто извлекала звуки. Правда, не фальшивила.

- И что же во мне своего?

- Руки. Бёдра. Рот.

Дать пинка и привет папаше.

- Не юродствуй. Во мне.

- Ну и что, они говорят о тебе.

Элпис! У него сладко заныло в груди, но злость взяла верх.

- Девочка, а ты действительно говоришь ужасные вещи. Я тебе не динозавр, а ты мне не Кювье, чтобы коррелировать мои органы.

Попятилась, словно испугавшись, что он и впрямь её зашибёт, хотя он не сдвинулся с места, не отлипал от окна.

- Успокойся, - униженно попросил, - и давай разберёмся, что ты нашла во мне хорошего. Руки, ладно, шулерские, рот кривой, это возбуждает... некоторый интерес, но бёдра... что ты в этом понимаешь?

- У тебя сильные бёдра, как у кентавра. Я хотела бы такую половину.

- Ой, дура... - Он застонал от острой фантомной боли - схватило все зубы, разом. - Будь проклят день, когда женщина слезла с дерева.

- Я лажу по облакам.

За стенкой бурлили густые хрипучие звуки - пели братья Тертыщенки. Старший

Панкрат прикатил к Миколе «побачить город, он у меня дикой, дальше Успенки носа не казал». Тем же сиднем осел и в общаге. Пили без просыпу, мычали про «чорныи брови» и всякое «грае, грае, воропае». Брали, что называется, за душу и не отпускали.

- Забудь свои греческие мечты. Ни в каком уродском варианте я с тобой, девушка, не сочетнусь ни на небе, ни на земле.

Стояла, нахохлившись, с упорством двоечницы у доски.

- Ну что ты придуриваешься! - прикрикнул. - У тебя здоровое начало, чёткая реакция, ты вся из одного куска, доверяй себе, чёрт возьми!

- Кентавры демоны, боги-хранители, а не полулюди-полузвери.

Ларионов прошёлся по комнате, повторяя «так-так-так», как кришнаит, погружённый в медитацию. Попытался вообразить раскачивающийся колокол, что пробуждает сознание, усыпляя мозги, но вместо него возник неподвижный Германн, который долго не мог опомниться, и подвижный Нарумов, который тоже не мог опомниться (пиковый перебор).

- Тройка, семёрка, туз. Кто умён, сосчитай число. - Он повернулся к Ане. - А теперь послушай, что ты сказала. Ларионов, лучшее, что в тебе есть, это лапы, пасть и круп, ты всего лишь животное, Ларионов. Мало того. Вот что я в тебе люблю, вот что нужно мне от тебя, сказала ты, Аничка. Это, мать моя, высокая эротика. Я правильно рассудил?

- Эротика от Эрота?

- От урода.

- Я правду люблю, - заметалась, - это в тебе не врёт.

«Где ж вы навчылись зводить людей», старательно выводили Тертыщенки.

Хоть бы брат какой сыскался, позавидовал Ларионов, что-нибудь общее вспомнить, собаку соседскую или ту, что подкармливала шоколадом, когда муж уезжал в командировку.

- Принесла стихи?

- Не успела перекатать, они на клочках.

- А чего примчалась? На ночь глядя, к женатому человеку, без предрассудков, то есть без тормозов. А ну возьму да изуродую?

- То, что ты хочешь, нельзя взять.

- Здравствуйте, приехали. Твою кащееву жизнь?

- Нет, то, как я вижу.

- У-у… а я-то думал, что учу тебя уму-разуму и параллельно переживаю большое светлое чувство.

- Ты его пережил.

Он подошёл к ней и притянул за шею, «ну что ты болтаешь».

- Ты захватчик, - выставила колени. - Родного тебе не жалко, а чужое тебя бесит.

- Дурашка, - шепнул он ласково, - это давно моё и об этом кричат на всех крышах.

- На перекрёстках.

- На крышах, калька с французского. В любви важно вскарабкаться повыше. Бессмертная пошлость.

Аня выгнулась знаком вопроса, но он цепко держал её за бугры на затылке, по которым френологи вычисляют запасы чувственности. Недоразвитки свидетельствовали об успехе антинаучной теории.

- Я знаю, тебе тяжело со мной. Ты сам не свой. Тебя вообще нет.

- Есть, Аничка.

- Я тебя не чувствую.

Он сгрёб её и до хруста сдавил рёбра, «не чувствуешь?»

Забилась, как в истерике, пуская слюни.

- То-то. - И отпустил.

Пулей вылетела в коридор, он поймал её через порог, дёрнул за кофту и, кажется, порвал.

- Отдайся мне, хуже не будет, я сделаю всё... съем шляпу, повешусь, женюсь... но дай от тебя избавиться, не мучь меня...

У него отнимался язык, звенело в ушах. Типичная клиника малой падучей. Но и эта была с закидоном. По-собачьи глянула снизу вбок и громко чмокнула его в подбородок.

- Ты меня разыграл?

Он машинально кивнул.

- Зачем?

- Каждую идиотскую ситуацию я довожу до абсурда.

- Чтобы избавиться от себя?

Выучил на свою голову. Но не так же всё просто, боже ж ты мой.

- Честно, чего ты хочешь?

- Последней черты. - Он взял разбег. - Мы разминулись во времени. Ты забежала далеко вперёд, мне за тобой не угнаться. Я подохну, пока ты вырастешь.

- Один из нас должен идти быстрей, а другой остановиться.

- Всё равно кто?

- Да.

- Ты отдаёшь отчёт?

- Отдаёшь.

- Беги. - Он вцепился в локти. - Только не оглядывайся, сынок.

Глава 59

«Страх перед смертью и отвращение к жизни - два чувства, которыми люди живут в смутное время», сказал Блаженный Августин. Сказал и натянул нос Пелагию, верховному аскету Средиземноморья, края благодатного, оттого и не верующего в благодать. Правда, в русском смысле «блаженный» звучит сомнительно, но Августин был африканцем и сыном язычника, к тому же в пятом веке католики вряд ли слыхали о греческих идиотах, прорвавшихся в тартарское языкознание. Ведь «idiotes» не слабоумный, а тот, кто не признаёт общепринятых истин и правил. Им был и Монтень, вернувший слову его истинное значение. Тоже жаловался на плохую память, но по количеству цитат на страницу до сих пор всех бьёт, и древних и средневековых вкупе с ленинцами. «Превосходная память часто уживается с сомнительными умственными способностями». «Хорошая память - неумение мыслить». Знал что говорил.

Ларионов думал и полудремал. К страху и отвращению мы привыкши, четвёртый век живём в состоянии смуты и претерпевания. Раз в тридцать лет кто-нибудь просыпается с криком и, перебудив ближних, вновь захрапывает под шумок. Достойно ли терпеть? Старый вопросец, той же четырёхсотлетней выдержки.

Достоинство, как-то спросила Аня, прочитав Библиотеку им. Зои Космодемьянской, это пушкинское самостоянье? Сам стою, вспомнив Тенина, подмахнул, зри в корень. Начала

рассуждать. Один во всей вселенной? С кем же себя сравнить? Вспомни сказку про набитого дурака. Мать ему говорит: «ты бы потёрся около людей, да ума набрался». И по-моему, достоинство от ума. А чего тогда спрашиваешь? Ты же не отвечаешь. Он вспылил: не вали с больной головы на больную.

А что есть здоровье? Не духовно-физически-социальное, определяемое как благополучие (термин, введённый советскими здравоохранниками), а как талант, способность уравновешивать диспропорции и расхождения. Эта нематериальная частица, обретаясь в силовом поле творчества, хронически нестационарном, вершит чудеса: превращает воду в вино и вероятное в необходимое. Не товар - деньги - товар, а вдохновение - опус - вдохновение, прямая генетическая трансляция. А отсутствие физических дефектов («был слеп Гомер и глух Бетховен»), ментальных пороков (гениальных безумцев хватало во все времена) и социальной прикаянности (Диоген, «несравненный Виллон» и сонмы неподражаемых) ещё не здоровье. Побольше бы таких «больных», очеловечивших мир на много веков вперёд.

Пойми это вовремя благодарное человечество, не пришлось бы Ламарку ломиться в открытые двери конвентов с философией зоологии, и его гипотеза наследования приобретённых признаков получила бы подтверждение на уровне современной эволюционирующей единицы. И не потребовалось бы «теории катастроф» и «местного отбора», в соответствии с которым тертыщенки сбиваются в популяции, а ларионовы дивергируют (думают по ночам).

Но чем творческое обострение отличается от любого другого и является ли оно переломным в болезни? А к какой категории недомоганий относится общее состояние бездарности? Кто нормальней: гений или посредственность? Гениальность иррациональна или причинна? И можно ли считать полноценным человека (руки, ноги, внутренности - всё на месте и крыша над головой), сорок лет проторчавшего в Успенке без всякого интереса к миру? Не прочитавшего ни одной книжки, никого не родившего и не пригревшего, труждающегося ради рта своего? А психопат Апраксин, что бросился в горящий коровник и спас колхозное стадо, он, как это… невменяемый? Сверзился-то с ума задолго до коровьего подвига. Жертва станичного акушерства. Щипцов не нашлось, тянули кузнечными клещами.

Каким местом надо было думать, чтобы высидеть коммунизм, этого «четырежды рогатого осла»? Любимое ругательство Маркса. К тому, что «упражнение» и «неупражнение» органа ведёт к его усилению или ослаблению не только у данной особи, но и у всего её потомства - основная ламарковская посылка. Вот и заседают по городам и весям комуняки, тренируют классовую мышцу. Не зря у всех геморроидальный цвет лица с шинельным оттенком.

А что потом? Аномалии исчезнут или станут нормой? Все русские разговоры сводятся к светлому будущему. Это давно подмечено интеллигентами, а в форме анекдота рассказано ещё в прошлом веке: как англичане, так о пари, французы о клубничке, а мы... так, как-то всё. Большие оригиналы. Золотая мечта не уживается с нашей действительностью, потому и залетает в дали необозримые.

Но герои побеждают лишь в мифах, а в трагедиях погибают. В комедиях и того хуже - женятся. Заснул героем, а проснулся персонажем. Немая сцена, не до эксода (в античной трагедии торжественный уход актёров со сцены).

Достоинство, от ума... И откуда в ней эта злая женская гордость, сучья уверенность, что он никуда не денется, что ей известно нечто такое, до чего ему, длиннобудылому

(казацкий перл), не дорасти, что он, дядька, лбина, перед ней мальчишка и дурак? О, это базисное греческое начало…

За стеной послышался стон и раздирающий скрип кровати. Тертыщенко тоже страдал, но во сне. «Да не брал я! Тута лежала!» крикнул и стих. Ларионов включил настольную лампу и закурил. Спать расхотелось. Половина третьего, ни туда, ни сюда.

А пол, пол как загажен... обрывки, огрызки, чей-то клок. Почему всё, что упирается в пол, вызывает у него отвращение? С мужиками понятно, эта территория для него закрыта, как Томск-2, город-завод оборонного значения. А с бабами? До тех пор, пока с ними можно по-человечески что-то сделать и обсудить, о'кей, работают все мозговые центры, симпатии и антипатии. Но женщины - великие провокатрисы, в любое дело привносят интим: восхищаясь, влюбляются, обманувшись, мстят. Словил искру, и пошли сдвиги по фазе. В каждом жесте чудится подвох, в каждом слове каверза. Зачем юбку укоротила? Куда смотрит? Почему под глазами тени? И встречное насилие - подставить губы, запустить когти, комиссарский поток вопросов: «где был?» «о чём думаешь?» «что за пятно?» И две крайности, две ритуальные мины: умильный восторг или скорбное недовольство. Не те попадались?

Вы позволите предложить вам чаю? Окажите любезность. Вот, пожалуйста. Спасибо, я чай не пью. Но вы же... Я позволил вам предложить.

Как с анькиным грузином. Тот, скажем, не чувствует языка. А братья по азбуке, со степенями и бантами? Златоусты, читающие акафист по бумажке? Они-то и разучились говорить (не разучишься, не научась). Пялятся в зеркало с обратной стороны, но амальгама непроницаема и узнавания не возникает.

Филологический бардак.

Недавно опохмелялись в сквознячке с Витьлексеичем. Тот поддал в честь Дня артиллерии, а он - поскольку веселие на Руси есть пити. Ну и разговорились под пиво с солёными сушками.

- Как испохабился мир! - воскликнул они, едва освежился и вновь захмелел. - Ничего не осталось, кроме денег и секса.

Ларионова аж скрутило: на себя посмотри, торчок, не твоими ли подвигами славен наш день? Сказал помягче:

- Ты плохо читал Маркса. Ничего другого нам и не обещали, просто гипотеза превратилась в подлинно научную практику. Виленин. Том шашнадцатый.

Соснов оглянулся, но, убедившись, что их не слушают, одобрительно закивал.

- В принципе ты прав. Но понимаешь, дед мой был водовозом, а мать прачкой. Если бы не революция, и я бы отирался на заднем дворе у какого-нибудь купчины. Другое дело, что запороли хорошую идею, но это уже на совести Сталина.

- Террор начался в осьмнадцатом году, и развязал его дедушка Ленин. Папа Сталин ещё не втёрся в Политбюро.

- Так я тебе о буржуях.

- А по мне партийные бонзы отвратней купчин. Те хоть казну умножали да меценатствовали. Сколько твой дед зарабатывал?

- Рублей десять-двенадцать.

- А скольких кормил?

- Ну, пятерых. Фунт хлеба стоил полкопейки. Куда ты клонишь?

- Туда, что сейчас водовоз пятерых не потянет. Очень сложно?

- Не скажи. Вшивый водопроводчик больше нас с тобой заколачивает. И время было

другое. Смутное.

- Оно всегда отчётливое. Для дальнозорких.

Соснов сощурился и окунул губы в пену, пофыркал, отгоняя её к дальнему краю кружки. Он был близорук.

- Поспорил бы я с тобой, да башка трещит, не в форме я сегодня.

- Да и я в штатском.

Вытаращился, рыгнул.

- Ну и шуточки у тебя. А если без дураков, мне по душе то, что ты говоришь, но в голове как-то не укладывается.

- Друг мой верный, - Ларионов похлопал его по плечу, - в этом и соль - нравиться наперекор всему.

- От тебя заболеть можно, - по-стариковски заохал, - то подлавливаешь, то подначиваешь. Ты, случайно, не бес?

- А ты как думал? Заслан с небес. Искушать родственные души.

От третьей кружки они отказался.

Что-то похожее вышло и с Аней. До свадьбы, в одну из суббот.

- Девушка, я могу предложить тебе руку и сердце? - спросил, копируя Ленина на броневичке.

- Можешь, - сразу схватила.

Стало стыдно, будто сам себя обманул.

- Я предлагаю тебе руку и сердце.

Стало обидно, будто сам себя обманул и бросил.

- Закрой глаза.

Приложила его руку к его сердцу и накрыла своей.

- Взяла. Теперь ты мой.

- А ты моя?

- Моя.

- Ах ты собака! - ахнул. - Ты что это делаешь со словами?

- То, что ты со мной. Выворачиваю наизнанку.

Ларионов покрутил языком, отцепляя крючок.

- Ничего, перелицовка открывает новые возможности: явное становится невообразимым, а тайное бесспорным. Ты прогрессируешь. Жми дальше.

- Перелицевать можно один раз. - Сказала, словно глядя на круги, расходящиеся по воде. - Потом вещь надо выкинуть.

- Слово не вещь, а совокупность понятий. Не грамматически, а устар. и высок. Пример из жизни. Мы думаем: карьера, жратва, гульба. Говорим: идеалы, здоровье, любовь. Делаем: деньги, детей и кухню, как элегантно выражаются французы. Не одно и то же?

- Это разные слова и разные смыслы. Ты же фил, ты сказал значит сделал. Сказать надвое, как сделать наполовину, получится хока недоделанная.

- Какая ещё хока?

- Недоделанная. Страшила, которым пугают детей.

- А может, и стоит их постращать? Они же дурные и не знают что плохо, а что хорошо.

- Тебе было когда-нибудь страшно?

- Продолжай.

- Хочешь, чтоб снова было?

- Понимаю.

- Ну вот, и они, дурные, не хотят.

Все его останавливают, учат жить. По-жречески, по-фивански. А он себе идёт. Имитируя походку, сохраняя своё нестабильное равновесие, которое усиливают вогнутые колени. Ну да, как Эхнатон, первый из царей, сделавший шаг в скульптуре. Да, идёт. Стоя на месте, как Аменхотеп IV.

Утром стряслось чудо - в форточку влетел голубь. Ларионов на ходу, вошло в привычку, дожёвывал краковский крендель, как вдруг занавеска встопорщилась и на пол упал этот символ мира и школьного безобразия. Он поднял птицу и прочёл на крыле: «Qui m' aime, me suive!» Старинный рыцарский клич: «Кто любит меня, за мной!»

Однажды рассказал ей про Филиппа Красивого, известного Авиньонским пленением пап. Ктати, в средние века оно именовалось «вавилонским пленением» и по длительности в семьдесят лет и по названию совпадало со знаменитым библейским, затеянным Навуходоносором, (один из главных параллелизмов, найденных дедом). Красавцем не восхитилась, а клич попросила написать на ладони.

Ларионов высунулся в окно - и след простыл. Нагнал бы, да опаздывал на лекцию, а вечером сморило и продрых до утра. Не поленился-таки, сбегал по холодку, пришпилил к ясеню записку: «Мемориал братьев Знаменских. Двойной агон. Сбор на привокзальной площади в 16-00. Общество «Динамо».

Всё равно не поймёт.

Глава 60

Общественный транспорт - половина городских удовольствий и городских мытарств. Дополняя и отрицая друг друга, они составляют сложное неделимое целое.

Автобусы в русской глубинке особь статья. Они единственное средство передвижения, доступное людям, живущим на зарплату, пенсию, стипендию, алименты, а таких у нас большинство. Поймать такси (удачный глагол) в нужном месте и в нужное время почти нереально, вызвать - хлопотно и накладно: найти телефон, дозвониться, и улицы вечно перерыты, что ни квартал, то крюк. Нанять подводу не проще: встать спозаранку, сыскать извозчика, уломать его и потерять полдня. А страсть к перемене мест при всей неподъёмности, в которой упрекают наших обломов, прямо-таки фантасмагорическая. Едут кому и лень: на работу, на учёбу, в больницу, в гости. Чаще - глянуть «что где дают». Потому и газуют ЛАЗы-ЛИАЗы в авральном режиме, попутно возмещая просчёты грузового хозяйства - перевозится всё, что влезает в двери, от корыт и кроватей до хрюкающих мешков и крякающих корзин.

Час пик начинается в пять утра и продолжается до глубокой ночи. Видя с каким остервенением бросается наш народ на приступ крепости на колёсах, можно в сердцах помянуть героический штурм Орешка и посочувствовать шведам, до сих пор вздрагивающим при упоминании о родном Нотебурге.

Внутренние параметры автобуса намного превосходят его габариты. Сельди в бочке, уложенные рядком и пересыпанные солью с пикулями, чувствуют себя уютней, чем пассажиры, скрученные морским узлом, который самопроизвольно распускается и

затягивается от остановки к остановке. Солёных шуток и прочих пряностей тоже в избытке, и только смех заглушает стоны, вопли и ругань участников этого трагикомического передвижного спектакля.

Но нет худа без добра. Автобусы настоящий кладезь устного народного творчества и своеобразный центр по сбору, обработке и передаче информации. Здесь услышишь и анекдот и частушку, и новость, которую завтра прочтёшь в газете, вплоть до государственной тайны. Ссылка на источник не обязательна, довольно испытанного «а вот говорят».

- Обилечивайтесь, граждане! - зычно взывает кондукторша со своего шестка у задней двери, увешанная колбасками чёрно-белых и бело-красных билетиков за провоз души и багажа.

- Эй, брюхатая, чего бочку катишь? Инвалид я, разуй шары!

- Недомерок, я те говору, сыми с ножки порфель (ударяя на первый слог), не, ну ты понял? (на второй).

- Што ни говно, то к нашему берегу (об установлении дипломатических отношений между СССР и Чад).

- Не кряхти, бабка, на том свете насидишься, в мусульманском раю.

- Пошто ж, милок, в мушульманшком?

- А там сидючи хоронют, гы-и...

- Точно инфаркт, в кремлёвке лежит.

- Не пихайтесь, граждане, соблюдайте культуру!

- Спутник, спутник, ты распутник, ты летаешь меж небес, ты летаешь, прославляешь мать твою КПСС.

- Тише ты.

- Водитель, не дёргай, не картошку везёшь!

- Это какой там мешок вякает?

- «Лучше не-е-е-ту того све-е-ету...» Песня жмуров.

- Хлопцы, а шо це такэ жмуры?

- Покойники, дядя.

- Убери лапу, гадёныш, пасть порву.

- Идёт мужик по Красной площади, а навстречу ему еврей. Мужик и спрашивает, что эти буквы значат: 1917 - 1962? А еврей ему: вы что, никогда не были на кладбище?

- А почему еврей?

- А хрен его знает.

- Языки бы вам пообрывать, сучье племя!

- А он мне грит: не мылься, мама, бриться не будешь.

- Хто ховорит?

- Да зять мой поганый.

- С чего он взял, что ты броишься?

- Дак выраженье такое.

- Выражается, ховоришь?

- Да ну тебя в баню!

- От дура, мы ж с бани едем.

- Через три дня цены на золото подымут, кумекай.

- А Хрущ-то, слышь, под замком сидит.

- В кутузке?

- Да ни, на даче, через забор с Микояном.

- И того упекли?

- Держи карман шире. Армян, он хитрожёлтый, усех купил.

- Как армян, так сразу жулик, не стыдно вам?

- Хачик, тебя не трогают, и ты не лезь.

Ларионов заработал своё «а ещё в шляпе» и выдавился на свет божий. Аня прогуливалась у фонтанчика с львиной мордой, вмонтированной в стену медпункта. Засекла мгновенно, не успел смешаться с толпой.

- Ты откуда?

- От Тенина.

- И что?

- Буду жить.

Разговор с дохтуром получился сухой и маловразумительный. Заключение не показал, делами не поинтересовался, «моё почтение» и перешёл на медицинский жаргон. Ларионов теребил шарф, звенел мелочью, раскачивался на носках. Тенин даже не предложил ему сесть. В пространстве синего эфира, где раньше порхали теплолюбивые ласточки, теперь стояла бездарная серая погода.

- Георгий Ефремович, ну что вы как неродной, - пожаловался, хотя собирался лягнуть.

- А с тобой нельзя по-хорошему, - посмотрел на часы и к двери. - Сам не ляжешь, я Фаинку подключу, а не справится, бригадой санитаров укатаю. Ты мне, образно говоря, наскучил.

- Вот добью Пигмалиона...

- Ты его, знаешь, где добьёшь? Будешь бахаться о резину и проклинать себя, что не послухался шептуна Тенина. - И через плечо: - Завтра четырёхместная освободится, сделай оргвыводы.

- У меня новая жизнь начинается... эй, послушайте, я подвиг хочу совершить... дайте три дня отсрочки!

Не оборачиваясь, выбросил фигу.

- Ты куда сейчас? - заторопилась и Аня.

- Домой. Кое-что добахаю. Что губы надула?

- Холодно. Придётся печку топить.

- Я те дам печку, небу станет жарко.

Скривилась половинкой лица и направилась через сквер к своим железнодорожным сараям. Ларионов, скрипя сердцем, потащился за ней.

- Что удумала? Признавайся.

- Может, тебе лучше в Москву уехать?

- Так надоел?

Она отталкивала его и шла.

- Ты про какую печку городила?

- Что дровами топят.

Вынула из-под камня, приваленного к сараю, ржавый ключ, воткнула его в амбарный замок и принялась крутить. Право, лево не различала.

- Пусти, безручка.

Со второго захода удалось открыть, и дохнуло лесом и мышами. Ларионов осмотрел клеть, но не увидел ни сломанных игрушек, ни трёхколёсного велосипеда, ни прочих примет счастливого детства. Вдоль каменных неоштукатуренных стен высились стеллажи плотно сложенных поленьев. Вот она, народная библиотека.

Аня набила дровами кошёлку с дырявым боком и привалила их кусками антрацита, «неси».

- Батя дома?

Что-то буркнула, вновь наяривая ключом. По дороге Ларионову показалось, что он потерял опору и повис в воздухе. Ухватился за Аню, она устало глянула на него и ничего не сказала.

Главный книговед отсутствовал. Наверно, рванул в Пергам по обмену опытом. Аня начала растапливать печку. Ларионов разделся и присел на валик дивана.

- Я больной? - спросил, сжимая и разжимая пальцы.

- Какой есть.

Она умела быть жестокой. Не из желания причинить боль, но вполне сознательно. На радиоле валялся Уайльд, «Преданный друг». Друг, которого предали.

- Забиваешь мозги ерундой. Читай русские сказки, прелесть невообразимая.

Не слушая, прибирала в комнате, двигалась, как в тумане. Бледная, вымотанная вся. Не высыпается?

- Ты ела сегодня?

Пожала плечами.

- Мёрзнешь?

Не ответила.

- Иди согрею.

Ноль внимания, фунт за полкопейки.

Спрятала в шифоньер выглаженные носки, брюки в стрелку, заячью сорочку с застроченным воротом. На дверце висела зелёная удавка с жёлтой искрой.

- Кто у вас был?

- Когда?

- Вчера, позавчера, позапозапозавчера.

- Никто.

- Шикарный галстучек. Твой?

Поправила одеяло, подвязала обвисшую штору. Хозяйственная.

- Да не мелькай ты.

Постелила чистую скатёрку.

- Ну тогда я сказочку расскажу. Про Верлиоку. Об одном глазе, на одной ноге, костылём подпирается, сам страшно улыбается. Как я.

Остановилась.

- И была у него такая же натура: завидит кого, не утерпит, чтобы дружбу не показать, бока не поломать. Похоже?

- Это не ты.

- Дальше я. Раз увидал Верлиока девочку, хорошенькую-прехорошенькую. Ну как не затрогать её? Но от нашего ребра не ждать нам добра. Обидная поговорка. И продолжение есть: задел рукой - поплатишься головой. Короче, прибрал Верлиока девочку.

- Убил?

- Может, убил, а может, съел. Не знаю, со свечкой не стоял.

- Значит не ты?

- Я, я. Просто на минутку отлучился. Сначала лучился, а потом отлучился. Как от груди. Не перебивай. Нашёлся тут добрый молодец - внучкин дед. Девчурочка, оказывается, ещё и внучкой была. Шустрая такая нюрочка, чуть что, в слёзы: «как же мне не плакать...» Рефрен у неё, понимаешь, был, эдакий барочный триолетик: абаа...абаб. Шут с ней. Пошёл дедка войной на Верлиоку. Явился пред его светлое оче, глядь, а внучка на троне, в алмазной короне. Старый-то думал, что она по нему убивается, а она медком упивается.

- Здравствуй, служивый, как живёшь-можешь? - спрашивает Верлиока.

- Живу хорошо, могу плохо, - отвечает дед, - а к тебе пришёд не по своему хотенью, мать-родина позвала.

- Ты, казак, мать не путай, - смеётся Верлиока. - Чай, завидки тебя берут с моего богатства? Выпей, авось полегчает.

- Больно ты мне нужон, - гугнявит дед, - делай что хошь, лишь бы войны не было. А выпить не откажусь.

Выпили они по-русски и не стало войны. Вот тебе сказка, а мне бубликов вязка. Что поняла?

- Что наврал с три короба. Война из жизни, все дерутся за мир. Верлиока из сказки, обыкновенное чудо. Внучка у тебя придурочная и дед с приветом. Это мы?

Ларионов вспыхнул и отвернулся. Напротив окна стоял пассажирский поезд, тринадцатый вагон.

- Нет, правда?

- Пойду я, не обижайся. При чём тут правда?

- А печка при чём? - И шваркнула кочергой о железный лист, прибитый к полу.

Ларионов качнулся и подхватил свечу, упавшую с этажерки.

- Да грузин твой нейдёт из головы. Ревную я тебя, Аня, ревную, оттого и мерещатся мне верлиоки, прибирающие девчурочек. А я не дед, даром что внучкин, я бечёвочка, что сама, своими ножками, идёт на расправу. Вместе с другими членами угнетённой невинности: колотушка там, жёлудь яснополянский, чей-то муж... куцый да умный.

- Ты допиши Пигмалиона, - тёплым грудным голосом сказала Аня, - тебе сразу станет легче. Не говорю, что лучше или хуже, но выйди из себя, пожалуйста, увидь что вокруг.

- Устами младенца, - закашлялся Ларионов, - мёда не пить. «Увидь» после двадцать второго съезда для меня потеряло смысл, а «исполнись волею моей» и подавно не впечатляет. На хлеб нажимай, дубина, чтобы в палку не превратиться.

Аня высунула голову в форточку, как жало мудрыя змеи, и прошипела:

- Допиши, допиши, иди и допиши, я тебя подзарядила.

- То-то меня трясёт. - И сжал ладонью её лицо.

Иной бы не дотянулся, форточку от земли отделяло около трёх метров, но длинному Ларионову бог дал не только длинный язык, но и довольно порядочные руки.

Глава 61

Звонок на... и звонок с... звучат одинаково, но вызывают разные чувства: безотчётной тревоги и беспричинной радости. Ни эволюция, ни прогресс не сделали человека разумней

(религия лишь примирила со стихией) и как раньше наивно боялись и ликовали, так и продолжается, запасы доверия безграничны.

Ларионов, «да, скифы - мы!», прервал себя на середине цитаты - началась перемена - и радостно утстремился к выходу, но тут подлетел неутомимый Гаврилкин, толстый мальчик с бурачным степным румянцем.

- Сергей Петрович, как вы смотрите на то, чтобы на следующем занятии обсудить творчество наших кружковцев?

Южная зоря уже насчитывала до сорока нестационарных звёзд и с десяток белых карликов. Все писали стихи. Самыми удачными были: «о чём мечтаю, сбудется, кого я жду, придёт». Дышится, сбудется, стерпится. Безличность, претендующее на имя.

Ларионов любил стихи, и это ему мешало любить тех, кто их писал. Однако он мужественно преодолевал снобизм (разновидность литературного барства) и якшался с дворовыми мальчиками, их лошадками, санками и прочими быстроходными средствами поэтического легкомыслия.

- Косо. Обсуждать пока нечего. Если хотите, могу рассказать о технике современного стихосложения, а после занятия почитайте друг другу стихи.

- А вы останетесь послушать? - увязалась вслед Галкина, «запавшая на него», как доложила Лида, во всём осведомлённая по линии профсоюза. - И вы говорили, что...

Ларионову до одури хотелось курить, но не бежать же с Любочкой в туалет, а приклеилась намертво и плела, плела про какие-то рестораны и страусовые перья. Он плюнул и закурил прямо у лестницы.

- Но она была падшая женщина...

- Кто?

- Незнакомка. Написано же «тлетворный дух».

Гиппиус, Андрей Белый, Ахматова, пластинка с живым голосом Блока... Хоть святых выноси.

- Перечитайте ещё раз.

- А в десятом куплете...

Анька смеялась, рассказывая, как во время «термидорской чистки» (каждое лето выбрасывала мешок черновиков) наткнулась на свою тетрадку ученицы второго класса, на последней странице которой, под бордюрчиком, ею же было нацарапано: «И вижу берег очарованный и очарованную даль». А чуть пониже - «здорово» с тремя восклицательными знаками. Не помню, чтобы читала Блока, но откуда взялось, откуда? приговаривала, смеясь.

- Так это любовь? - потупилась Галкина.

Как чушь нести, не робела, а сказать человеческое застеснялась. Через год получит диплом, недоучка, и начнёт калечить будущих строителей коммунизма. Мысль вышла нечёткая, но в целом злорадная.

- Любовь, - отмахнулся и спиной почувствовал чей-то горячий взгляд.

Вот это да. Аня стояла на верхней ступеньке, всё слышала и поджидала, когда он покончит с незнакомкой.

- Вы ко мне?

- К вам.

А ведь были на «вы». Пустое сердце билось ровно и в мозгу ничего не качалось.

- Идите, Галкина, идите.

Оглянулась, опять, вдругорядь и вкопалась у двери в аудиторию. Подошли остальные, завязалась беседа.

- Ты одна?

- В трёх экземплярах. Меня сегодня записывают на радио.

- На каком языке говоришь?

- На советском. Что читать?

Он перечислил, «и это», достал из кармана вчетверо сложенный лист с аниными каракулями, перечёрканными его рукой.

- Я немного выправил. По-моему, вышло неплохо.

Прочла и вернула хугольник, то ли вшестеро, то ли ввосьмеро сложенный.

- Лучше чем. Но это не моё.

Впервые отвечала на равных.

- Я своё прочту.

- Тогда вообще не читай, пощади уважаемых радиослушателей.

- Да кому я нужна в среду в четыре часа?! - полыхнула огнём. - Домохозяйкам? Пенсионерам?

- А для кого писала?

- Для тех, кто торчит на лекциях.

- Значит для студентов. Правильная мысля. Что делаешь в пятницу вечером?

- Уроки на субботу.

- Днём приготовишь, а вечер подаришь мне. Закрой глаза и повторяй за мной: в пятницу, вечером, я сделаю всё, что скажет мне Ларионов.

Глядя в упор, повторила.

- Согласен, - смутился он, - идиотская просьба, но ты же не идиотка.

И пригнувшись, коснулся губами её щеки.

Мимо продефилировал Дыховичный, «наушничаете?» По коридору с раскрытыми объятиями мчался Соснов.

Аня бросилась вниз по лестнице.

- Ни пуха ни пера!

И повернулся к Соснову, «в оригинале грубей».

Глава 62

Актовый зал гудел и бухал откидными сиденьями. Ларионов вывел Аню на сцену и твёрдым, хорошо поставленным голосом сообщил о её первых успехах: две публикации в городской газете, одна в районной и краевой, выступление по радио и телевидению, творческий вечер в первой и девятой школе, а теперь попросим автора...

Аня не волновалась. Она перешла все границы страха и ожидания и всматривалась в тёмный зал, как беглый холоп Болотников, ослеплённый в Каргопольской тюрьме и зашитый в мешок, смотрел в ледяную онежскую муть.

Я выбираю выбор,
из всех желаний - страсть,
любой смертелен выверт:
спастись или пропасть...

Сучка, заорал про себя Ларионов, сучка, сучка родная, господи прости, но какая сучка! Аня читала выправленные им стихи, те самые, хугольные, что мельком пробежала и вернула наотрез. А начала с них, нарочно, на, мол, подавись. Он вцепился в занавес, «убью, никому не достанешься».

Мне сказали: ты высокомерна.
Я сказала: мерю высоко...

Ей удалось развязать мешок. Ещё захлёбывалась, но уже не барахталась, а судорожно плыла к противоположному берегу.

Ничего, кроме горя и счастья,
я тебе обещать не могу.
Вся наука: прощать и прощаться,
и ронять башмачок на бегу...

Зал ревел и ходил ходуном, словно раскачиваясь перед тем, как хлынуть и затопить всё вокруг, но Аня поднимала руку, и он откатывался.

Ах, у поэтов всё наоборот:
бездельник тот, кто с нами пьёт.

Мы не хмелеем, право, от вина,
у нас своя отрава и вина.

Но вы напрасно нам смеётесь вслед -
там плохо, где нас нет.

- Отойдите от занавески! - грубо одёрнули сзади.

Ларионов вздрогнул и разжал пальцы.

- Ну как?

- На ять, - чуть помягче ответила Фаина Марковна, но довольно-таки энергично оттирая его в угол. - Стойте здесь и не дёргайтесь, собьётся.

- Они-то чего вопят? - не зная, на кого наброситься, взорвался Ларионов. - Думаете, что-нибудь секут? Надысь одна дурища обозвала блоковскую незнакомку гулящей девкой. Небось громче всех визжит.

- Ну и говорочек у вас...

- Тихо, слушайте.

Я помню, что было со мной до рожденья...

Он читал вместе с ней, вставляя: «пауза, вот кретинка», «да не крик, а миг», а Фаина Марковна оттаскивала его от занавески. Оказывается, из зала было видно, что она на грани недержания.

Лоза набухла виноградом,
шиповник вспыхнул и погас...

Пошёл «Сизиф».

Но кто-то должен двигать время,
собою гору перемочь...

- А размах у неё мифический, - усмехнулась Фаина Марковна.

- Да что вы понима... - снова сорвался. - Умные стишки да бездарные. Собою - мобою, тоже мне, находка.

Так целуй меня, так целуй
слаще мёда, больней расставанья...

- Ну этого я тебе никогда не прощу! - зарычал Ларионов. - Ах ты сучка! Ах ты...

- Серёжка, прекрати! - звонко вскрикнула Фаина Марковна, в один присест обзывая его и тыкая, да ещё выкручивая запястья.

- Да вы представляете, что завтра будет?! Ей же проходу не дадут! И не из любви к её поэтическому таланту, а из-за этих сучьих соплей!

- Тебя в зале слышно, ну же, ну... - хлопала его по рукам, горевшим как угли. - Ничего, организуешь неусыпный надзор.

- Как же, даст, это ж такая... жучка. Ага? Вон как заулюлюкали! Нет, я не могу, я сдохну...

- Неужели настолько серьёзно? - спросила с плохо скрываемым удовлетворением.

- А чем я, по-вашему, болен? - Сказал и сразу прозрел - предметы обрели очертания. - Да не трясите вы меня!

Я ухожу от вас не навсегда...

Опять топотали и бухали седалищами.

- Она не выдохлась? Сорок минут прошло.

- Я её на час натаскивал, выдюжит. Она только с виду такая дохлая, а внутри - скала. Знаете, как утёс по-гречески?

- Вы бы зашли ко мне завтра, у меня к вам дело. Часов в двенадцать.

- А, Тенин возникает в полдень. Выполняете боевое задание?

- Собираюсь, о чём и предупреждаю. И заодно: Лида в зале и вид у неё, как у матроса с гранатой. Постарайтесь сразу уйти.

- А вы не могли бы её задержать? Пока мы огородами, огородами и в кусты.

- Предлагаете стать на шухере?

- Здесь говорят «на атасе».

- Ну, друг мой, вы окончательно обнаглели.

- Тсс! Это последнее, бронебойное, вторая строфа.

И плохих и хороших тьма,
будут рады любому спору,

ну а я разберусь сама,
как мне всё-таки сдвинуть гору.
Я не крепче, чем кварц и мул,
и моих знатоков не строже,
но я слышу...

- Тяни! - рявкнул.

подземный гул...

-Ещё, ещё... Пошла!

И гора его слышит тоже.

- Ух ты! Ах ты! - засмеялась Фаина Марковна, зажимая уши.

Ларионов схватил её и закружил, но она каким-то бандитским жестом развела локти и высвободилась.

- Дать бы тебе по губам, да некогда, иду наперехват. Прыгайте в зал, она при всех не посмеет.

И сердито поправила растрепавшиеся букли.

На улице стоял собачий холод, и они припустили по боковой улочке, через студенческий сквер, мимо музыкальной фабрики (так и говорили) и перевели дух у самого роддома. К дверям приёмного отделения подъехала «скорая», выбежала старенькая санитарка и, сама кряхтя, помогла выйти охающей роженице с оплывшим колышущимся лицом.

- Узнаёшь свою студентку? - словно из-под земли вырос Соснов. - Салют подрастающей смене!

Ларионов продрал глаза и опознал Ольгу.

- Что ты с ней сделал? - ляпнул от чистого сердца.

- Да ну их в болото! - в голос крикнула Ольга. - Всех бы поубивала! Ой! Мамочка! Родненькая! А-а!

- Чего разоралась? - прикрикнула бабушка. - Дитё заикой сделаешь.

- Так больно!

- Не надо было замуж иттить.

- Да кто ж знал, что он такой, этот замуж... - провыла Ольга, хватаясь за поясницу и выгибая огромный живот.

Ларионов прыснул, за ним Аня, Соснов, и уже в приёмной раздался истерический ольгин хохот.

- Ну, мне на вахту, - вздохнул они. - Пожелайте нам счастья, дочку то есть.

Они по очереди пожали ему руку, «дай бог», и пожелали спокойной ночи.

- Надо же, - восхитился Ларионов, когда Соснов, сгорбившись, протиснулся в стеклянную дверь, - как Ольга заголосила, как нормальная баба, а то всё мекала да мяукала. Великое дело - судьба.

- А что теперь? - спросила Аня. - Я не хочу домой.

- Ко мне нельзя, - осторожно сказал Ларионов.

- А я и не прошусь. И в подъезд не пойду.

- Когда я водил тебя по подъездам? - В затылке щёлкнуло, шарики зашли за ролики. - Ты меня с кем-то путаешь. С кем?

- Мне холодно. Я есть хочу.

Он вцепился в подкладку карманов.

- Так бы и сказала. Ресторан «Юг» или гостиница «Северная»? Шампанское в номер?

Прикрывшись воротником от ветра, следила за расхаживаниями Соснова, изучавшего настенную агитацию.

- Обещаю радости рая. Я умею кутить, я много чего умею. Пойдёшь?

- Тебя не пустят, у тебя местная прописка.

- И это ты знаешь? Какая грамотная девочка. И пишешь зажигательно, с огоньком. «Ну целуй меня, целуй, хоть до крови, хоть до боли...»

- Это Есенин, - насупилась. - У меня по-другому.

- Странно, а так похоже. Да я со стыда сгорел! Мало того, что слямзила, да ещё и вывалила перед всеми!

- Я нечаянно.

- Стоит только начать.

- Ты как Борискина: сегодня дневник забыл, а завтра Родину предашь.

- Ты что дурочку ломаешь? Ты кем себя вообразила? Тебе похлопали, и ты стала поэтом? Браво, брависсимо! «Ну целуй же! Так хочу!» И ножкой топни. Мальчики полягут, гарантирую.

Возила ботинком по грязи, на лице... что-то растерянно-торжествующее.

- Кстати, о Есенине. Стишок называется «К покойнику». Цитирую: «перетерпим горе с силой». На глаз ничего, а на слух? Ещё раз: перетерпим горе с илой. Ила, надо полагать, подруга по несчастью. Совсем как у тебя: «я не крепче чем». Очень мелодично: креп чечем. Крепдешин был, креп-жоржет видали, а креп-чечен... Откуда у тебя эти кавказские настроения? Ясно, глаза чёрные. Ты меня презираешь?

- Презираю.

- А в нумера пойдёшь?

- Пойду.

- Пошли.

Дым в пельменной стоял столбом. Рабочий класс и учащаяся молодёжь предавались разгулу. И шовинизма. Гадам фрицам и хачикам доставалось отборное, абрамам - отборнейшее, несмотря на то, что водку отпускали всем без исключения, даже сопливым пэтэушникам, и не было повода ни для зависти, ни для гнева.

Аня спряталась за его спину и проволоклась между столиками и по узкому коридору. Никто не расступился, давая ему дорогу, но он различил слабый звук колокольчика, продетого в ухо. Без церемоний, «свои», вошёл в кабинет заведующей.

- Привет, Зинуля. Бордельчик свободен?

- Занят, привет, - не отрываясь от счётов, откликнулась роскошная амазонка с глазами булонской сирени.

Щёлк, щёлк, академиев не кончали.

- А кто гуляет?

- Дыховик. С твоей выдрой.

- С Лидкой? - повеселел Ларионов и притянул к себе упирающегося верблюда.

- А тебе срочно? - И полезла в стол за блокнотом, в котором хранила «аварийные» адреса.

- Мне бы ребёнка покормить, - поспешно сказал Ларионов. - Устрой, будь ласка.

- Хотите здесь? - обрадовалась Зина, навидавшаяся всякой дряни, но до конца не утратившая наивности. - Что вам заказать?

- Тебе с уксусом или со сметаной?

Аня поморщилась.

- Нам без разницы. С уксусом.

Зина сняла чёрные сатиновые нарукавники и отправилась на раздачу.

- Уйдём, - жалобно попросила Аня, - я уже не хочу, мне жарко.

Ларионов вытолкал её из верблюда, «этот вечер мой».

- Я знаю, что такое бордель. Он настоящий?

- Эх, - потянулся Ларионов, - такой нам только снится... сквозь мрак и пыль. Ну что ты стучишь зубами, нюрочка-девчурочка, праздник у нас.

Вертелась на стуле и поминутно вскакивала, «уйдём». Ушли бы, да Зина вплыла с подносом.

- Пельмешки, огурчики, редечка и стаканчик для мальчика. Угощаю.

- Зинулечка, ты не женщина, ты человек.

- Одно другому не мешает.

И то. Ладная, ухватистая, бой-баба. Мужа, пьяницу, выгнала, а старуху свекровь пожалела, оставила доживать. Сын в армии, дочка школу кончает, а самой всего тридцать шесть, всё успела.

- Тяпни со мной компанию. - И плеснув водки в подставленный Зиной стакан, обратился к Ане. - За тебя, именинница. Живи и помни. - И к Зине: - Да не пьёт она, уже пробовала, не понравилось. - И в потолок: - Ну гой еси, пронеси!

Аня чего-то ждала. Ларионов отёр ладонью рот и расцеловал её.

- Я в парикмахерскую сбегаю, - неуверенно сказала Зина, - на полчасика. А вы тут без меня... управитесь?

- И так красивая, - усмехнулся Ларионов, - с нами посиди. Я и спеть могу, если ещё стаканчик поднесёшь.

- Запросто!

Аня ковырялась в пельменях. Ела одну начинку, а облатки размазывала по ободку тарелки.

- У тебя с едой, как с любовью, - не удержался Ларионов, - вечно голодная, а в горло не лезет.

Акнула и раскашлялась.

- Ну что ты, ласточка моя, - постукал по загривку, - я ж любя.

- Кто кого забижает? - вновь появилась Зина. - Почему ребёнок в расстройствах?

- Перец, - просипела Аня.

В общем зале уже распрягали коней, «тай лягайте почи-ивать...»

- Чтоб вам не проснуться, - Зина погрозила в стенку кулаком, сдобным, как калорийная булочка.

- А мои коллеги? - внезапно осоловев, спросил Ларионов. - Что они там делают?

- Бухают, чего ещё, - насторожилась Зина.

- Пойду посмотрю, может, помощь требуется. - Он встал и взлохматил Ане волосы. - А ты жуй.

- В лесу шумит, трещит, идёт Верлиока...

- Цыть, внучка.

Подняла руку с вилкой и разжала пальцы.

- Что упало, то пропало.

- Верно девочка говорит, - поддержала Зина, - не ходи, спой лучше.

Ларионов набрал в грудь воздуху и прополоскал им лёгкие.

- «Ой... да... загу-загу-лял, да загулял, мальчоночка-а мала-мала-маладо-о-о-ой...»

- Видала? - шепнула Зина, толкая Аню. - Во мужик.

Мужик разливался соловьём, тряс голосом письменные принадлежности, и лампочка, свисавшая с потолка на длинном шнуре, раскачивалась, как маятник. Пелось легко, легче, чем в роще и на берегу реки, куда он частенько сбегал, чтобы вовсю наораться. Колебать несущие конструкции он зарёкся с московских пор - обвалил штукатурку в ванной.

Аня качала головой, что-то соображала. Убил, подмигнул ей, сказал же, что убью. В зале захлопали, закричали: «давай ещё!» «вдарь казацкую!»

- Полный аншлаг, - засмеялся он, обнимая Аню. - Сегодня мы с тобой в ударе. Зина, кралечка, пообещай...

Он не договорил. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула Лида.

- Можно тебя на минутку?

Вышел в тёмный продымленный коридор и налёг спиной на дверь, наглухо заблокировал.

- Почему ты сбежал...

И затеребила пуговицы на блузке.

Как он ненавидел все её мелочные вопросы, все её мелкие рефлективные жесты и обесцвеченный перекисью пушок над верхней губой.

- Вечер кончился, и я ушёл.

- Нет сбежал...

И расхлюпалась, потекла, не забывая подносить к носу кружевной платочек, бьющий запахом дешёвых турецких духов (вместе купили на барахолке в Батуми).

- Всё?

- Я беременна.

- Мы договаривались.

- Я не убью твоего ребёнка, даже если ты нас бросишь...

- У меня уже есть ребёнок, - тихо сказал Ларионов. - Ты хочешь его убить?

- Пойдём домой... мы оба... я во всём виновата... - И выронила платок, сползла к ногам. - Серенький, миленький мой...

- Люди кругом.

- И пусть...

Оторвал её и своим платком вытер слюни и поплывшую тушь.

- Ты иди. Я провожу её и приду.

Аня, застёгнутая на всю пуговицу, надевала варежки. Зина курила, испытующе щурясь.

- Набил морду?

- Нет, Зинуля, я пал героем. И падши, совершил. Ну что, по домам?

- До скорого, - со смешком ответила Зина и погасила недокуренную сигарету. - Шебутной ты.

Они опять, сорок пять, дошли до конца тропинки. И опять перед ними встала стена. Был, конечно, узкий проходец, лазеечка, но вдвоём не пройти, а порознь уже надоело.

- Какой длинный вечер, - измученно улыбнулась Аня, - как египетское покрывало.

- Лишь бы сказать. - Он помахал шарфом. - Танец с покрывалом, розы Шираза.

- Да нет, покрывало, в которое завёртывают мумию. Разворачиваешь, разворачиваешь, знаешь, что там труп, а оно всё не кончается, тянется и тянется, и тянется...

Боже, как близко она подошла к нему.

- Выпей чаю и почитай на ночь Пушкина, он тоже... эфиоп.

- Дурацкое стихотворение. - И передразнила: «Гречанка верная, не плачь...» Герой ведь оттуда? Оно у него проходное, он сам смеялся над ним.

- Ну, в общем, да, - разинул рот Ларионов, - хотя он был молод и под греческим впечатлением. Радость моя, а ты ведь заговорила, как это я проспал? А ну-ка пройдёмся до площади и обратно, раскрутим эту хреновину и посмотрим, что там внутри.

- Я устала, я спать хочу, я...

Было темно, как в могиле, и светло, как в роддоме.

- Вот и всё, - сказал Ларионов. - И ничего страшного. Я люблю тебя, как любил.

Глава 63

Размолов шаг за шагом провёл Ларионова по кабинету, показывая свои простозамечательности в отличие от «достопримечательностей», введённых в обиход словопридумцем Карамзиным. А что, если и этот утюг вплывёт в окиян русской речи? На радость умеющим читать и плавать. Будем когда-то и мы русаками, не всё ж татары да эфиопы.

Однако смотреть было не на что, туристического восторга не возникало, и Ларионов покуривал, выжидая, пока Размолов перещупает, перестукает и перетыкает все сувениры, фотографии и мебеля. Ёкалэмэнэ.

Произнести - пожалуйста, а написать - спасибо. К месту, какая буква последняя в азбуке? «Я». А не к месту? «Ё». Последней по времени произведена на свет, и родил её тот же батюшка Николай свет Михайлович. В наказание матерям городов русских. Склоним головы, мужики. Что б мы деяли без неЁ?

Экскурсия затянулась, потому что беспрерывно трезвонили телефоны, и Степан Степаныч, извинясь, бежал отвечать: по красному жизнерадостно («сделаем в лучшем виде», «блестящая идея!»), по белому с неудовольствием («подумаем, не обещаю», «обратитесь в отдел»), по чёрному, используя парадигмы ненормативной лексики. Поминутно кто-то входил с гранками, разметкой, расчётной ведомостью, с личной просьбой и по поручению. Размолов подписывал, размечал, отчитывал, вникал и проявлял творческий подход. Так, в передовице зачеркнул «по совести», нацарапал «по велению сердца», к «осознать меру ответственности» добавил «в полной мере», в «сомнении» переправил «о» на «а», засамневался и, посоветовавшись с Ларионовым, вымарал весь абзац. Редакторские полномочия ему, вчерашнему рабочему, казались настолько грандиозными, что он изо всех сил пыжился, стараясь им соответствовать.

- Софа! - взревел наконец. - Ко мне никого! Ни под каким соусом!

Дуб, пластик, подарок Дворца пионеров, вид с Эйфелевой башни, чем отличается мужчина от Парижа? Париж всегда Париж, карельская берёза, хлеб наш насущный, будни Армалита, коньячок?

- Можно, - расслабился Ларионов.

Он только что изъявил готовность вести литературную студию при газете, разумеется, на добровольных началах и без отчётности, раз в месяц, в первую среду, и, чтобы размять кости, поездить по колхозам-совхозам с отличниками боевой и поэтической подготовки. Размолов, ошарашенный его сознательностью, чесал в затылке и чуть ли не вслух прикидывал, во что она ему обойдётся. Как все проныры, он не терялся в любой ситуации, но опыта работы с ларионовыми у него ещё не было.

- Размяться, конечно, надо, разворота, говорите, вам не хватает, - наконец, согласился. - Да, масштабы у нас другие. И культурная жизнь бедней, ни ваших театров, ни консерваторий. Зато поэтов полно, особенно пенсионеров. Ни дня без строчки, ни строчки без гонорара. Есть и способные: Ситный вот, преподаватель машиностроительного техникума, прилично пишет, Мокротовар наш кропает, правда, белым стихом, не поймёшь про что, а Игорёк, ну, это заядлый пиит, ко всем датам подбрасывает, за полгода вперёд. Да вы его знаете.

Ларионов развёл руками.

- Игорь Вячеславович, гробокопатель наш. Хвастается, что вы архив изучаете по его методе. На брудершафт?

- Давай. Тоже прилично пишет?

- С душой. В стихах это главное. И выдержанно, по теме. У нас ведь газета, а не какой-нибудь альманах. - Размолов спрятал бутылку в бар. - На работе не пью. А коньяк, обрати внимание, двадцатилетний.

- Я летом был в Араратской долине, - разулыбался Ларионов. - Гулял по развалинам Армавира и дышал виноградом. Не представляешь, какое мощное поле у этой горы.

- Слыхал, тоже Армавир. Интересно, кто у кого стянул название?

- Армяне, - убеждённо сказал Ларионов, - ещё в четвёртом веке до нашей эры. Ушлый народец.

Размолов смущённо отвёл кабаньи глазки.

- Так мы всё-таки город, а там село.

- В бытность столица Армении Великой. Ну, вроде всё. Не забудь оповестить население.

- Железно. - Размолов стиснул его ладонь. - Да, мы сегодня информашку дали про ваш вечер поэзии. Ты организовал?

- Казанский.

- Толковая девчонка. Ни у кого не передирает? Очень уж гладко у неё, как из книжки.

- Хорошего слишком много не бывает, сказал англичанин, пожелавший остаться неизвестным. Не передирает, ручаюсь.

- Ну ты меня успокоил. Я по стихам не спец, а ответственность на моей шее.

Шея у Размолова могла вынести что угодно.

- Подари экземплярчик.

Размолов подумал и дал два. Ларионов поблагодарил за каждый в отдельности.

Он бесился третий день. Аня пропала. В субботу днём дядя Лёша буркнул, что пошла за керосином, вечером: «а бис её знает», чуть свет: «на базар», ближе к ночи: «на чьё-то рожденье». Ларионов вышагивал вдоль забора, топтался под окном, заседал на срубленном дереве у калитки. Соседка, гыкая, сновала туда-сюда, тащила уголь, дрова, воду, выливала помои, без конца подметала крыльцо.

Давно ему не было так паршиво. И подпростыл, разгуливая без шляпы (с прошлого четверга валялась у Лиды), а погодка слякотная, подбитая ветром. В горле дерёт, курить и то противно. И мысли злые. Нарочно прячется. Стерва. Готовит крупномасштабное наступление? Решает свои противотанковые проблемы?

А вдруг понесла? Скандал в святом семействе. «Только через мой труп». И раз-два-три, перешагнём.

Это собачий вальс, завелась... по какому поводу? Ты меня зацепила, признался, я начал думать о древнегреках, но простых, среднеарифметических, не тех, что писали трактаты и одерживали исторические победы. Пожалуй, они были умерено дикими, не зря же исповедовали метриопатию. Это им давалось нелегко - южный климат, горячая кровь. Отсюда безудержное воображение, ни у кого из народов нет такого разнообразия богов и жречеств.

- Про нас тоже скажут, что мы верили в измы и как один легли в борьбе за это. И вообще близнецы-братья. А мы разные, как всегда. Но греки были счастливей нас.

- В газете прочла или по радио услышала?

- Сам говорил, что греческий полис был самый свободный в мире. Греки гордились своими богами, ведь всё от них: и свобода и кукуруза.

- Оливки.

И ухом не повела.

- Царей уважали, героев боготворили. А мы стыдимся наших вождей. Они даже на людей не похожи. Ты видел хоть один улыбающийся портрет? Ты слышал хоть одно человеческое слово, кроме «кузькиной матери»? По их мордам марсиане подумают, что и мы были чурками.

- Эсхил и Писистрат жили в одно время, и Афина уже блистала в Парфеноне. Чья это была эпоха? А может, и сталинскую когда-нибудь назовут булгаковской или цветаевской?

- А хрущёвскую шолоховской или ларионовской.

- Не надо вскакивать при первых звуках гимна, штанишки порвёшь.

- Это не гимн, это собачий вальс в четыре ноги. Один молотит по белым клавишам, другой - по чёрным. Ни в чём не уступая друг другу.

Вот тебе и дурная.

На следующий день пристала: реши простую задачку, не греческую. У Ивана одно яблоко, у Болвана полный мешок. Иван отдал своё сиротке, и Болван одно. Кто дал больше?

- Никто. Дурак ничем не лучше болвана. Правильный ответ?

- Я о любви говорю. Она неправильная. Ей не нужен счёт и результат.

- А дети? И в условии твоей задачи ни слова о любви.

- Любовь - сиротка. Она всегда просит.

- И отнимает последнее у дураков.

- Поэтому они мрут. Поэтому их так мало.

Послала стрелу в небо, а попала в яблочко. Раздора.

- Да и сиротки не переводятся. Ни на какой язык.

Искры из глаз и гроза в начале мая.

...Полис копошится, словно гигантский муравейник, отодвигаясь к западным холмам, куда не долетают ветры сирийской пустыни, но смешавшись с йодом «влажного пути», вихри не ослабевают, а крепнут, становятся едкими и прокисленными, как медь. Они насквозь прожигают сады и разъедают площади, и заставляют город тянуться вверх башнями и колокольнями, которые всё меньше говорят о величии духа и всё больше о мощи полиса. Чувство вырождается.

«Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлёт раба», дёрнул чёрт прочесть ей Пастернака.

- Откуда взялся раб? - нахмурилась.

- Из партера, откуда же, - поддразнил. - Награждён контрамаркой за ударный труд на Беломорканале. Но кроме шуток, тут кончается искусство и начинается поэзия. Первая строка и последняя гениальные, а в промежутке мышечные пучки, соединительная ткань. Умница, углядела.

- Нет, я слепая, я вокруг не вижу.

- У тебя такое зрение, у других другое. Ищешь очки, а сама на них сидишь.

- Ой, - подскочила, - ты меня напугал, а вдруг и вправду раздавила.

- А ты сначала подумай.

- Я не умею сначала думать, я потом, когда отчувствую. По системе Станиславского.

Всегда разбавляла сироп крутым кипятком. У него научилась.

- Вот-вот, вошла в образ и застряла там, как...

- Кто?

Ему уже опротивели его истории.

- Как один один.

Размолову он продался не из любви к поэзии. Аня придёт, увидит, он победит. И в командировки поедет с ним. Праздники ослов длятся допоздна, автобусы не ходят, а в захудалых гостиничках, где их никто не знает... Как чудно могло бы устроиться, если бы не кабы.

Конечно, в шоке от того, что случилось, тьфу, случается у четвероногих (а дважды две ноги не четыре?), конечно, в шоке, что он, не понимает. Ну поплакала бы и сама к нему прибежала, как любая из них. Но любая не любая, смотря как расставить ударения.

Кто же он ей теперь? Учитель? Друг? Однажды спросил: а как ты поступаешь с врагами? Удивилась: их у меня нет, я тут же ухожу, освобождаю место. Но они же остаются? Ну и что, я их забываю. И меня забудешь, если обижу? Ты мой, я за тебя отвечаю. Я не люблю, когда за меня отвечают, психанул, я и сам могу за себя ответить. Вчера у овощного магазина, перебила, выгружали какие-то кульки. Трое грузчиков встали цепочкой и бросали их из рук в руки. Я что-то вспомнила про тебя и остановилась. Они быстро устали и стали кидать, не глядя. И вдруг перестали... как сказать: перестали поймать? Ловить. Нет, ловить длинно, а поймать сразу, хвать - и твоё. Не изводи, попросил. Ладно, и вдруг стали, начали, какой тупой язык, поймать, ронять, ну точно как ты цепляешься к словам, ты устал, зачем ты ломаешься? Я устал, Аничка, ломает меня всего, потёрся лбом о её плечо, а что ты вспомнила про меня, если не секрет? Я поняла, почему Герострат поджёг Артемиду. Он не славы хотел, а сгореть вместе с ней. Она была такая невозможно недоступная... или невозможно доступная, как надо? почему ты дрожишь? Но в последнюю минуту, когда они уже горели, ему так захотелось жить. Вот это его желание и живёт до сих пор, а не его позор. Я люблю тебя, сказал, я никому этого не говорил. Мне сто

раз. Врал и ещё сто раз совру, а ты не верь. Он уже говорил, как она, самыми простыми словами, самыми трудными. Никому не верь, только себе. Так нельзя, взяла его за руки, верить можно только от себя. Тогда иди ко мне, улыбнулся. Я не могу тебя переступить, а ты стоишь на моей дороге, и ты не можешь меня обидеть, ведь ты это я. Ангел мой, растерялся он, ты так сильно любишь меня? А вдруг я не тот, за кого ты меня принимаешь? Тебе не страшно? Нет, я прохожу сквозь твои мысли, я тебя проникаю. Ты женщина, оскорбился он, ты не имеешь права. Не бойся, я не задеваю тебя, я тебе помогаю. Так это твоими молитвами я так счастлив? Ты свободен, это всё, что я могу. Мне не нужна свобода, уже орал, я как всякий наш человек живу мечтой о полном бесправии и ничегонеделании! Пусть посадят на хлеб и воду! В острог, в каземат! Но чтоб никто без стука!!! И, схватив с шифоньера кипарисовую бутылку, жахнул ею об пол, но она мягко подпрыгнула и покатилась. Аня всхлипнула, затряслась, её раздирал смех: «Господин двести восемьдесят семь, разрешите войти?» Очень смешно, подобрал бутылку и поставил на полку, квакаешь, как лягушка, тебя нельзя пускать в приличное общество. Она сидела на корточках, обняв ножку стола, и выводила рулады. Очередная истерика? протянул полотенце, на, утрись, я брезглив. Сделала каменное лицо, «я занят», и выбежала из комнаты. Он помыкался с полчаса и, не дождавшись, ушёл.

...Пусть сама его ищет. Она любит сама.

Глава 64

Элпис прекрасно знала, что находится в тёмной комнате. Раньше в левом крыле дома размещались мастерская и андрон с глубокой нишей, примыкавшей к стене двора, откуда поднималась наружная лестница, ведущая в мужские покои; в правой - гинекей, кухня и кладовые. Вернувшись с Родоса и окончательно спятив, как объяснила Евпраксия, Пигмалион перенёс «бабье царство» наверх, андрон в гинекей, а в бывшем зале соорудил небольшую спальню, соединив её с мастерской, и эту глухую клетушку. Рядом с лестницей росли амариллисы и олеандры, за ними через проход в стене начинался спуск в сад, но ни подмастерья, ни нянька, ни друзья, а всех-то: краснобай Полибий, пьяница Есклепий и старая бестия Эпидиус, сочинитель бредовых историй, - не смели и приближаться к тяжёлой тисовой двери с хитроумным замком.

- Что ты там прячешь? - нет-нет да и приставал Есклепий, который после второго фиала испытывал потребность поговорить на моральные темы, а после четвёртого на запретные.

- Секрет долголетия, - тут же подсказывал Полибий, бросая на Элпис призывный взгляд.

- Уж не бальзам ли, - загорался Есклепий, - что тайком провозят за пазухой ханаанеянки? Судя по твоему измятому виду, ты крепко нуждаешься в утешении.

- Я согласен с Гомером, любопытство превращает людей в свиней, - заключал Эпидиус, вытирая руки о хлебные корки (беззубый, он ел только мякиш, хотя полагалось делать наоборот), - но между друзьями не должно быть секретов, а я не сомневаюсь, что мы друзья. Что же ты прячешь?

- То и прячу, чтобы никто не видел, - отшучивался Пигмалион.

Она не любила их ночных посиделок. Захмелев, Есклепий начинал раздавать советы (он

был известным лекарем и считал, что имеет право нравоучать); Полибий, завидовавший ему, язвительно возражал; Эпидиус, наглотавшийся классической пыли в архивуме и потому с презрением относившийся к здоровью и спортивной мудрости, сыпал цитатами, опровергая всех и себя. Пигмалион посмеивался и напивался, а утром у него болела голова, работа не клеилась, и день был потерян.

Няньку обыкновенно отсылали спать, чтобы не путалась под ногами, и Элпис приходилось накрывать на стол, уносить объедки, бегать в кладовую за вином и, сидя в углу, выслушивать дорогих гостей. Не гетера и не жена, для них она была чем-то вроде забавной зверюшки, которую можно приласкать и даже выпросить в подарок. Наперебой рассказывая о своих приключениях, они отпускали солёные шутки, заставляя её краснеть, а Пигмалиона молча злиться. Всегда происходило одно и то же, как и на этот раз.

Давно ещё, до рожденья малышки (вся её жизнь теперь делилась на до и после), Пигмалион поинтересовался, почему она никогда не спрашивает, что он делает в тёмной комнате. Она ответила, что ей достаточно и того, что она знает. Он благодарно кивнул.

Отобедав в андроне, приятели перебирались в мастерскую, где продолжали пить и спорить. Элпис устраивалась на пороге и смотрела на глыбы мрамора, сваленные во дворе.

- Весь день сидишь взаперти, - не отставал Есклепий. - Тебе необходимо как-то развлечься.

- А я развлекаюсь, - показывал Пигмалион на столик, где в ряд стояли серебряные киафы.

- Это пассивное удовольствие, оно размягчает мозг, а мозг регулирует потенцию организма, в том числе и творческую, заметь. Сидячий образ...

- Стоячий, - встревал Полибий.

- ... тебе противопоказан, - невозмутимо продолжал Есклепий, - ты и так стал похож на бараний мех с топлёным салом. Займись атлетикой и ты навсегда избавишься от лишнего веса и недовольства.

- Не слушай его, - раздражался Эпидиус, - у тебя дар рассказчика, ты бы мог переплюнуть любого рапсода, если бы меньше думал о ложках-плошках. Геродот говорил... девочка, подлей мне вина, очень душно сегодня и оливки у вас пересолены... что я хотел сказать?

- Плюнь на Полибия, - усмехался рапсод, - авось переплюнешь.

- Никакого уважения к старшим, ну никакого... - Эпидиус был слишком стар, чтобы состязаться в зубоскальстве, но достаточно самолюбив, чтобы стерпеть унижение (потому и ворчат старики). - Прав Гесиод, наступил железный век, последний в цепи людского рода, век печали, надрыва и жестокосердия...

- Ты типичный меланхолик, - прерывал его Есклепий, - у тебя барахлит жёлчный пузырь.

- Разбогатеешь, отсыпь мне драхм, - низким рокочущим голосом заглушал спор Полибий, - и я куплю себе рабыню, легконогую, как твоя. Надеюсь, не сильно брыкается?

- Терпимо, - фыркал Пигмалион. - Выйдем на воздух, проветрим головы.

- Или перестань нажираться на ночь, - вновь нападал на него Есклепий. - Впрочем, гимнастика, особенно любовная, не в пример эффективней.

- Хорошая дикция, чувство стиля... ты сам не понимаешь, как щедро тебя одарили боги, - не уступал Эпидиус, то задрёмывая, то просыпаясь. - У этих желторотых, - тыкал в Есклепия и Полибия (одному было за сорок, другому под), - на уме если не сиськи, то задницы. Эх, молодость... быстро наше время прошло. Конечно, я старше тебя, сынок, лет

на десять, а то и двадцать...

- На тридцать, - невинно ронял Полибий, увлекая Элпис во двор и тихо шепча: «пойдём ко мне, подарю колечко».

- А, - отмахивался Пигмалион, - и без меня хватает плешивых риторов и кривоногих дискоболов.

Когда Евпраксия вымыла её во дворе, с гадливой опаской, как больное животное, и постелила ей на полу возле кровати хозяина, наказав не двигаться с места, Элпис, как только нянька ушла, бросилась к двери, отливающей красным золотом, и забыла про всё на свете.

...История, придуманная для Пигмалиона (дядька Каро, кошара в горах и прочие глупости) не имела ничего общего с её настоящей жизнью, которая, чтобы продлиться, должна была оставаться в тайне.

Дочь ясновидящей Анаит, она родилась слепой, как котёнок, и первые десять лет училась видеть руками.

Вот это огонь, говорила мать, не бойся, какого он цвета?

Сухого, отвечала Ноэм, цвета любви. И влажного, цвета смерти.

А это вода, что ты чувствуешь?

Это время течёт, время желаний. Оно растворяет краски и разъедает соль.

Ты сказала: соль?

Да, соль земли и крови, и памяти.

А это? Не прикасайся, поверни ладонь вправо.

Тяжесть.

Она холодная или близкая?

Она дышит пустыней.

Что это?

Ты, моя мамочка. Почему ты так далеко?

Я здесь. А теперь вытяни руку и разверни ладонь. Что ты видишь?

Я ничего не вижу.

Это ты, доченька.

Тогда почему у меня не твоё лицо?

Ты на меня не похожа.

А на кого? На отца?

У тебя нет отца. Ты на себя похожа.

А какая я?

Подрастёшь - узнаешь.

Над ними всегда смеялись. Вдогонку или трусливо сбившись в кучку. Дразнили, словно гусей.

- Кто у меня в животе: девочка или мальчик? Отгадай, Анаит!

- Ячменная лепёшка и та горелая.

- Скажи, Анаит, куда невестка запрятала мой бирюзовый крестик?

- У тебя он, в кармане нижней юбки.

Что бы ни говорила мать, всё они обращали против неё.

- Врёшь, лепёшки мне задались, и муж мой плоден! Ты завидуешь мне, Анаит!

- Выходит я сама у себя украла? Ты сговорилась с моей невесткой, обе вы языкастые и

глазливые!

Визгливый Назар по кличке «кёса» (ни единого волоска не росло на его лице, что в горах считалось мужским позором) кричал громче всех:

- Эй, Анаит, вчера я недосчитался одной овцы! Где искать её, присоветуй!

- В волчьем логе, - спокойно отвечала мать. Она никогда не сердилась.

- Околела, да?

- Нет. Пойди забери, не то будет поздно.

Назар приходил в восторг. Как все придурки, он пьянел, оказавшись в центре внимания.

- А когда приедет моя жена?

- У тебя нет жены.

- Но ведь где-то она есть? Или ещё не родилась?

- Никогда не родится.

- А я дочку твою возьму!

Назар хватал Ноэм за руку и отскакивал.

- Ведьма! Змея! Люди добрые, посмотрите, она меня ужалила!

А наоравшись, шёл в волчий лог и находил там кости своей овцы.

- Ничего Анаит не знает! - хохотал и бил себя кулаками в грудь.

Они жили в маленьком доме у подножья большой горы. В каменном чреве медленно закипала смерть. По ночам было слышно, как глубоко под землёй набухают огромные красные пузыри, как текут раскалённые камни по железным жилам. Пора уходить, сказала однажды мать, эта варка добром не кончится. И они ушли. На юг, огибая гору.

Ноэм была слабой и быстро уставала, и тогда мать брала её на спину и несла, несла... Надо спешить, поторапливала, не пройдёт и трёх лун, как прольётся кровь земли. Ноэм не было страшно, мать пообещала, что с ней ничего не случится плохого, с ней, Ноэм. А с тобой? Я это ты, успокоила мать, и пока ты жива, я с тобой, ничего не бойся.

Тот вечер Ноэм запомнила ещё до того, как он наступил. Гудела гора, и колыхался воздух, ветра не было, но от земли поднимался пар и, свиваясь тонкими струйками, поднимался в небо, словно втянутый махом гигантского веретена. Она трогала пряжу, и кожа на ладонях горела.

В тот вечер она увидела свет. Он шёл из неё. Сначала под сердцем вздулась капля, горячая, как смола. Она дышала толчками. Потом пробился росток. Бледный, еле зелёный. Он увял - и ударил свет. Сильный, ровный и непрерывный. И Ноэм сказала матери: теперь я могу идти сама, столько, сколько надо, и ещё столько, сколько ты хочешь, и ещё столько, сколько я захочу. Уверенность была такая большая, что отняла у Ноэм все силы. Она уснула. И спала три луны. Как в тумане, когда тепло.

Очнулась она от света. Он болел и сужался в горле. Где мы? спросила Ноэм, но никто не ответил. Земля превратилась в пепел. И время остановилось.

Были какие-то люди, ругали её и кормили с рук. Была вода, речная, безвкусная, и морская, пахнущая пустыней. Мама, ты здесь? озиралась Ноэм. Там, отзывалась мать. Я без тебя умру? Ты это я, и пока ты со мной, я жива, ничего не бойся. Хорошо, уступала Ноэм, жди меня там.

Хочешь это? спрашивал долговязый на чужом языке. Она пожимала плечами. Ешь, говорил, ты худая, побольше ешь. Сперва она понимала только его голос, потом отдельные слова и вдруг увидела речь. Целиком, но не сверху, как долину с горы, а вокруг себя, как поток, в котором неслась. Ноэм не умела плавать, но этого и не требовалось, а просто - плыть.

Долговязый будил её по утрам и баюкал ночью, и водил за собой повсюду и всё объяснял. Ты полюбишь меня, смеялся, я красив, как собака, и силён, как бык, ты полюбишь меня, берегись. И она его полюбила. Как отца, а потом как брата, а потом как... никого.

С каждым взмахом дышалось легче, а вода бежала живей. Эй, куда ты, кричал долговязый, я устал за тобой гоняться, или выйдем на берег или плыви рядом. Это берег твоих желаний, догадалась она, почему он дикий? Потому что свободный. И взял её на руки и опустил на камни. Ей совсем не хотелось смеяться, но она засмеялась: ну вот, я не двигаюсь, догоняй. Да двигайся ты, рассердился, мёртвая, что ли.

Наутро она сказала: ты отец мой и брат и враг. Уходи, пожелай мне друга. Я убью тебя, зарычал, ты никому не достанешься. И Ноэм заплакала. В первый раз и в последний раз. Ты убил меня, я ослепла, это не я, смотри!

В груди дымилась чёрная пустота. Но в глазах... появилось море, солнце, цветущий мирт. Лёгкий парус летел по волнам, рыбаки сгружали на пристань корзины с живым серебром, женщины в красных юбках сбегали по узким тропкам. «Хайре!» звенело с лодок. «Радуйся!» отдавалось в горах. Всё было новым, желанным и диким.

А он ушёл. Неслышно, как время. Так она и не узнала, был ли он красив, как собака. Чайка, все его звали чайкой, что по-гречески ларис, лар.

К ней опять подходили люди, о чём-то просили, она кивала и шла за ними. Потом продели в ухо колокольчик, она даже не вскрикнула. Ей было всё равно, что будет с нею или без неё. Она забыла, кто она и что это: быть.

Скрипел деревянный помост, воняло маслом и рыбой, и было черно от смоляных бород и голодных глаз. Один только жирный грек не ел её поедом, а разглядывал, будто диковинную монетку, найденную на дороге. Она вспомнила, мать рассказывала, как узнать человека. Надо вдохнуть его дыханье и задержать - если чужой, сразу выдохнуть, если твой... но об этом нельзя говорить. Твой человек сам пойдёт за тобой.

Пигмалион вскинул кулак, и судьба решилась. Едва она переступила порог его дома, ласточка прощебетала: это дом твоего ребёнка, я с тобой, ничего не бойся. Да, улыбнулась Ноэм, свей мне гнездо.

...За дверью стояла женщина. Белая как память. В мелких холодных трещинах и ледяных разломах. Женщина, которая умерла, а потом воскресла, вечная женщина. Ноэм смотрела сквозь дверь, сквозь то, что произошло, и то, что произойдёт. И пустота согрелась.

В ту ночь, проводив гостей, Пигмалион склонился над колыбелью и пьяно спросил:

- Она моя?

- Твоя, - ответила Элпис. - И я твоя. А ты не известно чей.

- Сейчас разберёмся... - И похлопав себя по бокам, снял с пояса и отдал ей ключ.

Это была их последняя ночь.

Дочка уже не плакала, ей было некогда, она слишком быстро росла. У неё были пугливые руки и сморщенные ладони, но когда она их протягивала, у Ноэм вспархивало молоко.

Дверь поддалась без труда. Женщина улыбалась. Кто ты, шагнула к ней Ноэм. Ты,

откликнулась женщина. У меня не твоё лицо, всё у меня другое. Ты, повторила женщина, я ведь знаю себя. Помоги мне собраться.

Ноэм скрепила разломы, как это делал Пигмалион, и наложила стяжки. Завтра я отшлифую трещины и наложу компресс, будет очень противно, предупредила, но ты потерпи. И добавила: ради него.

Он был ей другом. Даже когда поворачивался спиной, спрашивал: а? ну как? Он не тряс её за плечи и не сажал на колени, и не учил тому, чего она не хотела. И братом ей не был, никогда не следил за ней, и отцом, что наказывает и прощает. Другом был. И больше, чем другом. Он был Пигмалионом.

Снова толпились люди, ахали и рыдали. Женщина улыбалась и поднимала руки, и призывая к себе и защищаясь, можно было понять и так и так.

- Чудо! - кричали греки. - Чудо! Свершилось чудо! Слава Пигмалиону! Слава нашим богам!

Когда они разошлись, Полибий спросил у Есклепия: куда подевалась рабыня? и дочка была как будто? Надо бы им помочь, заволновался Есклепий, деньгами или советом. Бросьте, сказал Эпидиус, рядом с великим стыдно говорить о вещах ничтожных. И друзья согласились с ним.

...Путь на родину долог, вдвое, втрое длинней, чем тот, что ведёт от неё. Годы ушли на море, реки, ущелья, скалы. Дочка то прыгала на руках, то бежала за ней, а теперь неслась впереди. Мама, когда придём? Девочка тоже была рыжей и голенастой, и страшно нетерпеливой.

И наконец показалась гора. Выросла из-под земли и заслонила небо. Почему у неё две головы? Дочка всегда задавала неожиданные вопросы. Это отец и сын? Да, удивилась Ноэм, на языке горы это сын и отец. Как мы с тобой? И впервые за столько лет Ноэм рассмеялась: мы, господи, мы...

Вдруг, очертив круг, ласточка взмыла в небо и камнем упала в траву. Где-то неподалёку, но сколько они ни искали, нигде не могли найти. Мама, ты здесь? позвала Ноэм. Здесь, донёсся усталый голос, я тебя дождалась, прощай.

И Ноэм сказала дочке: теперь я только твоя, возьми мою жизнь, не бойся. Я ничего не боюсь, ответила Анаит.

Глава 65

Два месяца он перемарывал и перебеливал готовую рукопись. Сославшись на нездоровье, отложил до декабря занятия в литкружках, отказался и от поездки в Москву на ноябрьские праздники. Аня не объявилась, он её не искал. И вот...

Так написалось. Дышалось и проч. Что он хотел сказать? То, что сказал. А что утаил - от лукавого.

Шёл снег. С огромным облегчением, словно сбросив с себя неимоверную тяжесть, шёл торопливо, радуясь, что решение принято, и ещё не догадываясь о том, что запал скоро кончится, и усталость прибьёт к земле. За горами, за долами поднималось солнце и просачивалось в дыру мреющим жёлто-розовым светом, начинался день, середа. Переломный момент недели, мистический, выравнивающий весы, и предательский слёзный по-христиански. Строгий пост, покаяние и всепрощение (в честь Иуды?) священы для

каждого верующего, кроме старых, малых и немощных, во все дни и лета.

А у нас зима. И мы фаталисты. И на этом поставим точку. Многоточие, так теплей. Роман может оборваться вдруг, и не надо быть писателем, чтобы знать, что самые невероятные развязки происходят не в книгах.

Расскажите мне это за бокалом шампанского. Роскошная фраза, да некуда вставить. Густо пишем, убористо.

Ларионов не слишком переживал, но весь день прошатался, как пьяный, по химчисткам и парикмахерским. Часу в шестом, стукнуло, сорвался в Новокубанку. Погулял по новому книжному магазину и пообедал в ресторане с колоннами (колонниальный стиль), закадрив учителку из совхоза «Путь Ильича». Распили поллитру, шампанского не схотела, «я от него икаю», и поделились взглядами на животноводство. Поэтому несколько прибабахнутый, он, войдя в отдел литературы и искусства, где в несметном количестве собрались любители слова и печатного дела, не нашёл ничего лучше, как промычать: «у, сколько вас...»

Дружно грохнули, ощутив себя коллективом. Он пробуровил что-то ещё насчёт перехода количества в качество и уселся на стол, выдвинутый навроде трибуны. Пробежал уже заполненный список присутствующих, который вручил ему щупленький старичок, «взаимообразно», перед тем, как отнять у него пальто. Напротив каждой фамилии стоял крестик, а в самом низу чеханцовский нолик. Бросила вызов полунеграмотности. Ларионов коротко представился и начал литературную разминку, без всякого любопытства разглядывая крестников. Двадцать шесть, по числу его лет. В субботу он их переплюнет. Неужели подгадит святая суббота?

Аня шёпотом что-то втолковывала Мокротовару из отдела строительства и образования. Ларионова познакомил с ним Размолов в первый его приход в редакцию. Поначалу показался вялым и заторможенным, потом, когда заговорили, сразу понравился. И тем, что скептичен и выводы делал далеко не ожиданные, окал славно, по-северновеликорусски. Внешне был простоват, коряв, всегда в одной и той же мятой рубахе. Смуглое лицо портили оспины и синюшный налёт возле губ и глаз. Типичный сердечник. Учился в ростовском университете, окончил журфак, в дыру загремел по казачьим обстоятельствам.

Володя кивал с одобрением и пониманием. Разозлило не то, что не слушают, а то, что ничуть этим не смущены. Зато Игорь Вячеславович смотрел на него с таким душевным трепетом, как будто не Аню, а его с Ларионовым связывали глубоко интимные чувства.

- Предлагаю всем прочесть по опусу, на выбор: стихотворение, рассказ, миниатюру, - остановился он, надоело разминаться. - Поэмы и многоплановые произведения обсудим позже. На выступление три минуты.

- А главу из романа можно? - вскинул руку «взаимообразный» старичок. - Козулин, майор в отставке.

Жидкий тусклый, он не тянул и на ополченца.

- Это название? - не дрогнув ни мускулом, спросил Ларионов.

Опять хохотнули, но врозь.

- Это я, Козулин. - В полный рост он был еле виден за спинами сидящих. - А роман называется «Голубая мечта», из жизни парашютистов.

- В десантных войсках служили?

- Я преподавал в танковом училище, - заподозрив неладное, пробурчал старичок. - На Дальнем Востоке.

- Не близко, - заключил Ларионов. - Сколько у вас глав?

- Восемьдесят. Не считая эпилога.

- Прочтёте последнюю.

- Эпилог?

- Главу.

- Есть. - И как провалился.

- Начнём по списку. Прошу вас, друг... Ситный.

Ха-ха-ха.

Со стула поднялся дородный дядя с широким одутловатым лицом. По-бабьи скурносившись, переждал шум и с выражением прочёл чавой-то длинное о неповторимости армавирской зимы. Елозили те же санки и задорные девчата.

- Недурно, - вздохнул Ларионов, - но лирическое стихотворение вполне укладывается в три-четыре строфы, как сказал Александр Блок. Согласимся с великим мастером?

Машиностроитель напряжённо думал.

- Советую убрать «сочные снежки», денёк-то у вас выдался сухой и морозный.

- В руках снег тает. - Он ещё что-то отстаивал.

- Следующий.

Аня не умолкала ни на минуту. Хотел одёрнуть, да решил, что не стоит давить слабогрудого Мокротовара. А физиономия у тебя, Аничка, бледная, позлорадствовал, и в плечах надлом, прямо скажем, не девчачий. Ну как, успела написать стишок «про это»?

И обмер - сердце проскочило удар. Аня глянула так, словно поймала его на гадости. Где-то читал, что человек может гнать от себя дурные мысли, но помешать им прийти в голову он бессилен. Лёгкая мысль, французская. Кто-то из них и сказал. Они умеют мудрить про «можно» и «нельзя», будучи твёрдо уверены, что им можно всё.

Монголоида в тюбетейке сменил дедка в валенках, за ветераном труда подоспел комсомолец двадцатых годов: «я жизнь люблю, когда гроза». Бывший снабженец порадовал былью о школьных успехах внучки, составитель (есть и такая профессия) поведал о жарком лете в Дедеркое: «хорошо лежать, загораясь на песке».

- Где это? - встрепенулся Ларионов, вспомнив про кипарисовую бутылку.

- Рядом с Туапсе, - насторожился автор. - Там база отдыха железнодорожников. Надо указать?

- Не обязательно, хотя прозу делают детали. Например, описывая кипарис, добавьте, что он символ верности.

- Нет у меня никаких кипарисов, - занервничал стрелочник или маневровый диспетчер... что он там составлял?

- Туя! - крикнул машиностроитель и наморщил лоб. Умственные усилия давались ему с усилием.

Ларионов подтолкнул: «ну?»

- Верность символизирует туя.

- На юге туя, на востоке кипарис, на западе клещевина, на севере... мох и лишайник.

- Впервые слышу.

- Я следующий, - выручил Мокротовар.

И не вставая, пошёл-поехал про чудака, который собрался выйти из круга, но стучался в двери квадратными кулаками и лупил квадратные бельма. Ларионов слез со стола и зашагал по комнате. Аня, потеряв собеседника, рылась в тетради.

Пришлось разразиться лекцией о верлибре, чтобы не уронить завотдельский авторитет, да и вирши были не безнадёжно бездарные. Понял только Володя и помрачнел. А я и не

нанимался вас развлекать, хрустнул пальцами Ларионов, для этого у вас есть кино и баня. Впрочем, старая гвардия не унывала, хихикала друг над дружкой, создавая общее удовольствие.

От голубой «жюти» с парашютистами его спасло созерцание пионерского сквера с гранитной стелой, на которой были выбиты имена юных героев, погибших в борьбе с фашистами благодаря нашим доблестным полководцам. Монумент возвышался на месте бывшей Николаевской церкви, взорванной в двадцатых годах.

- Взято из жизни, - скромно закончил Козулин.

- Это ваш первый роман?

- Так точно. Я его за три месяца написал, как говорится, на одном дыхании.

- Чувствуется. Продумайте диалоги.

- Я бы вас попросил дать мне конкретные рекомендации.

Бросьте писать и займитесь делом, мысленно, но от всей души пожелал.

- Оставьте главку.

Подскочил Игорёк.

- Я прочту темпераментное, - предварил с тонкой улыбкой, подмигнув налево и направо.

Мокротовар вновь подобрался к Ане, утирая вспотевшее лицо. Надышали до обморока. О, десятый час, пора закругляться.

Игорёк вдохновенно брызгал слюной. Из стихотворения Ларионов узнал, что у женщин бывает «поющая грудь», способная издавать «мучительные звуки». Дальше шло описание корчей во время прослушивания. Ларионов закурил и начал считать деревья. Очнулся от покашливающей тишины.

- Как получилось? - с победоносным видом осведомился Игорь Вячеславович.

Ларионов чуть не спросил: «что?»

- Выправить надо. Больно порыв наступательный.

И опять возгласы, звонкий ребячий смех, как в рецензии на новогодний детский спектакль.

- Как же без порыва? - оскорбился Игорь Вячеславович, привыкший к лёгким победам над скифами.

- Давайте по строчкам.

Через две минуты он лежал на лопатках в глухой неапольской степи, проклиная воинственных готов. Однако хитрость общественника пересилила в нём бранную гордость.

- Здорово вы меня раздолбали, - произнёс с восхищением побеждённого учителя. - Что ж, придётся основательно переработать. Рациональное зерно ведь есть?

- Целых два: женщина, как источник вдохновения, и вдохновение, как голубая мечта мужчины.

- Смело, - почему-то скис Игорёк.

Настала Анина очередь.

- Без названия. - Распахнув глаза.

- Можно и так. - Сощурился.

Кто-то что-то сказал
и позвал
не куда, а куда-то.
Я пошла и вернулась,

чтоб только водички попить.
Ну и как? кто-то снова спросил.
Я ответила: полный порядок,
всех котят утопили,
остался один,
но его я не дам утопить.

Старички задвигались, загалдели, а Мокротовар громко до неприличия рассмеялся.

- Похлопаем нашей единственной даме, - сказал Ларионов и трижды на «двадцать два» ударил в ладони.

Вразлад поддержали. Мокротовар утирался рукавом и продолжал по инерции всхлипывать.

- В целом впечатление неплохое, - подытожил. - К следующему уроку отберите лучшее, что у вас есть, отпечатайте через два интервала и начнём обсуждаться всерьёз. Все свободны, а Чеханцову прошу остаться.

Мокротовар не уходил, скрипел половицами в коридоре. Надзирательство становилось лейтмотивом романа.

- Забыли что? - высунулся Ларионов.

- Ключ у меня. Я должен опечатать входную дверь.

- А, ну так мы по дороге договорим. Одевайтесь, Аня.

- Вам в какую сторону? - нагнал их на углу.

- А вам?

- На вокзал.

- А нам туда. - Махнул рукой в сторону павших героев, мимо которых лежал путь в общежитие. - До среды. - И крепко сжал анин локоть - порывалась уйти.

Мокротовар помялся, окнул «пока» и покинул их.

- Блестящая импровизация, - сказал Ларионов. - Давно это у тебя?

- У меня всё давно.

Фонари в сквере не горели, но от снега было светло и помаргивала луна. Ларионов, не выпуская Аню из рук, развернул к себе.

- Где пропадала?

- Везде.

Смотрела спокойно и яростно. Не на него.

- Я скучал. - Зарылся лицом в солёные стружки. - Возненавидела меня?

Услышал, как скачут мысли в её голове.

- Пойдём ко мне, Аничка... Аничка моя...

Его уже трясло. И холодно было, и… к чему смаковать подробности? Высвободилась, «нет».

- Что нет? Почему? Сегодня? Никогда? - Запутался.

- Сегодня.

Нутром почуял, что врёт.

- Посидим? - спросила.

Скамейка была засыпана снегом, даже просветы между планками исчезли.

- Перина, - взбила варежкой слежавшийся пух.

- Твоя постельная лирика... - начал и бросил. - Не дразни хотя бы.

- Перина это перина, - присела с краю, - и постель это постель, а то, что тебя раздражает, это ты.

- Я шёлковый, - придвинулся Ларионов, - я поясок от твоего кимоно, можешь на мне повеситься.

В другой раз прыгнула бы ему на шею, это входило в правила их игры. Доигрались. Но врать-то зачем?

- Ух, какой красавец! - ахнул Ларионов, припав на «ец».

По алее вышагивал здоровенный бульдог, ведя на поводке своего хозяина, высокого статного старика в полушубке и каракулевой папахе.

- Я без ума от породистых собак, - понесло Ларионова навстречу беде. - Глянь, сколько спеси, усталой голубизны... А грудь-то, грудь, бугор на бугре, а шея... Поди, подцепил француз нашей свежей рабоче-крестьянской крови... для мышц и костей... а как же? Всё равно порода берёт своё, видно, что выпал шьенчик из дворянского гнезда. - А сам подумал: на тебе, Иван Алексеевич, непревзойдённый собачник, а ты не гнезди. - И лапы гибкие, хваткие, не то что твои полусогнутые, - схватил за колени и удержал. - Ну что ты, я так, восхищаюсь, а твои люблю. Нет, хорош, хорош...

- У него морда квадратная и пасть замком. И слюни чёрные.

- Ну дак службист, кадровый офицер, имеет право.

- Я дворняг люблю. Тех, что шпыняют. Злых, голодных, в репьях и блохах. Не благородных, а благодарных. Дашь им хлеба, так они зализут тебя с головы до пят. И в другой раз мимо не пройдёшь, хоть сами не подойдут, будут стоять в сторонке и вилять хвостом: «не узнаёшь?» Свистнешь - и кинутся к тебе со всех ног.

- У-у-у, - протянул Ларионов, всё понял, не такой уж кобель, - старая песня: униженные и оскорблённые. Эта вечная русская жаль, сопливое со-страдание, со-чувствие, со-сю-сю-сю. Особливо к пьяницам и юродивым. Как же, копеечку отняли, как же мне не плакать...

- А ведь я и тебя жалею, - сказала с недоброй усмешкой. - Ты думаешь, я весь день торчу на площади, любуясь твоим изваянием в лазоревом венке?

- В каком ещё лазоревом, не плюйся словами.

- На вашем уровне, маэстро, цветут только лазори. Орхидеи и одуванчики там не растут. Ты же длинный у нас. И сильный. Вон как людишек потоптал.

Она смела его учить?

- Себя пожалей, благодарная. Тоже стоишь в сторонке и дрожишь от страха, только хвостом не виляешь. Кинься ко мне, смотри, как я улыбаюсь! - И сдвинул челюсти.

- Вот ты меня сейчас обидеть хочешь, - вцепилась в пуговицу, - а я возьму и не обижусь, тебя, нежного, пожалею. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красавица?»

Ларионов двинул себя кулаком в скулу. Так больно Аня его не жалила. Но что-то сдвинулось в нём вместе с отвисшей челюстью.

- Допустим, - сказал, - я отдаю отчёт, что поступил с тобой, как подлец. Но во-первых, я не раскаиваюсь, а во-вторых, не хочу быть подлецом. Какой выход?

- Запасной. Скажи: ах! что делает любовь с людьми, какая в ней страшная разрушительная сила, ах! И живи, как жил.

Ларионов открыл рот и надолго замолчал. Побил все рекорды по затяжным паузам.

- В субботу. В четыре. У меня. День рожденья. Иди. Не боишься одна?

- Я ничего не боюсь, - тихо ответила.

Глава 66

Похоже, он пристрастился к самоистязаниям и начинает получать некоторое захерское удовольствие. С Мазохом, описавшим одноимённый фантазм, никак не связано (литератор средней руки, которой бичуют пороки), но откликается на идею его знаменитого компатриота - от пола не оторвёшься и по тридцать раз отжимаясь зараз, что для мужчины рекорд.

Кривая дорожка, прямо ведущая в рай, где заторчав от инсулина, бродят тени наполеонов и фердинандов в окружении испанских послов. Загремим? А почему бы и не? Маниакальная триада в наличии: прилив эмоциональной энергии, повышенная сообразительность и двигательное возбуждение. Невероятно общителен - топчет людишек, остроумен и предприимчив - тык туда, тык сюда. И чёткая мотивировка «хорошего состояния». Да на таком фоне...

И правильно сделал, что потоптал. А лёг бы под них, его бы покрыли, презрением или позором. Графоману только намекни, что на 583 странице пятая строка сверху у него ничего, так он завтра все 11 583 припрёт и не тебе, а главреду издательства, ссылаясь на твой авторитет спеца и отвратительный характер: «тянет с рецензией». Пробьёт свою тягомотину, в сокращённом виде, конечно, листика эдак на три, с тобой же и не поздоровается.

Но Аничка, ласточка, уложила его технично. И вариацией на кошачью тему и на собачью, и на людоедскую. В последнее время он стал замечать, что немного её. Не доверяет. Себе ли, ей, не важно. Надо бы покопаться в моторе, допетрить что барахлит.

Пальто на кровати, рубашка на зеркале, и петли на дверце гроба разъехались как... Не петляй, русачок, ты у нас большой охотник до мёртвых петель. «Вторая фаза опасна возможностью самоубийства». «Le nouvel Observateur», ежемесячная дань друга Яши, работающего в АПН и присылающего освежёванные журналы. А статейка впопад, об аффективных расстройствах с упором на кататонический ступор. Послать Тенину? Весь журнал, с переводом дискуссии, ведь по-ненашенски, кажется, ни бум-бум? Пусть и эту болячку ему пришьёт.

Ну, обидно. Уже не нуждается в его наставлениях и даже посмеивается над ним, причём довольно безжалостно. Раньше говорил он, теперь она. От него требуется качать ушами и что-нибудь вставлять, показывая, что не спит. Он превращается из учителя в няньку, которой ещё дозволяется подтирать ляльке нос, но перечить заказано, разочтут.

Ну, досадно. Что не умеет беречься и бравирует глупостью. Не посоветовавшись с ним, отправила стихи в краевую газету, дескать, сами позвонили Размолову и попросили связаться с ней. Тот не замедлил, лично посетил. С какой стати? Послал бы курьера. Целый час сидел. Папа от умиления разрюмился (производное от рюмки). «О чём говорили?» «Да подожди ты!» «Что предлагал?» «Отстань!» Так огрызаются детки, когда их со двора загоняют домой. Это родителям из окна - лужа, а им - мировой океан, вест-индская америка. «Что пожал на прощанье?» «Ф-р-р!» «Бегаешь к нему?» «Ф-р-р!» «Ноги не промочи!»

Ну и села в лужу. Подборка беспомощная, ляп на ляпе. «Но они же просили!» «А ты что, Клава безотказная?»

Обидно, досадно и ладно. И чуть-чуть завидно, что пошла уверенно, твёрдым, почти взрослым шагом. Он начинал куда неповоротливей, его под руки не подхватывали, он падал

шибче и чаще.

Но всё: и зависть и ревность - перекрывала животная радость, что вот, моё, идёт, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить. И оттенки этой радости множились, как предметы сквозь пьяные слёзы: львиная гордость, собачья преданность, коровья снисходительность. И горечь: ах так, не нужен я тебе, ну и чёрт с тобой, катись. И стыдная жалость: только ради бога, не грохнись. Вот эта тоскливая бабья расслабленность бесила сильней всего.

Отбросим учительство-родительство. Платоника их отношений не выходит за рамки обычных дружб. Растроим ребёнка, как учили греки, и сообразим на троих, как научились сами.

Аня-дух, Аня-душа, Аня-мерзкая плоть. Софисты, знавшие толк в условиях, но не признававшие никаких условностей, называли это разграничение приблизительным, то есть приближающим к истине.

Ум, дух. Шо це таке? То, что проявляется (по Аристотелю) лишь на определённой ступени развития, так как мышление возникает не на основе ощущений и в силу своей нематериальности может познать не причастное к материи. Поэтичней выразился его учитель: «Дух не агрегат, он не демонтируется». Разумеется, Аня духовное существо, но о духе рано ещё говорить, поживём-увидим что вылупится из яйца. Интуиция есть и логика, правда, индуктивная, с небольшим сдвигом в модальность. Осознание у неё идёт, как обработка предчувствий в образах - двойной захват. Это и нужно поэту. И ярко выраженный пол. Иначе откуда возьмутся дети?

Душа. Три подраздела. Аня-дитя и Аня-женщина несовместимы, как небо и земля. Аня-девочка мечется между ними, символически примиряя себя и его то с той, то с этой. Он сочувствует всем четверым и потихоньку дуреет от родинок (на высшем уровне) и глубокой ямки в распадке грудины - знака любвеобильных (на промежуточном).

Вдох на шесть, задержка на десять, выдох на шесть. Йогнуться можно.

С Аней-ребёнком полное взаимообнимание, с девочкой он кое-как перемогается.

С Аней-женщиной проще и опасней. Она хочет вести, как партнёр в танце, задавая тон. Это никуда не годится. Мужик в юбке, кентавр с женской грудью, не дай бог. В жизни ей встретятся всякие ларионовы. Те, что покрепче, разом сломают ей хребет. Ответить ударом на удар не хватит силёнок, это не перепалки с добрым дядюшкой по субботам. Те, что послабже, бухнутся в ноги, обливаясь соплями. Переступить через них не посмеет, после Феди Протасова все ей кажутся недостаточно мёртвыми. Чем кончится нюрочкино ню-ню-ню? Или обабится или с моста сиганёт. Ей нужен сильный и немножко благородный противник. Милый враг. Ларионов. С большой буквы. Пусть на нём тренируется, упражняя свои кулачки, он резиновый.

Что осталось? Мерзкая плоть. Вопрос на засыпку: а любит ли он эту сухую белую глину, на которую наткнулся случайно, гуляючи вдоль лужи, и не сразу понял, что глина редкая, ценная, не горшки лепить, не свистульки, словом, зевнул. Мало было размять эту глину, надо было знать, а он, подлец, знал, что хочет вылепить. Чем он прельстился в Ольге, Саше, Ядвиге, в той, на балконе... Инна? не Инга, лошадиное имя, Инна вообще мужское... но какой гагачий затылок, только и разглядел. В Ане должны заговорить все женские слабости, все отчаянные попытки преодолеть себя, своё ячество, раствориться в мужчине как в боге...

Ларионов ополоснул лицо и несколько раз отжался от пола. Хорошо бы заняться спортом. Или бросить курить. Купить что-нибудь необычное. Ошейник. Озверел?

Подобьём бабки. Итак, в третьем отделении нашей концертной программы возникла

загвоздка, а точнее, острая нехватка гвоздя. Глина не поддаётся. Она редкая, ценная, прекрасно впитывает воду, ещё немного терпения и станет упругой, но... она сама диктует форму, не считаясь с его вдохновением. Это пахнет провалом, гнилыми помидорами и тухлыми... вот уж точно.

Впрочем, все билеты проданы и на сцене кипит работа: и лубочный казачок, и старинный русский романс с грузинским подвывом, и девушка, распиленная натрое, и попурри, и естественно, акробатика, по-гречески «хожу на цыпочках, лезу вверх», любимый номер, как же без выкрутасов? Пирамиды двадцатых годов с грудастыми комсомолками и дубаками в семейных трусах давно развалились, аминь. Ларионовы и в анатомии разобрались, соображают, что такое высокие бёдра и тонкие ступни, и 343 способа прочитали... скоко-скоко? а хрен его знает, ему больше понравилась Бхагават-Гита. До прочего своим умом допрыгал, не отталкиваясь от марксова понимания современной потолочной любви (оба, соч. 2-е изд. Т.21. стр.79-80). Бедная Женни.

Ну вот, опять рассвело. «Рыбаки уж тянут сети, на лугу коса звенит, дятел носом тук да тук да, звонко иволга кричит». Мамочкина отходная, колыбельная то есть. Любила с мальчиком пошутить. У него глазки слипаются, а она: «Дети в школу собирайтесь, петушок пропел давно...»

Спать, спать. Постель это постель, существительное, класс слов, часто склоняющихся и склоняющих. Многозначный язык, не избежать неточностей. Ведь даже «двусмысленность» имеет около девяти синонимов.

Дать бы тебе ремня. Спинка выдержит.

Глава 67

Отрывистый стук в дверь. Она. Всегда стучит один раз и не костяшками пальцев, а дном ладони. Вышибающий жест. Ларионов повернул ключ в замке и, не дождавшись привета, выпалил:

- С днём рожденья!

Ни привета, ни ответа. Стояла на пороге и смотрела на него, как на солнце в полдень: моргая, морщась и расплющивая губы.

- Спасибо, - сказал Ларионов. - Где подарок?

Вложила в руку что-то холодно-железное, он отступил, «проходи». Украдкой глянул в глаза: серая размытая желтизна с узкими застывшими зрачками. Волга впала в Янцзы?

Хотел удивить и, пожалуйста, удалось. Два стола, письменный и обжорный, гроб и кровать застланы чистыми простынями, выделенными тётей Дусей по случаю именин, а также «гостевой стул». Так и записала в амбарной книге.

- Здесь он жил и творил, - скучным голосом экскурсовода, просвещающего колхозников, начал свой интересный рассказ Ларионов. - Обратите внимание на скромность и простоту убранства. Что может быть целомудренней несмятых простынь? Они говорят о великих раздумьях и жестокой бессоннице. Увы, в каждой аскезе незримо присутствует зловещая тайна, ибо нечистая совесть рождает сомненья, толкающие на размышленья... Мысль стройная, но коварная. Что сунула в лапу?

- Деньгу.

Он разжал кулак. Медная монетка, величиной с двухкопеечную. На аверсе: двуглавый

орёл с царской короной в головах, со скипетром и державой в когтях, внизу полустёртая дата 1813 с точкой; на реверсе, по окружности обвитом лавровой ветвью и тоже увенчанном короной, выбито слово «деньга», чуть выше - шестиконечная звезда, чуть ниже - буковки «п.м.».

- Откуда она у тебя?

- От мамы.

- Я не разбираюсь в монетах. А время помню. Царствование Александра Павловича, любимого внука Екатерины. Взошед на престол о двадцати четырёх годах. Миротворец. Уничтожил пытки при допросах и жестокие экзекуции. Запретил раздачу в награду населённых имений. Позволил помещикам, только того и ждали, отпускать крепостных с землёй. А чтобы земли было поболе, оттяпал у Турции Бесарабию и Финляндию у Швеции. В Петербурге, Харькове и Казани открыл университеты. Учредил вместо петровских коллегий министерства и Государственный Совет.

Ларионов вновь покосился на Аню. Пульсация возобновилась, и травка зазеленела, и «ласточка с весною в сени к нам летит». Тот же элементарный курс для младших классов мужских гимназий и реальных училищ, дедулина грамота.

- Главным его помощником стал Сперанский, автор плана либеральных реформ. Ох и умница был Михаил Михалыч! Хоть и простой попович, в бытность семинарист (от монаха до монарха одно «рцы»), но способностей выдающихся. Из мелких чиновников возвысился до звания государственного секретаря. Коба повторил его опыт и дослужился до генерального. Лишнее доказательство, что трагическое в истории повторяется, как фарс. А до перехода на гражданскую службу Сперанский преподавал в академии математику, красноречие, философию, французский язык и что-то ещё, забыл. В двадцать пять лет магистр богословия, каково? Но умница в нашем отечестве всё равно что дурак. Сперанский не смог пробить «грубую толщу», как он называл русскую действительность, и застрял в ней. Был обвинён в измене, сослан и т.д. Вернёмся к Александру. Втрое меньшими силами побил французов, в 1814 году взял Париж и детронировал (их глагол, страшно люблю за точность) Наполеона. Вот где-то на полпути к Европе и появилась эта «деньга», отчеканенная на Петербургском монетном дворе, «п.м.». - Он поцеловал Аню в лоб. - Мерсибо. Настоящий подарок.

Снег за окном и больничная белизна как-то не вязались с потеплением, наступившим среди зимы.

- Сорвём покровы?

Кивнула, вытянув мордочку. Ларионов осторожным рывком сдёрнул простыню со стола. Всё было готово к празднику: и бутылочка «Рислинга», и бычки в томате, и краковская колбаска, и сырки, и даже в стакане вместо цветка - надрезанная по краям салфетка, воздетая на карандаш.

Рассмеялась. Смех тот же, грудной, но уже без надрыва, подпускающий смех.

Ларионов уже смелей смахнул саван с гроба, попону со стула, пелёнку со стола и гамузом зашвырнул на кровать. Балдахин со стоном опал.

- Закрой окно, - попросил, - невзвидим света.

Перегнулась через стол, округлив свои углы, и расправила занавеску. Он разлил вино по стаканам.

- Сухое, не переживай, болгарская кислятина. Пожелай мне чего-нибудь.

- Пусть у тебя всё получится.

Ларионов отодвинул стакан.

- У меня и так всё получается. Пожелай невозможного. Ну? Все взоры устремлены на именинника.

Они впервые за столько дней встретились глазами.

- Пусть у тебя...

- Пусть, - перебил. - Всё неудержимо движется в означенном направлении. Нет, не могу я пить эту гадость. - И вытащил из-под стола бутылку «Столичной», припасённую на худой конец.

Водка пошла. Аня тем временем изображала жевательно-глотательные судороги. У Ларионова разыгрался аппетит.

- Всё-таки в тебе прорывается армянская кровь. - Ты слишком драматизируешь события. Может быть, кто-то умер или остался калекой?

Качнула башкой.

- Тогда в чём дело? Что ненормального произошло? Почему ты вздыхаешь, как покинутая рабыня?

- Я рабыня. Я делаю не то, что хочу.

- Подойди.

Посадил на колени и заставил отпить из своего стакана.

- Рабыня - так повинуйся.

- Я не умею.

Ларионов крепко сжал её запястья и резко отпустил.

- Оковы пали. Ты свободна.

Издала булькающий звук и прижалась к нему.

- Рванём в Москву? - спросил, раскачиваясь на стуле. - Прямо сейчас? Выпей ещё.

- Не...

- Потанцуем? Я возьму у ребят радиолу.

- Не-е...

- Ресторан? Кино? Прогулка по живописным окрестностям? Что?

- Ничего.

- Может, домой хочешь?

- Нет.

У него перехватило дыхание.

- Сними эту дрянь.

Обиженно слезла и, схватив кусок хлеба, принялась жадно есть.

- А-нич-ка. Тебе не нужна свобода. Ты сама себе наступаешь на ноги.

- Знаю. - Она слегка опьянела. - У меня всё не как у людей. Вы живёте непрерывно, а я сто раз умираю и воскресаю на дню.

- Что-то надо делать на раз больше, - не удержался, - иначе никакой диалектики.

- Я не счётчик. - Уставилась на салфетку. - Это орхидея?

- Антарам. Бессмертник.

- По-каковски?

- Вообще-то по-гречески «анто» - цветок, «рам» - ветвь, «амарант» - неумирающий. По-армянски.

- Не смейся.

- Я с тобой разучился смеяться.

- Правда, почему всё так часто во мне?

- Думай что говоришь. Быстро меняется?

- Оно не может меняться, оно сжимается и разжимается. Как мировой огонь, чтобы тебе понятно.

- Не бойся, я понятливый. - Львиная гордость отступила на второй план, захотелось крови и мяса. - Так когда это у тебя сжимается, когда умираешь?

- Нет, когда воскресаю, мне узко дышать, я это только я... - У неё заплетался язык. - А умирать легко... как будто сливаешься... ну надо бы с миром, но не с тем, с которым в газетах слияются? творческие личности, не с миром сосуще... ствовательным, с его заводами, фабриками и сплотившимся человечеством, а с тем, что был и будет после нас.

- А теперь, госпожа, заслушаем ваш перл. С миром. Который. Был. После нас. Логично?

- Да, никаких чудес не будет. Мир был после нас. Завтра - это твоя фантазия, не твоя, а как «помни, что Ты гражданин великой страны». Ты вчера представил его себе, а сегодня оно уже было.

- Оно это мир?

- Это завтра среднего рода.

- Ты о мире или о своём представлении о мире?

Он заблудился в трёх падежах. Что за бред? Все предложные. Как все? Был один. Почему был?

Ларионов по ошибке налил себе вина и по ошибке выпил. Две ошибки на один стакан. Смыл позор водкой.

- Чёрт с тобой, помирай, но заводы и проходные останутся? Вместе со всем случившимся человечеством?

Свершилось. Он идиот.

- Да нет!

На каком ещё языке утвердительная частица усиливает отрицание? Боже, куда он попал.

Аня носилась по комнате, размахивая руками, рыжим пламенем мирового огня поджигая его воздушные замки. Поймал за юбку, «заткнись на секунду». Оседлала его, как стул, и упёрлась лбом в лоб.

- Ты не даёшь мне слова сказать. Вместо того, чтобы слушать, ты думаешь о том, как бы вывернуть всё наизнанку. Ну не стыдно тебе? Пускай я неграмотно говорю, у меня слова отстают от мыслей, но ты же понятливый, так потерпи, дай мне собраться.

- Раз терплю, два терплю...

- Ваши бомбы, ваши космические прорывы - и нет прогрессивного человечества. Земли нет, солнечная система пф! разлетелась. А мир будет как был. Хаос, который уже не Хаос, назовём его Ахос, заваривается, опять, вжирает в себя обломки идей и этих... веществ, перемалывает их и перерождает в новые тела... дальше сам, не маленький. Всё это уже будет, и я устала.

- Холодно, жарко, спать хочу?

- О!

Запрокинула голову. О, как она несчастна. О, как он невыносим.

- Упадёшь, дурёха.

- Я второй год падаю, без конца падаю, а ты стоишь внизу и подсказываешь, как мне лучше упасть. Не могу я больше... или разбей меня или подхвати.

Ларионов подхватил. Короткая злая борьба и опять эти умирающие глаза.

- Не уплывай, ты жива, я с тобой... и всё прогрессивное человечество... ну, что нас ждёт

впереди?

Уходила, навеки.

- Давай, как умеешь, неграмотно... я тебе помогу... вода? замечательно... развивай свою мысль...

За дверью закопошились.

- Тсс... это время желаний... оно убивает...

Что-то пискнула, соль?

- У, какое проникновение, смерть моя... а теперь не ври... ты не пробовала настоящей соли... горькой, морской... а речная… ты видела... видела что... что... бурая, мутная, никакая, молчи, никакая...

- Я тебя не...

- Навижу, люблю, и ты меня любишь, так люби, люби же...

Ларионов похлопал её по одной щеке, по другой, снял с колен и положил на кровать. Ничего страшного. Лёгкий тургеневский обморок. Сейчас откроет глаза, спросит:

- Это ты?

- Кто ж ещё? - удивится он.

Глава 68

- Отказались?

Фаина Марковна колдовала над плиткой, соединяя концы перегоревшей спирали.

- Помочь? - ответил Ларионов вопросом на вопрос, копируя её манеру и заодно совершенствуясь в краткости и ехидстве.

Зевс выражал свою волю движеньем бровей, Фаина Марковна изъяснялась руками. Вправила спираль в желоб, включила плитку и поставила на неё чайник. Чёрное платье с белым воротничком очень ей шло. И букли были уложены как-то благообразно.

- Вы похожи на княгинюшку из графского романа. Так и хочется поцеловать вам ручку и заблябляка́ть по-французски минимум на полторы страницы. Конечно, отказался.

У него только что произошёл зубодробильный разговор с ректором.

- Поступил сигнал, что Файнберг не справляется со своей нагрузкой. Спецкурс по Франсу организован профессионально, тут все едины, а современная зарубежная литература оставляет желать лучшего.

Он себя не слышит, опустился в кресло Ларионов, а ведь в кои веки произвёл нечто человеческое. Оставляет и как.

- Наши действия? - Попёр напролом, было ясно, что речь пойдёт о сегодняшнем заседании кафедры, на котором будет обсуждаться «несоответствие тов. Файнберг занимаемой должности», как шепнул Соснов, вылетая опрокинутым лицом из ректорского кабинета. - Поможем исправиться или пусть живёт?

- Я позвал вас не за тем, чтобы состязаться в остроумии.

Соревнование предполагает равенство, а купля-продажа - взаимовыгодный интерес, молча возразил Ларионов, а вслух кивнул.

- На каждом из нас лежит груз ответственности, но не каждый сознаёт, насколько это...

- Ответственно.

Подсказка ректору не понравилась, но лучше выдумать не мог.

- Самонадеянных и не знающих меры... - Опять заело. - Им нечего делать в высшем образовании. Мы не гайки штампуем, а людей... воспитываем. Нам нужны нравственно пригодные специалисты.

Ты не станешь ссориться со мной, вновь кивнул Ларионов, я тебе ещё пригожусь. И не пугай меня желваками, а то папочке пожалуюсь.

- А нравственность – это образ мыслей и приличное поведение. - Метнул на него испепеляющий взгляд. - Надеюсь, не надо конкретизировать?

- Не надо, - напрягся он. - Педагогика сложная наука, и дидактика занимает в ней не первое место. В Древней Греции, например, в пятом веке до нашей эры, воспитание человека было частью философской системы, а теперь в свете марксистско-ленинских задач, направленных на формирование всесторонне развитой личности, уже и не часть, а сама философия, отрицающая концепции «деидеологизации». Зачем упрощать смысл?

- С вашим языком не в Армпеде, а в Минпросе сидеть, - почти что с завистью сказал ректор.

- Можно и выше, - обнаглел Ларионов, - там, где окрыляются мечты, как говорит важная птица Апраксин, феникс в некотором роде.

- Вот и дерзайте, - надулся ректор, - молодым везде у нас дорога, особенно тем, кто понимает, в какое время мы живём. Газеты читаете? Уже официально заявлено, что имели место проявления субъективизма и волюнтаризма. Эта ваша деделогизация наделала много шума и грязи, мы с трудом пробиваемся к цели... намеченной партией. И я никому не позволю хромать на правую ногу.

О чём бы подумать, поднатужился Ларионов, ещё пара блоков и меня хватит кондрашка. Почему в несчастном детском лице больше старческого, чем во взрослом? И не странно ли, что воспоминания располагаются на одной оси, по принципу анфилады, и продуваются насквозь, едва повеет ветер перемен? А богиня обмана Аната рождена Ночью. Всё подлое совершается втемную, с глазу на глаз, как сейчас, за двойными дверьми.

- Берите, не пожалеете, - закончил ректор с поспешностью христопродавца.

- Вы шутите? Незнакомый предмет и алле оп?! Нет, я не настолько безответственен, чтобы подставить себя под удар. У меня диссертация и книга на выходе, и я считаю, что лучше Файнберг никто этот курс не прочтёт.

- Проголосуете против?

Он был профессиональным партийцем, циничным и агрессивным, он умел оперировать ложью и правдой. Но раскрылся, и напускная учёность, руководящая спесь слетели с него, как маскировочные ветки при бомбовом налёте. Обнажилась стальная броня. Не ново, в советском лесу что ни лужайка - потенциальный плацдарм. Не тяни, козёл, рви с колышком.

- Безусловно. - Ларионов поднялся, потому что согнувшись вдвое, можно лишь мямлить. - Но это я сделаю ради вас и решающего меньшинства. Обстановка, сами говорите, неустойчивая и тоже хромает то на одну, то на другую ногу. Как бы нам всем в инвалиды не загреметь. Сегодня подхватим новое мышление, а завтра вдруг снова окажется, что кадры решают всё. Есть и такое нетривиальное мнение.

- Вот вы как заговорили... - В голосе ректора не было гнева, а лишь сухая остаточная злость. - Не буду распространяться, но вы всё-таки разберитесь с вашими диссертациями и

романами. И впредь не разбрасывайтесь словами. Это мой вам добрый совет.

На выходе Ларионов столкнулся с Лидой, но друг друга они не узнали.

- А и побалакаем, - неожиданно поддержала Фаина Марковна, поудобней устраиваясь за общим столом, заваленном грудой входящей и исходящей макулатуры.

Ларионов поднёс ей чаю и похвалил за ловкость, с которой она обыграла его галлицизм.

- Et bien, mon prince. Gкnes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte... Je vois que je vous fais peur, садитесь и рассказывайте.

- Вы шпарите по тексту! - вскричал Ларионов. - Мать моя, неужели всё помните?!

- Только начало, как «всё смешалось в доме Облонских». Память есть - ума не надо.

- Mais moi, je suis tombй raide!

- Фи, - поморщилась, - где вы набрались этой бульварщины?

- В Чреве Парижа, к сожалению, упразднённом, где теперь насаждается культурный центр: каштаны, шантаны и прочая ня. Где барышень, зажимающих нос, дразнили «chochotte» - фу ты, ну ты, ножки гнуты. Всё, заткнулся, сажусь и рассказываю.

Ларионову пришлось перейти на нижегородский, потому что в профессорскую заглянул Казанский.

- Чем вы так увлеклись?

- Толстого цитируем, - с готовностью ответил Ларионов. - Старик находился под могучим влиянием зарубежной литературы и не стеснялся признаться в этом. Послушайте, как звучит ключевая фраза князя Василия, произнесённая в салоне Анны Павловны Шерер, фрейлины Марии Фёдоровны, которая не Нагая и не седьмая по счёту, а первая и последняя, их было две, ну это каждый дурак знает... «Buonaparte a brыlй ses vaisseaux, et je crois que nous sommes en train de brыler les notres». А от себя добавлю: va te coucher, mon pied. Это я вам пожелал выучить французский язык хотя бы за то, что им разговаривал Левин, тоже герой романа, не менее знаменитого.

- А что это значит?

- Что «это»?

- Про Бонапарта?

- А, ерунда... как мы подъезжаем на поезде к нашим кораблям, а там каша хуже овсяного киселя, что заварили ещё при Василии Блаженном, то бишь Иване Грозном. Существует гипотеза, что это одно и то же историческое лицо. Лёв Николаич косвенно, но гениально её подтвердил.

- Разве тогда были поезда?

- При Иване-то? Что вы! Была опричнина, послужившая прообразом...

- Это каламбур, - со свойственной ей бестактностью вмешалась Фаина Марковна. - «En train» означает «на поезде» и «на ходу», а фраза переводится: «мы собираемся сжечь наши корабли».

- Я на минуточку, - словно вспомнив, зачем пришёл, повернулся к ней Казанский, - уточнить дату вашего рождения, месяц и день.

- Срок истекает второго апреля.

Рассыпался дребезжащим смешком.

- Ну, филологи, слова в простоте не скажут. - И бочком выскользнул в дверь.

- Ждите подарка, - задымил в форточку Ларионов, - неспроста наш сокол ужом вьётся.

- На пенсию хотят спровадить. - Сняла очки и, рассеянно повертев, надела. - Может, и к лучшему. Книжки буду читать, в окошко глядеть. Как ваша наперсница поживает?

- Осторожно, - сказал Ларионов, - это слово имеет три разных значения.

- Бог с вами, хватит и одного. На днях вместе в очереди стояли. Вид у неё не ахти.

- Давно не видел. Спрашивала обо мне?

- Поздоровалась и уткнулась в книгу.

- А что за книга?

- «Идиот».

- Тьфу! Достоевщину с «Белых ночей» надо начинать. Подсказали бы по старой дружбе.

- Сдали девочку?

- Как вы любите лобовые атаки. Это наши, а это белые.

- Вы меня не собьёте своим конармейским наскоком. Почему отказались от роменов-роланов?

- Мало мне наших, горячо приветствовавших Октябрьскую революцию. Очарованные души, порхающие над схваткой, те же призраки коммунизма, с той разницей, что европеоидные. У нас, в азиатской пустыне, практикуются миражи. Я не прочь сцепиться с тарантулами и скорпионами, но с фантомами... ищите дурака. И потом, мне нравится закон, изданный Солоном: «Кто во время междоусобных раздоров не примкнёт ни к одной из сторон, тот лишается гражданских прав». Я не хочу притворяться сумасшедшим, как он, подбивая толпу на взятие Саламина, но в душе я грек и ничто греческое мне не чуждо.

- Скромничаете, что на вас не похоже. - Поправила букли скупым народовольческим жестом. - Вы отказались, потому что вынуждены были выбрать с кем вы, а следовательно, против кого. Вот я и спрашиваю: вас вынудили или вы сами приняли решение?

- Не мелочитесь, Фаина Марковна, важен результат.

- В результате могли бы и воздержаться.

- Не мог. Это уже я сам. Хотя воздержание вещь полезная, к тому же греческая.

- Ну что вы паясничаете, как мальчишка в комнате кривых зеркал! Чем страшнее рожи, тем уродливей отраженье. Не безобразьте себя и не пугайте других, вон сколько народу набилось вокруг вас.

- Зато уроды в кривых зеркалах красавцы. Мысль глубокая, как дыра.

- Значит, тем, кто захочет иметь с вами дело, придётся довольствоваться вашим неотразимым отраженьем?

- Моим? Я ни при чём. Образ за образ, зуб за зуб. Ну что вы ко мне пристали? Да, я её люблю. Да, я её ненавижу.

- Аню?

- И Аню, и Лиду, и всех, кто набился вокруг меня. Я никого не звал. И кончим на том.

- Окажите мне небольшую услугу. - Фаина Марковна встала и оперлась руками о стол. - Проголосуйте «за». Мне не всё равно, кто со мной, даже если мы против одних и тех же.

Для судьи, объявляющего приговор, она приняла не слишком удобную позу. Шаткий стол со скрипом пополз вперёд. И чайник её освистал. Ларионов вырвал шнур из розетки и снял с плитки символ сопротивления.

- Вам только кажется, что идеализм и идеализация отличаются друг от друга. Вы отвергаете компромисс, но вы не готовы к конфликту, как сказал бы наш милый доктор. В таком случае имейте мужество доверять тем, кто взял вашу сторону.

- Вот именно «тем», - с горечью произнесла Фаина Марковна. - Сколько вас, Ларионов?

Он рассмеялся. Нервы гуляли, но после холодного душа, которым его окатили, было не до самочувствий.

- Если бы большинство, мы бы сегодня победили. Как пить дать. - Он протянул Фаине Марковне чашку с дымящимся чаем (меньше двух не пила). - И я бы тут же помчался к Аничке сообщить ей это преприятное известие. Будьте уверены, я бы использовал любую эйфорическую возможность увидеться с ней.

Разнос тов. Файнберг закончился общественным порицанием и постановкой? поставкой? на вид. Кроме Ларионова и воздержавшегося Соснова, все прокричали «ату». Фаина Марковна убедилась, что и один в поле воин, а Ларионов поверил, что исход сражения ему всё-таки интересен. К Ане он не пошёл. Поэтому.

Глава 69

Новый год он встретил, как чернец, при свете свечи. Накануне повалил снег, поднялась метель и посрывала со столбов провода, обесточив полгорода. Во избежание паники по учреждениям были разосланы горкомовские гонцы, заверившие, что будет сделано всё возможное и ничто не испортит праздника нашим людям, закалённым в труде и в бою.

То и другое оказалось правдой: света не дали и люди в темноте мимо рта не пронесли. За ночь в общежитии случилось три пожара, чей-то родственник упал со второго этажа, в доме напротив передрались и пришлось вызвать милицию.

Послепраздничную неделю он большей частию пролежал, размышляя о судьбах мира. В субботу починил ботинки и допечатал роман.

У кого есть совесть, тот всегда виноват. Это мог бы сказать Толстой, сказавший: когда ссорятся двое, виноваты оба. Расхождение кажущееся, в смысле «условного правдоподобия», как обмолвился Пушкин, имея в виду греческие маски и двойные роли. Случайным ветром прибило безумные простыни, и сама подкатилась под ноги сиротская деньга, и страсти за честь природы разыгрались не по Ламарку. И Аню он проучил. Не бандитским способом, а дуэлянтским, выбрав оружие по праву оскорблённой стороны. Кто виноват, что полезла в драку? Он, бессовестный, но...

Интерпретация событий не обходится без повторов, заимствований, параллелей. Кстати об аналогиях. Недавно прочёл в русской газетке, выходящей в Париже (откуда? а оттуда, мы своих не сдаём, дорогая Фаина Марковна), что в «Борисе Годунове» запечатлена высшая степень христианской веры. Автор провёл параллель между двумя сценами: «Ночь в Чудовом монастыре» и «Корчма. Литовская граница», и, назвав её «заочным диалогом», противопоставил «глас божий» (в образе Пимена) сатанинскому словоблудию монахов.

Не бог весть какое открытие. Духовники возникают в трагедии дважды и естественно сопоставить их характеристики, тем более, что сцены стилистически разнородны, «Корчма» написана прозой. Однако автор, сославшись на пушкинское признание: «чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» (признание частное, из переписки с Раевским-сыном), делает вывод, что Пушкин был «безусловно христианином».

Ну, был и был. Дар сам по себе категория божественного, и вырос на христианской

культуре. А как быть с высказываниями самого в период создания «галиматьи в шекспировском духе»? Заподозрить поэта в религиозном подвижничестве, а что ещё быть христианином, шире - верующим? невероятно трудно.

«Нынче день смерти Байрона - я заказал вчера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности». Вяземскому, из Михайловского в Москву, 7 апреля 1825 года.

«...бог не захочет, чтоб «Годунов» со мной уничтожился». Жуковскому, из Тригорского в Москву, 6 октября 1825 года.

Прямая ссылка на провидение? Но бог-то помянут со строчной буквы.

«Хоть она (трагедия) в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» Вяземскому из Михайловского в Москву, 7 ноября 1825 года.

За «хороший дух» его потом похвалят Киреевский, Веневитинов, Погодин. Сам себя величает без пиетета: «сукин сын» (в том же письме).

Всё бы ничего, да разбирая «заочный диалог», критик выделил «четыре ведущие классические темы», которые, по его разумению, раскрывают человеческую сущность. Это отношение: 1) к Отечеству, родине, 2) к женщине, 3) к просвещению, 4) к самоотречению (к положению монаха и к монастырю). Тут-то и вылезли зоиловы уши из-под каракулевого пирожка. И в попытке заклассифицировать всё, что не укладывается в схему, и навязать свою терминологию, а под шумок толкнуть какую-нибудь идейку. О «безусловном христианстве» и т.п. Так что разные бывают интерпретации и параллели.

И кроме того. Достаточно что-либо сравнить, как обнаруживается чудовищная зависимость явлений и их оценок, иногда прямо, иногда криво противоположных (пример с Толстым). Приходится ориентироваться на частоту упоминаний и употреблений одних и тех же формализованных данных. Общих мест? Грубо говоря, да. А как ещё работать с дубликатами? Все историки вышли из писателей.

«Предположение обладает высокой вероятностью». Образчик научной мысли. Слабоумным филологам можно только мечтать о подобных вольностях. А зависимость, это близость или совпадение? Воспоминания - субъективные ощущения или реальность, воспроизведённая в ощущениях? А галлюцинации, далеки ли они от иллюзий? А как уживается непредвзятость с желанием отстоять собственное мнение? Любое человеческое знание не способно воссоздать свой объект. Мысли накладываются на мысли, чувства на чувства, хронология обрастает дьявольскими подробностями. И средневековье любви - одновременно потоп варварства и зарождение европейской культуры.

Ларионов откинулся на спинку стула и потосковал. Опять шёл снег. Тихо и ясно. Ничего не тихо и абсолютно не ясно.

Завтра Ане исполнится пятнадцать. Он подарит ей Пигмалиона. Пусть сама решит, нужен он ей или нет. Не Пигмалион, а Ларионов, который не захотел быть другом. Крайности сходятся. И концы правлений. Избито. Жестокость сентиментальна. Забито. И любовь не обходится без насилия. Надо совсем потерять совесть, чтобы сказать наоборот.

Чем так противно пахнет? Кого линчуют на кухне будущие сухомлинские? Он по-женски чувствителен к запахам. Мамочкина стерильность отбила ему первобытный нюх. И мужскую жертвенность - защищать, брать на себя.

Где же он слышал про эту самоотверженность, недоступную смертным бабам? А, на тайной вечере в Опалихе, деревушке в часе езды от Савёловского вокзала, куда зазвала его симпатичная немочка, ударившаяся в православие. Словоохотливый поп окормил их воскресной проповедью, а потом молодой картошкой со своего огорода, после чего

заговорили о разном и, как водится, о прекрасном завтра. Ларионов полушутя ввернул, что в Бога не столько верят, сколько боятся, на всякий случай, а ну он действительно существует и за гробом придётся отчитываться за каждый грешок. Во спасение и задабривают судию. «Спасти против желания нельзя», возразил иерей. Вы мистик, подсёк его Ларионов. Да, засмеялся тот, но повенчанный со здравомыслием. Получается, что мистика ваша тайная жена? вновь надерзил и был отшлёпан по всем правилам ораторского искусства.

Поделом тебе, богохульник.

А формировать коммунистические убеждения не кощунство? Не религиозное, так педагогическое? Вот и зависимость как близость. А почти полвека коверкать историю не святотатство? Вот и близость как совпадение. Нарушена-то не хронология, не последовательность понятий - сфальсифицирована целая эпоха. И не только в партийных документах (а других нет, уничтожены), а в сознании миллионов людей. Куда уж глобальней.

Собственно, ложь не только средство насилия, но и самозащиты. Потеряв к себе человеческий интерес, подонки самоутверждаются тем, что требуют от других поклонения, компенсации за своё ничтожество. Тираны болезненно чувствительны к изъявлениям народной любви. Убийцы млеют, когда им говорят, что они жертвы плохого воспитания или равнодушия к ним общества. Но ложь начинается с осознания себя, как мерзости. Осознания, немаловажный психопатологический штрих.

Что же содеялось на перине? Между разговором о дворянстве и актом доброй воли унтер-офицерской вдовы?

Снова сбился.

О святая русская литература! Ты ведёшь меня, как звезда в нощи, по дороге жизни, но вопли мучеников твоих, распятых на верстовых столбах, смущают мой слабый дух. Помоги моему неверью! Укрепи меня в правоте!

Поневоле взвоешь: «пошто?» «кто виноват?» «доколе терпеть?» Как вырвать из сердца христианский корень страха и сострадания? Что ж такого нашептала нам на посошок византийская бабка русского православия?

Это с юга. А с севера: чаво, чаво? Там давно оглохли от душераздирающих воплей. Кака така звязда? Иде говорыш? Ента зга?

Полное помрачение. А если свернуть на боковую тропинку и лёгким беллетристическим шагом отмахать молодые годы? Наслаждаясь картинами природы и космополитическим пением птиц? Зачем искать счастья на крестных путях, когда его вдоволь на проторённых?

Но перина. И девочка, которую он хотел сделать рабыней. Откуда ей было знать, что между тем и этим (см. выше) он лихорадочно соображал: как без лишней крови избавиться от Лиды; куда, слезши с перины, тащить Аню (к себе? Никитич уже намекал, что «не того», к ней? там второй комендант, чтоб ему сгореть на работе, в подъезд? и батарея, и лампочку вывернуть... не даст); что делать с пенсионерами? распустить? не идиот же совмещать неприятное с бесполезным, и, наконец, как жить?

А тут стало тепло и без батареи. И щека запылала, и луна осветила юдоль. И всё как-то определилось. Аню спасать поздно, и глупо против её хотенья, а подыхать с ней за компанию, как жид и поп, анекдотично. Он болен и он устал. И он человек. Хотя бы гипотетически.

В день рожденья попробовал родиться заново. Тянул себя клещами. Черепушку не

повредил, но асфиксия (отсутствие дыхания при наличии сердцебиенья, основная причина ранней детской смертности) что надо. Месяц прошёл. Новый организм оказался нежиснеспособным. Приятные муки совести переросли в жестокую головную боль.

Днём он подстерёг Аню у школы. Увидел в толпе одноклассников и вздрогнул: ужель та самая? Свежий румянец, яркий взгляд, вся гибкая, как желание. Шла без портфеля, с расшитой торбочкой через плечо, что-то отвечала и смеялась, ещё и смеялась. Вот так униженная и оскорблённая, вечный укор русской словесности.

Дура с хвостиком сразу его засекла, показала пальцем. Аня бестрепетно продолжала движение. Поравнявшись, остановилась, как бы из вежливости. Группа товарищей с головами, развёрнутыми на девяносто градусов, пошагала вверх по улице Комсомольской.

- Люблю тебя, - сказал Ларионов. - Жить без тебя не могу.

А что услышал, боже ты мой.

- Завтра ко мне не приходи. - Глядя, как обычно, вверх и вбок.

- Приду. Даже если милицию вызовешь.

Усмехнулась. Самодовольной распутной улыбкой. Периода распада Великой римской империи.

- Я не бедный родственник.

У неё от смеха дрожал подбородок, но голос был сух.

- Будет детский стол. И папка с тостом: «смело идти вперёд и не бояться трудностей». К девяти разойдутся, я выйду их провожать... В общем, сиди и жди.

- Придёшь? Я не оглох? - Он вцепился в верблюда, в два его маленьких горба. Они истаяли за время долгого перехода в пустыне.

- До завтра.

Не смутилась и не отпрянула. На них смотрели десятки ошарашенных глаз. Крутанулась на каблучках, ах, и сапожки новые, и легко, по-жеребячьи, понеслась к своим недомеркам, топтавшимся на углу.

«В Москве полночь». С днём рождения, девочка.

Глава 70

В десять часов вечера, на следующий день (вечер, день, опять эта неопределённость), Ларионов сорвался с места, где ему было приказано сидеть и не возникать. Решение пришло неожиданно, как пишут в милицейских романах. Очень смелый поворот, цвета детской неожиданности. Побегав по комнате и успокоившись, он закатал Пигмалиона в «Комсомолец Кубани» с аниными стихами и неторопливо, как хрыч Мегрэ, запилял к неизвестным в доме.

Улицы подморозило, мела позёмка, и ледяные иглы впивались в лицо. Ни людей, ни машин - город вымер, лишь у вокзала на автобусных остановках чернели разрозненные фигурки. Одни беспорядочно двигались, словно пританцовывали, другие жались к чугунной ограде сквера, сквозь пики которой хлестал ветер со снегом. Каждый боролся за выживание по своей системе.

Ларионов двинул напрямик, дворами, чтобы не разминуться с Аней, всегда выбиравшей

непроходимый, но короткий путь. За сараями вдоль электростены валялись рваные покрышки, сломанные козлы - сам чёрт ногу сломит. Спотыкаясь, допрыгал до асфальта и уже собрался стукнуть в заветное окошко, как увидел Аню и закоченел. Стояла, припав щекой к полузакрытой ставне и смотрела сквозь заиндевевшее стекло. Рядом с ней маячило нечто рослое, мужеского полу-племени. Вдобавок оно наклонялось к уху его собственноручной девочки и шевелило губами. Аня не отвечала, но и не отталкивала наглеца.

Ларионов по привычке полез в карман, чтобы выхватить пистолет и пристрелить их обоих, а потом себя, но нащупал мелочь и зашвырнул горстью в окно. Аня отпрянула, нелепо взмахнув руками, и бросилась открывать, догадалась, кому.

- Привет честной компании, - улыбаясь до коренных зубов, но холодно, по-бульдожьи, приветствовал детей Ларионов. Папой и не дышалось. - За что пьём?

- За кого, - вежливо поправил ухажёр.

Мальчишка был красив и похож на штурмана гражданской авиации: открытое лицо, взгляд, устремлённый в будущее, бледный волевой рот. Рот разозлил Ларионова больше всего.

Из подружек присутствовали две девицы: кругломорденькая в завитушках, с розовым клювиком (когда говорила, он поднимался и опускался в такт губам) и томная, вполне оформившаяся, с восточным вымогающим ожиданием в глазах Жанна, ручка лодочкой. Товарищи были представлены почтарём Петькой в малиновом пиджаке и лопоухим живчиком из разряда бесплатных клоунов. «Ирка, Валька, Юра». Не Юрка. Нарочно сказала, знала, что ужалится.

- Налейте человеку, - распорядился Петька. - Анька, тащи винегрет, я его в кладовку оттаранил.

Ларионов положил на шляпную полку пигмалионский свиток и скромно присел с краю. Ирка, хихикнув: «а мы всё съели», придвинула к нему тарелку с хлебом и миску с квашеной капустой. Валька сполоснул чью-то рюмку и налил ему кагора.

- Жанка, лыбься ширше, - снова скомандовал Петька с развязностью исполняющего обязанности, - охмуряй профессора, пока он добрый. - И пояснил Ларионову: - Она у нас жмёт по педагогической линии, к вам пойдёт, на филфак.

- Брови уже хорошо сдвигает, - сморозил Валька, - осталось дикцию подшлифовать.

Волоокая пришепетывала.

- Подвижная мимика - признак интеллекта, - изрёк Ларионов.

Жанна мизинцем откинула прядь со лба, притворяясь смущённой.

- Ой, девочки, а что вчера было... - Ирка закатила белёсые глазки. - Еду я, значит, в автобусе, а тут дверь открывается, и впихиваются жених с невестой, прямо со свадьбы! Она в нейлоновом платье, фата аж досюда, а он жуть какой поддатый, я думала, щас запахают, он её на руках волок! Всю дорогу орал «горько» и весь автобус орал... я до смерти обхохоталась!

- Ничего смешного, - буркнул Петька. - И я бы понёс. От загса до самого дома.

Точно бы понёс. Хоть сейчас.

Аня плюхнула на измятую скатерть тазик с винегретом и чистую тарелку, «бери».

- Ну, за что и кого? - спросил Ларионов у Юры, довольно-таки желчно.

- За Аню, - ответил тот и вдруг подхватил её и высоко поднял, как штангу на вытянутых руках.

Ларионов так и застыл с рюмкой на полдороге. Аня, перекувыркнувшись, спрыгнула на

пол, одёргивая юбчонку.

- Прости, - смутился Юра, - я не хотел.

Это были его, ларионовские слова, он часто так говорил. Ограбили, обобрали при всем честном народе.

Ларионов медленно встал, «виват», выпил со смаком, поставил рюмку на стол и поцеловал Аню. Ну да, как в кино, железным фотогеничным поцелуем, крепко прижав к себе, положив руку чуть пониже спины. Похабень мог видеть только Юра, он и это учёл.

От тяжкого лобзанья Аня оторвалась с неподобающе тяжким видом.

- А теперь побеседуем, - сказал Ларионов, принимаясь за винегрет, пересоленный и переперченный (влюблена и горюет, наша примета). - В Древней Греции застольная беседа считалась непременным условием пристойного пиршества, которое называлось «симпосий», что в переводе «попойка». Судя по многочисленным симпозиумам в нашей стране, словцо привилось отлично. Так вот. Плутарх составил девяносто пять разговоров, которые, по его мнению, могли заинтересовать приличных людей. Например: «Почему старикам вкуснее неразбавленное вино?»

- Потому что в молодости недопили, - резво вставил Валька.

- «Почему пьют три чаши или пять, но никогда четыре?»

- Ой, а мы не считали... - Ирка потянулась к бутылке.

- Пять не выпьешь без четырех, - резонно заметил Петька.

- «Почему приятно смотреть на актёров, изображающих страдание, и неприятно на тех, кто действительно страдает?»

- Горе некрасиво, - тихо ответил Юра.

- «Почему голод от питья слабеет, а жажда от еды усиливается?»

Петька налил ему вина. Определённо он был башковит.

- Смело идти вперёд, - провозгласил Ларионов, - и не бояться трудностей. Древнегреческий тост, прощальный.

Ирка плавала в грёзах. Жанна искоса, с ревнивой улыбочкой посматривала на Аню, скучавшую у окна. Петька снял пиджак и остался в жёлтой рубахе с мокрыми подмышками. Валька ёрзал, не зная, как изощриться.

- Мне пора, - заторопился Юра. - Я прогулял каникулы и не написал сочинение. Надо хоронить своих мертвецов.

- Какая тема? - спросил Ларионов, работая челюстями.

- Останься. - В анином голосе прозвучала почти мольба.

Юра взял её за локоть, «проводи». Да, случись в воздухе авария, он обойдётся без наземных подсказок.

- Какая же тема, девочки? - продолжал Ларионов, не отвлекаясь на мелочи. - «Мёртвые души»?

- Ой, правда, - подскочила Ирка. - Как вы угадали?

- Ясновидящий. - И показал на книгу, лежавшую на кровати.

Юная пара удалилась. Их не было долго, очень долго. Не целовались, потому что не умолкали: он что-то доказывал, она упрямо не соглашалась. Обо мне, решил Ларионов, допивая остатки вина и докуривая вторую пачку.

- Я тоже пойду, - поднялась Жанна и обошла стол с другой стороны, видимо, опасаясь его рукопожатия.

- Чичиков выглянул их кареты - всё было дичь и чушь, - с комической серьёзностью разразился Валька. - Всем пора.

- Полагается отбивать цитаты, - усмехнулся Ларионов, - ссылкой на источник либо... - В коридоре стояла гробовая тишина. - Вижу, родная литература вдохновляет вас больше плутарховых моралий. Ну и хай с ними, счастливой дорожки.

Молодёжь шумно прощалась. Он обозрел объедки, грязную посуду, пятна, пепел. Он ненавидел концы трапез. Шум в ушах и тяжесть в желудке. И трупный запах убитого времени.

Аня вошла и расстегнула кофту.

- Ну что, начнём, чтоб не терять ни минуты? Как ты хочешь: на абажуре или под диваном?

- Я Пигмалиона принёс, - обиделся Ларионов.

- Ничего, он удобно пристроен. Согрет моим поэтическим дыханием. Ну, что ты млеешь? Давай быстренько блуднём и сядем читать по очереди, как в старых хороших семьях.

- И не стыдно тебе?

- Стыдно. Я готова себя растерзать.

Дрянь, она не носила лифчика. Конечно, нечего было прятать, а что имелось, торчало и так. Детская маечка и растянутая кофта повторяли каждый изгиб её тела.

- Чьи окурки?

- Общественно-политические.

Ларионов закурил, сделал пару затяжек и с силой воткнул сигарету Ане в рот. Она не успела опомниться и вдохнула дым. И выдохнула. И не закашлялась. Он раздавил окурок в кулаке.

- И куришь, и врёшь.

Никто ещё не смотрел на него с такой ненавистью.

- Чудо моё, а ты ведь чудовище.

Отвела глаза. Шея и грудь пылали. Ребёнок становился нервозным.

- Что же ты... - Не дотянул, заглох.

- Ах, - прижала пальцы к вискам, - вечно вы со своими благоглупостями. У меня от них апперцепция.

Господи, из какой оперетты?

- Ладно, - пошёл на попятную, - обещаю не зарываться. А ты поклянись, что впредь ни одной сигареты.

- Одно «нет» спасает от тысячи «да». Не бойся сказать «нет», если ты не готов на тысячу «да».

Ларионов встряхнул её.

- Слушай, дохлятина, я не шучу. Я боюсь за тебя, потому что...

Мужество его покинуло. Надо обладать задатками самоубийцы, чтобы признаваться в любви человеку, которого от тебя воротит. Но Аня вдруг побледнела, словно он уличил её не в механической ошибке, а в грубом искажении текста.

- Мы не чужие, - домямлил. - Ведь не чужие?

- Одно «нет» это тысяча «нет».

- Чья народная мудрость?

- Мамина.

- Она была осмотрительной. Чем занималась?

- Ничем. Она видела сны. И гадала по ним.

Ларионов грохнул по столу кулаком. Рюмки попадали. Аня рванулась подбирать

уцелевшие. Чисто женский собственнический рефлекс.

- Может, и ты кое-что умеешь? Например, превращать воду в вино? Было бы кстати.

Застегнула кофту. Туманно глянула на него, издалека, за тысячу километров, за тысячу «нет».

- Вот у тебя глаза... глубокие, затягивающие, тёплые на цвет. А мне от них холодно, я обжигаюсь, потому что мысли твои - лёд.

- Серый цвет не бывает тёплым.

- А песок?

- Тебе не даёт покоя моя сирийская пустыня. Я слишком близко подпустил тебя к Пигмалиону.

- ...и когда ты затягиваешь, то тут же выталкиваешь, потому что тебя сносит ветром.

Туман рассеялся, и блеснули невидящие зрачки.

Ларионов отбил чечётку.

- И себя разрабатываешь, как карьер. Но не ради чего-то, а чтобы побольше песка перелопатить, раззудеться... ковшом. И эдак я могу и дак... и тебя, дурочку, перелопачу, не на мыло, так на стекло. Наделаю из тебя всяких маленьких штучек, а потом перебью по одной. Песка-то много. И техника не простаивает.

Она уже понимала что говорила, но не могла остановиться.

- Почему сильные любят слабых, а слабые ненавидят сильных? Почему первая любовь - дело чувствительности, а последняя - дело чести? Почему «потому» кончается на «у»?

- Что-то я зябну, - поёжился Ларионов. - Видно, дрова выгорели. Сбегай в сарай, я собираюсь долго сидеть.

На пороге качнулась, «жди меня». Он прислушался к хрусту снега за окном и скрипу угольного ведра. Снял с полки рулон, открыл дверцу печки и запихал его вглубь. Дрова дотлевали, но рыжее пламя схватило листы, они мгновенно скорчились, почернели. С перепугу сунул руку в огонь, отломил полуобугленный угол страницы: «жди меня там». Скомкал и бросил обратно.

- Хорошо горит, что ты выдумываешь, - проворчала Аня, выдвигая заслонку. - Какой осёл накидал сюда бумаги? - Пошурудила кочергой, прочищая колосники, затолкала чурки и повернулась к нему. - Сейчас будет тепло. Где твой Пигмалион?

- Римляне да... а греки? - Ларионов её не слышал. - Тем более Кипр... такая дыра... и связь с землёй... я знал его, Crematio...

Аня так вздрогнула, что и его подбросило.

- Ты разбил меня, - пробормотала, падая на него, - где твои руки, ты не порезался?

Ларионова забила кислая тошнотворная дрожь. Он, как кролик под электродом, вытянул лапки.

- Пройдёт, - бредила Аня, - я живучая... это кость?

- Кость, - сказал Ларионов. - Белая. И очень острая.

- Ничего не делай, жди. Всё будет, как ты хотел. Я говорю «да».

- Опять замуж уламываешь? - хмыкнули за спиной.

Ларионов смотрел на свои руки, и они чернели на глазах, но не уменьшались в размере и не увеличивались, а затвердевали, как чугунные отливки. Дядя Лёша тоже нагнулся, потыкал их заскорузлым пальцем, «а что? ничего». Аня легла на диван и закрыла глаза.

- Замуж? - переспросил Ларионов. - Я никогда не возьму её замуж. Но ребёнка я ей сделаю.

Глава 71

Прежде чем приняться за следующего, надо было разобраться с предыдущим. То есть брать Измаил. Ларионов стопами Суворова направился к жене.

Лида, скрестив по-турецки ноги, сидела на кровати, застланной янычарским одеялом, грызла яблоко и с пожирающим любопытством пялилась в новенький телевизор. Рядом с ней на тарелке лежали ещё три яблока и полкирпичика обглоданного хлеба. Всё она ела с хлебом, даже макароны и мороженое. И вообще ела всё, что влезает в рот.

Ларионов влетел, подпрыгивая, с ужимками, и прокричал петухом. Он частенько чудил, как молодой офицер Суворов, которому за девять лет солдатской муштры осточертело ходить по струнке. И варварских удовольствий он тоже не понимал. Но Лида, как слабый противник, напала первой.

- Проводил Аню? Ну и далеко живёт, четвёртый месяц топаешь.

Ларионов покопался в памяти, но не нашёл ни одной прибаутки или загадочной фразы из суворовского арсенала.

- Дальше, чем я думал.

С того пельменного вечера они не говорили. На работе делали вид, что страшно заняты.

- Чего припёрся?

- А ничаво. Как себя чуйствуешь?

- Лучше всех, никто не завидует.

- Тошнота прошла?

- Только начинается.

- Как-то связано с моим приходом?

- Угадал.

- А ты два пальца в рот и привет. Оченно эффективный способ, проверил на себе. В последний раз после колесования товарищ Файнберг, в котором ты принимала самое непосредственное участие, можно сказать, стояла на приводе. По ночам не кричишь во сне?

Лида остро переживала происходящее на экране. Мордоворот в бескозырке сжимал в объятиях фарфоровую гимназистку. Ларионов понюхал герань, благоухающую клопами, и перелистал «Секреты знахарей», откуда узнал, что курага питает мужскую силу, а клюква лечит гастрит. Ходики на стене прокуковали четыре.

- Всё-таки решила рожать? Зачем тебе имбецил? Всю жизнь придётся челюсть поднимать.

- Была бы я стервой... - Лида сладко потянулась, - ой, что бы я с тобой сделала...

Ларионов затрепетал.

- Радуйся, ребёнка не будет.

- Как... - У него вдруг одеревенел язык. - Куда он делся?

- Выкинула.

- В больнице?

- Само собой. Поболело и прошло.

- Ай да сукин сын.

Лида продолжала жевать, не отрываясь от телевизора. Сюжет обогатился ещё одной романической линией: седовласый старец в ермолке сжимал в объятиях пожилую фефёлу.

- Прости негодяя.

С вешалки уныло свисало затасканное лидино пальто.

- Дашь развод? Я тебе шубу куплю.

- Жениться намылился?

- Боже упаси. Я возвращаюсь в Москву. Брошу педагогику и заделаюсь карьеристом. Пойду на песчаный карьер. Как считаешь, доверят мне экскаватор?

- Физически ты крепкий, - прошамкала. - Грудь там, плечи... Задница, правда, тощая, но ничего, думку подложишь. Такая изящная мещанская подушечка.

- А я ведь люблю, - заметался он, - когда мне нагло отвечают, это меня подзадоривает. Я, пожалуй, и на шапку разорюсь, если не сдашься с позором.

- Сдамся, только отвяжись.

Ларионов присвистнул.

- Лягем костьми?

- Досмотрю кино и лягну. А ты сядь вон туда, в уголок, и не щёлкай зубами.

- Ой, - сказал Ларионов, разматывая шарф, - прямо повеяло весной нашей любви. Помнишь, на что купилась?

- Ага. Ты меня, старушонку, деточкой обозвал.

- Я всех так обзываю.

- Мне-то что. У каждого свой первый раз.

Ларионов разделся и бросил Лиде коробочку. Она равнодушно повертела в руках брошку, серебряную собаку с красным глазом. Он давно заприметил её в витрине ювелирного магазина и передёрнул Бунина: «хорошо бы собаку купить». Бросить пить он уже не надеялся.

- Угодил?

- Больно свирепая. Деньги некуда девать?

- Я богатый. А ты, Лидок, похудела. Сохнешь, небось, по мне?

- Новое увлечение. Самбист. Силён как бык.

Ларионов пожалел, что снял пальто. В последнее время он катастрофически мёрз.

- И красив как собака? - Он скользил по склону, но ещё цеплялся за камни. - Ну скажи, далеко ему до меня?

- Ближе, чем ты думаешь. На два месяца.

- Ящик он подарил?

- Взяла в рассрочку.

Стариков сменили дошкольники. Карапуз в белой панаме тискал юную нимфоманку.

- Лидка, кончай жрать и пялиться. - Он похлопал себя по ноге. - Подь сюда. Я больше не скулю, я своё оторвал.

- Что ты хочешь этим сказать? - впилась в него взглядом.

Ай-яй-яй, Ларионов, не следишь за речью.

- Таблетки, укольчики... в общем, не комплексую. А ты что подумала?

- От тебя всего можно ожидать.

- А то як же, многообещающий молодой человек.

- Что-то ты сегодня расхвастался. И богатый и красивый, и многообещающий.

Ларионов подошёл к зеркалу и потёр на щеках щетину.

- Довольно-таки небритый. Нет, он мне тоже не нравится. Я бы на твоём месте с ним развёлся. Завтра загляну в загс, разузнаю, как это делается. Шуба за мной, а шапку пусть тебе купит самбист. По рукам? Или по зубам?

- Оставайся. - Лида пришпилила брошку к халату. - А утречком сходим в загс.

- Я ещё и противный, - оскалился Ларионов. - Смотри своё кино, дай бог, чтоб все переженились. А мне пожелай простого человеческого тепла. Холодно мне, старуха.

Глава 72

Ларионов полчаса трамбовал тропинку. Дождался и припёр Аню к стенке.

- Слушай и не перебивай. Мы с Лидой подали заявления на развод. Через три месяца я буду свободен. За это время я должен выяснить, что такое свобода и на хрен она мне нужна. Размысли и ты. В конце апреля я приду к тебе и спрошу в последний раз: ты моя или чёрт с тобой. Я требую всего и безоговорочно, что обязана дать женщина мужчине, и сверх того, что захочешь сама. Три месяца я не появляюсь и ты умри. Возражения есть?

Ребёнок хватал воздух ртом. На шее прыгала голубая жилка, и родинки прыгали вместе с ней. Ларионов цепко держался за подкладку карманов, он дал себе установку не прикасаться к Ане, даже если повалит его и изнасилует. На всякий случай примерился - слишком узко, свалятся вниз. Аня воспользовалась его замешательством и отклеилась от стены.

- Не подходи, - зарычал, - я на взводе.

- С ума сошёл... ты почему голый?

Ларионов оглядел себя: брюки стояли, ботинки тоже.

- Грузинский юмор?

Аня потянула за пояс, пальто распахнулось, и Ларионов покрылся гусиной кожей. После загса он второпях принял душ (по Зигмунду смыл вину), в спешке оделся (по сыну Эдмунда скрыл личину) и впопыхах (по собственной глупости, по собственной) примчался к туннелю, потому что приблизительно в два часа Аня возвращалась из школы. Очаровательная рассеянность, он забыл надеть рубашку и пуловер. Исподнего принципиально не носил.

- Ты смуглый?

Кому-нибудь сказать, не поверит. Они оба не знали, как выглядят без тряпья.

- Летний загар.

Ларионов поглубже запахнул пальто и туго подпоясался.

- Ты весь шерстяной?

- Ничего умнее не можешь спросить?

Правая бровь вверх, угол рта вбок. Для понимающего достаточно полуслова. Он удовольствовался полугримасой.

- Дотерпишь до мая? Не пойдёшь по рукам?

Прижала портфель к животу.

- Ты вообще не приходи. Я не люблю, когда без и оговорочно.

- Отлично, - сказал Ларионов. - Май отменяется. Все свободны.

Отпустил подкладку и сделал шаг назад. Второй. Аня молча следила за его отступлением. Третий.

- Стой!

Четвёр... И грянулся во весь рост. Тропинка пришлась впору. Ларионов с тоскою вперился в зимнее, непроницаемо серое небо. «Надо иметь дубовую натуру...» писал Белинский о Пушкине.

- Ты голову расшиб. Пойдём, я тебя прижгу.

Не с той же мстительной жалостью смотрела Элпис на поверженного к её ногам Пигмалиона?

- Я счастлив, что Афины лежат в пыли, и Рим сделал с Грецией то, что надо было сделать с тобой - поработить. Это логика сильных цивилизаций. Пошла вон.

Аня присела на корточки у стены и приготовилась к «историческому ожиданию». Новый термин, хотя изрядно потрёпанный. Ларионов, кряхтя, поднялся и, обследовав место происшествия, обнаружил камень, выпачканный кровью. Он торчал из-под снега, словно кукиш поэта, сказавшего: «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила».

- Он дежурит.

Деморализованные государства сознательно идут на поражение, что бы они при этом ни заявляли. Ссадина была неглубокой и боль в затылке сносной, но не терпелось восстановить справедливость и равновесие. Поэтому, поломавшись, Ларионов дал себя обработать, и йодом, а также укутать в пуховую шаль, провонявшую нафталином. От папиной «куфайки», кубанской фуфайки, естественно, отказался.

- Пахнет старозаветным.

- Мамина. - И улыбнулась в окно.

Он прилёг на диван.

- И меня потянуло в сон. Эх, привиделась бы какая менделеевская таблица или тиражная. Я бы взял круиз по Средиземноморью... с заходом в Монте-Карло. Прочла очерки древних цивилизаций?

Кивнула, разморожено. Переволновалась?

- Расскажи чего я не знаю. Ты умеешь раскапывать скифские сокровища.

Аня сидела за столом, положив голову на скрещённые руки. Можно было подумать, что она спит с открытыми глазами.

Интересно, достанет его на три месяца? Дописать бы сказание о славном граде, заняться гимнастикой, порыться в архиве, покуда не заплесневел. Стены уже растрескались, крыша течёт. На музей не хватает денег, всё уходит на фонтаны и вечные огни. Исключения тоже бывают. Вот парадный подъезд... горкома отделали мрамором, в парке поставили ещё одного Маркса, сэкономив на Энгельсе. Сын фабриканта расплачивается за своё буржуазное происхождение.

- Пладжа? - вскинулась Аня.

- Что?

- Пьяджа... да... слышу... там искать...

Ларионову стало не по себе. Он на цыпочках подошёл к Ане и дотронулся до её плеча.

- Что искать? Кто сказал? - спросил шёпотом.

- Три... поняла.

Тихонько потряс её, «эй, ты что-то увидела?»

- Город... старый... ещё живой... - Двигались только губы. Глаза закачены. Провидческий столбняк. - Каменные дома, без окон, булыжник... много женщин в красных юбках... бегут, кричат... церковь на площади... чёрная... обезьяны над дверью... труба на ногах... сороконожка... город под землёй... Эллион.

- А что в трубе?

- Пусто. Была вода.

- Шлиман ты мой, - расфыркался Ларионов. - Трою откопала? Может, всё-таки холм Гиссарлык?

- Пьяджа.

- Поди проверь. Что это, город?

- Полудеревня... Крест, большой, деревянный, у трёх дорог. Всё.

Ларионов поцеловал её в голову.

- Я не буду глумиться, Аничка. Я верю, что ты говоришь правду. Но это твои впечатления от прочитанного, услышанного. Есть забавное выражение: «и вспало ему на разум».

- Пьяджа? Я не знаю такого слова. Оно не моё.

- Легче всего поверить в дикость. Все религии держатся на этом. На уникальной способности человека принимать желаемое за действительное. Но есть и гипотеза, что троянские события разыгрались на территории современной Италии. Даже спор зашёл, где находился Илион: близ Неаполя или в Тосканской долине. Кроме того, на северо-западе до сих пор стоит город... Троя. И во Франции с тем же успехом. Первые средневековые тексты дошли до нас на латыни. Водовод называется «акведук», ведущий лошадь - «экведук». Возможно, впоследствии произошла замена и возник троянский конь. А греки-ромеи, их было несколько сотен, наверняка проникли в город через это сооружение в виде моста на опорах, выведенное из строя.

- Дай лимон.

Она ослабла настолько, что не могла протянуть руку к лимонам, лежавшим на другом конце стола.

- И часто тебя посещают роковые виденья?

Ела лимон, как яблоко, с кожурой. Жадно, но как-то бесчувственно, впитывала его, словно воду высохшая земля. Подкатила ножом второй лимон и начала тупо пилить его. Вдруг, Ларионов обмер, нож соскочил и рассёк ей ладонь. Не издала ни звука, напряжённо смотрела, как хлещет кровь. Он смочил водой полотенце и обмотал ей кисть.

- Ты поранила бугор Венеры. Хироманты считают, что он содержит информацию о любви. Ты пылкая и расточительная, потому и льёт. Впрочем, в ладонной мякоти полно кровеносных сосудов. Не боишься крови?

- Чужой боюсь. А моя... мне это полезно.

- Чтобы не сказать: приятно. - Он тоже разволновался.

- Да, я от этого легчаю.

- Слабею.

- Наоборот, сильнею.

- Таких слов нет.

- У вас нет. Когда я против, я легчаю и сильнею сразу. Но мне противно, когда тонко и натянуто. Я люблю тяжёлую силу, ту, что двигает.

- Тебя?

- Всё что хочу.

- А ну двинь.

Неохотно встала и одёрнула платье. Форму ей, что ли, купить? Обнимешь - и треснет.

- Какой у тебя размер?

- Никакой. Не смей.

- Смею. Продемонстрируешь свои кинетические способности и прогуляемся в магазин. Твои формы выперли из содержания.

- Я не то сказала. Ты меня разглядывал, как перекупщик.

Ларионов от души рассмеялся, «эх ты, пифия».

- Встань у окна.

Ему стало совсем смешно, но он выполнил приказание.

- А теперь возьми что я подумала.

Подумала, загадала, халды-балды. Он поискал глазами предмет, который мог возбудить её любопытство. Сонеты Шекспира, свистулька, нож?

- Не думай! - крикнула. - Быстро!

Он сунул руку в карман и вытащил ключ.

- Отдай его мне.

- Не могу, - растерялся он. - Это ключ от московской квартиры.

- Дай, не съем.

Ему уже не было смешно, но он опять подчинился.

Аня прижала ключ к животу и отлетела: нос заострился, на лбу выступил пот.

Ларионов скинул шаль. Эксперимент ему нравился всё меньше и меньше. Придётся растолковать ребёнку, что шутки с богами кончаются плохо. Мало того, что она вытворяет с ним, она и себя истощает, как еретичка.

Разлепила веки, но дышала ровно и сонно.

- Почему она красная?

- Что именно?

- Пятая дверь.

Новости дня и науки, обязательный киножурнал. Но не в конце же сеанса.

- У меня одна, не считая входной, и та выкрашена в коричневый цвет.

- Это красное дерево.

Ларионов снял с её руки полотенце и лизнул порез. Края уже стянулись и запеклись.

- «Никто не верил её предсказаньям, хотя сбывалось всё, что она предсказывала». Миф о Кассандре. Тебе обязательно надо выставить меня дураком?

- Сам напросился.

И положила ключ на стол. Он поехал. Это было чистейшей воды безумие. Ключ сдвинулся сантиметра на три, но Аня его не швырнула, скольжения быть не могло.

- Умопомрачительно, - сдался Ларионов. - Так вот откуда твои подвижки, как говорят землетрясологи. «Двигать время»... а мне эта строчка показалась претенциозной.

- Претензиозной, раз претензия.

- Претензия - латинское слово, а претенциозный - калька с французского. Но ты права, и там и там в оригинале читается «с». Рассказать, как возникает суффиксальное производное?

Кивнула.

- Поясню на другом примере, более ярком. «Вакансия» это контаминация, то есть объединение элементов двух сходных форм для образования нового выражения, здесь - двух слов: «ваканция» и «ваканс». Первое заимствовано из польского языка, последнее из французского. Польское является переоформлением французской «вакансии», которое, в свою очередь, дериват (словообразование) от «вакант», что значит «свободный». Обе формы впервые использованы в бумагах Петра I. Так же возникла и твоя «апперцепция», дословно: узнавание на основе прежних представлений. Откуда выдрала?

- Из словаря.

- Покажь.

Сняла с этажерки кипу разодранных листов с обмахрившимися углами. Ни обложки, ни титула, никаких опознавательных знаков, кроме сакраментальной отметки на семнадцатой

странице: «2 Словарь иностр. слов». Из бедной книженции выжали всё, что можно. Некоторые слова подчёркнуты, например, «импрессионизм». Четырьмя словами выше стояло любимое тенинское словечко, не от него ли в ужасе бросилась вниз и узнала про «направление в буржуазном искусстве и литературе». На полях было много рисунков: женские головки, геометрические фигуры. Страницу тридцать девятую украшала размашистая надпись: «я люблю тебя!» Он просмотрел все слова от «аллохтоны» до «алхимия» и не нашёл ничего связанного с ним. Кому признавалась в любви?

Аня дремала, свернувшись калачиком на кровати. Моргала, словно сова, резко вскидывая ресницы и, цепенея, медленно их опускала. Левая рука покоилась на животе.

- Ты бы смазала вавку йодом.

- До свадьбы заживёт.

- Не сомневаюсь. Времени у тебя достаточно.

Склонился над ней, она упёрлась локтем в его шерстяную, надо же, грудь.

- Не беспокойся, - сказал, - я настроен вполне либерально. Излишне терпим и беспринципен, как написано в твоём словаре. Типичный сострадательный дурень. Но революционная ситуация налицо: он не может, она не хочет. Во избежание беспорядков предлагаю взять почтамт и телеграф и заодно грабануть магазин детской одежды.

- Не-ет, - протянула, - папка обидится... я лучше посплю... а ты мне сказку...

Ларионов вытянулся на полу, как врубелевский Демон. Не сидящий - поверженный, за что и прозванный патетическим.

- Русская народная сказка об Александре Македонском. Не хрюкай, из коллекции Афанасьева. Между прочим, я догадался раньше, чем прочёл у Франса, что сказка - внучка мифа. Итак, вольное изложение.

Жил-был царь по прозванию Александр Македонский. Это было так давно, что ни деды, ни прадеды, ни прапрадеды, ни щуры-пращуры наши того не помнят. Известно только, что царь был из богатырей богатырь. Всех борол, и плешивых риторов и дурковатых самбистов. И в науках был силён, и работящ, кажный день деревья сажал, преимущественно лавр, уважал он это растенье. Но допрежь всего любил воевать. По сей нужде и собрал он войско великое и покорил все царства земные. А на краю света увидел таких уродов, что впал в трепет: кто одноглаз, кто трёхглаз, кто безног, кто шестирук, а кто и безголов. Носятся взад-вперёд и едят себя поедом, а по дороге братские племена прихватывают. Имя этих народов было: Гоги и Магоги. Однако ж царь от этих дивиих чуд не струсил - погнал их в трущобы и пропасти. Свёл над ними одну гору с другой и надставил трубы, а сам вернулся на свою внеисторическую родину. Подуют ветры в трубы, подымется вой, а гоги-магоги трясутся: ить поблизости бисов сын, погодим вылезать. Так и хоронятся по сю пору, а выйдут из тьмы перед самой кончиной света. Вещая сказка.

- И всюду трубы роковые... - долепетала уже во сне.

Ларионов подтянул колени и сел, вывернув руки. До чего неудобны демонические позы. Больной художник изобразил испытание на разрыв между землёй и небом, паденьем и взлётом, двумя крайностями существования. Потому и пылятся его шедевры в запасниках Третьяковки - крик о помощи звучит диссонансом в общем мажоре.

Уйти или остаться? Пан или пропал?

Да, мифоложец, характерную ты собой являешь картину. Сидишь весь обдёрганный, условно христианский, пришибленный апостольским камнем и к тому же ключом. Прочла его мысли? Ведь ни сном ни духом.

Но как отзывается психика в языке. Лишь у нас мог появиться этот фыркающий

«пафос» вместо «патоса». И презрительное противопоставление женского мужскому, хотя вся религиозная индоевропейщина замешана на кислых дрожжах бескомпромиссного идеализма. Ночь женщина. День мужчина. Вода баба. Огонь самец. Материалисты греки дали стихиям нейтральные имена, среднего рода. В русский тартар случайно проникли «солнце» и «небо». По той же логике пуля дура, а штык ого-го. Французам, потерявшим полмиллиона солдат в Русской кампании, как они упорно называют Отечественную войну 1812 года, вовек не понять наших шальных побед и поговорок.

А «Европа», ха, родилась в Азии, благодаря финикийцам, перенявшим семитский «эреб», означающий «запад», «мрак». Даже своим восходом в древнем мире Европа обязана закату. Как славно, что Шпенглер не читал советских словарей и не узнал, что его концепция проникнута «иррационалистическим пафосом судьбы и историческим релятивизмом». Это специально придумано для нюрочек-девчурочек, самостоятельно изучающих философию. По той простой казанской причине, что ни семья, ни школа не предоставили им возможности объективного познания действительности вследствие относительности педагогических знаний и родительской осведомлённости. Приблизительно так и формулируется релятивизм.

Он сжался. Аня вела ладонью по его спине, вминая пальцы, родным забирающим жестом. И эта первая ласка, ручная, полузвериная, потрясла его, как божественное откровение. Непостижимое разумом, почти по Шестову.

- Ты не спишь? - шевельнулся.

- Я люблю тебя, - выговорила с трудом, словно выталкивая из себя.

Он кинулся целовать её ступни в перештопанных чулках, холодные по-лягушачьи, стиснул колени, задыхаясь от нежности и стыда, и страха, что вдруг испугается, подумает, что опять…

- Будешь ждать меня, Аничка? Будешь ждать? Не бросишь меня, нет? - шептал как помешанный.

- Я люблю тебя, я люблю...

Явление божьей кары в образе разъярённого пращура и было тем сверхъестественным, что навсегда отвращает от бога недораскаявшихся грешников.

- Будь ты проклят! Собака! Гад!

Дядя Лёша сволок его за ноги на пол, пнул башмаком в живот и заработал пудовыми кулаками; Аня, крикнув, упала на Ларионова, закрывая его собой; всё смешалось как... нет, такого ещё не было в русской литературе.

- Дураки! - хрипел Ларионов, корчась от боли и смеха и пытаясь сбросить с себя обоих. - Детоубийца, куда ж ты... уй! - И открытым текстом: - Да пошли вы все...

Немая, глухонемая сцена. Обыкновенный фашизм и смерть пионерки. Ларионов подтянул спадающие штаны.

- Мало тебе одной справки, пень?

Аня заплакала. Тоненько, беззаветно, на полусорванной осиротевшей нотке.

- Не бери в голову, - еле ворочая языком, пролаял Ларионов. - Мы поставим на карту свою жизнь, чтобы только принадлежать друг другу. Как Маркс и Энгельс.

Вечером он сказал Лиде:

- Не стоит вычеркивать три месяца из нашей семейной хроники. Поразмышляем на пару. Один ум хорошо, а полтора лучше. Безмозглый самбист не в счёт.

Глава 73

Ларионов взял на руки ребёнка. Девочка спала с открытым ртом, и он увидел её острые розоватые дёсны, сквозь которые просвечивали зёрна будущих зубов. Малышка то ли улыбалась, то ли гримасничала, но делала это так беспомощно и потешно, что у него защемило сердце.

- Говорит что-нибудь? - спросил, удивляясь тому, сколько в глупости искренности.

- Витийствует! - гоготнул Соснов. - Хыр, пыф... полиглотка!

- Маленькая ещё, - обиделась Ольга, отбирая дочь. - Вам лишь бы смеяться.

- Я впервые держу такую кроху, - признался Ларионов, уже не удивляясь, откуда в искренности столько глупости. - Мои сведения о новорождённых носят школьный характер, схоластический, как говорили греки. Читал, что похожи на старичков, всё время спят и едят, и пачкаются двадцать пять раз в сутки.

- А я и этого не знал, - с довольным видом сказал Соснов, - и ничего, дважды отец Советского Союза.

- Нет, ей-богу хорошенькая. - Ларионов обнял размякшую от переполнявшего её молока Ольгу. - Поверь мне, я в девочках разбираюсь.

Ольга никак не отреагировала на его нежности - любовалась своим сокровищем и бессознательно повторяла за девочкой её мимические фигуры. Она раздалась вширь и вдаль и, казалось, заполонила всю комнату, но не потому что занимала много места, а потому что приковывала к себе взгляд, как леонардовские мадонны, помещённые в центре его магических кругов.

Витьлексеич зажёг ночник, презентованный Ларионовым, «придумают же». Из окошка избушки полился слабый двадцативаттный свет.

- А глазки синие, - вдруг разворковался, целуя дочку в потный лобик и поправляя сбившийся на ухо чепчик, - а волосики у нас золотые...

- И ангельский, должно быть, голосок, - подсказал Ларионов.

- Как у базарной бабы, - тут же сморщился. - И нос картошкой.

- Твой! - прикрикнула Ольга и, оттолкнув мужа, отправилась в спальню кормить ребёнка.

- Как назвали?

- Диана.

- В честь кого?

- В честь моей охоты, - сострил и сам засмеялся. - Редкое имя, не то что всякие таньки-маньки.

- «Ди» по-гречески двойной.

- Опять ты со своими греками. У них же была... не Афродита, а дай бог памяти, Артемида?

- Римляне передрали у греков весь пантеон. Вломились в культуру ревмя, что твои медведи.

На стене висело «Утро в сосновом бору», известное в народе как «Три медведя»,

которых, конечно, четыре, но при нашей способности видеть то, чего нет, и не видеть того, что есть, так ли это существенно? Копию бессмертного произведения заказали в худсалоне в качестве родильного подарка и компенсации за уведённую лошадь. Косолапая идея принадлежала Лиде.

- А что, семейная успокоительная картина, - вздохнул Соснов. И совсем некстати добавил: - Греки тоже порядочные жулики.

Ларионов протянул своё любимое «у-у».

- Один меня с облигациями облапошил, когда деньги меняли, другой в комиссионке негодный транзистор подсунул... да что говорить, возьми Петракиса с автобазы.

- Кто это?

- Бывший завкадр. Провернул афёру со списанными машинами миллиончика на два, директора с замом подставил, а сам смылся. С женой Менелая.

- Тоже грек?

- Почему грек, русский... хотя и непьющий. Гришка Менелай, главный инженер эртэи.

- Что за абракадабра?

- Ну ты даёшь! Завод наш резинотехнический, второй в стране по производству приветов из Франции.

- Чего?

- Презервативы у нас так называют. Продукция оборонного значения, гордость нашей тотальной рождаемости. - И кивнул в сторону спальни. - Не промахнись как я.

- Где у вас можно курить? - поморщился Ларионов.

Соснов покрутился вокруг ночника, «да, бдеть нам ещё долго», и повёл его в кухню, расцвеченную флагами сохнущих пелёнок. На столе, на стульях, на подоконнике в беспорядке лежали предметы младенческого обихода: бутылочки, соски, спринцовки, градусники, коробки с молочной смесью. Ларионов облокотился о холодильник и чуть не свалил с него таз с погремушками.

- Дом матери и ребёнка, - чертыхался Соснов, шаря в шкафах и по очереди извлекая бутылку «Московской», рюмки и пепельницу. - Занюхаем лучком? Жрать всё равно нечего. А может, тяпнем борща? Нет? Ни в какую?

Он бодрился из последних сил. Держался на честном слове? Ох, уж этот русский максимализм. Обрюзглые щёки, выкатившееся брюшко. И движения неряшливые полубухие.

- За счастливое детство? - хмыкнул, чокаясь с Ларионовым и расплёскивая питьё.

- За исполнение желаний. Ты же дочку хотел, хмырь.

Они уже панибратствовали, бес попутал.

- Хотел дочку, а родил внучку. Всё хорошо в своё время. Ну, по коням?

Он криво сидел в седле. Ему больше бы подошёл осёл.

- А борщец отличный, вчера сварил. Разогреть?

- Отстань.

Выпили, занюхали, перемолвились. О политике, о работе. А о чём ещё говорить с дураком?

- Мы с тестем в Москву собираемся, - налил по третьей. - За «Волгой». Очередь подошла.

- Растёт благосостояние советских людей.

- Как же, всю жизнь копил, а еле на полмашины наскрёб. Если бы не тесть с его партизанской пенсией... Твоя квартира свободна? В гостиницу без хапанца не пробьёшься, а

денег в обрез.

- Там сейчас мой сосед живёт. С новой женой. Ждут размена. Извини.

- А может, у знакомых пристроишь? Нам на недельку и только ночевать, я отблагодарю.

- Мои друзья живут в комуналках. Могу дать телефон администратора «Националя», мы с ним на короткой ноге.

- Нет уж спасибо, на окраине что-нибудь подыщем.

- Как ты относишься к Фаине? - зашёл с другого конца Ларионов.

- Да так... здоровкаемся.

Ларионов выдохнул дым Соснову в лицо.

- Всё тебе вынь да положь, - замахал руками. - Ну не люблю я жидов, хоть режь меня.

- И я не жалую. - Ларионов сгрёб барахло с подоконника в таз с игрушками и примостился поближе к форточке. - И армяшек, и хохлов, и чучмеков. А пуще всего - москалей. Я человеков люблю. Слыхал про таких?

- Слыхать-то слыхал, а не видел. Все гуманисты да интернационалисты, пока в шеренге стоят. А прищеми им хвост, национальный характер и выпрет, со всеми вытекающими потрохами.

Что-то слышалось родное.

- А без членовредительства никак нельзя?

- Да презирают они нас, разве не ясно? Мы для них быдло, а не великая нация, среда обитания в паразитском смысле! На ветках наших расселись своим кагалом и сообща нас обдуривают, обделывают... спайка у них ещё та, масонская. И что обидно, у каждого абрама три ваньки на побегушках.

- Раз позволяем себя обделать, то и сидеть нам в дерьме до кончины света. И вонять, то есть выражать полное и глубокое неудовлетворение. Ты мне лучше скажи, что за удаль така молодецкая, которую можно соплёй перешибить? И напрасно ты всё в одну кучу валишь: мы да мы. Не ты ли смолчал на собрании, сослужил службу международному сионизму?

- Будто не знаешь, что из-за тебя воздержался, взял бы да оценил. Твоя благоверная и та дала киселя, а уж с ней Фаина нянчилась что мы с нашей сыкухой.

- Лидка дура. Она против меня пошла. Её партийные интересы всегда совпадают с личными. Завтра тебя в киселе выгадит или Дыховика, он тоже с ней возился. Профсоюз, конечно, великая сила, да не лидки решают, куда её повернуть.

- Ты меня не агитируй, - примирительно сказал Соснов. - Все роли были расписаны, по-жидовски, а мы с тобой подзалетели по-русски, с дорогой душой.

- Казанский еврей?

- И Казанский и Чака-Зулу, все жиды. Не по крови, так по марксистско-ленинским убеждениям.

- Круто. Но тогда получается, что Фаина наш человек.

- Не забивай меня. Я и так не пойму: из-за чего сыр-бор разгорелся? Кому она мешает?

- Всем. - Ларионов старательно разжевал луковицу, предвкушая удовольствие, какое он доставит Лиде своими фитонцидными поцелуями. - Всем, кто ненавидит жидов и тоску по мировой культуре. Даже мне... закрой пасть, не даёт побыть молодым красивым негодяем.

- А ведь хочется иногда балдануть? - встряхнулся Соснов, наливая по пятой.

- Не то слово.

- Эх, плохо это кончается, - прочавкал, хлебая из кастрюли холодный борщ. - Я должен

тебя... по-дружески предупредить. Слушок пошёл, что ты... ну, потерял чувство реальности.

- То есть?

- С малолетками, говорят, путаешься.

- Кто говорят?

- Кому ни лень. Дура твоя, например. Я, понятно, лезу в бутылку: что вы, прекрасный семьянин, неутомимый общественник и вообще в душе импотент...

Ларионов шутя толкнул Соснова в грудь, но тот отлетел на добрых полметра и приложился затылком к навесному шкафу.

- Охренел?!

- А ты не распускай язык. Лида жена мне, понял?

- Постой, вы же разошлись. И ты на сторону бегаешь и она…

- У нас нестандартные отношения.

Соснов помялся и, залоснившись, спросил с ускользающим смешком:

- А рыженькую ту, с глазищами, в самом деле натянул?

Ларионов почувствовал во рту вкус крови. Так бывает, когда вместо языка прикусишь губу.

- Смотри, под суд пойдёшь. У нас охрана материнства и детства контролируется государством. Верней, охрана детства от материнства.

- Мама родная! - взвыл Ларионов. - Что за помойная яма ваша дыра! Я думал, хоть что-то в ней есть божеское или дьявольское, межеумочное наконец, смесь бардака с бездной пылающей... но не эта же вонь и мразь! У тебя девка растёт, Ольга под боком, святая угодница, как ты можешь? А ну тебя, дай пройти.

Соснов не сдвинулся.

- Знаешь, чем мы с тобой отличаемся? Ты говоришь красиво, а вытворяешь чёрте что. А я говорю чёрте что, а живу как положено. По-разному тужимся...

- Зато в одном месте порвёмся, - перебил Ларионов, протягивая руку дружбы и пожимая короткопалую сосновскую ладонь. - А дочка твоя прелесть. Завидую я тебе, вот и бешусь.

- Завидуй тому чуваку, что наклепал двести тридцать голов в Орловской губернии.

- До революции и петухи неслись, - сказал он, выйдя на лестницу.

Глава 74

- Сегодня я тебе такого понаговорю, век не забудешь, - сказал Ларионов, возжигая свечи.

Вино и яблоки в коопторговском лукошке уже стояли на столе. Какое незаурядное воображение и какую беспримерную наглость надо иметь, чтобы так сервировать ночь любви. Ей-богу, он не испытывал недостатка в излишествах.

Лида с опаской покосилась на яства и, повесив на стул авоську с двумя буханками хлеба, батоном и халой (их суточный рацион), скинула шпильки.

- Ты уже пообедал?

Это всё, что она поняла из его соловьиных трепыханий.

- Зачем нажираться на ночь?

- И то правда, опять я растолстела.

Подошла к зеркалу и прищурилась, оглаживая столп Давида.

- Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, достигшая полноты. Тяпнем? Пока не выдохлись мандрагоры.

Свечи активно сгорали, издавая парафиновый треск и углеводородный смрад.

- Я пью за тебя. Ты единственная женщина, которая полюбила меня во всём моём безобразии, из чего заключаю, что это в принципе возможно. Всегда с недоверием относился к низким истинам и возвышающим обманам, но ты меня убедила, что знание само по себе бескорыстно, ибо бесцельно, и нуждается лишь в любви.

Он медленно и благодарно осушил бокал.

- Я выпил тебя до дна.

Вино называлось «Лидия». По южному приторное, но по западному деликатное, с ностальгическим привкусом.

- Скажи что-нибудь человеческое. - И принялась чистить яблоко перочинным ножом, троглодитка.

Мне тебя хронически недоставало, молча ответил, потому я тянулся к тебе.

- Так трудно?

- Уже сказал. Не расслышала?

- У меня обыкновенный слух.

- А у меня абсолютный.

Скромсала яблоко на кривые дольки и начала методично его поедать.

- Приятного аппетита. Челюсти не свихни.

Лида прочистила горло.

- Послушай, как ты со своим абсолютным слухом умудряешься быть таким абсолютно глухим?

Женщины не умеют жить сегодняшним днём. Они снуют между тёмным прошлым и не известно каким будущим. Они портят все праздники с жёсткой датировкой.

- Пламень весьма сильный, - вновь процитировал он Соломона и подрезал тупыми ножницами дымящие фитили. - Дай отхвачу локон на память.

- Уймись.

- Ну пуговицу.

- Надоел.

- Вот вредная баба.

Походив по комнате и не придумав ничего интересного, он вышел в переднюю и вернулся с огромным пакетом, перетянутым крест-накрест. Разорвал шпагат и вытряхнул шубу прямо под ноги подскочившей Лиде.

- Твой зверь. Семейство куньих, ценный объект пушного промысла. Володей.

Лида с ужасом уставилась на этикетку с алюминиевой пломбой.

- Норка? Это же целое состояние... На какие шиши?

Ларионов извлёк из кармана измятый листок и помахал им перед носом потрясённой жены.

- Типовой авторский договор. Я продался Краснодарскому книжному издательству.

- Тебя издают в тридцати томах? Судя по авансу, никак не меньше.

- Тебя не обманешь. Ладно, скажу под большим секретом. Я передал на Запад «ноу хау» ваших резиновых мощностей. А для отвода глаз накатал повестушку временных лет Армавира. Ты меня вдохновила на этот труд. Примерь.

Лида, решив, что говорить с ним бессмысленно, надела шубу. Она оказалась точно по ней. Натуральный мех облагораживает любое женское лицо.

- Как печка, - растрогалась, - жаль, что зима прошла.

- Столько зим впереди...

- Давай и я тебе что-нибудь подарю.

- Идёт. Изобрази мне Елену Фурман. Разденься и набрось шубейку на голое тело. Несколько пояснений. В 1630 году фламандский художник Питер Пауль Рубенс, пятидесяти семилетний вдовец, томящийся одиночеством, с болью взирающий на своих осиротевших малюток, женится на шестнадцатилетней красавице и родственнице первой жены. Новое глубокое чувство толкает его на создание образов чувственной красоты. Он пишет шедевр, знаменитый у нас под милым названием «Шубка», а у них «Елена Фурман в шубе», фу. «Une pelisse de fourrure qui fait ressortir le nacre de sa chair - au grй de ses caprices...» мех подчёркивает перламутр кожи по воле её каприза, я бы сказал, как прихоть заостряет желание. Рубенс был без ума от античности и цветущих форм, но гармонию мерил алгеброй и следовал ей со с страстью пифагорейца. Он даже умер в день своего рожденья, так любил целые числа и май, то есть весну человечества. Сделай одолжение, любушка.

Лида безропотно подчинилась. Ларионов тянул вино и смотрел, как она выпростала ноги из войлочных тапок, отстегнула чулок со спущенной петлёй, скатала его к мыску. Захватывающая прелюдия превратилась в нудное действо.

Мы недостаточно европейцы, подумал он, неумелое в нас сочетается с недобросовестным. Тургенев прав, хоть и барствует в каждой оценке, рассчитанной на резонанс. Это тоже по-русски - выставиться, прихвастнуть, но бойкость наша от неуверенности, а неуверенность от того, что ничего толком не знаем. С неба свалились, мечтатели, вот и созерцаем по звёздной привычке чудеса европейского практического сознания. Нас воротит уже от собственных басен, потому что мы облекаем их в плоть реальных усилий: города строим на болоте, дороги на костях, всемирное счастье в отдельно взятой стране. И герой наших сказок дурак, ведь дуракам везёт, а кроме как на везенье, нам надеяться не на что. Но сказки кончаются восшествием дурака на престол, и начинаются скучные крепостные будни. Русское отрицание без гегелевского «снятия» тоже диалектично, но движется по натурально-замкнутому кругу, а не по архимедовой спирали.

- Доволен? - спросила Лида.

Ни рыжих кудрей, ни тусклого перламутра, ни юной худобы. При чём тут толстуха Елена? Когда бы не она, не ошивались бы мы под стенами Трои девять мучительных лет. Да, всё прекрасное – непомерная роскошь в России.

- Обмыто. - Он брызнул на шубу несколько капель вина.

Лида бережно промокнула их салфеткой.

- Я оденусь?

- Нет, если тебе ни жарко ни холодно. Пожалуйста. Ты всегда шла навстречу моим просьбам. Почему?

- Чтобы сэкономить время. - Залпом опорожнила бокал. - И кто-то должен принимать решения.

- Мужчина.

- Я и говорю.

У него заломило в висках.

- Лидка, не подрубай мне крылья. Я хочу покружить над пустыней, почирикать наконец. Не идеализирую наш союз, ну, снюхались, как собаки и разбежались, но повыть-то можно?

- Ты же собирался чирикать.

- Шуба меня навела на охоту... дурной омоним, полеванье мне нравится больше... чем пустынничество. Вообрази: чёрно-белые сумерки... охотники на снегу... запах дыма и полусгнившей соломы... хриплый лай собак, почуявших близость жилья, крики галок... возвращение без добычи, убитый день. Как я чувствую слово! Всем нутром, всеми причиндалами, это чистая физиология, вот тебе крест! Я могу сделать какую угодно блистательную фразу, гладкую, как дороги во Франции, без единой щербатинки, и промчаться по ней с ветерком. Но не путешествие из пункта А в пункт Б, мне дорого само зарождение и движение речи... к чёрту, мне дорог живой язык, все эти занюханные лютики и ромашки, дичь и чушь русской стилистики, её главные и внематочно-придаточные предложения с толстовскими «когда бы я был не я» и с достоевскими «что, если бы я», всё наше шараханье через пень колоду, всё наше набожное безбожье, sans comparaison, sans moralisation... Жена моя, голубка, благослови меня на любовь! Дай поверить, что прилив воодушевления творит чудеса! Это апостольское понимание веры.

- Ты пьян, - капая слезами на скатерть, ответила Лида. - Ты развёлся со мной, ты напялил на меня эту крысу и ты хочешь, чтобы между нами возникло что?

- О как ты сказала! - Он упал перед ней на колени. - Как женщина, которую я люблю! Не надо мне ни гранатовых яблок, ни виноградных пальм, я не нарцисс Савронский, но я хочу умереть от любви! Ты простишь меня, родная моя, ты отдашь меня Суламите?

- Чтоб ты сдох! - крикнула Лида. - Чтоб ты сдох со своей недоделкой!

- Не унижай, божественная, отпусти грехи...

- Замолишь - отпущу.

- Ты требуешь невозможного... искренен я и жалок, и весь в ногах... разве падающего толкают?

Лида не была ницшеанкой, но обладала задатками настоящей волюнтаристки. Набросилась и потоптала его, бездыханного. Ларионов пассивно, инертно, а по-русски страдательно, перенёс и это скотское унижение.

- А теперь убирайся.

Цвели акации. Изнуряюще, тяжеловесно, как хрипят мехи органа, выдыхая баховские миноры. В Бахе есть насилие, поразился, почему я этого не замечал? Он подчиняет себе человека, он не ищет свободной любви. Бах ветхозаветен.

- Ты знаешь, какой час? - шёпотом заорал дядя Лёша, по пояс высовываясь в дверь.

- Тринадцать минут второго.

- Дурак!

- Разбудите Аню. Вопрос жизни и смерти.

- А чтоб тебя...

Аня куталась в кофту, как в шубку. Жёсткая от перламутра и зябкая до дрожи. Камень плача ходил у них под ногами. Аня пахла мимозой, травой и бессмертником. Сложное сочетание пугливости, нетерпения и отчаяния. Подвижной баховский контрапункт.

- Я свободен, - сказал Ларионов. - Ты согласна разделить со мной остаток ночи? Ну и жизни, само собой.

- Ты мне снился, - припала к нему. - Ты был в медвежьей шубе и пил шампанское как мужик.

- Слава богу, - обрадовался Ларионов, - хоть для кого-то я как, а не что. Чем кончился

сон?

- Сел в сани и укатил. У тебя были чёрные зубы.

- Попробуй. - Он поцеловал Аню робко, как барышню. - Очень противно?

- Ты чужой, - испугалась, - мне страшно... возьми меня на руки.

Ларионов уселся поудобней и обхватил ребёнка.

- Ждала? Скучала? Всё или ничего?

- А потом лошади понесли, и я...

- Сколько их было?

- Четыре.

- Значит ждала, раз, скучала, два, всё, три, и ничего, четыре. Так?

Аня неловко чмокнула его в угол рта.

- Горе моё ты луковое. - Он покачал её. Родинки слепо мигали в темноте. - Что за рубенсовские штучки, почему ты без рубашки?

- Читала и заснула. Это правда, что выходит твоя книга? Размолов говорит...

- А, так вы подружились? Какие молодцы. То-то смотрю, через номер стихи Чеханцовой.

Аня перебралась на камень.

- Ты со всеми такая нервная или только со мной?

- Ты пришёл услышать или сказать?

- А ты?

- Услышать.

- И я.

Пауза растянулась на миллиарды световых лет. Ларионов перебрал в уме все известные ему отговорки.

- Услышал?

- Да.

- А я нет.

- Аня, я… съезжу в Москву… денька на два… и разрожусь. Договорились?

Оттолкнула его и полезла по склону. Он вцепился в её лодыжку.

- Пусти!

- Чёрта с два!

Она рванулась и вдруг опрокинулась на него. Он схватил её в воздухе, что-то треснуло... И острая боль в боку. Это последнее, что он почувствовал.

Глава 75

М-р-р. Мяв. Мр-р-р. Мяв? Нет, мрр. Что за мартовские иеремиады? Или в пятый день пятого месяца было видение четырёх животных, а потом ужас и яма? И то бывает, чему не велено быть.

Ларионов напрягся и стряхнул остатки сна. На пороге палаты спиной к нему стоял Тенин, увещевал Аню. Слушала, понурившись, и даже не возражала, а вяло отнекивалась, мяв да мяв. Тенин положил руку на её плечо. Покосилась. Не убрал. Сдул ей волосы с лица, наклонился...

- Эй, что вы там делаете?

Аня спряталась за Тенина, словно прося защиты. Тот, не оборачиваясь, взял её под локоток и, как добрый папенька, подвёл к жениху.

- Это вы ей фонарь поставили?

У Ани под глазом красовался огромный розово-фиолетовый синяк.

- Осваиваете метод шоковой терапии?

Тенин усадил Аню на стул, а сам присел на кровать. Ларионов хотел потесниться, но так кольнуло в груди, что он охнул и окостенел.

- Что вы мне подсадили? Морского ежа?

Тенин постукивал пальцами по колену, показывая, как ему скучно и грустно наблюдать деградацию личности. От Ларионова не укрылись воспалённые веки и запавшие, словно присыпанные пеплом виски.

- Неполный закрытый перелом ребра, незначительное повреждение мягких тканей, наложена контурная повязка, необходим покой. Можешь уйти хоть сейчас, если скажешь, как сюда попал.

Ларионов с резвостью второгодника стрельнул взглядом в Аню, прося подсказки, но она была увлечена чем-то за окном.

- Под конвоем милиции? Не угадал. Во главе правительственной делегации? А, меня принесли на руках лилипуты. Куинбус Флёстрин! кричали они, да здравствует Человек-гора! Опять не то? Дайте подумать... Я сверзился с лошади?

Тенин индифферентно качал ногой. Аня пылала и еле сдерживалась от смеха.

- С четырёх лошадей, - уточнил Ларионов. - Еду я, значит, еду... как Аполлон на квадриге... и тут прямо с неба падает на меня пятая лошадь! Я вбок и она туда же и бах! копытом! И цветёт акация, адски благоухает. Мне поэтому трудно дышать?

Аня расхохоталась. Тенин с улыбкой смотрел на её содрогания.

- Всё правильно, дохтур? Череп не помял?

- Крепколобый.

- И жестоковыйный. Аничка, подтверди.

- Я бы тебе посоветовал отлежаться, но ты ведь фраер, - не дал ей открыть рта Тенин. - Попробуй пройтись.

- А нельзя ли девушку послать, скажем, за сигаретами? Пачки две меня бы спасли. Башли в брюках, если вы их не заныкали.

Тенин поморщился и выложил собственный рупь.

- БТ, по сорок копеек, в крайнем случае «Столичные».

- Знаю. - И унеслась.

Ларионов слез с кровати и пошёл выписывать кренделя.

- Не повредилась?

- Целёхонька.

- С ночи торчит?

- Истественно.

- Бедняга. Отец прибьёт.

- Это он вызвал «скорую». Останешься?

- Вы сегодня дежурите?

- Могу.

- Приступ был?

Тенин повертел ладонью, мол, ни то ни сё.

- Сознательность потерял на несколько минут, но ахинею нёс не дай боже.

- Не помню.

- Может, реакция на новокаин, хотя, инфильтрационную анестезию ты неплохо переносил.

- А что «не дай боже»?

- У меня обход, вечером потолкуем. А девчонку гони домой, на ногах не стоит.

Девчонка встала на голову, чтобы доказать, что ноги ей не помеха.

- Изыди, - злым голосом сказал Ларионов, - ты своего добилась, сокрушила кости мои. Ничего, будет и на твоей улице плач и скрежет зубов. Но я, я, олух царя небесного, знал же, что поплачусь ребром. Три месяца жил, как в раю...

- Ты её любишь? - спросила, отвернувшись, словно он должен был раздеться догола, чтобы ответить.

- Конечно, люблю, - проворчал он, запахивая халат. - Она тоже меня роняла, но не с такой высоты. Да не горбись ты! Ещё раз увижу тебя в этой патентованной кофте...

А как он мог её выпроводить?

Ларионов проковылял в туалет, где находилось единственное на этаже зеркало. Физиономия была распаханной, как хрущёвская целина. В Москве не поймут столь откровенного юмора, придётся повременить. Выкурил две сигареты и по частям разложил себя на кровати, соблюдая все правила иммобилизации. Телесные муки стихли, зашевелились душевные.

Снова май, больница, «прошло сто лет, и юный...» Вертер... возвращается на круги своя. Тройное сальто.

О чём говорить с Тениным? Чего он не знает? Почём на Кипре тёлки средней упитанности? Он с удовольствием вызолотил бы им рога. И принёс в жертву.

Аменция, безумие, латынь. Состояние спутанности, бессвязности, утрата воспоминаний... если повезёт, частичная, а нет - так нет. Падая, Аня сжала его коленями и простёрлась на нём, как ведьма на помеле. Такое забудешь?

Филогенетическая амбивалентность, а по-нашенски двойственность переживания (люблю-ненавижу, моя-твоя) и вытеснение одного чувства другим с последующей маскировкой. Бросая женщину с двумя детьми, сказать: останемся друзьями. Неудачный пример.

Май, а жарит, как в Греции. Лихорадочно яркий день. Что я могу сделать для тебя, спросил Александр у Диогена, не пожелавшего вылезать из пифоса. Не заслоняй мне солнце, ответил циник. Александр понял и отошёл. Тенин стоит, расставив грабли.

Ларионов, ты не беллетрист. Тебе вспоминать легче, чем фантазировать. Ты не успеваешь переработать то, что было, потому и равнодушен к тому, что будет. Было, не было. Была не была. Клянусь, не пожалеет. Он так сказал? Дурак.

Больше всего мне ничего не хочется, как-то признался ей в приступе чистосердечия. Ты не хочешь любить, повернула по-своему, а желания растут из любви. Сама придумала? Прочла у Соломона. Какого? Царя. «Исполнившееся желание как древо жизни». Он отпарировал: вегетативный подход. И желание жить приходит через вещи, упрямо продолжала, а исполненье желаний - это преодоленье вещей. Каких вещей, промтоварных? Тварных.

Он не заметил, как уснул. Проснулся от мысли: о сладкая, мозольная боль раскаянья.

За окном и в палате было темно, но в коридоре горел свет, и ходили больные, почему-то парами... парапсихоз?

Тенин листал «Мурзилку», что-то отчёркивая карандашом. На блюдечке перед ним

лежал квадратик сливочного масла и пустой стакан.

- Повышаете уровень? - прокряхтел Ларионов, усаживаясь в кресло с грацией беременной бабушки.

- «Посмотрел, а там лягушка. Не зелёная, а просто». Разве не миленько? Лучше, чем «настоящая мать человеку даётся однажды». Из матерной поэмы С. Островового, члена с тысяча девятьсот сорок девятого года.

- Так вы и «Правду» читаете? Не бережёте вы себя, дохтур.

- Выспался? Полегче дышать?

- Полегче. А думать ещё тяжело. Всё не могу решить: бессмертный и вечно умирающий, это одно и то же?

- Для тебя да, а вообще-то нет. Начинающий умирать и кончающий жить одинаково безнадёжны. А бессмертие это начало без конца.

- Вы уже говорите, как поэт. Влюбились?

- Не зарывайся. Дать анальгинчику?

- Нет, он меня усыпляет. Начинающий и кончающий это просто, а как быть с культом Аттиса, вечно умирающего и воскресающего к новой жизни? Отчаянный был божок, практиковал обряды с самооскоплением, типичный фригиец. Соответствует финикийскому Адонису и вавилонскому Таммузу. Путался с Кибелой, та ещё мистеричка. Как вы тут без меня? На ком упражняетесь в нокаутировке? Или занялись боксом по переписке?

- Ой, братец, чует моё сердце, опять ты ко мне попадёшь. Заносит тебя, как...

- ... снегом дорогу. Последняя новость: товарищ Файнберг одержала победу над силами реакции. Ознакомить с подробностями?

- Уже. Недавно шестидесятилетие справили. Что не пришёл?

- Я к семейным праздникам отношусь по-европейски. Не приглашают - не навязываюсь.

- Свои именины отпраздновал?

- Отметил.

- Гостей звал?

- Зачем?

- Сам за себя пил?

- Угу.

- Тогда понятно.

- Что вам понятно?

- Когда поймёшь, чего ты хочешь от других, я разжую тебе остальное. А пока самодовольствуйся. Как думаешь, Фаинку турнут?

- По-моему, оставили в покое. Замены не нашли.

- А если найдут, сможете отстоять?

- Голосованием нет. Наберётся максимум три калеки.

- Эх вы, интеллигенты.

- Интеллигенция – дерьмо, сказал наш главный учитель. Поэтому ею удобряют почву. А из гумуса произрастают будущие строители коммунизма. Чтобы процвесть и в свою очередь лечь под серп и молот. Инакомыслящие и прочие шизофреники выпалываются, как сорняки. Это вам общая схема. А вот рассуждение на: использование интеллигенции как безотходный технологический процесс либо безотходный с последующей утилизацией части отходов. Что делает шляпка от гвоздя в колючей проволоке или в чугунной чушке? То, что и вся заготовочная масса. Интеллигенция изначально запрограммирована на уничтожение и растворение. Чисто русский подход.

- Я из-за тебя в Древнюю Грецию полез, а ты вон где выскочил. - Мужицким жестом растёр свою мохнатую грудь. План по шерсти он выполнял на двести процентов. - Ну что ж, давай поговорим за интеллигенцию.

- Нашу?

- А я другой не нюхал. Национальное самочувствие, как я его понимаю, вроде бабочки над цветком...

- Над цветочком, - поправил Ларионов. - Уважайте суффиксальное равновесие. Греки, кстати, изображали душу в образе бабочки, реже - девушки. Ласточка к нам примчалась из сумароковских пьяненьких грёз. Давайте сперва уточним: вы называете бабочкой душу народа или его самосознание?

- Я сказал: самочувствие.

- Тогда не бабочка. Пусть пчела.

- Хоть жужелица. А цветочку вырасти надо. Так же вцепиться в землю, как злак, и вымахать вверх.

- Вы про что?

- Крепко же ты ударился. Цвет нации тот же цветок. Народ производит хлеб, а интеллигенция - нектар. Можно, конечно, и сахарной свёклой обойтись или кубинским тростником, что и делаем. Нектар ведь роскошь, баловство. И мало его и избранных многовато. На Западе уже варят варенье из одуванчиков, цветочные часы высаживают. И науку с искусством подстебнули к техническому прогрессу, как ватин к пальтецу. И тепло и не топорщится. А у нас представление об интеллигенции оранжерейное, потому как наши медоносы для себя цветут и балдеют от собственной красоты. Кроме трескучих фраз и заумных проповедей что они дали людям?

- Кто «они»?

- Широкие слои русской интеллигенции.

- Куда загнули. А я отвечу, как в автобусе: от такого слышу.

- Я работяга прежде всего. Да, кормлюсь умственным трудом, поставляю знания на службу отечеству, идиотам то есть, экскретам нашей национальной гордости. Но классическая русская интеллигенция...

- Боборыкинская или ленинская?

- Чаадаевская. Создатели духовных ценностей: учёные, литераторы, педагоги...

- Это буду я.

- Ты, ты, гоп со смыком. От тебя зависит, будут ли завтрашние строители, не важно чего, разбираться в зодчестве или останутся быдлом и такого понагородят... А завалится халабуда, сами же и скажут: хай ей грец.

- Идея рациональная. Украинизмы душевные.

- Хоть кто-нибудь из твоих семинаристов поднялся на порядок выше?

- Вряд ли. Читаю узко специальное. Недозволенное сообщаю с превеликой осторожностью, зане быв бит.

Ларионов вздохнул и вкратце поведал историю своего аспирантского диссидентства. Тенин, посмеиваясь, слушал, раскачиваясь на лилипутском стуле.

- Не кипятись, верю. Мне интересно то, что ты рассказываешь, но ещё интересней, как ты мотивируешь своё отношение к этому. Ты сдвигаешь пласты оценок в ту сторону, где тебе не придётся ноги ломать, где уже без тебя всё выровняли и причесали. Ты наблюдатель, братец, и притом холодный.

- Так вы отслеживаете меня? Фи, как скучно. И после этого вы хотите, чтобы я вам

доверился? И потом, какая неряшливость: не кипятись и вдруг холодный. Лёд и пламень? Бросьте. Я не Чацкий и не Онегин, и не Печорин, и вообще не герой вашего времени. Я простой лишний человек. Ни член общества, ни предложения. Не подлежащий и не сказуемый. Тем более не придаточный. Так, единица языка. Слово.

- Слова тоже бывают лишними. Вот тебе пустяковый тест. Выбери одно слово из всех, наудачу. Только не думай, сразу ответь.

Сначала Аня, теперь этот. Неужели так накладно для них и так выгодно для него - думать?

- Покой. Нет, лучше воля.

- Чтоб на душу легло.

- Отстаньте.

- Вот твоё слово.

- А и ладно. - Ларионов выкарабкался из кресла. - Это слово ничем не хуже других. Что я болтал ночью?

- Что взял тридцать сребреников, а отрабатывать передумал. Потом художественно описал пасхальную трапезу и оливковую рощу в лунном свете. Что-то плёл про Кедронский овраг и ограду Гефсиманского сада. Кричал, что хочешь чуда.

- Библия навела. Я читаю её, как словарь, каждый день по странице. Ветхий завет заставляет меня собраться в кулак, а Евангелие расслабляет. Вот и лечусь, то от любви, то от соломоновского нарциссизма, ведь полезен контрастный душ? К дьяволу Фрейда, я имею в виду «Песню песней». Никак не могу понять, как этот оргиастический вопль вкрался в священный текст.

- Да ты к тому же ханжа.

- Молчали бы... доктор Живаго.

- Ну и имечко, словно нарочно придумано, чтобы людей дразнить. Откуда он его выдрал?

- Из пасхального славословия: «Что ищете Живаго с мёртвыми?» Старая форма «живого». А людям бы не помешало знать свой родной язык.

- Это уж точно. - И вдруг потеплел. - Поваляйся недельку, не делай глупостев.

- Эх, Тенин, в Гефсиманский сад с девушками не ходят. А ожидание чуда – само по себе чудо, но оно говорит об отсутствии чуда. В том-то и закавыка. Или беда.

Глава 76

- Сегодня у нас семейный выход. Причешись. Чья рубашонка?

- Моя.

Ковбойка в бело-голубую клетку с жёлтыми полосками расстёгнута на три пуговицы, рукава закатаны до локтей. Юбка могла бы скрыть пацанячьи бёдра, если бы хоть чуть-чуть была шире и длинней. Общий вид - вызывающий. По частям - неожиданно женственный.

- Не простудишься? - кивнул на распахнутый ворот.

С лебединым вздохом вытянула свою тощую шею. Ларионов произвёл несколько шаманских движений, поправляя ей волосы, и как бы невзначай застегнул третью пуговицу.

- Пакет понесёшь ты, коробку я. Осторожно, не разбей. Кому говорю?

Румянец, словно бикфордов шнур, вспыхнул где-то за ухом и побежал по щеке. Правая, как обычно, горела ярче.

- Фаине Марковне стукнуло шестьдесят. Месяц назад, но все даты относительны, а действительное число, в данном случае, друзей, взятое без знака плюс-минус, абсолютно.

Молча злилась.

- Из-за путаницы в античном летоисчислении и пошли все датические накладки. У всех государств были свои календари, и месяцы назывались по-разному. Скажем, Никиев мир между Афинами и Спартой был подписан «при спартанском эфоре Плистоле, за четыре дня до окончания месяца артемиссия, и при афинском архонте Алкее, за шесть дней до окончания месяца элафеболиона». Число дней в месяцах тоже гуляло в угоду календарям. В Абдере (глупость его обитателей вошла в поговорку, как наших пошехонцев) у каждого уважающего себя человека был собственный глашатай, который объявлял о появлении новой Луны только своему хозяину. Не случайно, что там родился Демокрит, прозванный «смеющимся философом». Короче, все даты фантомны. В путь.

Возле аптеки разливалось море сирени. Аня замедлила шаг, он одобрил, «не помешает». Схватила первый протянутый букет.

- Он же вялый. Вечно берёшь что попало.

Опять промолчала. И не спросила что в пакете, а что в коробке. И не выразила недовольства его бурчанием.

- Женишок, а пьёнчиков не возьмёшь? - окликнула стоявшая поодаль знакомая бабушка, даже в тёплые дни не снимавшая меховой кацавейки.

- Возьму, если добренькое скажете.

- А это у нас бесплатно! - засуетилась старушенция. - Вон те, которы толстостебныи, подолгу стоять. Энти, белыи, для невесток, а тенти, погустче, для бабочек. У тебя хто?

- Дальняя родственница.

Бабушка с жалостью посмотрела на Аню.

- Тады всейных бери.

- Давно я вас не видел. Как здоровьичко?

- А, и не спрашивай, милок, какое у нас здоровье, тут молодые мруть. А ты возмужавши, представительный стал мущина. Мабуть, в гору пошёл?

Ларионов зажал ребро и рывочками посмеялся.

- С горы, бабушка, с горы.

- А ты не горюй, меньше завидок будет. - И пересчитав бумажки, переключилась на другого касатика.

В подъезде было темно и сыро.

- Мне крысы сегодня снились, целые полчища, - сказал он, поставив коробку на батарею. - Жирные, наглые. Неслись по улице, перескакивая друг через друга, и визжали бабьими голосами. Я прыгнул на чьё-то крыльцо и ждал, когда они схлынут. Одна вцепилась мне в ногу, я наступил на неё и давил, пока у неё кишки не повылезли. К чему это?

Пожала погончиками.

- Впечатление от прочитанного, услышанного...

Ларионов обнял коробку и гордо, как оскорблённый инвалид, зашагал вверх по лестнице.

- Музыку заказывали? - спросил через дверь.

Фаина Марковна растерянно приняла букет.

- В честь чего? Здравствуй, Анечка. Проходите.

Ларионов снял с тумбочки допотопный проигрыватель и включил новенький «Аккорд». Развернул пакет и выложил на стол пластинки.

- Цветы и «Marche funibre...» Шопен. - Фаина Марковна странно улыбнулась. - Доступ к телу продолжается.

- Ну знаете ли! - взорвался Ларионов. - Так и до бретонской коровы недалеко! Что вытаращилась?! - прикрикнул на Аню. - Я в своём уме!

- Это скабрёза Жюля Ренара, окрестившего Жорж Санд «бретонской коровой от литературы», - с кротостью ангела, утешающего другого ангела, поспешила на помощь Ане Фаина Марковна. - Они любили друг друга, Шопен и Аврора Дюпен, писавшая под псевдонимом Жорж Санд.

- Любили, ха! Он был у неё одним из десяти постоянных... друг другов. Одиннадцатым она предложила стать Бальзаку, но он вежливо отказался. - Ларионов потряс пластинкой. - Но это же Моцарт! Реквием!

- Конечно, конечно, спасибо, я не разглядела без очков, - смутилась Фаина Марковна.

С ним уже разговаривали, как с больным.

- Моцарт счастливый любовник! А не угрюмый сожитель! Он выбирал! А не его выбирали!

Фаина Марковна с материнской улыбкой протянула к нему руки.

- Только не обниматься! Это небесное создание лишило меня ребра.

- Он меня спас. - Аня словно очнулась от обморока. - Мы навернулись с туннеля, и он под меня подостлался.

- О, когда-нибудь я вырву твой грешный язык!

- Вы простите, ребятки, - быстро развела их Фаина Марковна, - мне пора на лекцию. А вечерком приходите, почаёвничаем.

- Совсем забыл, сегодня же пятница. Нет, к вечеру я развалюсь. И Тенин мне приказал не отрываться от койки. - Он потащил Аню к двери. - Пошли, теперь твоя очередь подстилаться.

- Бейте его по губам, Анечка, не стесняйтесь, он любит хулиганскую искренность.

- Чему бы хорошему научили.

Межпраздничное первомайско-победное настроение ощущалось во всём. У овощного магазина убивались за первой клубникой, в гастрономе штурмовали сервилат, у канцтоваров шла битва за туалетную бумагу. Грязно-розовые рулоны нанизывали на бечёвку и, повесив срам на грудь, гордо шествовали по городу. О чём мечтаю, сбудется, читалось на потных лицах. Дома были густо обвешаны флагами и транспарантами, они трепались на ветру с треском рвущихся парусов. Женщины оголили руки и колени, и в их жестах появилась сарафанная размашка. Шли с цветами, но больше с авоськами и кошёлками, жилясь, как титаны на пергамском барельефе. Между ними шныряли подвыпившие мужички, предлагая безопасные лезвия «Нева» или сувенир с «приветом».

- Положи меня где-нибудь в уголке, - попросил Ларионов, - силов моих нет.

Они пробирались в толпе, поминутно здороваясь и пригибаясь от любопытных взглядов. Разница в возрасте бросалась в глаза.

- Можно на камешке посидеть.

- Нет уж, милая, рёбер у меня в обрез.

Аня кружным путём завела его в пионерский сквер и показала на крошечную лужайку, скрытую в тени деревьев позади размалёванного, но всамделишного паровоза «кукушки»,

установленного на бетонной платформе - дар железнодорожников подрастающей смене. Внутренности локомотива давно растащили по винтикам, кабину обгадили и отделали соответствующими надписями, но путейский рок тяготел над малышнёй и всегда до отказа набивал ею паровозное брюхо.

- Все заулки тебе знакомы.

- Я выросла здесь.

Аня легла на траву, являя пример пантеистического отношения к миру.

- Еретичка, - проворчал он, наползая спиной на буйную поросль. - Ты как Гёте притворяешься натурфилософом, а сама язычница до мозга моих костей. И язык твой варварский, не от ума, а от живота. Иногда мне кажется, что это ты написала: «Глокая куздра штека будланула бокра и бодрячит бокрёнка».

- Ой, - подпрыгнула, - давай сочиним оду! На взятие куздры! Ну пожалуйста, только ещё разок повтори!

- Что значит «ещё»? Разве я повторял? Следи за словами.

Но в затылке уже пекло, и он подложил под него ладони.

- Первая строчка: куздра балданула.

Аня вытянула мордочку по ветру.

- Бокры разбулдали.

- Мододчага. Вот и будланула...

- Чтоб не дарвалдали!

Так крикнула, что он схватился за бок.

- Ух ты здорово, - просипел, выпуская заколотившийся дух. - Сейчас... Разом и бокрёнка...

- Ёрзает, кудрячит...

- Мало ей куздрёнка, что в кулёмах вячет!

Ларионов откинулся на траву, рыдая от смеха. Аня вспрыгнула на колени и закружилась, повизгивая в каком-то щенячьем восторге.

- Куздра, ты пришпека... - еле выдавил.

- Брось своё глумоко!

- А-а-а... не могу-у...

- Смоги!

- Как всё это штека...

- Как всё это глоко! Дай поцелую, дай!

Заслонила всё небо, повисла над ним, обдавая жаром и трепетом, как жизнь, как смерть, вгоняя в краску и в грех.

- Что тебе дать... бери что хочешь...

Клюнула в лоб, в подбородок, в щёки, размазалась по губам.

- Тьфу, собачьи лизалки, всего обслюбила.

- О-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, какие мы с тобой созданные друг для друга... - И покатилась по траве, кувыркнулась и на четвереньках, прыжками, назад. Примазалась сбоку и начала дуть в больное ребро.

- Отлезь, я сплю.

Врал. В голове жгло, в груди кипело. А ребро срасталось; бешено, с хрипом наворачивались хрящи.

- Ты мне обещал рассказ на «п».

- Ты на мне обещал жениться, - передразнил. - Мало ли что я обещал.

Ровно дышала, и он вздохнул с облегчением.

- Чур не встревать, рассказ длинный, собьюсь. Называется «О величии русского языка». Дело происходит в поезде, в вагоне первого класса, стало быть, до революции. Помнишь, у Блока: «молчали синие и жёлтые, в зелёных плакали и пели». Поэзия не только сладкие звуки, но и чёткая информация. Итак, едут в синем вагоне четверо, дети разных народов: англичанин, немец, итальянец и русский. От нечего делать заспорили, какой язык богаче, красивей и т.д. Были они лингвистами или болтунами, история о том умалчивает. Англичанин хвастается Шекспиром и Байроном, немец Гегелем и Гёте, итальянец соответственно Данте, Петраркой и Боккаччо. Русский скромен, наша национальная черта, и, вскользь помянув Пушкина, Толстого и Чехова, предлагает составить небольшой рассказ, но по всем правилам, с завязкой и развязкой, при условии, что все слова должны начинаться с одной и той же буквы. Попутчики озадачились и хором заявили, что ни каком языке это невозможно. Кроме русского, улыбнулся наш скромник и попросил итальянца назвать любую букву.

- Почему итальянца?

- Чёрт его знает, наверно больше всех махал руками. Тот поморщился и сказал: допустим, «п». Извольте, улыбнулся наш, вот и заглавие: «Первый поцелуй».

«Пётр Петрович Петушков получил по почте письмо, полное приятных пожеланий.

«Приезжайте, Пётр Петрович, - писала прелестная Полина Павловна Перепёлкин, - поговорим, помузицируем, погуляем... пожалуйста, приезжайте поскорей!»

Петру Петровичу пригласительное письмо понравилось. Поехал. Принял Петушкова почтеннейший папаша Полины Павловны Павел Пантелеймонович Перепёлкин.

- Прошу, Пётр Петрович, присаживайтесь поудобней. Попробуйте печенье Поленькиного производства, право, превосходное.

Подошёл плешивый племянник, покланялся. Появилась Полина Павловна, пылко приветствуя Петра Петровича.

Поговорили. Покурили. Пригласили пообедать. Подали пельмени, паштет, пирожки, портвейн, пол-литра померанцевой, потом пирожные, прохладительное. Плотно покушав, Пётр Петрович почувствовал приятное пресыщение. После продолжительной паузы Полина Павловна предложила прогуляться по парку.

Побродили, присели. Пели птицы, приторно пахли петуньи. Помолчали, повздыхали. Полина Павловна придвинулась поближе. Прозвучал первый поцелуй.

- Поженим, поженим, - пробасил подоспевший папаша.

Пошло подмигивая, подкатился плешивый племянник.

Пётр Петрович побледнел, привстал, пошатнулся. Потрясённый, побежал прочь.

Пожертвовав первосортные подтяжки, Пётр Петрович Петушков повесился».

Тут все дружно рассмеялись, и с тех пор русский язык официально признан самым великим в мире.

- Придумал? - плутовато прищурилась.

- Прямо. Пару пустячков подбросил, пяток предложений подшлифовал. Параллельно пунктуацию почистил. Придумать - проблема, переиначить - пустяк. Похоже, перестарался?

- Попробуй продолжить, - пристала, - переиграй покойника.

- Па-азволь... Пётр Петрович примитивнейший пошляк. Пошто попёрся? Подумаешь, пригласили. Попросту позовут? Пожалте, проштрафился, получил причитающееся. Пусть помирает, прекрасный повод перетряхнуть патриархальные представления.

Повизгивала, постанывала, припадала персями, что ещё там на «пы»?

- Притихни.

Приподнялась на локте, уставилась в никуда.

- Ты пахнешь родным. Ты приснишься мне через тридцать лет. Я буду старой, у меня будет старый муж и старые дети. Я приеду издалека и разыщу тебя...

Бредила.

- ...ты совсем не изменишься и даже эта рубашка будет на тебе. А в сарае бильярдный стол... зелёный как травка, и ты играешь, засучив рукава. Это я, скажу я тебе. Ты бросишь эту указку...

- Кий.

- ...и обнимешь меня. Мы выйдем, а там стройка, всё разворочено. Я уткнусь в тебя и услышу этот запах. И проснусь.

Ларионову показалось, что все рёбра срослись в одно.

- Не выдумывай. Я отвезу тебя в Москву, столицу нашей Родины, и сделаю тебя царицей мира. Сразу, как оклемаюсь. А сейчас отволоки меня в общагу.

- По-братски? - глупо спросила.

- А это уж как получится, - умно ответил.

Глава 77

Начались экзамены. Аня сдавала неровно: русский и литература отлично, физики-химии еле вытянула на четвёрки, по алгебре схватила тройку. Ларионов принимал ещё хужее: придирался к словам, гонял по всему курсу и как сумасшедший радовался мало-мальски вразумительному ответу.

Итоговый опыт сам по себе поучителен, а в приложении к высшему образованию и забавен. Выяснилось, что процент неудовлетворительных отметок не должен превышать одной четвёртой их общего числа, и количество переэкзаменовок строго лимитировано. Даже гуманитарные науки, а в переводе с латыни человеческие (в отличие от естественных... бесчеловечных?) пали жертвой интегральных ходов.

Главная неразбериха была с теми, кто подлежал отсеву, так как требовалось освободить определённое количество мест для студентов, отслуживших в армии, и переводников из других вузов. Лавируя между казуистикой и цифирью, преподаватели пускались на разные ухищрения от подтасовки билетов до отписки, ставшей анекдотической: «не полностью раскрыта тема». Также с удивлением Ларионов узнал, что Галкина – протеже ректора и идёт на повышенную стипендию, что Гаврилкина опекает Казанский и шпаргалки у них изымать не рекомендуется, а Вохрякова, застенчивая дурнушка с толстой косой – племянница Тенина, и тоже надеется на доброго дядю.

Маленькие уступки ничем не лучше больших компромиссов, как стырить бублик и похитить гербовую печать - одно воровство. Горький не был максималистом и, напутствуя молодую поросль, уверял, что украсть книгу не только можно, но иногда и нужно. Того же принципа придерживался и Птолемей, собравший Александрийскую библиотеку, потому и сгорела. Ларионов пытался, не реформаторствуя, поступать по совести в каждом отдельном случае, но, получив внушение от декана за «злостный субъективизм», бросил вмешиваться во что бы то ни было. Тем более, что митрофанушки, сыплющие ленинскими

цитатами и выдержками из программных документов, ей-богу не стоили, чтобы из-за них всходить на костёр. Середнячка Борю Мирзоева он всё же отвоевал, поставив вместо запланированного «неуда» честный «хор», и безнадёжно испортил отношения с ректоратом, деканатом и о, ужас! с мадам Петушко, которая вдруг перестала с ним здороваться.

В остальном обстояло более-менее. В боку немного покалывало, когда он поднимал тяжести или резко менял позу, но грех жаловаться - Аня ребро задышала.

Остаток июня Ларионов провёл в чаду и азарте. В день аванса Соснов, не добрав в столовке, неожиданно предложил похерить уходящий в древность обычай платить взносы всяким досаафам и на сэкономленные деньги учредить общество любителей выпить и закусить. Он Витьлексеича, кажется, поддержал и теперь, собираясь на квартире разведённого физика Любкина, делившего кров с демонической личностью по имени Няма, они по ночам резались в преф до положения риз, по две бутылки на брата. Вечерами, спасибо Ане за идею, поигрывал в бильярд с Тениным, частенько сбегавшим в клуб санпросвета, где допоздна работал буфет и шли репетиции джаз-банды. Помощь дурной племяннице странным образом сблизила их.

Забивая шары в лузу, дохтур пробовал и его забить советами и подначками. То рассказывал о шизоидах, у которых ослаблен барьер перед социальной действительностью и поэтому снижен уровень конформизма и адаптации к общепринятым нормам, то талдычил о психопатах, обладающих устойчивой аномальной структурой, и тыча в него киём, добавлял: «тут медицина бессильна», то молол о литераторах, страдающих умственными расстройствами (80 из 100) и алкоголизмом (54 оттуда же), и о шедеврах, отмеченных печатью недуга.

Помилуйте, наконец лопнул Ларионов, вы меня подгоняете под какую-то конструкцию, это называется «вытягивать ноги уткам, обрубать ноги журавлям», как острили даосы. Или люди для вас уже не люди, а типы и понятия, составные элементы, но не сложного, а простого целого? Сойдёмся на том, что в уродском мире нормальны одни уроды. Мне нет дела до ваших теорий, считайте, что я отказник и доходяга, но дайте хоть сдохнуть по собственному желанию. Ну, братец, заметался Тенин, я кровавыми примерами твой дух укрепить хотел, а вышло, что страху нагнал. Это вы про диссидентов? прижал его Ларионов, так тут не кровью, а тунеядством пахнет, будьте последовательны, уважайте мнение ваших учёных коллег, а что касается 134 из 100, то этого не вынесет и наша многонациональная литература, кстати, где вас учили считать? И дух мой не трожьте, духовник из вас, как из меня народный заседатель, к тому, что не суди да не судим будешь. Опять на библейское потянуло? Заулыбался, как змий, смотри не допрыгайся до религиозного психоза, тоже вписывается в известную патологию. Давайте дружно заткнёмся, оборвал его Ларионов, обо всём можно спорить с одинаковым основанием и даже о том, можно ли спорить с одинаковым основанием обо всём. Есть и попроще мудрость: из двух спорящих один – дурак, а другой – подлец. Глупая мудрость, буркнул Тенин, глупая и безнравственная. Вы утверждаете, вспылил Ларионов, что знание, опирающееся на опыт, может быть аморальным? Это уже ни в какие ворота не лезет! Тише, одёрнул дохтур, не заглушай оркестра. Ничего я не утверждаю, но куда лезет ленинское «насилие необходимо и полезно»? Полстраны истребили по окопам и лагерям, мудрость это чи шо? Конечно, чи шо, Тенин, посредственный здравый смысл, китайский предел мечтаний. Государство, не имеющее экономических ресурсов, расплачивается людскими, это ещё в Древней Греции знали, потому и устраивали разгрузочные войны и философские чистки. Целесообразность всегда цинична, дрянь всегда элементарна, во веки

веков. Нечем крыть? Нечем, сдался Тенин, всё равно ты меня не слышишь, ты споришь сам с собой. А вы не дурак, съязвил Ларионов, и с тех пор они избегали нездоровых тем.

Побывал и у Фаины Марковны, с Аней, с Аней, чтобы не обиделась окончательно. Занимайся, сказал, и не думай о постороннем, то есть обо мне, я никуда не денусь, то есть не пропаду. Фаина Марковна была чем-то озабочена, Аня большей частью молчала или спрашивала ни к селу ни к городу: «какой сегодня день?» «а правда, что микенское золото награбленное?»

Чуть не сцепились, когда заговорив о Пушкине, он принялся доказывать, что чужое ухо чутко к языку. А как же с мировоззрением, усмехнулась Фаина Марковна, вон Кожинов абсолютно уверен, что выразителем русского духа может быть лишь беспримесный росс. Литература не система взглядов, а феномен языка, ушёл в сторону Ларионов, потому наша изящная деревенско-эстрадная словесность выродилась в публицистику, а критика – в политиканство. Но и Белинский, продолжала подтрунивать Фаина Марковна, сочетал критический талант с пафосом публициста, и Надеждин не брезговал художественной идеологией. Да, но они пропагандировали Пушкина и Гоголя, разозлился он, а вы почитайте тех, кого хвалит Кожинов, они ж хорея от ямба не могут отличить. Тут Аня снова спросила: «почему Сократ клялся псом, а Зенон каперсами, а Пифагор воздухом и водой?» Чтобы не поминать бога всуе, ответил он и подумал, что напрасно завёл разговор о Пушкине.

На вокзале, куда он по дороге домой затащил Аню глотнуть пивка, произошло кое-что знаменательное. Он, пристроившись возле урны, тянул «жигуля», отдающего мылом, она изучала расписание поездов, ей, видите ли, было с ним скучно. В зал подпрыгивающей походкой вошла столичная штучка, из транзитных курортников, предпочитающих отдыхать на водах и курсирующих между Горячим ключом и Ессентуками. Заняв очередь в кассу, дамочка принялась обмахиваться газетой и собирать толпу. Какая фемина! восхитился он исключительно из желания выяснить, способна ли Аня ревновать, хотя бы спорадически. Тёлка и впрямь была ничего, благо стояла к ним задом, открывая простор воображению. Ну оглянись, покажи мордашку, зателепатил он вслух, толкая Аню и как бы приглашая её в свидетели эксперимента. Штучка покрутилась, зыркнула раз-другой и зацепила его. Я сейчас, шепнул он остолбеневшей Ане, закорочу контакт. Начал протискиваться вперёд, но она вцепилась в его ремень и резко осадила. У неё было совершенно белое лицо.

Выволок в скверик и усадил на бортик фонтана, и полчаса откачивал и забалтывал байками. Про то, что греки праздновали дни рождений каждый месяц, а иудеи дали миру семеричную систему измерения времени, и это знак судьбы, недаром на триумфальной арке Тита высечен семисвечник с драконами, менора, так что не попрал, а увековечил; что Демокрит объявил четвёрку нездоровым числом, а Еврипид сказал Эсхилу: «пьесы у тебя скучные, герой стоит, а хор поёт»; что гомеровские поэмы написаны на языке, на котором никто никогда не говорил, на ионийском диалекте с использованием эолийских и древнеахейских форм; что лишь на Кипре и в Аркадии существовало особое ахейское наречие, которому до сих пор не придумали названия, и что микенские письмена сходны с кипрскими; что басилевс, царь, переводится, как «говоритель», потому что баять перед народом имел право самый знатный; что первым словом, которое дети склоняли в древнегреческих школах, было «муза», а писали они на восковых или глиняных табличках тростниковым пером и чернилами, сделанными из чёрного сока каракатиц или из «чёрнильных орешков» (наростов на дубовых листьях), а ошибки слизывали языком, вот так... простила?

Потом пошли филии-агапы, и следы интенсивных развлечений не замедлили отложиться на харе. К тому же борец за права человека Няма, скрывающийся от гэбистов (оказалось, от алиментов), в пылу полемики стукнул его рейсшиной и рассёк висок.

Аня, дважды столкнулись, на улице и в редакции, помалкивала, но ревниво принюхивалась к нему. Я выдавлю из тебя собственницу, крепился, и уж тогда упаду к твоим ногам.

В тот вечер он, хорошенько выспавшись, собрался на свидание к Тенину. Надел свежую рубашку, опрыскался одеколоном и, напевая «гром победы раздавайся», вышел из комнаты. В коридоре стояла обычная египетская тьма, и он шарил ключом, пытаясь воткнуться в скважину, как вдруг «уходишь?» анькнуло за спиной.

- Только без сцен, - сразу предупредил. - Жив, здоров, учу. К тому же опаздываю.

Сверкнула глазами, как сабелькой полоснула, и к выходу, со всех ног, чуть не упала. Он поймал её на лету, у него уже выработался рефлекс.

- Не успокоишься, пока все рёбра не переломаешь.

Никитич осуждающе пыхтел над журналом.

- Свет бы включили, - накинулся Ларионов, - «чтоб ярче горела цель».

- Не я здесь распоряжаюсь, - пробуркал.

Пришлось вернуться. Заставил Аню выпить чаю, уговорил взять пряник. Подпёр кулаками щёки и смотрел, как мучается. Всё у неё стояло поперёк горла.

- Когда последний экзамен?

- Завтра.

- Английский?

- История.

- Битва при Саламине. День, месяц, год...

- Не помню. У меня здесь, - постучала по лбу, - одни съезды. Первый в Минске, второй в Брюсселе...

- Ты что, идиотка? Саламинская битва решила судьбу Греции! Всей Европы и мировой культуры! Представь, что бы мы унаследовали от живодёрской Азии, поглоти она греческий мир от Фасиса до Геракловых Столпов, как его очертил Сократ. А что называлось Фасисом во времена Эсхила? Кубань! Да, наша великая речка! «И застонал, увидя дно страданий Ксеркс...» О, так мог сказать лишь он, очевидец, воин, поэт! Это надо было увидеть!

- Знаю, Эсхил там был. И Фемистокл. А третий в Лондоне.

- Фу. Пускаешь слюни перед Пиндаром, этим персофилом, сочинителем пифийских од. Как же, Александр разрушил Фивы, а дом поэта сохранил для потомства и даже Анне Андревне навеял трогательный сюжет. А почему он так сделал? Из любви к поэзии? По доброте душевной? Шесть тысяч защитников положил, тридцать тысяч детей, стариков и женщин продал в рабство. А всё потому, что Пиндар успел черканут парочку гимнов в честь македонских варваров, ненавидимых греками. Сам же сказал: «Муж, умеющий говорить кстати, имеет успех при любом строе». Не случайная строчка! Жизнь положил, прислуживая тиранам, до старости бегал от двора к двору. Вот тебе и «пиндарическое парение» и весь пафос классицизма. А Саламин, задолби, был отвоёван 28 сентября 480 года до.

- Выпотрошили тебя, - поёжилась. - Ты как мешок из-под муки.

Ларионов подёргал углами рта.

- Думаешь, легко?

- Что?

- Да всё.

Кое-как домусолила пряник. Сполоснула стакан.

- А как ты понимаешь: бог стал человеком, чтобы мы стали богами. Похоже на Шиллера с Грецией.

- Кто сказал?

- Святой Афанасий.

- Вот у него и спроси.

Ларионов открыл окно, но вместо прохлады в комнату хлынула влажная духота. Солнце уже закатилось за крыши домов, и по земле пролегли лиловые тени, но верхушки деревьев ещё золотились, и край неба сиял. Так было и будет. День-ночь, жизнь-смерть, вариации на тему: «я знаю, что ничего не знаю». В самом утверждении кроется отрицание, как заметил Монтень. Ларионов поборол зевоту.

- Ладно, проведём вечер в домашней обстановке. Умрём со скуки, как наши братья умирали.

- У тебя... - опустила глаза, - женщина?

- У меня кентавр.

- Я... тебя люблю. - Проболботала, словно магическое заклинание.

Бе-бя, блю-блю, как дико звучит и беспомощно. Прямо греческое «бар-бар», балаболка, прозвище всех лопочущих на чужом языке. Отсюда и варвар, ничего оскорбительного. Но наше признаньице характерное, с национальным подтекстом. Немцы и англичане объясняются в любви, будто доводят до сведения некий факт, чётко по схеме: подлежащее - сказуемое - дополнение («я люблю тебя», как «мама мыла раму»); французы потоньше, они персонифицируют чувство, «я тебя люблю», с ударением на объект; той же формы придерживаются армяне и греки; итальянцы с испанцами и вовсе не якают, отделываясь грамматически, флексиями. Только русские могут беспрепятственно нарушать порядок слов, меняя смысл и интонацию до неузнаваемости, семь раз переиначить предложение из трёх жалких единичек речи. Вот он, наш беспредел.

- Мы не влюблённые, - мягко сказал Ларионов, - зачем нам клясться?

Нахохлилась, как ребёнок, который ударился и еле сдерживается, чтобы не разреветься.

- А родным достаточно «дай» и «на». Вы с отцом это поняли.

- Ты не отец.

- Отец, Аничка, я твой отец и брат, и сват, и чёртов племянник! Я смешал все инцесты и влез во все долги, чтобы вместе с тобой вырваться на свободу, хотя бы в любви!

- Я...

- Ты не любишь меня. - Он скрестил ей руки на груди и отошёл с поклоном. - Ты ещё не доросла до женщины. Мне не нужна твоя мифическая половина. Плачь, несчастная.

- Я не плачу, - промычала, ровняя голос и стряхивая поток дождя, - я злюсь, потому что тебе хорошо, когда мне плохо.

- Всё человеческое рождается в муках, привыкай, у нас будет много детей.

У неё подогнулись колени.

- Ну что, показать тебе, как покрывают кентавров?

Широко размахнулась и «на!» врезала по губам. Ларионов сплюнул розовой пеной.

- Убедительно. Я всегда говорил, что от стервы до женщины один шаг.

Попятилась.

- Ещё один, и ты меня потеряла.

Бросилась к нему.

- Я не буду тебя утешать, - сказал он, выводя Аню на улицу, - ты не нуждаешься в моём утешении. Тебе налево, а мне направо. Надумаешь, приходи.

Споткнулась. Выпрямилась. Пошла. Он мысленно перекрестился.

Глава 78

Ларионов купил большой чемодан и сложил в него книги и пожитки. Полдня возился, собирая и разбирая бумажки, разбросанные там и сям, вечно писал на клочках и сеял. В гардегробе, за обувными коробками нашлась перепечатка «Приглашения на казнь», а в нижнем ящике письменного стола отыскался конверт с тенинским направлением в институт Бурденко, головное предприятие по ремонту мозгов. Было что-то фатальное в этих находках.

Аня пока что не знала о поездке в Москву, решение пришло слишком уж неожиданно. Зимой вроде бы договаривались подрядиться на лето в пионерский лагерь, он – воспитателем, она – пионервожатой, можно было провернуть афёру через железнодорожный профсоюз, взяв за рога дядю Лёшу. Ах, какие закаты на берегу Эвксинского понта!

Теперь не до понта. Шум в ушах стал постоянным, тошнота непроходимой, и вообще всё, всё было заиграно, стёрто и издавало шипящие тюркские звуки. И ребёночек не сделался.

Тоска, тоска, Цинцинат, сколько крошек в постели... И ещё он сказал, да не он, а этот сыч с породистой мордой, подуздый, как аттестуют псари, с короткой нижней челюстью: «Литература - это любовь к людям». Жгучие ложноклассические слова. Как специально придуманные для газетных шапок, транспарантов и эпиграфов к дифирамбам. К тому же универсальные, почти не требующие переналадки. Например: «Техника - это любовь к людям». Или педагогика. Или собаководство. Автор это учёл, крылатая фраза вылетела не из его томно поджатых губ, а из уст опереточного злодея с накладной бородой. Тоже питавшего болезненное пристрастие к изнанке. А кто к ней равнодушен? Она ближе к телу.

Ларионов любил Набокова мучительной эмигрантской любовью, в которой больше отчаяния, чем любви. Так русский в парижском кабаке, заслышав родную речь, бросается на голос крови и лезет плакать и целоваться, и благодарить «за всё, за всё». А на него смотрит какой-нибудь металлургический патрет из Нижнего Тагила: «чо вы, товарыш, усё путём». Этого путя у Набокова не было, он бы скрипнул фальцетом: «фуй, как нехорошо» и утёр платком надруганную щёку. Но вот за эту брезгливость, нет, чистоплотность, чистопородность чувства и языка он и страдал по Набокову.

- Привет!

Аня влетела в полуоткрытую дверь, как ласточка, вытянув шейку и выгнув плечи, да так и повисла в воздухе. Чемодан стоял на видном месте.

- Ты-и... у-е... - И зарыдала, упадая на грудь.

- Я не гулять, я лечиться еду, Аничка. Не насмерть ведь расстаёмся.

- О, я знаю!

Это были уже страсти Федры по Ипполиту. Ларионов съезжал с олимпийской горки в

пасынки, в недотёпы, беззвучно съезжал, на попке, насквозь промокая штаны.

- Ты умрёшь без меня!

- Ну перестань.

Кинулась к раковине и вырвала желчью, пустой слюной.

- Эй... дела идут?

- Контора пишет, - выдавила с жалкой улыбкой.

- Я не шучу. На сколько дней задержка?

Растопырила пальцы и сжала. Азбука жестов. Зенон. Один кулак - понимание. Два - достоверное знание. Усвоила.

- Такое бывало?

- А не пришла бы... уехал?

- Ну что я, вор? Когти рву?

- А, - закатилась, - а...

Он вытащил из чемодана зелёную папку и протянул Ане, воющей в подушку.

- Вот, я кое-что вспомнил из Пигмалиона и записал. Остальное довообразишь.

Вмиг умолкла и поднялась. Умылась. Глаза снова стали яркими и сухими.

- А ты хорошеешь от злости, - зачерпнул песку Ларионов. - И слёзы тебе к лицу. Будь я греком, то из этой хилой идейки я бы выстроил целую теорию о неисповедимых путях вечной женственности.

- Пьяницу хочу! Дурака! - крикнула в голос. - Боже ты мой! Господи! Не фила, а просто филю хочу!

- Как я тебя люблю... - прошептал Ларионов, сползая к её ногам. - Пусть ничего бы не было в моей жизни... только ты... я готов умереть за это...

В затылке что-то хрястнуло и потекло.

- Если что-нибудь сделаешь с ним, я тебя убью... поняла? он мне нужен... ты поняла? и если сдохну, роди... спаси мою голубую кровь... ты меня поняла?

Послышался рёв воды, словно в небе прорвало трубу, и градом посыпались камни. Он упал в них лицом, не успев выбросить рук. Аня куда-то бежала, кричала: «не трогайте, я сама! он не хочет!» И свет погас.

Маман сидела на бархатном пуфике перед трюмо и кокетничала со своим отражением. Склоняла голову набок и взбивала чёлку, откидывалась назад и щурилась, вытягивая губы. Ни за что, раздельно произнесла, не для того мы тебя ели-пили, высшее обрезание дали... И переливчато засмеявшись, начала обводить рот коричневым карандашом. Ты чего-то не понимаешь, сказал он, я не прошу разрешения, я ставлю тебя в известность. Ткнула пальчиком в подставленную щёку, мол, чмок-чмок и сгинь, разговор окончен. Ты с неба свалилась? спросил, потянув её за рукав пеньюара, я давно уже вырос, посмотри, какой большой мальчик. Большой да дурной, пропела и, взмахнув белоснежными крыльями, растворилась в туманной мгле.

Почему всё запомнилось до мельчайших подробностей? Как тронула губы красной помадой, а сверху прошлась серебристо-розовой и кисточкой растушевала мазню. Кожа рыхлая, пористая и блестит от жирного крема. И припадочный запах «Коти».

- С возвращением в палестины.

Тенин возник на пороге в облаке пыли и ураганных паров карболки. Ларионов испустил мученический вздох.

- Чем это вас пропитали? Ханаанским бальзамом?

- Предположим. Какая связь?

- Прямая. Раньше царей хоронили в меду. В Лаконике, например. Да, таким пародийным способом, очень смахивающим на мечту о райском блаженстве. Спарта славилась выдумщиками и утопистами. Не от хорошей жизни: кровяная похлёбка, палочная дисциплина, слова лишнего не скажи... вся надежда на загробное царство, сладко-резиновое бессмертие. И мёд баснословно дорог и слава в цене.

- Ну и зачем ты мне это рассказываешь?

- Я разжигаю ваше любопытство. Вы же меня проверяете на способность соображать? Ладно, квиты. Палестинцы первыми изобрели мумифицирующие консерваторы на основе бальзама, которым когда-то было засеяно всё юго-восточное побережье Средиземки. Экстракты обменивали на золото и здорово наживались на «мёртвом» промысле, снабжая прекраснодушную Грецию, верноподданническую Ассирию и богобоязненный Египет. Я думаю, что культура как высшее проявление исторической памяти началась с культа покойников. Пусть вас не умиляет мой пафос, по Аристотелю это действие, причиняющее гибель и боль.

- Темп мышления ускоряется, притормози.

Тенин заученными движениями ощупал его вдоль и поперёк. Ларионов покорчился для блезиру и поинтересовался, за какие заслуги его возложили в люксе и не справлялись ли об нём испанские депутаты.

- Побелку затеяли, - устав следить за полётом его мысли, чертыхнулся Тенин. - Комиссию ждём из края, вот и наводим глянец на плешь. Две мужские палаты кое-как освободили, кого домой отправили, кого к женщинам присоседили, в общем, полный бардак.

- Подумаешь, новость. Перечитайте утопии, с древнейших времён волновавшие человечество, и вы поймёте, откуда берутся навязчивые идеи. Все проекты идеальных сообществ, от спартанских казарм и платоновских государств до чернышевских шарашек и скопированных с них фабричных ночлежек двадцатых годов, так или иначе сводились к общим жёнам, то есть к обычному бардаку. Жаль, что ваш Фрейд до этого не додумался.

- Лапкой пошевели.

- Фиг вам... - Ларионов скрючил затёкшие пальцы, но вышел не кукиш, а осеняющий жест. - Фиг вам построить светлое будущее на таком похабном материале. Красьте, белите, лечите своих придурков, но не мечтайте и не пытайтесь что-либо изменить в этом мире, где отсутствие здоровых инстинктов рождает больные фантазии.

- Вяленький. Придётся с тобой повозиться. - Сказал с элегической грустью. Самопоглощающей. Ещё печальней добавил: - Аню я отослал домой, нечем тут пока любоваться.

- Брыкалась? - в тон ему спросил Ларионов.

- А как же. Ну, давай лежи.

Через неделю Ларионов прыгал козлом, доводя дохтура до профессионального бешенства расспросами о генетической обусловленности нервных и психических заболеваний. Он влез во все справочники и перерыл все пособия, хранившиеся в тенинском кабинете не только в двух вместительных шкафах, но и в самых неожиданных местах. Так, на дохторском стуле сверкал серебряными буквами новенький двухтомник «Коррекция и лечебная педагогика в адаптации больных с различной степенью умственной отсталости». Вы с ума сошли, не утерпел, сидеть на книгах?! А что, огрызнулся Тенин, для того и пишут,

чтобы повысить уровень знаний, а заодно и его носителя, в данном случае меня. Третий год не могу допроситься (и загнул, у-у, как глушат радиостанцию «Свобода» наши бздуны, у-у...) нормального стула. Прежде здесь восседал один (у-у-у...) с агромадным туловом и неразвитыми конечностями, он и заставил подпилить ножки, да ещё к полу привинтить. Атавизм какой-то.

От силовых экспрессий у Ларионова ток побежал по жилам.

- Дохтур! - вскричал он. - Дохтур, голубчик! Я вам разрешу сделать всё, что угодно, даже вогнать меня в ступор! Все тесты на мне испробуйте, все гормоны, но дайте уверенность, что мой ребёнок не родится уродом. Тенин, у меня будет ребёнок, ребёнок!

Дохтур насупился, словно подтвердились его худшие опасения.

- Мне нужен твой анамнез, твоё греческое воспоминание. Без точного диагноза, пойми, исключается любой прогноз. Если ты такой чувствительный, разреши мне потолковать с Лидой, но без всяких там штучек-дрючек, предупреждаю.

- Да не Лида. - Ларионов мгновенно протрезвел. - Она меня бросила. Разве я вам не говорил?

- Кто же?

- Какая вам разница. Девушка моей мечты.

- Иди ты... - с недоверием и восхищением протянул Тенин. - То-то же так легко у тебя проскочило на этот раз.

- Я ненавижу ваш чёрный юмор, Клавдий! - зарычал Ларионов. - Не лейте мне яд в ухо! На этот раз не проскочит! О, прав был Домиций, когда сказал, что от него и Агриппины ничего не может родиться, кроме ужаса и горя!

- Хорошо, что напомнил. С чего ты взял, что Нерон и Клавдий одно и то же лицо? И бубнил и бубнил...

- Почему вы не топаете ногами? - оторопел Ларионов. - Вы со мной разговариваете, как с законченным идиотом. Я прочёл, вон в том шкафу, что невменяемых успокаивают, развивая их аберрации.

- Чего?

- Заблуждения. Вы хоть изредка заглядывайте в словари. Это такие толстые книжки, где много разных слов, расположенных в алфавитном порядке.

- Опостылел ты мне, братец, уйди с моих глаз. Лучше с Зоечкой цапайся, тоже собирается рожать.

- Тоже? Я пока что мужик.

- И знаешь, от кого?

- Тенин, ну что вы как баба: с кем, от кого. Какое моё собачье дело? Не от меня и слава богу, одной заботой меньше. Надеюсь, не от вас?

- Дурак. С мужем сошлась. Счастливая как идиотка. Почти как ты.

- Ещё, дохтур, покрепче, позабористей, я же здоров!

- Ты... - И размазал его по льдине. - Вот ты кто.

- Братец! - бросился к нему Ларионов. - Отец родной! Я вас люблю, как сорок тысяч моржей!

Ночью он удрал из больницы и выспался в лопухах на взгорке, на ничейной земле между аниным и чужим палисадником.

И снова было утро. Ларионов открыл глаза и увидел Аню. Она проплывала над ним,

высоко как солнце, разгоняя тени и облака. Ларионов поднялся и едва устоял на ногах. Аня несла вёдра, доверху наполненные водой.

- Спятила! - рявкнул. - И так недоразвитая!

- Не бойся, - опустила голову, - нечего бояться.

Он заплакал.

Глава 79

Ларионов упросил Аню сходить с ним на песчаный карьер. Тянет меня в пески, сказал, это всё дыханье сирийской пустыни.

Перебраться на противоположный берег можно было, спустившись вниз по течению, где река делала крутой поворот влево, навстречу Урупу, чтобы слиться с притоком, как прихватывают по пути приятеля. Где-то за правобережными холмами, наползавшими друг на друга и неуклюже карабкавшимися в гору, и находился заброшенный карьер, наполовину выработанный и объявленный нерентабельным (у нас всё убыточно, кроме головотяпства). Подъездные дороги, когда-то раскатанные и посыпанные гравием, покрылись глинистой чешуйчатой коркой и проросли колючкой и ядовитым сорняком, насморочной амброзией, прозванной словно в насмешку над греческой пищей богов. И сама котловина, разрытая до подзола, до известковых жил, имела зловещий вид и была похожа на вход в Тартар. Прошлым летом он ненароком забрёл сюда, переплыв Кубань на пароме, хлюпающем, тяп-ляп состряпанном плотике, и, постояв с минуту в похоронном раздумье, повернул обратно, отложив паломничество в Прочноокоп до лучших времён.

День выдался жаркий, но облачный. Казалось, небо затянуто отсыревшей холстиной, сквозь которую, как раскалённые угли, с шипением пробивались лучи. С северо-запада надвигалась гроза, и ветер, налетавший рывками, обжигал ознобом и нетерпением. Они, не сговариваясь, обошли стороной водохранилище, гигантскую лужу, заплывшую по краям ряской. Прыткая речная вода, лишённая способности двигаться, будто потеряла свою жизненную силу и теперь медленно умирала. Напрасно ныряльщики поднимали столбы брызг, ничто не могло расшевелить оцепенелые волны, от которых бежала кругами клейкая серая пена. Народу на пляже было битком, но купаться отваживались немногие. Молодёжь гоняла мяч, старики, прикрывшись зонтами, дулись в карты.

- Ну и тощища, - зевнул Ларионов, промокая платком вспотевший лоб. - Ты можешь представить себе древних греков, часами балдеющих на жаре?

- А что они делали на площадях?

- Спорили, размышляли. Как-никак свободные граждане.

- За них отдувались рабы и стахановцы.

- Правильно, но покажи мне хоть одного свободного человека! Нету их! Вымерли! Рассосались! Я другой такой страны не знаю, чтобы ни одного!

- А я?

- Ну разве что ты.

У него пропала охота болтать, а говорить всерьёз было не о чем. Низко, друг другу наперерез пролетели две ласточки, замерли в воздухе, словно примериваясь к высоте, и стремительно взмыли в небо.

- Точно польёт, - не известно, чему радуясь, сказала Аня. - Древнегреческая примета.

- Смейся. - Ларионов ускорил шаг. - А мне не до смеха. Я помешался на Греции. Мне

уже снятся видовые ролики «Приезжайте на Балканы!» и всякая наглядная ажитация: пузатые греки, отплясывающие сиртаки, и усатые гречанки, подносящие хлеб с аттической солью. Сегодня вновь я посетил... Дельфы.

Они уже вошли в рощу и пробирались по узкой тропинке, петляющей вдоль берега в ракитнике. Трещали кузнечики, свистели и щёлкали птицы, что-то шуршало в траве, заставляя вздрагивать и прислушиваться.

- Ехал в тряском автобусе, - продолжал он, посмеиваясь, - мимо Панопеи, где Прометей лепил первых людей, мимо фиванских полей, живописно бесхозных... осторожно! крапива. Затем дорога стала взбираться вверх, по спирали; слева в ряд росли одни кипарисы, забуревшие от пыли, справа - корявые выгоревшие акации, идея прослеживается во всём. Но гора... так и ломилась от краснозёма, пластической беотийской глины, из которой и мастерили знаменитые танагрские статуэтки... а!

Круглый комочек выскочил из кустов и, перекатившись через тропинку, исчез в валежнике.

- Хочешь, я пойду вперёди? - спросила Аня. - Я не боюсь ежей.

- При чём тут ежи? Я боюсь неожиданностей. Тех, что сначала снятся, а потом сбываются наяву. Хуже, конечно, если наоборот, и ты начинаешь жить во сне, как сомнамбула. Кто это хрякает?

- Дятел наверно. А почему танагрские?

- По названию деревушки, расположенной к востоку от Фив. Занятное совпадение: первые люди и первые человекообразные статуэтки. Раньше клепали фигурки без глаз и ртов, лицо было обозначено только носом. От кикладских идолов и пошли наши близнецы-братья... присядем.

Небольшая опушка стояла кущей в тени берёз и осин. Ларионов разлёгся на колкой сухой траве (издалека показалась шёлковой). Острый запах ромашки напомнил ему больницу.

- А что было потом?

- Началась Фокида. Пейзаж внезапно окаменел, оброс уступами и валунами. Изредка попадались дома и сады, они лепились к скалам, как орлиные гнёзда, и жутко было смотреть вниз - дорога вилась над пропастью, и ущелья клубились, точно на дне их дотлевали те ещё, македонские костры. Я понял, почему люди в горах такие хваткие и опасливые, стоит раз оступиться и тебе каюк.

Аня плела венок из ромашек, укладывая стебелёк к стебельку, туго стягивая хвосты колосками, и пропускала мимо ушей красочные описания его скитальческих грёз.

- Въехали в Дельфы, крохотный дачный посёлок в две улички, утыканные забегаловками и сувенирными лавками, из каждой несётся свой воющий репертуар. Автостанция: столик с раскуроченным телефоном и кучкой билетов - размещалась в книжном магазине размером с газетный киоск. Там же стояли игральные автоматы и продавали табак. Я один из всех пассажиров потащился в святилище Аполлона, расспрашивая встречных и поперечных, что знают они об Ивике и Пиндаре, вдруг сохранилась какая-нибудь легенда или курятник, где сиживали они накануне игрищ. Куда там, никто ничего не вспомнил, имена и то были им в диковинку. Вот и пиши после этого, благодарная родина тебя не забудет.

Аня напялила на него венок.

- Выпил я с горя огненной воды и полез в гору по сбитым ступенькам, отмахал метров пятьдесят и как обухом по голове - оглох. А навстречу бегут японцы с выпученными

глазами, что у них выражает крайнюю степень ужаса. Это гремели цикады. Чёрные жирные, похожие на шмелей, густо облепившие деревья. Их были тысячи, миллионы, тьмы и тьмы, целое варварское нашествие. Они набились в эти края сравнительно недавно, в нашем столетии. Учёные утверждают, что тому причиной резкое изменение климата, стал засушливым, а пифии, их и сейчас полно, говорят, что это проклятие грекам за измену богам. Мне больше нравится второе, потому что оно не исключает первого. Лавр и тот зачах, а ведь священный и дико уживчивый, впрочем, не лавр, а заурядная лавровишня. Словом, заткнул я уши и кое-как добрался до «пупа земли», конусообразного камня, установленного Зевсом на месте встречи двух голубок, по другой версии – орлиц. Он запустил их с разных концов земли для определения центра мира, из чего следует, что громовержец был слаб в географии, но тянулся к знаниям. Камешек без единой царапины, явно божественного происхождения. Я попытался сдвинуть его и проснулся.

- На самом интересном месте. Как всегда.

Он оставил шпильку без внимания.

- Ты была в Прочноокопе?

- Давно. Ездила к однокласснице, она лежала в туберкулёзном санатории.

- Бедная девочка.

- Ага, всё плакала: бог наказал. Любила дразнить хромых. Так художественно костыляла, бабки за сердце хватались. А потом прицепился к ней костный туберкулёз и год провалялась с раздутым коленом. Теперь обезьян копирует.

- Зачем же ты ездила?

- А все её бросили. Мать приходила в школу, рассказывала, как она там страдает, бедняжка, я и стала ездить по воскресеньям.

- Крепость видела?

- Из автобуса. Если бы Петька не крикнул «форштадт!», я бы и не заметила.

- А он чего привязался?

- Дорогу показывал. Он из прочноокопских, у него и фамилия Вебер. Прадед его был гарнизонным ветеринаром, ещё при Николае Первом.

Вот тебе и казачок.

- Плац сохранился?

- Пустырь и кусок стены. Прямо по Ларионову: уцелели одни развалины.

- Молчала бы, эвридитка.

Она легко рассмеялась. Уже не стыдилась своих детских ляпов, они остались далеко позади. Ларионов с грустью подумал, что забывчивость - свойство памяти, и равнодушие к памятникам старины тоже своеобразный истерический симптом, желание вытравить былую славу и попутно - потребность в ней.

- Спой, никто не услышит.

Он усмехнулся, «а вдруг?»

- Ну, пожалуйста. Ты не из тех, кто ломается.

- Ну, спасибо. И раз... «Услышь меня, хорошая, услышь меня, красивая, заря моя вечерняя, любовь неугасимая...» Чудо, - сам себя перебил, - чудо. «Иду я вдоль по улице, а месяц в небе светится...» это тебе не дышится, «а месяц в небе светится, чтоб нам с тобою встретиться». Жаль, мягкий знак мешает, на полтона снижает чистоту. Я бы спел: а месяц в небе светится, пока со мной не встретится... полная рифма, блеск. Моя бы воля, я бы все старые тексты переписал, выправил все романсы, а эту зарю вечернюю... нет, не тронул бы, пожалел. Беспомощная она и доверчивая. Как первая любовь.

Десятая не намного умней. И двадцать пятая. И песенка глупенькая, под гармошку. Фабрично-заречные стансы.

- Что-то я расчирикался.

Задумчиво покачала головой, тихо сказала:

- Есть в лепете любовном что-то птичье.

- Пожалуй.

- Тебе ль, Психея, ямбами блистать?

- Ну?

- Природа чувств, увы, косноязычна.

- Стихи?

- Её удел - свистать и щебетать.

- Чьи?

- Мои.

- Врёшь. Это вы не проходили.

- Клянусь курёнком.

- Ларионов почувствовал, что краснеет.

- Не понимаю.

- Ну, водой и огнём.

- Я про стихи. Как дальше?

- Никак. Не получается.

- Должно получиться. - Его охватило ямбическое волнение, от которого трясутся поджилки и темнеет в глазах. Довольно пакостное, если учесть, что в Древней Греции ямбом сочиняли всякие пакости. - Что бы такое удрать? Убери морду, она мне мешает. Ну сходи куда-нибудь... в кусты.

- Анька! - позвал минуту спустя. - Эй! Тебя не задрали? Бегом!

- Чур меня! - хлопнула по плечу.

- И ты, что острым глазом птицелова вдруг из силков выхватываешь слово, на вольный не рассчитывай полёт - ты пойман тем, кто ласточек пасёт.

- И-и, - завизжала, - отдай мне! Пусть и у нас будет хоть что-то человекообразное!

Ларионов прихлопнул обнаглевшего комара.

- Запомнишь - твоё. Но слух тебя всё-таки подвёл: моя строфа явно мужская, а твоя откровенно бабья, в итоге... привет из Арзрума. Ну, что имеем, то храним.

Облака расступились, и поляну залил ослепительно звонкий свет, перекрывший и шум реки и другие звуки. У природы свои лирические отступления. Перед грозой.

- Обними меня, - попросил, - смотри, как всё цветёт и поёт.

Не шелохнулась. Сидела к нему спиной, обхватив колени, выставив округлившиеся лопатки.

- Помрём и нечего будет вспомнить, кроме отдельных строчек.

- Прощаться - возвратный глагол, - изрекла, - вот что значит прощать.

- Заблудшая ты душа, ищешь смысл в словах, оторванных от жизни. Я же предупреждал, не увлекайся цветаевской иератикой, не множь ряды лингвистических жертв. Ребёнку простительно сломать игрушку, чтобы узнать, что у неё внутри, кулибиных оправдывает инженерный расчёт, но поэтам грех экспериментировать в области чувств, отвечающих за сохранность речи. Оттого-то русский модерн всегда прибаливал грамматической изжогой. Небольшое функциональное расстройство, вполне излечимое. А сердечный порок нашей литературы в том, что ей навязали совершенно не свойственную

роль властителя дум, провозгласив её высшей светской да и духовной инстанцией с подотделами философии, психологии, просвещения, педагогики и политики, не считая контрольно-критических служб. Ломовые таланты впрягаются в этот воз и рано или поздно надрываются, слабогрудые погоняют их с облучка или охаивают, удобно пристроившись на запятках. Ты не заснула?

- Нет.

- Болтаем, слишком много болтаем. Отрабатываем рефлекс на раздражение словом. А что нам, филам, остаётся? Взять дубину и двинуть на мамонта? Или на это чудище о шестидесяти четырёх головах? Сколько их там, аксакалов в их персидском диване?

- Я Хрущёва еле запомнила, а теперь этого, в бровях, с меня хватит.

- Ты не играешь в эту игру? Святая простота! Белые начинают, а красные выигрывают и прощай, стихотворство, «отрасль честной промышленности», да здравствует любовь к людям! Но когда любовь становится профессией, это уже не литература и даже не журналистика. Кстати, я разгадал набоковский гамбит. Не в восторге, пешка из всех шахматных фигур больше других похожа на человека.

Опять понесло по морям, по волнам. Не поток, а потоп сознания.

- Аничка, ты ходила в баню? Стояла в очередях? Ты слышала, как говорят? Не что, а как, две большие разницы, как Армавир и Одесса. Тебя не воротит от этой неандертальщины? А газеты, а радио, эта китайская пытка, капля за каплей, тюк да тюк по родничку. А майские призывы, совиные сводки, «захлавным пунктом нашого сорэвнования...» и цитаты, цитаты из близнецов и угодников... можно ли не сойти с ума? Я сбегаю в метафоры, в парадоксы, затеваю ослиные оргии... Это мои элевсинские празднества. Мне не нужны ни фригидные матроны, ни техничные гетеры, читавшие Кафку, ни хищные полячки, не читавшие Галчинского, которые, набесившись в священных рощах, обслуживают кунцевские дачи и брокенские бункера. С тем же трепетом, с каким семилетние коры, закутанные с головы до пят в покрывала, несли таинственные дары из Эрехтейона в Парфенон накануне Великих Панафиней. У, как я ненавижу ритуальные жертвы, посвящённые не богам, а жрецам. Мои загулы тоже убийственны, но они как ложь во спасение, как цель, оправдывающая средства... сравни. После них я безропотный, я всё скажу: галерея портретных образов и обязуюсь со всей ответственностью. Потому что и ты мне не в радость, единственная моя, от ребра. Одно утешение, что любовь – не блажь, не забава, а тоска, тоска по любви и слову...

Это была его пустыня. Аня подпускала к себе так редко, что он превратился в труп желаний, как труп в пустыне он лежал. Лежал, отдавая концы, и бредил: «вся жизнь - одна ли, две ли ночи...»

Ночей вообще не было. Несколько сближений и ни одного взаимно счастливого. Он и не понял: страшно ей или противно. Каждый раз изводился с ней, каждый раз она умирала. Он всё время чувствовал себя идиотом. Какой идиот мог это выдержать?

- Ты что считаешь?

Он вздрогнул, «с чего взяла?»

- Ты загибаешь пальцы.

- Сколько длится наш роман.

- Двадцать один месяц.

Очко. Ничейная партия. Банк забирает сдающий. Картёжные правила по жестокости не уступают любовным.

- Пошли в пески. Видно, там почва моя и судьба.

Они разыскали брод и по камешкам, полузатопленным в глине, выбрались на противоположный берег, лысый и выветренный. Аня притихла, и его разморило на солнцепёке, и в карьере они съехали с горки и повздыхали на дне. Ничего не прозвучало, никто не подоспел, и они, заскучав, вернулись в рощу.

- Надо окунуться, - сказала Аня, - мы с тобой как три поросёнка.

- Если бы три... - У него пропала охота шутить. - Хорошее число, мужское по Пифагору. Женская двойка инертна, потому что делится без остатка.

Сбросила босоножки.

- Я первая пойду. Дай честное пионерское, что не будешь подглядывать.

Клятвы затем и придумали, чтобы их нарушать. Троглодиты, «живущие в дыре», то есть в пещере, греческий анахронизм, заведомо обходились без обещаний.

Ларионов смотрел сквозь ветки ракит, как Аня стянула через голову свой сарафанчик, зелёный, в белых ромашках, одна бретелька тоньше другой, сама скроила и напортачила. Всё отпечатывалось подробно, словно предназначалось для воспоминаний и только для них. И трусы были детские ситцевые, из тех же ромашек, с тугой резинкой. Поправила, и на боку остался синюшный след.

На обратном пути оба занервничали и чуть не разругались, хотя гроза прошла стороной и духота разрядилась.

- У греков слишком богатое воображение, - сварливо сказал Ларионов. - Ласточки не умеют предсказывать будущее, с погодой и то промахнулись.

- А вот и нет, - заупрямилась, - они нарисовали треугольник вершиной вверх, это знак опрокинутой бури, дельта, малая вероятность.

Дикость, простительная для ученицы восьмого, пардон, девятого класса.

- А кто кудахтал: польёт, польёт...

- Я нарочно. Когда поддакиваешь, выходит наоборот. И Фрейд сказал, что оказывать поддержку может лишь то, что сопротивляется.

- Больше читай, жизнь пролетит незаметно.

Презрительно бросила: «нам ли бояться бессмертия?» и кривлялась до самого общежития, пока не спросил:

- Не рылась в Пигмалионе?

Настежь распахнула глаза.

- Не обмани. Только после моего отъезда.

Вечер был тёплый, стоячий и тихий, как последняя просьба.

- Куда теперь?

- Никуда, - ответила уже в комнате.

- Завтра поеду. Отпустишь?

- Нет.

- Убить хочешь?

- Да.

Он притянул её к себе.

- Аничка... я так не уеду.

- Поэтому не хочу.

- Избить тебя, что ли?

Потёрлась щекой о его подбородок, «лизачих не бьют».

Не то, не то говорила, да он и не слушал, и думал совсем о другом. Но время остановилось.

- Эй, это я, твой Ларионов, проснись... Я ухожу из твоей жизни, что ты стоишь, как мёртвая? Хватай меня, держи, пока я не вырвался, сожми руками и ногами, возьми живьём! Слышишь? Ну сделай что-нибудь, заставь остаться, сведи с ума! Ты ведь женщина, ты всё можешь...

Утром отдал ей ключ.

- Будь по-твоему, остаюсь. Ну баба я, баба.

Ему было мало одной ночи. Ему нужна была целая жизнь.

На следующее утро он сказал:

- Жизнь кончилась. Я уезжаю. Не проси меня ни о чём и не плачь. Я люблю тебя как любил.

Он не звонил и не писал писем. Весточка от Ларионова пришла через месяц - Аня узнала, что ждёт ребёнка.

ЧАСТЬ 2

Глава 80

А-нич-ка... А-нич-ка... проснись, это я, твой Ларионов...

Она вздрагивала и просыпалась. На улице, в магазине, а вчера в автобусе, когда ехала к Тенину. Она спала на ходу, с ней так часто бывало, именно спала, а не забывалась или падала в обморок. Ларионов первым догадался, что это обыкновенное спаньё, и тихо, чтобы не испугать, будил: А-нич-ка... Теперь он звал её не своим голосом и не к себе, а в пустоту, и. ещё не проснувшись, она понимала, что это не он, и вскидывалась от страха.

Август был на исходе. Пахло яблоками и свежескошенным сеном, особенно на окраине, где и находилась городская больница и тесно лепились друг к другу саманные, выбеленные извёсткой хатки, с огородами на задах и цветущими палисадниками. Все держали уток, гусей и кур, а многодетные семьи - свиней и даже коров, и отовсюду неслось квохтанье, хрюканье и мычанье.

В конце лета колхозники везли в город сено, семечки, кукурузу и «второй хлеб» - картошку, но не на рынок, а прямо сюда, где их уже ждали с распростёртыми погребами. Торговая дружба крепла из года в год, огородников знали в лицо, а станичников по именам, и ни ушлые председатели, ни дотошные участковые, боровшиеся с частной собственностью, не могли истребить этого кулацкого пережитка. Может быть потому, с отчаянья брали взятки и в конце концов отставали.

Купля-продажа шла бойко, но по-божески. Препирались не столько из жадности,

сколько из «прынцыпу», который заключался в том, чтобы сперва показать характер, а уж потом широту души. Сделки, как на подбор, выходили удачными, и каждая отдельно сбрызгивалась самогоном или крепко сдобренной спиртом наливкой. Культ Бахуса-Вакха, очевидно, проник в Армавир в незапамятные времена, потому что никто не помнил, когда на Кубани не пили.

Ближе к медовому спасу окраина наполнялась шумом и суматохой и словно расцветала на глазах, тогда как центр города утопал в пыли и в косых лучах заходящей летней скуки. Сено, смётанное в аккуратные стожки, не отсыревшее, не изжелта-серое, кое-как убранное с колхозных полей, а домашнее, остро-сухое, было заботливо прикрыто рогожкой, и яблоки, падавшие с тяжёлых ветвей, не догнивали в жухлой траве, а ссыпались в корзины и по очереди скармливались ребятишкам и поросям.

Но за августом наступала осень с её погребальной красой и поминальными здравицами. Аню она охватывала, как дурное предчувствие. Осень была похожа на дом, откуда вынесли покойника, сказали самое главное и теперь доедали и допивали то, что осталось, и под шумок начинали шутить, приставать к вдове и выпрашивать на память о дорогом друге всякие дорогие вещички.

Осенью налетала тоска. Вроде бы незаметно, как задували когда-то ветры сирийской пустыни, вкрадчиво, на ломаном языке обещая, что ничего плохого не будет, и жарко дышали в лицо, но уже несло мёртвым холодом от почерневших песков.

Аня страшно расстроилась, когда узнала, что Пушкин весной слабел, а осенью разгорался, словно Спас в силах. Я не поэт, ужаснулась она и несколько дней ходила как больная. Ей было уже восемь лет, она давно писала стихи, точней, три года, с тех пор, как научилась читать и писать, а складывала всегда, просто говорила стихами. И голос у неё был занудливый и поющий, и глухой оттого, что она связками «держала» ритм, как объяснил Ларионов.

Мама, конечно, почувствовала, что с ней что-то творится, и, осторожно её разговорив, ни о чём не спрашивая, она это умела, заставила Аню съесть «хоть что-нибудь» и подумать над тем, что Пушкин родился весной (по старому календарю) и за лето набирал разгон, а она зимняя и к осени выдыхается. Неправда, подумав, не согласилась Аня, я легче всего пишу в декабре-январе, от святок и до крещенья, а это пушкинский май-апрель. Мама верила в Бога, и Аня, чтобы её убедить, помогала себе верующими словами. Так им обеим было проще и понятней. Умная моя дурочка, посмеялась мама, всё у тебя наоборот, ты не от мира всего. Аня надулась, но промолчала. Ей не хотелось быть похожей на всех, они слишком много ели, пили и говорили, но и чужой для них она не хотела быть, потому что её тянуло к чужим.

Мама безумно любила книги. Всё у них было безумно, когда они любили. Может, на самом деле чувства передаются детям от матери?

Бабушка встретила деда в день своего рожденья, тридцатого октября ей исполнилось пятнадцать лет. Он возвращался с кладбища, всю ночь просидев над могилой жены (и года не прожили, как сказала потом соседка), и, проходя мимо их колодца, попросил воды. Ты не старый, удивилась бабушка, почему ты седой? Он заглянул в колодец и тоже удивился: мне тридцать пять, и вчера я был рыжий, как ты. Где зима, там и лето, не растерялась бабушка, а серебро дороже меди. Ты добрая девочка, улыбнулся он, но от горя и золотом не откупишься. Приходи на джероци, подала ему ковшик бабушка, я отолью твоё горе.

«Джероци» - праздник воды и роз, он падает на середину лета. В полдень все выходят на улицу и обливают друг друга водой, а вечером собираются у реки и поют песни, и дарят

цветы тем, кого любят. Дед дождался праздника и принёс ей медный кувшин, полный вина. Старое, как я, сказал, выпей, если не брезгуешь. Бабушка отпила чуть-чуть и накрыла кувшин платком: «я его буду пить по глотку, пока ты будешь со мной». Через неделю они обвенчались.

В двадцатом году Карс сдали туркам. В ночь на воскресенье, тридцатого октября, гарнизон, бросив подводы с оружием, оставил крепость. Утром в город ворвались аскеры, и бабушка допила вино. Ты что, схватился за голову дед, убить меня хочешь? Бабушка показала рукой на дочку, рыжую девочку с пугливыми, как у птицы, глазами, и сказала: я видела сон, она собиралась выпить яд, я отняла и сделала то, что сделала.

...Ущелье было выстлано трупами, колёса повозки проваливались в чьи-то спины и головы, и лошади вдруг понесли. Анина мама выпрыгнула на ходу и с перепугу кинулась прямо навстречу туркам. Бабушка бросилась вслед, догнала её и закрыла собой. Пуля попала ей в живот и вылетела под лопаткой.

Когда стемнело, дед, оставив анину маму в Александрополе, вернулся в ущелье и разыскал бабушку. Он похоронил её у реки, Гарса-чай, так она называлась там. А потом кругами, через Тифлис и Грозный, они добрались до Армавира, где жила их родня.

Маме тоже было пятнадцать, когда она встретила человека. Он замечательно пел, играл на гитаре, заразительно смеялся и называл её ласточкой. Мама была худенькой и легконогой и ходила, почти не касаясь земли. Человек был женат. А потом уехал. И всё кончилось, как началось. Мама прыгнула с дамбы в реку, но не убилась, а покалечилась.

Прошло много лет, и однажды соседский друг заглянул к ней на огонёк. Принёс бутылку вина, предложил помянуть деда, мол, вместе работали на железной дороге. Утром мама попросила его больше не приходить. Ей нужен был человек и никто другой. И она его родила.

Вот что вместо сказок слушала Аня, засыпая на маминых коленях.

А книги... с них всё и поехало, вверх и вниз. Из книг Аня узнала, какой ещё бывает любовь и тоска. Ей больше нравились буквы, а не картинки, и водить по бумаге карандашом. Она срисовывала закорючки в тетрадь и придумывала свои. Люди, приходившие к маме советоваться, удивлялись, что трёхлетняя девочка умеет писать, а мама отмахивалась: это не буквы, а иероглифы. Слово было угластое, с зазубринами, от него у Ани мёрзли руки, хотя и так были холодными, в любую погоду. Сердце горячее, а голова дырявая, поддразнивала мама, вот тепло и уходит в трубу. Она нарочно смеялась над ней, чтобы Аня привыкла не обижаться, чтобы, когда дразнили чужие, было уже не больно. Ларионов никак не мог понять, почему она не сердилась, когда он обзывал её «дурой» и «недоразвитой».

Научившись читать, Аня прочла все книги, которые были у них и соседей. Записалась в школьную библиотеку и в детскую городскую, но там ей подсовывали всяких сопливых чуков-геков и васьков-трубачков. Тогда мама повела её к Фаине Марковне, но предупредила: она мой друг и учёная женщина, не задавай идиотских вопросов. А других и не бывает, сказала Аня, кто знает, не спрашивает. Мама не стала спорить: ты всё-таки постарайся не умничать. Значит, умничать и идиотничать одно и то же? Приблизительно да, согласилась мама. Аню это потрясло.

Так вот ты какая, воскликнула Фаина Марковна, открывая дверь, проходи, мне мама много рассказывала о тебе. Зачем? спросила Аня. Фаина Марковна задумалась на секунду и ответила: может, сначала войдёшь? Я не буду задавать идиотских вопросов, гордо сказала Аня, мало мне идиотских ответов, конечно, войду, пальто снимать? Как хочешь,

посторонилась Фаина Марковна, глянь, какой красивый пирог.

Да что пирог! От пола до потолка поднимались книги, книги, как крик до неба из «Илиады». Но Аня зажмурилась и пошла прямо к столу. Да, красивый, промямлила, и большущий, мы его сразу будем есть или лучше потом? Фаина Марковна рассмеялась и подтолкнула её к полкам: иди, успеется. И я могу взять всё, что захочу? Всё, сказала Фаина Марковна и подмигнула маме, стоявшей с обречённым лицом.

Глупых вопросов она, разумеется, поназадавала с три короба: и почему у Одиссея, царя, не было слуг, ведь его дочери сами ходили по воду, и как старый слепой Гомер умудрился запомнить свои семьсот страниц и вообще их написать, когда ещё не было греческой азбуки, и куда подевались аполлоны и афродиты, если они бессмертные, и так далее. Словом, они подружились.

Раз в неделю, чаще мама не разрешала, Аня набирала у Фаины Марковны кошёлку книг и читала их между чистописаниями и арифметиками, пробежками за хлебом, дровами и керосином. Не жадничай, остерегала мама, всё перепутается в башке. Не-а, не слушалась Аня, нужное я перевариваю, а ненужное выбрасываю, едим же мы целую жизнь и не лопаемся.

В доме двери не закрывались. Я неправильно говорю, как-то поймала себя Аня, в книге бы написали: двери в доме не закрывались. Почему мне легче как мне? Дом больше дверей, ответила мама, у тебя допотопная логика, работай локтями, авось выплывешь. Аня тут же отправилась на стадион и записалась в секцию плавания.

В доме двери не закрывались. Людей прибивало к их порогу, как щепки во время бури относит к берегу. Все на что-то жаловались и чего-то боялись. Мама их утешала героическими примерами и писала им заявления в собесы и дорпрофсожи.

Она не работала, и её инвалидской пенсии хватало на хлеб с виноградом летом и на картошку с хлебом зимой. Это не снег, это наш крахмал сыплется с неба, смеялась мама. Это не дождь с градом, подхватывала Аня, это наше вино и град! Но еда не кончалась, им приносили в подарок то крашенное яичко, то леденцы, а иногда и жареного гуся. Это случалось, когда мама видела счастливые сны, и возвращались чьи-то мужья, выздоравливали какие-то дети, отыскивались пропавшие вещи. В общем, жили они на картошке и винограде. Как все. Время, время такое, шептались взрослые по углам.

У Ани была любимая учительница, которую она про себя звала: Хава. Харламова Алевтина Варфоломеевна, язык сломаешь. А «Хава» вылетала на выдохе, как молитва. Аня однажды набралась смелости и показала Хаве свои стихи. Та почему-то рассердилась. Что за чушь: «это не реки текут, это мёртвые плачут»? Как тебе не стыдно, ты же октябрёнок, будущий пионер, а пишешь про то, чего не знаешь. Она упёрлась: я слышала, я верю своим ушам. Тогда прочисти уши, отрезала Хава, поэт должен отражать настоящую жизнь. Я не зеркало, обиделась Аня, и внутри я тоже настоящая. А ты докажи, хитро сощурилась Хава, вот тебе тема: сочини стих про наш советский народ, как он строит светлое будущее.

Аня всю ночь не спала. Всю ночь она не спала. Нет, Аня была больше, чем ночь, она перевспоминала все ночи и то, что видела во сне и наяву. Ей было стыдно, что она не понимает, что такое народ. Были люди, знакомые и незнакомые, и те, которых она придумывала. Может, это колхозники? Или солдаты? А дети, они относятся к народу?

На следующий день Аня призналась Хаве: у меня уже есть рифмы, «вперёд, огород, водород и урод», но стихи пока не идут, можно я ещё одну ночь подумаю? Хава буркнула, что она может думать хоть сто ночей, лишь бы получилось хорошее честное стихотворение, но урода надо сразу убрать. Аня подумала, что столько не спать она не

выдержит, и на всякий случай спросила: а водород это то, что рождает воду? Здра-асьте, пропела Хава, ты собираешься про него писать, а спрашиваешь у меня? Какой же ты поэт?! Я не знаю какой, разозлилась Аня, но я поэт. Кто тебе вбил это в голову? Никто, мне сказали реки. Покойники, что ли? И тогда Аня сказала: прощай, Хава, ты выдохлась. И Харла, так её дразнили, обозвала Аню чеканутой, а за нею – весь класс.

Ночью она опять не спала и думала. Что значит: какой поэт? Хлеб это хлеб, он может быть серым, чёрным, белым, горячим, сухим, заплесневелым, но ведь главное, что он хлеб. И виноград отличается от невинограда не тем, что он фиолетовый как чернила или зелёный как лопух. И что тут особенного быть поэтом? То же самое, что и хлебом. Надо уродиться, а там не важно, сгноят тебя или съедят. Одно хуже другого, было бы лучше, все бы писали стихи.

Мама весь день читала и устраивала дела, а к вечеру начинала гореть и кашлять. И оправдываться: деточка, у меня до тебя не доходят руки. Руки не ходят, наконец взбунтовалась Аня. - Ходят, смотри. Мама подняла левую руку ладонью вверх, чуть сгибая локоть, а правую протянула вниз, к Аниной голове, и от руки побежали пузырьки воздуха. Они лопались, ударяясь об Аню. - Почему ты не пускаешь меня к себе? - Я это я, - уже врала Аня, - а ты оставайся собой, чтобы нас было двое. Мама с каждым днём слабела, ей нужны были силы, и Аня не хотела отбирать у неё тепло. - Меньше болтай, больше слушай, бог не зря дал человеку два уха и один язык. - И две руки, поразилась Аня, неужели и я могу? - Попробуй.

Но с руками произошло, как с людьми и народом. Они были, а этого самого не возникало. И не выйдет, обнадёжила мама, потерпи до осени. - До какой? - Золотой.

По соседству с ними жила бабушка Авдейка. Маленькая, слепенькая, вечно пьяненькая. Она побиралась по пригородным поездам и пела страдания. Наверно сама их сочиняла, очень уж были они уморные: «ой жизня, ты жизня, размоя пудовая, а я не тужусь, я баба бедовая, а с чего бедовая? а с того, что вдовая!» Проводники её не гнали, она потеряла на войне мужа и четырёх сыновей и немножко тронулась. Мама выхлопотала ей пенсию (не хотели давать, она была «нерасписанной женой») и долго её уговаривала не ходить по вагонам, но Авдейка хихикала: а на кой мне дома сидеть? клопов сторожить? Завела себе и напарника с балалайкой, дурковатого парня с отвисшей губой, с ним и пила и пела. И вдруг пропала. Стучали в дверь, потом разбили окно и нашли Авдейку, зарубленную топором. Вор перерыл всю комнату, порезал матрас и подушки, что-то искал. Бабкину смерть, сказала тётка Матрёна. Свою, покачала головой мама.

Пришли милиционеры с собакой, снова перетрясли барахло, опросили соседей и опечатали хату.

Это было в субботу, а в воскресенье мама пошла кого-то навестить, наказав Ане не выходить из дому и никому не открывать. Но притащился Лёнька, авдейкин напарник, и начал орать, она и впустила. Всегда как мешком прибитый, он почему-то трясся и дико вращал глазами: ну иде твоя мамка, иде она?

Мама вошла и уронила кошёлку на пол, и еле доплелась до стола. Сбегай за хлебом, сказала Ане. Аня стала натягивать валенки и увидела в кошёлке буханку. И всё поняла. Нарочно хлопнула дверью, громко протопала по коридору и, вернувшись на цыпочках, прильнула к скважине. Ты чо мне душу вынаешь? хрипел Лёнька, трои сутки не сплю, нечисть твоя так и шастает, сыми порчу, не доводи до греха. Совесть тебя корёжит, ответила мама, пойди повинись. - Да чо ты, - уже не хрипел, а хлюпал, - я ей заместо сына был, она мне и дом отписать обещалась и что скопила, ей одно помирать, а я молодой, мне

жить надо. Мама перекрестилась на иконку: пожалей себя, повинись. Лёнька вывалился полумёртвый, хватаясь за воздух, Аня едва успела отпрыгнуть.

Наутро его нашли в Комсомольском скверике, окоченевшего, с проломленным черепом. Денег при нём не было.

С того дня маму словно подменили. Она перестала вмешиваться в чужие дела, и в доме запахло пустыней. Ты умеешь отгадывать то, что будет, пристала к ней Аня, значит, оно тебя слушается, и ты можешь его попросить переделать плохое на хорошее. Если бы да кабы, усмехнулась мама, я ничего не могу изменить ни в какую сторону. - Тогда брось отгадывать, зачем тебе это? - Я ведь не спрашиваю, зачем ты пишешь стихи. - А я не могу не писать. - А я не могу не уметь.

На вербное мама сказала: ты будешь жить с отцом, в октябре он тебя заберёт. Он добрый, но ты поменьше с ним говори, он не понимает слов. И вообще говори поменьше, береги себя, ты ещё слабая. Почему не с тобой, растерялась Аня, ты не хочешь со мной? Пока я жива, я всегда с тобой, успокоила мама.

Аня старалась побольше молчать, но вопросы сами выскакивали. Откуда годы идут: из земли через ноги или с неба сквозь голову? Если снизу, то нельзя ли повиснуть в воздухе и остановить время? Что раньше было: день или ночь? Отчего ночью теплей и всё быстрее доходит? На что бессмертной душе трухлявое тело? Или она рождается с человеком? Но то, что рождается, умирает, тогда почему... Тут мама уже не выдерживала и выгоняла её во двор. Соседям тоже было не до неё, Фаине Марковне некогда, а играть с детьми в клёк, семь половинок, козла и жёстку она не любила - игры кончались дракой. И на скаку не раздумаешься. Поэтому она научилась сама себе отвечать. Обидно, что вопросы были как будто умные, а ответы – не очень.

Она часто спускалась к реке, к тому месту, где стояла полуразрушенная дамба и крутилась огромная воронка. Мутные жирные струи словно наматывались на стержень, который вращался в утробе реки. Круговорот затягивал мысли, и они тоже начинали вертеться. Написать необыкновенную книгу. Одной мало - сто. Разбогатеть. Построить дом. Поселить всех друзей. Вместе читать и плавать. Объездить мир. Научиться ездить верхом, играть на гитаре и прыгнуть разок с парашютом. Желаний было много, целая тьма, от них темнело в глазах. Мама ей говорила, что от соблазна помрачается дух. - А как узнать, что это соблазн? - Ты же отличаешь чёрное от белого.

В этой воронке Аня увидела смерть. Не старуху с косой, а молодую женщину в прозрачной одежде, с плоским лицом и восковыми губами. Она поднялась из воды, как столб, и прогудела: «Моё, никому не отдам». Мне твоего не надо, попятилась Аня, и ты моего не трожь. «Нет у тебя своего». И разбившись на брызги, ушла под воду.

Аня помчалась домой через улицы и огороды, то догоняя, то обгоняя себя. Мама, крикнула, это правда, что я ничего не могу, если кто-то сильнее меня не хочет? Я никчемучка, я просто так? А ты захоти сильней, чем они, устало ответила мама, дверь закроется, но приоткроется окно... когда до него дорастёшь. Какое окно, разозлилась Аня, у нас их два и оба мне до пупа! Цыц, прикрикнула мама, видно, слишком туго тебе завязали пуп, вот и крутишься вокруг него, как воронка. Она всё знает, перепугалась Аня и прикусила язык.

Ей не терпелось спросить у мамы, откуда берутся силы, много их там и хватит ли на всех. Но не спросила, потому что пришла осень, тот самый октябрь.

Маму хоронили в золотом гробу. Хромой плотник Налегач сам его сколотил и разукрасил, за то что мама вернула ему сына, пропавшего без вести. Она увидела Кольку во

сне, он лежал в ледяном лесу, живой, но без ног. Аня тут же сбегала к Налегачу и передала ему весть. Налегач вместе с ней приковылял к маме. Ноя, заплакал он, почему без ног? Пусть будет как я, колченогий, но совсем ничего, куда это годится? Ты бы ещё раз посмотрела свой сон, может, ты чего не доглядела? Хорошо, кивнула мама, приходи утром. Назавтра она сказала: твой сын жив, иди и радуйся.

Колька вернулся, и вся улица пировала три дня. Он попал в плен, а потом в штрафной батальон, а потом было время, такое время, и долго лежал в больнице, потому что отморозил ноги на лесоповале, и началась гангрена. Анька, кричал он пьяный, обняв её за колени со своей деревянной тележки на железных колёсиках, сестрёнка, ты понимаешь, что жизнь прошла?! Ну и что, гладила его по голове Аня, эта прошла, будет другая. Через год у Кольки родился сын. И снова все пировали. Аня уже жила у отца, рядом с железной дорогой, но Колька сам прикатил за ней и подарил золотое колечко «за золотые слова».

Ей снились одни паровозы. Они сходили с рельсов, проламывали забор и по лопухам и сиреням неслись прямо к дому, где она стояла в дверях. В жизни по первому пути поезда шли слева направо, всегда в одном направлении. Это в жизни, а во сне каждый раз паровоз налетал со стороны вокзала, справа налево, и она успевала подумать, что слава богу, раз он сошёл с пути, значит, не будет крушенья, он не столкнётся со встречным поездом. Сны кончались счастливо: Аня выбрасывала руку и останавливала паровоз. Но это происходило только в последний миг, когда она уже была вся мокрая и мёртвая от страха. Во дурная, ворчал отец, отдирая её от подушки, ну чего разоралась, ни днём ни ночью спокою нет, во дурная. И Петька потом так бурчал и тоже не спускал с неё глаз.

Все люди, которых знала Аня, делились на тех, кто её любил, и тех, кто её ненавидел. В середине была пустота. Аня там отдыхала. Ничего смешного, но мама подшучивала: трещина по тебе прошла. И Ларионов смеялся: когда-нибудь ты разорвёшься на свои «да» и «нет». С ненавидящими Аня не церемонилась - поворачивалась спиной. А с любящими, что текли рекой, словно беженцы, она по-настоящему мучилась. Они проходили сквозь неё со своими котомками и бесконечными жалобами, после них оставались горящие угли и объедки. Всё это надо было за ними убирать, потому что в чужом беспорядке не наведёшь чистоты. И любили-то в ней не её, а какую-то сердобольную и безотказную.

Давно ещё мама сказала: ты монетка и ты валяешься на дороге. Прохожие будут тебя разглядывать и пробовать на зуб. Найдутся и такие, что захотят тебя вытравить в царской водке, но ты не растворишься в ней, потому что ты не золото. Ты редкая диковинная монетка, хотя не имеешь цены, за тебя ничего не купишь, но ты принесёшь счастье тому, кто разбирается в монетах.

Но мамы уже не было. Если бы не Фаина Марковна, не книги, она бы сошла с ума. С ними она была такой, какой хотела быть: сильной, смелой, свободной. Похожей на тех, кого любили и ненавидели во все времена, ведь мало кому удаётся быть сразу и свободным, и смелым, и сильным. Фаина Марковна называла это «агиа триада», святая троица по-гречески, а на мыслящем языке - три независимых знания, составляющих цельный дух. Аня толком не поняла, и тогда Фаина Марковна рассказала ей про лагерь и неписаные законы: не верь, не бойся, не проси. Кто следовал им, выжил и не сломался. Второе и третье, да, согласилась Аня, смелый не трусит, сильный не просит, но свободный свободен верить или не верить, вернее, волен, свобода это «хочу», а воля «могу и хочу». Думай как хочешь, сказала Фаина Марковна, законы меняются вместе с людьми.

Отец без конца шпынял: брось читать, одуреешь. И талмудисты, писавшие Сангедрин, предупреждали: кто вносит в свой дом более двадцати четырёх книг, тот вносит смятение в

свой дом. - Какого чёрта сжигают и запрещают книги? - как-то спросила Аня. - Кому не нравится, пусть не читают. Фаина Марковна усмехнулась: - Знающие опасны, их трудней обмануть и подчинить, но они не переводятся, как, впрочем, и талмудисты.

Чтобы отбить от книг, отец заставил Аню записаться в кружок вышивания. Она побежала к Фаине Марковне жаловаться на тяжёлую жизнь. Я не кисейная барышня, чтобы киснуть над пяльцами в ожидании жениха! И получила в лоб: талантливые люди талантливы во всём. И пришлось возиться с мережками, рококо, простыми крестами и болгарскими, с гладью, кружавками, тютельками. Весь дом обвешала розами и попугаями, грамот насобирала целую кучу, от Дворца пионеров и обществ, то глухих, то слепых, что брали её работы «в качестве образца». Отец успокоился и отстал, и она ушла из кружка.

В одном старом учебнике она наткнулась на замечательную историю о киприоте Зеноне, который, получив оракул «учись у покойников», раскинул умом и начал читать книги. Аня тоже раскинула тем, что у неё было, и пошла к Хаве мириться. Мы не поняли друг друга, сказала, вызвав её из учительской, я прощаю вас и вы простите меня. И откуда в тебе столько наглости, изумилась Алевтина Варфоломеевна, это даже интересно. Вы были моей любимой учительницей, стоически, как Зенон, продолжала Аня, я не могла ошибиться, мама мне говорила, что я отличаю белое от чёрного. И вдруг Хава расплакалась. Криво как-то, в платок, словно сморкаясь, но не пряча оттаявших глаз. Пойдёшь в мой класс пионервожатой? Аня бросилась ей на шею.

В тринадцать она решила, что ей пора зарабатывать деньги, и двинула прямиком к редактору городской газеты, на ходу бросив секретарше, что она по личному делу. Та окинула её подозрительным взглядом и пропустила.

За столом, заваленным свитками, сидел толстый взъерошенный дядечка с оттопыренными ушами и сосал конфету. Я Чеханцова Аня, представилась Аня, а вы Михаил Семёнович, а это гранки? здравствуйте. Он шевельнул ушами и прочмокал: гугу, привет. - Такими были первые рукописи, - от волнения её занесло в сторону, - на папирусном свитке шириной пятнадцать сантиметров, длинной шесть метров помещалась тысяча строк, этот раздел и назывался «книгой», толмачи коптели над ними годами, и поэт Каллимах, александрийский библиотекарь, говорил, что «многая книга - многое зло», но он имел в виду совсем другое, чем талмудисты. А ещё мама рассказывала... - Погоди, - завернул её Михаил Семёнович, - не морочь мне голову, зачем пришла? - Наниматься, - честно ответила Аня, - я умею писать... и мне нужны деньги. - Сколько? - спросил он и зачем-то полез в карман. - Столько, сколько заработаю, - удивилась Аня, - я ведь не милостыню прошу. Фыркнул: - А мать знает? - Знает, знает, - закивала Аня, - она мне снится каждую ночь и подсказывает, что делать, а что не делать. Михаил Семёнович догрыз конфету и повёл её в отдел промышленности к Виктору Николаевичу Рогову, худущему, чернющему, с прямыми, падающими на лоб волосами. Вот тебе новый кадр, сказал, дай ей какое-нибудь задание, пусть попробует написать, чем чёрт не шутит.

И началась ещё одна жизнь. Пробное интервью она должна была взять у директора завода резинотехнических изделий. Спроси, как работали в прошлом квартале, подучил Виктор Николаевич, уточни последние показатели, не забудь про рационализацию, модернизацию, специализацию и прочую... тут он закашлялся, потому что жутко курил, пачку за пачкой, и Матвеич тёртый мужик, сам всё выложит. Ну, ни пуха тебе ни... Да нет, ослышалась.

Директор принял её радушно. Сначала за дурочку, отбившуюся от школьной экскурсии. - Я из газеты, - сунула ему справку Аня, которой снабдил её умный Рогов, - я

внештатный корреспондент, а это мои вопросы. И протянула листок с двадцатью двумя пунктами. В первом стояло: что такое дегидрогенизация и пиролиз? а в скобках – «своими словами». - Значит так, - энергично поскрёб в затылке Матвеич. - Давай строчи.

В тот же день Аня накатала девять страниц и сдала Рогову. Тот пролистал, «добро», и поставил в номер. Аня выдержала характер и через два дня, после школы, зашла в редакцию. Виктор Николаевич торжественно развернул газету, где на второй полосе в левом нижнем углу красовалась её фамилия. Иди получай гроши, сказал, ударяя на «о», с тебя причитается. Пока секретарша, она же бухгалтерша и кассирша, оформляла разметку и печатала гонорарную ведомость, Аня прочла интервью. От её блистательных реплик вроде «вы считаете, что смысл труда в его результатах?» не осталось камня на камне. Материал был сухим, деловым и обыкновенно газетным, попросту никаким. Аня расписалась в получении и вывалила семь с копейками перед Роговым: ваши, я их не заработала. И проглотила язык.

Виктор Николаевич так заорал, так раскашлялся, что со стола полетели бумаги. Девчонка! Соплячка! Собачья работа! Святое дело! Семья! Если бы не редактор, возникший в дверях, его бы хватил удар. - Напутствует? - невозмутимо спросил, разворачивая «барбариску» и отправляя её в рот. Аня пожала плечами и сгребла презренную кучу в карман. - А у тебя получилась неплохая статейка, - с аппетитом прочавкал, - один ноль в нашу пользу.

Аня сбегала за бутылкой, получила ещё по мозгам и следующее задание - написать о литейщиках Армалита. Гонорар потратила на «Шипр» отцу и Брюлловский альбомчик Фаине Марковне (на Малявина не наскреблось). Одеколон был резким и цвета тины, но её подкупило название, так звучит по-французски Кипр. Конечно, все её поздравляли, но чистой радости не было, а серединка на половинку, редька с мёдом. Этот отхаркивающий эффект навсегда отбил у неё вкус к журналистике.

Но без денег не купишь книг, не сходишь в театр, не съездишь в Прочноокоп и Пятигорск. И в газете столькому можно научиться, особенно в типографии, где линотип, ротационки, матрицы – сплошная греко-латынь. И Виктор Николаевич не требовал, чтобы она уракала, перечисляя субботники и бесконечные трудовые вахты, от которых и у рабочих сводило челюсти, «бери цифры и факты, без этой туфты».

Наловчилась стучать на машинке, кое-как, двумя пальцами, «давила клопов», как ехидничал Рогов. Походила в фотокружок и разорилась на «Смену», а потом и на фотоувеличитель - настоящий газетчик всё делает сам. В конце одной из колхозных вылазок упросила редакционного шофёра дать покрутить баранку. Чуть не свалились в Кубань, но зато узнала, как важно вовремя нажать на тормоза.

Ночью не высыпалась – а когда читать? – и, чтобы набраться «физики», записалась сразу в три спортивные секции: баскетбол, волейбол, спортивная гимнастика. Дошла до взрослых разрядов и бросила, сил не осталось. Плавание не в счёт, недаром же греки говорили о бездарях: он не умеет ни читать, ни плавать. Занялась «лирикой» - прыжками в воду. Хотела преодолеть в себе страх высоты, мост и то не могла перейти без паники. В первый раз прыгнула с десятиметровки солдатиком, с диким воплем - бассейн показался крохотным, думала, промахнётся и грохнется на асфальт. Здорово всех насмешила. Во второй раз сиганула «козликом», головой вниз, сгруппировавшись в воздухе, но «перешла», больно шлёпнулась на спину. Вспомнила Исократа, сказавшего, что «недобор ближе к умеренности, чем перебор», и снова полезла на вышку. Сосчитала до тридцати и ринулась ласточкой, грудью на амбразуру. Ещё под водой услышала бурные аплодисменты и

вынырнула героем. В итоге допрыгалась до полного и окончательного бесстрашия.

А вчера... сено, яблоки... и вдруг на неё понеслись кони, целый табун, с гиком, ржаньем и топом. Она как будто спала и в то же время знала, что спит, и что лошадь во сне – это ложь. Так разгадывала только мама, считая, что у каждой семьи свой сонник, и надо быть дураком, чтобы верить в общие знаки. Аня в ужасе заслонилась правой рукой, а левая отнялась, опухла и посинела, но лошади взвились перед ней на дыбы и повернули назад. Звук пропал, они летели неслышно, всё быстрей и быстрей, пока не превратились в расплывчатые полуживые тени. Воспоминания, успокоилась Аня и открыла глаза.

…Она стояла в большой пустой комнате, прижимая к груди больную руку, словно баюкая её, а из угла в угол носился Ларионов, он и во сне больше минуты не оставался на одном месте.

- Это что, - бормотал, потирая локти, - я сейчас такое тебе покажу, ахинеешь.

- Не надо, - противным писклявым голосом сказала Аня, - я не люблю, когда на меня смотрят и ждут, чтобы я умерла от счастья.

- Люблю, не люблю, - передразнил, - я тебе не мороженое предлагаю, а нечто в высшей степени неординарное. Ordre по-французски порядок, оттуда и вылупилась Золотая орда... по твоей части, казачка.

Всё, что он говорил, было обидно и несправедливо, но Аня привыкла, что объясняя новое, он нервничал, путался и обращался с ней, как бестолковый отец с упрямым ребёнком.

Неожиданно Ларионов сделал загадочное лицо и вынул из-за пазухи аляповатую фаянсовую мыльницу с прилепленными к ней фаянсовыми цветочками, в форме ванны, на кривых коротких ножках. И дырка для слива была, и пробка, только винная. Вино это вина, отметила Аня.

- Я тебя выкупаю. - Ларионов очень спешил и глотал слова. - Можешь не раздеваться.

У неё зашумело в ушах, до того всё было нелепо.

- Она маленькая и нет воды.

Он поставил мыльницу на пол, и она начала раздуваться, как резиновая, и наполнилась грязной мыльной пеной.

- Я не буду купаться в чужой воде, - попятилась Аня, - и рука болит, как-нибудь в другой раз.

- Другого раза не будет, - вдруг рассердился он. - Мне надоели твои отговорки, мойся, как все.

Аня закрыла глаза и очутилась в ванне. Вода была тёплой, липкой и булькала, точно в ней копошились рыбы. К болезни и лжи, говорила мама, бойся маленьких рыб, их труднее поймать, но если они нападут, отгоняй их левой рукой, потому что она - измена.

Но рука болела и не поднималась.

- Вот и всё, - сказал Ларионов, - и ничего страшного.

Аня встала на бортик и повисла на Ларионове, помогая себе ногами, но он замотал головой, «слезай». Её сморило от духоты и сырости, и с потолка капало, и по полу текли ручьи. Она задохнулась, и тут он позвал: А-нич-ка... проснись...

И автобус подъехал к больнице.

Тенин заканчивал утренний обход, и она досыпала в его кабинете, заботливо усаженная в кресло раздобревшей и не умолкавшей Зоечкой. Все рожают, подумала, какая-то урожайная эпидемия, Ларионов прав, ничего невероятного с ней не произошло. Раньше не замечала, как много вокруг беременных, а теперь они попадались на каждом шагу:

пятнистые неповоротливые, с глазами, обращёнными внутрь.

- Вы что-нибудь знаете? - спросила, когда Тенин устроился напротив неё в таком же ободранном кресле. Услышала себя со стороны, опять Ларионов прав, она говорит, как идиотка, и поправилась: - Вы что-нибудь знаете о Ларионове?

И этот вопрос был идиотским, но Тенин понял.

- В клинике его нет. И не было. Я справлялся. - Скользнул по её лицу психологическим взглядом. - У тебя проблемы?

- Нет, - удивилась Аня, - я просто боюсь. Он болен смертельно?

- Милая девочка, смертельной бывает только любовь.

И похлопал её по коленке. Аня вжалась в кресло.

- Ну, ну, - занукал, - я же по-свойски, не обижай старика. Видишь ли, наш грек не желает лечиться. Он сделал всё, чтобы своими ногами отправиться в ад.

- Но вы же врач, остановите его!

- Вот именно врач, а не Орфей, - проворкотал, растирая на груди чёрную мохнатую шерсть. - Я не могу оставить моих пациентов и бегать по аду, разыскивая Ларионова. Я вообще не умею петь.

- Я умею, - сказала Аня, вставая, - спасибо, что напомнили. Я вам позвоню из Москвы.

- А ты не хочешь со мной... побеседовать? - заискивающе спросил снизу вверх. - Я тебе кое-что объясню, ты – мне.

- Махнём не глядя, как на фронте говорят?

- Дерзкая ты. - Насупился и долго её изучал. - Ладно, выясни, если удастся, чем болели его родители, что беспокоило его в промежутке между тремя и пятью годами, не было ли чего из ряда вон выходящего. Мне нужен его архаический, так сказать, период, в крайнем случае, средние века, а с возрождением и коммунизмом я и сам разберусь.

Аня протянула Тенину левую руку.

- Смотрите, час назад она была синей и страшно болела, а сейчас она белая и здоровая. Я ничего не делаю левой рукой, а только отгоняю маленьких прожорливых рыб.

- А он, должно быть, крепко уставал от тебя. Ты уж прости, девочка.

- Я сказала совсем о другом, не обижайтесь. Меня все зовут чеканутой, потому что не понимают что я говорю, то есть как думаю, на моём языке, а без конца переводить и трудно и нудно. Но когда-нибудь все начнут говорить по-своему и обязательно поймут друг друга... ну, когда кончится ахос и вернётся высокая классика. И грек Ларионов будет первым, кому я поклонюсь, когда на меня напялят этот венок... венец.

- Очень на это надеюсь, - ослепительно улыбнулся Тенин, - я буду стоять в толпе приветствующих тебя.

- Если бы вы знали, - покраснела Аня, - как мне противно говорить то, что я думаю. Наверно поэтому я пишу.

- Не кокетничай. - Распахнул перед нею дверь, пропуская вперёд. - Ты от этого получаешь ни с чем не сравнимое удовольствие. Да, да, как все нормальные люди.

В магазине детской одежды шло вельветовое побоище. Выбросили куртки. Мальчуковые и девочковые, как было начёркано в накладной, которой размахивал возмущённый директор: - Сто шашнадцать! хватит всем! не сатанейте, граждане! Но задние напирали, и Аню в обнимку с охающей бабулькой прижали к прилавку. - Не отпущай, Томка, покуда не образуются, шоб им повылазило! - гаркнул уже из своей каморки директор. Продавщица с мрачным удовлетворением упёрла руки в боки и уставилась в окно.

Дальше пошло по схеме: взрыв ярости, рёв, переходящий в ропот, и наконец одиночные жалобы и тишина. Бабулька дремала на анином животе, изредка спрашивая: -Усё стоить?

Боже мой, похолодела Аня, почему каждый в отдельности хоть какой-то, да человек, а в толпе - многоголовое ничто, способное на всё. Это и есть народ? И бабулька, божий одуванчик, тёпленькая такая, прошамкала: - Сталина на вас нет.

Ане подошла только болотная куртка с карманами на груди и сломанной молнией. Плюнула и взяла. Денег хватило в обрез: тринадцать шестьдесят отдала на билет в Москву и столько же оставила на обратно. Это были все её сбережения. Трёх рублей должно было хватить на метро, автобусы и на еду.

Три рубля не деньги, как сказала Лида, присоседившись к ней позавчера в очереди за общими тетрадями, бери на все, кому-нибудь подарю. И сунула скомканную бумажку. Их чуть не вытолкали. «Эта чёрная не стояла!» «Эта рыжая врёт!» От давки ей стало плохо, и Лида, с боем добыв тетради, выволокла её на улицу и обмахала платочком. - Ларионов живой?- спросила Аня после нескольких удачных попыток промолчать. - Ага, ответила Лида, две телеграммы прислал. Первая: «Приказываю долго жить», вторая: «Сплю спокойно тчк дорогой товарищ». Хотела отбить соболезнование, а потом думаю, да ну его к лешему, на больных не обижаются.

Аня ничего не ответила. Шутит значит живой.

По дороге из детского магазина на неё напал смех: и кикимора и без молнии, не покупочка, а подарок судьбы. Для кого другого - ни за что бы не взяла. Смеялась и по привычке не шла, а бежала. Мама всегда её одёргивала: не спеши, быстро состаришься. Наоборот, как-то заартачилась Аня, больше успею. Быстрее успеешь, сказала мама, успение по-церковному смерть.

Аня придержала шаг и вовремя - в полуметре зиял открытый люк. В глубине его копошился рабочий в комбинезоне, что-то винтил. - Спасибо! - крикнула Аня, оббегая дыру. Дядя высунулся и покрутил пальцем у виска.

Глава 81

- Ба! Кто к нам пришёл!

Аня стояла на лестничной клетке невообразимого, как здание коммунизма, дома на Фрунзенской набережной. Храмина занимала весь квартал и была изукрашена лепными арками, мраморными колоннами и гранитными подъездами, похожими на пропилеи. За стеклянными дверьми плавно покачивались швейцары с озабоченными покойницкими лицами, как трупы в формалине из журнала «Техника молодёжи», где любили печатать всякие научно-художественные снимки.

Пропустили не сразу. Ветеран с орденской планкой на кителе долго изучал её метрику, заглянул в котомку. Порывшись в журнале, позвонил Ларионову и был громко послан по прямому проводу. Аня взмокла и почувствовала себя воровкой, схваченной за руку.

Переволновалась и в лифте. Не сообразила, как он открывается, и минуты три выворачивала замок, пока не догадалась сдвинуть щеколдку вправо. В поезде её мутило, на Курском вокзале сбили с ног, на станции «Парк культуры» запуталась в переходах. И дом отыскался не вдруг, и холодно было до посинения. Она и не предполагала, что в Москве уже глубокая осень, несмотря на золото и багрец, в которые были одеты пушкинские леса,

мелькавшие за окнами вагона, совсем не бабистая, как у них, совершенно летняя, с подсолнухами и астрами. Ей всё время хотелось есть, но в дорогу она взяла два яблока и полкирпичика серого хлеба, и то не для себя, а для того, кто грыз её изнутри.

И вот со всеми этими незабываемыми впечатлениями от увиденного и проглоченного она стояла у порога заветной двери, стучала зубами и смотрела на пьяного в дым Ларионова, который раскачивался, как дерево, захваченное кипрским ураганом. Не просто разбрасывал ветки, а сам расшатывал корни, чтобы скорее выдраться из земли и с грохотом рухнуть.

Но если бы и не было унизительных столичных подробностей, словно нарочно придуманных для дурочки с переулочка, у неё всё равно не хватило бы сил поверить, что она не спит, что кошмар только начинается.

Ларионов подмял её под себя, ища опору, и втащил в коридор, сверкающий зеркалами и натёртым паркетом. Аня испугалась, что это квартира его жены, что Ларионов опять женат - на вешалке болтался кружевной бюстгальтер рубенсовских размеров. Но тут же подумала, что хуже не будет, а значит, можно на что-то надеяться.

В комнате, куда он въехал верхом на ней, словно Дуров на своей зелёной свинье, похлопывая по загривку, гремела музыка и колыхался ядовито-сизый туман, в котором тонули три таких же, как Ларионов, получеловеческих существа.

- Девочка из Армавира! - взвизгнул он по-петушьи. - Только один день! Под куполом цирка!

Аня выкарабкалась из-под него и отбежала, готовясь дать дёру.

- Рекомендую, - уже рычал, налегая на стол, - моя почтенная публика! Пачкун Люша, звезда русского жоп-арта. Его бывшая супружница Галя, что означает «тихоня» Не верь, это адская смесь из селитры, смолы и серы - знаменитый греческий огонь, м-да, опалён... - Он послал ей воздушный поцелуй. - А вон тот деревенщик... просто дерьмо Вася. Прошу любить и жаловать, люди совершенно уникальные.

Люша-пачкун ничего не слышал, он лежал лицом в тарелку, полную рыбьих костей и окурков. Галя, бабёна с бульдожьей челюстью, сидела на коленях у дерьма Васи и пила из банки соус «Южный». Рыхлая, пухлая, она свисала со всех сторон, как квашня, что гулять пошла.

Ларионов растолкал Люшу, изборождённого морщинами, «глянь, какая!» Тот выругался и снова упал в тарелку.

- Пьём мы тут, - развёл руками Ларионов, плюхнувшись на массивную тумбу с множеством узких ящичков, - ты уж прости нас, чернецов.

- Пьём, - подтвердил Вася, - десять дён пьём, по-чёрному.

- Серж, - сипанула Галя, - надо бы добавить, всё вылакали. Пусть твоя девочка, из откуда говоришь? сбегает, пока не закрыли.

- Я сам, - подскочил Ларионов. - Когда у тебя поезд?

- Через два часа. - Глупо соврала, но как вышло.

- Проводить не смогу, пардонь. Но вернусь. И мы с тобой выпьем. А вы, - погрозил кулаком Гале-Васе, - стерегите её, не то...

Я сплю, спросила себя Аня, или проснулась? Досмотреть до конца или вернуться к жизни? Останусь, решила, узнаю, за чем приехала.

Итак, здесь он жил и рос. Лежал с книжкой на этом новеньком тупорылом диване, разглядывал карты Дюрера за этим квадратным чудищем на драконьих лапах. Ни письменного стола, ни дедовского кресла, о которых взахлёб рассказывал. Музыкальный

комбайн, переливающийся огнями, спальный агрегат, широченнейший, и мерзкая картинка над ним: осёл и хохочущая старуха с выбитыми зубами, кто на ком не разберёшь.

- Я тебя, пигалица, спрашиваю, - тыкал в неё пальцем Вася, - ты с кем сперва будешь?

Один глаз у него был меньше другого.

- Что буду? - Она не поняла, но тошнота подступила к горлу. - Где туалет?

Галя вцепилась в неё: «не сбежишь, я от них уже очумела» и потащила по коридору, обшитому дубовыми панелями. В уборной не оказалось замка, и Аня налегла спиной на дверь: умру - не сдвинусь. На кафельных плитках от пола до потолка плясали распатланные пастушки и беспорточные пастушки с дудочками. Всё в розовом цвете: и стены, и унитаз. И запах витал идиллически-туалетный.

От противного вспомнился Незвал в ахматовском переводе, напоминающем менуэт. «Низложенный король счастливей был едва ли, увидев на лугу, при звуках пасторали, пастушку, что встречал лишь на картинках он». Ей даже послышался дребезжащий фальцет клавесина и шорох атласных туфелек. Аня несколько раз прокрутила четыре строчки на три четверти и заплакала, уткнувшись лбом в пластиковую занавеску, висевшую на стене. Ей стало жаль не себя, а низложенного короля, которому так мало надо было для счастья. Её всегда развозило от счастливых концов.

Но зачем королю пастушка? А стене занавеска? Аня отдёрнула пластик, и открылся проём в ванную комнату. Не раздумывая, вспрыгнула на унитаз и проскользнула в окно... доросла? И очутилась в огромной ванне. Без воды и пены, пустой и гулкой, как ущелье в горах, крикнешь: «ванна!» и отзовётся: «ан-на...» На стенах те же пляшущие человечки, но голубые, в тон раковине и коврикам.

Аня прислушалась и бесшумно выглянула. Галя, скорчившись на паркете, дремала, как курица, зарывшись носом в плечо. Аня на цыпочках двинулась вглубь коридора и, зачарованная, остановилась перед пятой дверью. Это был встроенный книжный шкаф. Из красного дерева, с выпиленными и наклеенными по карнизу цветами... вновь аукнулась ванна. «Анкор, ещё анкор!», бред по Федотову, ведь encore и есть «ещё».

Все полки были забраны раздвижными стеклянными дверками, кроме одной. На ней, переливаясь вязью и золотым тиснением, стояли книги в кожаных переплётах и словари: оксфордские, сорбоннские - немыслимое сокровище. Но звякнул лифт, и Аня, ополоумев, ухватилась за самый маленький томик, на корешке которого был нарисован ключ. Книга вдруг сдвинулась внутрь, и шкаф поехал, распахнулся как дверь. Аня вбежала в тёмную комнату и захлопнула шкаф.

«Где она?!» орал Ларионов, а Галя мычала и стукалась об стены. Потом отрывисто матерился Вася и смачно, цветисто Люша. И всё стихло.

Аня нащупала стол, заваленный книгами, и забралась под него. Сверху свисала тяжёлая пыльная штора. За ней находилось что-то плоское и железное, не похожее на батарею. В этом закутке она и вытянулась на боку, со своими «спаси-помилуй», потому что не знала ни одной молитвы.

Мама однажды попросила её повторить: «и вниду в дом Твой, поклонюся ко храму Твоему в страсе Твоём». Она нарочно пересобачила: «в трясе своём». Мама печально глянула на неё и с тех пор ни о чём божьем не заговаривала.

Только спаси, шептала Аня, только помилуй, и вниду и приползу, только не выдай, и я поверю в Тебя.

Что-то щёлкнуло, и под шторой вспыхнула полоска света. Ларионов ходил по комнате, рылся в бумагах, опрокинул стул и, промычав: «налейте, налейте, налейте вина», удалился.

Аня сжала руками горло: помру, подохну, пожалуй, придётся приобрести подтяжки, прощай, Пиндар, парильщик пелтастов, прощай, Прометей прикованный... Всякая чушь лезла в голову.

Наконец, шарканье прекратилось, и раздался могучий храп. Аня вся затекла и кое-как выкатилась из-под шторы. Нашарила выключатель, а надо бы включатель, и зажмурилась, привыкая к свету. И первое, что увидела, был Ларионов. Он смотрел на неё с фотографии, прикнопленной к деревянной панели. Старый и ухмыляющийся, он прижимал к себе женщину с плоским лицом и восковыми губами.

И снова она купалась, но не в мыльнице с рыбьей слизью, а в берёзовых листьях, молодых и ярко-зелёных, текущих вдоль дунайских берегов. Почему дунайских? Дунайских и всё. Аня приподняла снимок и прочла на обороте: «Привет из Вышеграда». Где это? И конечно, не Ларионов. Галатеон. И мать. Воплощение вечной весны.

Комната была тесно заставлена вместительными книжными шкафами. В крайнем слева, за толстым стеклом темнел портрет старика. Ларионов старший? Картон пожух, но краски лежали ровно. Ане понравился напряжённый взгляд из-под сдвинутых бровей и нос с горбинкой, типичный грек. Хотела открыть дверцу, но она была забита гвоздём. На полусогнутых вернулась к столу и увидела рукопись. «Бессмертный Ларионов», прочла вслух и уже молча: «Она стояла на краю мутной расползающейся лужи...»

Аня отдёрнула штору, и в комнату хлынул день. По реке, сердито сопя, полз катерок, по набережной прогуливались мамаши с колясками, светило солнце.

Так вот что писал Ларионов между главами о Пигмалионе и сказанием о шарикоподшипниках. Интересно, по горячим следам или потом, остыв?

«Ларионов наскоро набросал главу». В это время она спала на его кровати, не подозревая, что диктует Данту страницы ада, пока он воюет с пелёнками. Пелёнка по-гречески «спарганон», от неё и пошли шпаргалки.

Да, нахватал он у неё словечек и мыслей. И сны задействовал и родинки с бзиками. Собою тоже пожертвовал, не без этого, передарил свой шрамчик чужой жене. В правом углу рта, как положено. А мохнатый Тенин... Пигмалион? И соседку увековечил, и котёнка. Никого не обидел, всех к делу подшил.

Но она смотрела влево и вверх, откуда всегда прилетала ласточка, когда ей было невмоготу. Элпис и выдуманная Аня косились вправо, но это зеркальный взгляд, с ларионовского пьедестала. Экая непростительная неряшливость. Зато любовные сцены выписаны художественно, чувствуется почерк мастера. И в интуиции не откажешь, весточка поспела к сроку. А шрам, похожий на букву «ка» из кипрского слогового письма, её находка! улыбался ей с ласточкиной стороны, по-родному и целовала.

У неё закружилась голова.

Выйти оказалось трудней, чем войти. Изнутри шкаф был завален рукописями и конспектами, сплошным ворохом, без единой зацепки. И вокруг ни замка, ни верёвочки, за которую дёрнешь и дверца откроется. Вот бы где пригодились данайские хитрости или хотя бы робинзоновская смекалка. Да где уж нам уж.

Аня расслабилась и задремала стоя, как лошадь. Ларионов говорил, что если заблудиться в лесу и пойти наугад, то снова вернёшься на то же место, что лес - любовь, а поиски выхода - наука любви. Это её резануло, и она сказала: берегите лес - источник знаний. Спичечные этикетки и книжные прокламации взывали к тому же: «Берегите лес!»

«Книга - источник знаний!» Логика была, бумагу делают из леса, у неё не случайно в стихах появились «деревянные деревья», так умилившие Ларионова.

Пойти наугад и вернуться на то же место? Аня просунула руку между бумагами, отыскивая томик, но наткнулась на штуковину с кнопкой и нажала. И лес расступился... в шестую дверь. Ночью она, поглощённая книгами, не заметила комнатки, примыкавшей к ванной. Конечно, кухня. Белоснежный кафель и помрачительный кавардак. Аня подобрала с пола кусок батона и сгрызла его до последней крошки.

Осталось проникнуть в гостиную и забрать котомку, где все деньги и Пигмалион. В коридоре горел свет и освещал комнату и диван, на котором храпел Ларионов, раскидав свои непомерные конечности. На его груди покоилась торбочка, которую он сжимал мёртвой хваткой. Аня в изнеможении опустилась на корточки в изголовье дивана, как рабыня, поджидающая хозяина.

Можно было уйти налегке, если бы не входная дверь, вся утыканная замками и приспособлениями наподобие тех, которыми задраивают люки подводных лодок. Оно и понятно, дом поросёнка должен быть крепостью, как сказал самый умный из трёх няф-няфов.

Часы в деревянном склепе пробили полдень. Ларионов просыпаться не собирался, и Аня, облившись потом, выудила из торбочки кошелёк. Не мешало бы прихватить и Пигмалиона, но после всего прочитанного... Первые пять шагов удались на славу.

- Стой! Стрелять буду!

Она передёргала все цепочки, все рычажки, но они крутились в разные стороны, а Ларионов уже тряс её за плечи: «где была? где ты была, идиотка?»

От болтанки Аню залихорадило и вырвалось чёрте что:

- На том свете, на том балу, с козлоногими и легавыми! Я была пастушкой и плясала с низложенным королём!

Он вдруг отпустил её и начал запихивать в брюки рубашку, заляпанную соусом и помадой.

- Значит, со мной. Я обожаю пастушек.

- Их много! - крикнула Аня. - А я одна! И опаздываю на поезд! Отдай мою сумку! Открой эту свинскую дверь!

Котомка висела у него на шее. Видно, он сильно её полюбил и решил с ней не расставаться.

- Я. Тебя. Никуда. Не отпущу.

И потянул за собой, доволок до дивана и втиснул в мякоть. И забегал по комнате, пиная всё, что валялось на густопсовом ковре: огрызки яблок, пустые бутылки, запонки, собачий ошейник и записную книжку.

- Элевсинские празднества, - не удержалась Аня. - Это твои элевсинские празднества.

- Ыгы, - выставил нижнюю челюсть, - не ваши скифские требы.

Резко остановился, потрогал лицо. Выкрученное, чужое до тошноты. Но руки те же. Сухие, нервные. Ни у кого не было таких красивых рук.

- Да-а, славно отдохнули, - протянул со вздохом, - а как, не помню... Расскажи, что увидела, чтобы я не подставился.

- Ничего не видела, я слепая.

- Удачные браки заключаются только между слепой женой и глухим мужем, сказал Эразм Роттердамский. Мы с тобой идеальная пара.

Распахнул штору и, охнув, прикрылся торбой.

- Ты говорил, что у вас не было окон.

- Я много чего говорил.

И плюхнулся рядом.

- Надо же, - хмыкнул, - жить не хочется, а жрать, как после обедни.

Аню взяло любопытство, он прочёл по её глазам.

- До обедни нельзя, причащаются на пустое брюхо. Эх, что бы ты делала без меня…

Глава 82

- Наконец-то ребёнок ест. - Ларионов вытряхнул из пакета какие-то скорпионьи хвосты. - Вкусно, дурак, не бойся.

Он без конца бегал на кухню и притаскивал банки с икрой, ветчиной, копчёными языками и тем, чему нет названия. Аня едва успевала глотать, еда проваливалась в неё, как в дыру, даже вкуса она не чувствовала.

- Зашибло тебя? - вдруг спросил с горькой лаской, проснулся. - Ехала спасать мученика, а вышло, мучителя?

- Баба с возу - кобыле легче, - ответила Аня, громко катая ногой бутылку из-под «Уайт хоз».

Ларионов скосил глаза под стол.

- Пс-с, - присвистнул, - а наш ребёночек ожил.

- Слава богу, - закашлялась Аня, - слава богу.

Разусмехался. Сидел на диване, облокотившись на подушки, как Саваоф, подминающий облака. Ане вновь показалось, что она видит его мысли. Страшненькие. И для него самого.

Попросила подвинуться и улеглась, веки слипались.

- Я понимаю, тебе нелегко это переварить. - Сто раз говорил, а может, и двести. - Но жить-то надо, как полагаешь?

Сполз на пол и уронил свою буйную головушку ей на грудь. Аню чуть не вывернуло от запаха табака, въевшегося в его волосы. И груди болели, распирали рёбра корнями железного дерева, врастающего в солончаки. Она подняла голову за уши и переложила её на диван.

- Мы буксуем на ровном месте, - не успокоился. - Что лучше: знать или не знать?

- Знать. По-твоему «быть».

- «Любить» по-твоему.

- Пусть будет по-моему.

- Следовательно, ты и теперь меня любишь.

- Другого тебя... - Она уже засыпала.

- Рассказать тебе, как король женился на пастушке?

Почти спала, но всё слышала. Тянула слова за собой, как нитку с нанизанными на неё бумажными голубями. Сама придумала эту игру. Спать вполглаза, когда ей что-то угрожает.

- ...сыграли свадьбу. Утром король проснулся, оглядел свою опочивальню: шёлк, золото, хрусталя... и красные руки в цыпках. Какой вздор, подумал король, и это моя жена, мать моих детей? И закрывая глаза, качал головой...

Бунин, вспомнила Аня. Он цитирует Бунина, «Тёмные аллеи». Этот рассказ больше

других нравился Ларионову. А ей почему-то «Чистый понедельник».

- Король растолкал пастушку и говорит: бери что хочешь, только уйди. Всё, что хочу? оживилась пастушка. - Хоть самое дорогое. Пастушка возрадовалась, а король, ослабев от счастья, уснул. Просыпается: ни золота, ни фига. Трухлявые брёвна и печная труба под носом. И цыпки. - О боже! вскричал король, почему я здесь и с тобой?! - Я взяла самое дорогое, - отвечала пастушка,- это ты. Король оправился от шока и расцеловал цыпки. И остался жить-поживать со своей драгоценной пастушкой. Казалось бы... эй, ты спишь?

Удивлённой рукой коснулся её груди, скользнул по животу. Аня открыла глаза, и он отдёрнулся, точно его ударило током.

Где-то поблизости зазвонил телефон. Ларионов извлёк его из-под тахты, снял трубку и раздражённо сказал: «да, я, не выдумывай, нет, потому, один, чего ты не понимаешь? отстань, позвоню, привет».

За окном накрапывал дождь, и Аня расхлюпалась. Потекли стихи. У неё это срабатывало безотказно, как будто и в ней разверзались небесные хляби.

- Меня пугает шум воды, а пламя утешает... но всё, что мне мешает, давно со мной на «ты».

- Экспромт? Покупаю. Пять рублей золотом или вся власть Советам?

Стрелки на часах не двигались. Аня отсутствовала шесть минут, но силы восстановились.

- Я не экспромтоварный магазин.

- Что?

Сидел на подоконнике и курил, глубоко затягиваясь, толчками выбрасывая дым.

- Средненький европейский дождик. Меленький, аккуратный, безмозгло-промозглый. Почему ты ни о чём не спрашиваешь? Я объездил весь мир.

- Ещё бы, - ответила Аня, - ты никогда бы не смог придумать красные колонны из Баальбека. - И нараспев, по-ларионовски проболботала: - Издалека коричневые, с кирпичным оттенком, даже хаки, а в щербатинках розовое нутро, точно в раковине...

Ларионов, не отрываясь, глядел в окно.

- И как скрипят половицы у Шиллера, и солдатское одеяло у Гёте.

- Одеяло тоже скрипит?

- Ага, по ночам.

- Не ёрничай, не женское это дело. Захотел бы, смог. Ты же поверила в комнату без окон.

- Я и сейчас верю. Она так и плывёт предо мной.

- То есть?

- Когда ты говоришь правду, то всегда сбиваешься, а когда врёшь, плавно несёшь, как Амур свои воды.

- Волны.

- Не подходит. От волн смущение духа.

- А, библейский символ сатаны. Молодец, ухватила.

Говорить было не о чем, они просто домучивали друг друга.

- Много накарябала за лето?

Аню опять замутило. Такого тошнотворного лета у неё ещё не было.

- Давай последнее.

Когда она отгораживалась от него стеной, он всегда просил почитать стихи. Волнение, что накатывало на неё с первой строчки, размагничивало её и напрочь выхлёстывало из

всех оборон. Аня молча послала Ларионова и тут же его пожалела. Одно мгновенно следовало за другим.

- И если Бога нет, молитесь истукану, тельцу, скопцу, тирану, румынскому дивану, коробке от конфет...

Плела наобум, и дождь хлобыстал по стеклу, наяривая вожжами, с ямщицким малахольным замахом: ну, мёртвая, трогай, пошла, родная...

- Божественный ликбез восполнит все потери - есть вера без чудес, но нет чудес без веры.

- Забавненько. - Прошёлся по комнате. - Стихи разваливаются пополам. Первая строфа безбожная, вторая, скажем, мистическая. Ты уж выбери, что тебе ближе, туда и жми. Как я, например, иду мыться и при этом направляюсь прямо в ванную, а не в сортир. Да, матушка, раздельный санузел - чрезвычайно полезная вещь.

Аня вежливо улыбнулась.

- Ты поспи, пока я приму душ и наведу марафет. И займёмся любовью к людям. Ты ведь прочла Пигмалиона?

Аня сделала понимающие глаза.

- Он настоящий. Я бы пошла к нему в рабыни.

Ларионов смотрел на неё, словно из-под обломков кикладской культуры.

- Тебе плохо? - испугалась как дурочка.

- Пить меньше надо.

- Нет, правда, он мне нравится больше Элпис. Ты был на Кипре?

- С моим воображением... и так далее и везде. Не был. Мне хватит старых разочарований. А в Афинах недельку погудел. Чур, не приставать, с кем, когда и с какой целью. На заморские вопросы я отвечаю по форме: приехал для улучшения вашей породы. В Греции эта шутка имела особый успех. Я не встретил ни одного пропорционально сложённого грека, не то что атлета. Десятилетние девочки уже готовые самки, а тридцатилетние бабы - почти старухи, как эта. - Кивнул на ослиную картинку. - И подозрительно целенькие экспонаты в музеях, и подозрительно запущенные развалины.

Аня крепко сжимала зубы, но вырвалось:

- Значит, нет беломраморной Эллады?

- Ничего нет, - с ожесточением сказал Ларионов. - Ни Парфенона, ни Форума, ни скифских сокровищ. И бога нет. И бессмертного, кроме меня.

- Ну и ладно, - согласилась Аня. - Начнём с нуля. С чего-то ведь надо начинать.

Глава 83

Поезд замедлил ход на станции Москва-Товарная, и Ане пришла в голову дикая мысль, что это Ларионов лёг на рельсы и перекрыл путь. Но мимо промчался встречный, перрончик тронулся, и она взобралась на верхнюю полку и притворилась неживой. Из стихов под названием «Как делают стихи».

Так не поют, не куролесят,
так безнадёжно глину месят,
так сети крючьями плетут,

так дети медленно растут.
А на чужой глазок, оттуда,
само собой родится чудо:
из печки прыгают горшки,
бечёвки вяжут узелки,
себя за чуб кидают в небо
мои саженные вершки.
А мне б накрыться с головой
и притвориться неживой.

Ларионов прицепился: «накрыться» это и есть укрыться с головой, предлагаю «зарыться». Нет, отцепилась, «укрыться» то же что и спрятаться, а зарыться, не объясняя, во что, как завраться, как наобещать и забыть. И что накрывается, то с концом. Ну, если каждое стихотворение сопровождать твоим комментарием, хмыкнул, тогда всё в порядке, поэзия не умрёт.

Вот и накрылась её орфейская эпопея. Эвридит Ларионов не оглянулся и превратился в тень. Жизнь посмеялась над мифом, а миф посмеялся над Аней. Она поблагодарила старого Харона за содействие (всё-таки дал адрес) и ушла, когда Ларионов плескался под душем, распевая про месяц, который светился, пока не встретился с ним. Светился - встретился, полная рифма, блеск.

А так ли он неузнаваемо изменился? И думал, как раньше, и говорил. Но тогда это были живые слова и мысли, а теперь безличные оболочки, бабочки вылетели из них. Что же произошло в промежутке между до и после? Надо соединить одно с другим и сделать вывод. Припомни всё, только не ври.

Сначала была лужа. И ветер носился над водою. И осень жгла свои погребальные костры. И возник... Он. Ещё не раскрыл рта, а она уже знала, что это Он. И кораблик поплыл.

Ларионов снился каждую ночь. Он сходил с рельсов и, ломая забор, давя лопухи, мчался на неё в страсе своём. Аня поднимала руку, но она её не слушалась. В последний момент он останавливался сам.

Потом пошли разговоры. Ларионов был умён и сразу понял, что ей всё интересно, особенно про себя. И начал её просвещать и заодно дразнить всякими милыми глупостями, от которых у женщин дурь заходит за придурь. До женщины ей было далеко, как амёбе до многоклеточного организма, на это уходят миллионы лет, и поэтому как простейшая из простейших она усваивала лишь то, что доставляло ей удовольствие. Но к неприятностям стремилась всей душой. Слишком быстро росла. Вчера била по воде хвостом, а сегодня рыла землю копытом. Завтра могла проснуться вообще чёрт знает кем, чтобы через пару эончиков взвыть в автобусе: ой, бабоньки, умоталась, силов моих нет.

Баб с их сварами и путаницей в мозгах она оббегала за километр. С мужчинами было проще и разругаться и договориться, во всяком случае ей так казалось. Сказал же Экклесиаст: «Чего ещё искала душа моя, и я не нашёл? мужчину одного из тысячи я нашёл, а женщины между всеми ими не нашёл».

Не надо придуриваться, среди мужчин она искала отца. Он мерещился ей во всех, кто попадался навстречу. Скольких она придумала, не спя? а как? по ночам? Хотелось сильной руки? Защиты? Ради бога, она прекрасно обходилась без помощников, а тем более без командиров. Просто его не было, значит, он должен был быть. Ну как в позднем

мемфисском сказании: бог Птах сотворяет мир сердцем и словом; называя вещи, он их создаёт. Мог ли её отец, а ведь появился, соперничать с теми, которых она сочинила? Нет, он проиграл ещё до сражения, бедный папка, не понимающий слов.

И любви ждала, какой начиталась. Крепкой, как смерть, лютой, как преисподняя, «да лобзает он меня лобзанием уст своих!» А Ларионов схватил её за щёки и надавил, чтобы открылся рот, как делал отец, когда насильно кормил её, и прокусил губу.

От одной мысли о нём начинало бешено колотиться сердце, от одного его вида подгибались колени и шумело в ушах, а когда он прикасался к ней, только и оставалось, что умереть.

Чем ближе он приближался, тем дальше она отбегала. И звала его издали, страшно боялась, что рассердится и уйдёт. Получается, что дразнила? Честное слово, выходило нечаянно. Но отчаянно, боже ж ты мой.

Ирка не отставала: ах, какой он потрясный, ах, какой он какой, вы уже целовались? я бы, наверное, умерла от счастья! Она и подумала: если все от этого умирают, то чем она лучше других?

Сама потащила его к Фаине Марковне. У неё глаза полезли на лоб, никак не могла сообразить, кто кого привёл. Они с Ларионовым почему-то недолюбливали друг друга, и он долго отнекивался, прежде чем согласился пойти. Никаких пирогов не было и разговоров, Аня взяла Бунина, и они ушли. Тогда и прозвучал первый поцелуй, и она, как барышня, хлопнулась в обморок. Не столько от чувств, сколько от мысли, что она не в силах ему отказать, чего бы ни попросил.

Поезд летел враскачку, вздрагивая на стыках. Проехали Харьков, в окне рассвело и замелькали рощи, хатки, пустые разъезды и распаханные квадраты полей. Вагон ворочался и вздыхал, словно сочувствуя ей и жалуясь на свою жёсткую плацкартную долю. Те пассажиры, что не взяли постелей, спали, закутавшись в полушалки и пиджаки, подсунув под голову узел, как беспризорники. И в предутреннем часе было что-то сиротское, и в размытых огнях убегающих фонарей, и в дорожном изматывающем забросе из конца в конец.

Жестокий и жёсткий, родственные слова. Ныли все косточки, всё в ней сопротивлялось боли и беспощадной правде. Боль это пик удовольствия, говорил Ларионов, тот не знает наслажденья, кто картошкой не блевал. Тебе, как бывшей пионерке, склонной к самопожертвованию, просто необходимо хорошенько помучиться. Дико, жутко он говорил, словно гвоздём ковырялся в ране. Но ведь захватывало дух?

Потом учил целоваться. Сразу после лекции о временах и нравах. Не отдал её на поругание толпой, но тучи-то собирались над ним, остросюжетный роман с Лидой уже обсуждался в парткоме. А он был... ну да, и коммунистом, и комсомольцем, и пионером. Лида поведала, когда она принеслась к ним с газетой, разъярённая как мегера. Не спросясь, переделал её стихи, да ещё поживился пушкинской строчкой, выставил на позор. Она пообещала Лиде не путаться под ногами, не мочить репутацию, «считайте его коммунистом».

До медового лобызания не дошло. Отключилась, едва набросился с остекленевшими глазами и перекошенным ртом. А сквозь сон услышала чьё-то сморканье и ларионовский рокоток: конечно, поженимся. С таким безразличием говорят очень усталые люди, убитые горем или работой.

Лиде было не важно, как он сказал, ей было важно «что». Ларионов был нужен. Любой Ларионов. Любой ценой. Так яростно любят лишь женщины. Она не способна через себя. А

он бы посмел ей через порог: «иди, голуба, иди, дай отдышаться»? Неизвестно. Он мог всё.

А на сцене... вдруг поняла, что любит, и его и этот орущий топочущий зал, потому что любить это быть счастливой и приносить счастье. Ларионов был в бешенстве: ты, как девка, легла под них. И Фаине Марковне в свой первый приход подло сказал: все под Сталиным лежали. Всех он укладывал, чтобы удобней было смотреть сверху вниз.

И она не святая. Тех, кто ей нравился, срисовывала с себя, а когда они становились похожими на неё, она в них влюблялась. Ничего, умничала, бог делает то же самое: создаёт людей по своему подобию и радуется на них, а строптивых и неподобных наказывает. И тайком страдает. Как родитель, отлупивший ребёнка, даже если было за что.

Фаина Марковна ни о чём не спрашивала, но обронила: наплачешься с ним. С ним? переспросила она, с ним - что угодно. Все ополчились против него, он остался один. У неё не было выбора.

Боже, как он дрожал, когда они возвращались с площади, размотав египетское покрывало, как побледнел, «не пожалеешь?» А у стенки тихо скомандовал: руки на шею, мне на шею, вот идиотка, ноги за спину, накрест, оп! и прохрипел: о, за что мне это... И тут же её забыл.

Аня зарылась лицом в подушку и задержала дыхание. Так она избавлялась от лишних сил, сразу слабела и затихала.

Вот и всё. И ничего страшного. Отпусти, задушишь. И сбросил на землю. Проводить? Нет, ответила, я сама. Помрачнел. Я как ты, я люблю сама. Просиял. Быть как он означало быть.

Он строил гипотезы, остальное ломал. Сталкивал лбами баранов наук, рылся в мусорных кучах историй, разгребал муравейники литератур. Он и циником не был, что всему знает цену и ничего не ценит, он был ребёнком, которому не объяснили, что можно, а что нельзя.

Ласкаться и то не умел: погладить по голове, взять за руку, прикоснуться щекой к щеке. Схватить, опрокинуть, смять, вот это у него получалось великолепно, равных ему не было.

Тенин сказал кое-что ещё:

- Его неврозы начались не вчера, а в раннем детстве. Думаю, с одной стороны, на него крепко давили и выхолащивали все попытки проявить самостоятельность, а с другой - потворствовали, внушали, что он исключительное существо, пуп земли.

- А что, - завелась она, её задела литературная лёгкость, с которой Тенин обыграл «стороны», - сбалансированное воспитание, идеал нашей Борискиной, педагога всея Руси. Как на качелях, туда-сюда, пока не вырвет.

- Нет, детка, это испытание на разрыв.

- Но человек, он бог и тварь, он сам решает, кем ему быть.

- Потом, когда вырастет, но к тому времени выбор, как правило, уже сделан и, как правило, за него.

- Вы говорите, как я, - отбилась Аня, - ничего не поймёшь, если слушать ушами.

- А чем ещё? - удивился.

- Жабрами, изнутри. Я согласна, что те, кому посвящают опыт, «до опыта приобрели черты». Это Мандельштам. Ума не приложу, что бы я делала без него. Да нет, без Ларионова. Что бы я бы без него бы.

- И пожалуйста, результат. - Тенин тоже был упрям и гнул своё. - Большие претензии и малые возможности. И конфликт из-за их несоответствия.

И опять она встряла. Она дралась за Ларионова до последней капли ну этой... жидкости, движущейся по сосудам и проникающей во все органы и ткани. Она действительно сильнела, когда теряла кровь.

- Представьте, что вы птенец.

- Представил. - Тенин нахохлился. - Чик-чирик.

- Никаких понятий, вы сидите в яйце. Вам не известен размах ваших крыльев. Точно так я начинаю писать. Я не знаю, что выйдет: моё лучшее стихотворение или ларионовская булда... его термин. Допустим, выходит самое-самое. А его возьмут и не напечатают. Возьмут это буквально, они берут всё подряд, они меня психологически поддерживают. Очень удобная форма надувательства. А потом места на четвёртой полосе не окажется, всю забьют объявлениями, кто кому требуется или кто когда отдал богу душу, за это платят, и старики радуются, что опять не они. В общем, выгодно и гуманно. А на первых трёх мне делать нечего, там гайки-спайки, там золотая тучка не ночевала. Да и не пустят меня, хотя я умею «зажигать сердички страстной любовью», как написал в книге жалоб один «тронутый» узбек проездом из Самарканда. Потерпите, сейчас про вас. И вы самолюб, вот несчастье. Итак, вы проклёвываете скорлупу, взлетаете... агромадный размах, вам крупно повезло, а вас хвать! и в зоопарк чирикать отдыхающим гражданам. Полное несоответствие претензий: хочу высоко, далеко и могу, могу! и малых возможностей: вонючая клетка и придурки с рогатками. Лети, птенец, ни пуха тебе, ни духа!

- Передёргиваешь. - Показал свои неоспоримые зубы. - Речь идёт о претензиях и возможностях как условиях самореализации, а не взаимоотношениях личности и среды.

- Но о какой реализации внутри яйца можно говорить? - вспылила Аня. - Она возникает только на выходе из себя, а всё, что до - химические процессы.

- О, Ларионов, - с опереточным злорадством воздел руки Тенин, - ты правильно сделал, что забился в свою скорлупу, ты бы за ней не угнался.

- Да, он чайка, - буркнула Аня, - кентавры летают выше и в сто раз быстрей.

- А приходи-ка к нам в гости. Лида будет рада. Познакомлю тебя с казаками, их у нас четверо, шашкой махают будь здоров. Тебе защитники, а ты им головоломка, пусть покряхтят, они любят, когда у них не получается.

- Я боюсь защитников больше, чем нападателей. Они отрезают путь к отступлению. И четвёрка по Демокриту... нет, лучше один Ларионов.

- Тебе видней. - Он вроде ей позавидовал и незаметно пособолезновал. Он владел разными тонкостями. - У тебя случайно нет сигарет? Я лет десять как завязал, но сейчас бы курнул, ты меня ухайдакала.

Аню передёрнуло. Даже чужой дым был ей невмоготу.

- Нет, и я, то есть бросила, мне Ларионов не разрешает.

- Ну и умничка, грызи леденцы.

Так ей и надо, нечего было болтать.

Аня лежала, не шевелясь, глотая слюну. Яблоко кончилось, хлеб и не начинался. Забыла купить. А вокруг ели без передышки, моторно-центростремительный дорожный психоз. Как у Ларионова с его голубой кровью. Столько талдычил, что испугалась, увидев красную. Дикость, не простительная для ученицы восьмого класса.

Заявился в первом часу ночи, хорошо, что отец дежурил. Стукнул монеткой в окно, она выбежала и ахнула. У него было в кровь расцарапано лицо: четыре полосы на левой щеке и две с половиной на правой.

- А говорила, что не умеешь ахать, - дохнул перегаром.

- Кто тебя?

- Лидка, сучка, изодрала.

Это было через неделю после «оп». Очередная первая встреча.

- Догадайся за что.

Промолчала. Какая разница.

- В интересный момент Аничкой обозвал.

Интересный? Поди пойми. И вдруг ударило, обухом по голове.

- Вы снова вместе?

- Радость моя, а чего ж ты хочешь? Я не могу всё время о стихах. Иваныч дома?

- Дома. - Она уже здорово врала.

- Тогда к стенке. Неси свой крест.

И расхохотался. Удачно сморозил. Не простенько, но со вкусом. В расчёте на дурочку и на умницу. Одна разбиралась в революционной, другая в христианской символике.

- Это обидно, - подумав, сказала Аня, - но ещё не больно.

- Вот те на, а я так старался. Неужели совсем не ревнуешь? Или ты из когорты непрошибаемых?

- Ревную. Себя к тебе.

- А по-русски?

- Как все ревнуют, когда их меняют на чёрте что.

- Нагородила. Но мысль чёткая. Риторикой с тобой заняться, что ли... Завтра принесу Аристотеля, что не поймёшь, выпиши, а книжку не чёркай. Терпеть не могу полевых заметок, всё равно что чужие ботинки в спальне. О-хо-хо, грехи мои тяжкие. А знаешь, мне хорошо было с Лидой после тебя. Никогда не было так... непринуждённо.

«Гришка, переведи с четвёртой на пятую, вахлак!» Напротив крыльца, за железнодорожным полотном светилась диспетчерская, стрелочный командный пункт. Тётка в шинели, зажав микрофон рукой, энергично артикулировала, отводила душу. Забор. Калитка. Сугробы, чёрные от паровозной копоти. Ничего особенного. Можно жить.

- Как, Аничка, уже лучше? В смысле больней?

- Терпимо.

Её знобило, зуб на зуб не попадал. Постыдилась выйти в рубашке с лопоухими зайцами, надела кофту на голое тело и теперь вибрировала. К превеликому удовольствию Ларионова.

- Я несколько раз приходил, хотел заверить в почтении и совершенной преданности, но честь имев быть, чести не удостоился. Где шлялась?

- Пусти.

- Пойдём ко мне. Возьмёшь Аристотеля. Будешь читать до утра. Переживать и читать. Читать и переживать. Как благородная девица.

Он своего добился. Слёзы потекли, но стало жарко, словно вынырнула из проруби.

- Вчера был вечер в лётном училище. - Голос летел прямее прожекторного луча. - Курсанты мне подарили книгу, но, видно, переволновались и надписали «от благородных читателей» вместо от благодарных. Промашка, но что-то искреннее в этом было. Как у тебя сейчас.

- Я сволочь, - изумлённо пропел-протянул. - Прости ради бога, дай поцелую цыпки.

У неё не водилось цыпок. Руки всегда мёрзли, и с осени она ходила в пуховых варежках.

- Сначала принеси Аристотеля.

Бешено зыркнул глазами и спрыгнул с крыльца. И посвистывая, вразвалочку, полускинув с плеч пальто, руки в брюки, удалился, как блатняга, которому за какую-то вшивую сотню предложили махать кайлом.

Ростов остался позади. Всё неудержимо шло к концу, вернее, ехало. Жизнь вносит поправки в священный текст. Ну не соврал, ну было, непринуждённо, ну пусть, может, действительно у них так, по-скотски, но зачем докладывать ей? Ночью, сорвав с постели? Отомстить, наказать... за что?

А если разбудить? Зависть, ревность, желание за него бороться, нормальные бабьи чувства? Боже мой, а вдруг это объяснение в любви? Уродское, чисто ларионовское, но в любви? Неужто ему тоже больно, не только ей? Сказал же однажды: гони меня, Аничка, как бешеную собаку, я больше не человек.

Много чего говорил, есть что вспомнить, и благородного и благодарного.

В училище она выступала первый раз. Слушали, вытянувшись в струнку, хлопали браво, но коротко, чтобы сберечь полезное время, ать-два, шагом марш. Когда уходила в сопровождении распорядителя (по три звёздочки на погонах, не иначе как генерал, очень организованный, нёс за ней цветы и по дороге приказывал, кому заткнуться, а кому стулья таскать), их догнал славный парень с лётчицкой улыбкой и показал тетрадь, куда были вклеены все её напечатанные стихи. Печаталась-то давно, с тринадцати, не Ларионову принадлежало право первой ночи. Не пошлость, плач по золотой тучке.

Генерал отошёл в сторонку, одобрив народный глас, что вносит в мероприятие живинку, задоринку... можно до бесконечности, словом, на штатских действует положительно.

Я сразу увидел вас, сказал светлоглазый, и с тех пор не то что слежу, а смотрю за вами. Ей понравилась эта поправка. За вырезками шли стихи, написанные крупным прямым почерком. - Можно? - спросила она. - Не надо, - смутился, - мне до вас далеко. - Не горюйте, - утешила, - мне до меня ещё дальше. Он засмеялся: - Тогда разрешите вас проводить или дайте адрес, я напишу вам письмо. Аня вспомнила про Ларионова и сказала: - Я плохая, я цепляюсь за землю, а вы уже в небе.

- Довольно, Шклярук, - вмешался распорядитель, - не задерживайте нашу гостью, машина ждёт.

Тот молча откозырял.

- Вы хорошая! - крикнул вслед.

Он разбился в июле. Во время учений. Мотор заглох в воздухе, прямо над городом. Он успел увести свой Миг в горы и рухнул в песчаный карьер. Его наградили посмертно, кажется, «Красным Знаменем», у неё плохая память на даты и ордена. В «Комсомолке» тиснули его портрет и разразились эпитафией: «Он писал стихи и любил жизнь».

В прошедшем времени звучит печально, в настоящем смешно. Она пишет стихи и любит жизнь. Мама родная. В октябре вылезет живот. Её выгонят из школы. Недоучка? Отец прибьёт. Так даже спокойней. Лежать в цветах и не слышать похабной музыки. Что с ней будет? Почему про других она знает, а про себя ничего? Ничего? Ничего не будет? Не дай бог. Всё у неё будет. И есть. И это небо, и эта земля, и этот длинный-длинный язык, без которого ни слова, ни поцелуя, ни раны зализать. Она сказала, не Ларионов. Куда ему.

- Дочка, тебе выходить, Армавир объявили, - окликнул её добрый дядя, сосед по верхней полке, что вчера накормил её яблоком.

- Спасибо, - очнулась Аня, - как быстро приехали.

- Какой там быстро, вторые сутки пошли. Ты-то, считай, дома, а мне ещё до Невинки

трястись. Два дня без горячего.

- Сейчас принесут борщ, вот увидите, - в припадке вдохновения пообещала Аня. - Только не забудьте потом сказать: пусть ей никто не завидует.

Дядя дал слово, и поезд остановился.

Глава 84

- Я не уйду, - сказала Аня, остановившись посередине комнаты и обхватив себя руками, чтобы не вырваться. - Я не уйду, пока не узнаю всё.

- Как вы похожи, - без всякого выражения проговорила Фаина Марковна. - Я с вами в конце концов рехнусь.

- Был дед Ларионов?

- Был.

- И тюрьма, и верёвка? И Галатеон, любимый ученик, будущий зять, иуда? И записка была?

Фаина Марковна тяжело посмотрела на неё. С тревогой, досадой и сожалением. Вечно в ней боролись какие-то сложные чувства. Аня не то что бы растерялась, а почувствовала себя идиоткой. Как вчера.

В книжном магазине случайно наткнулась на альбом с репродукциями Брейгеля, конечно, Старшего, Мужицкого, всем прочим не чета. Она частенько рылась в уценённых книжках. Иногда попадались потрясающие, как «Дневник» Жюля Ренара или антология немецкой поэзии времён Тридцатилетней войны, где и славянофил Пауль Флеминг, объездивший всю Россию, и филэллин Мартин Опиц, воскликнувший: «Погибла Греция!..» перед тем, как заразился чумой от нищего, которому дал милостыню.

Короче, счастливая, прибежала домой, забралась на диван с ногами и начала читать предисловие. Выяснила, что человек в творчестве Брейгеля (гиганта, ломовика!) «уменьшился до микроскопических размеров». Разозлилась, но из вредности дочитала до последней страницы: «Умер И.К. Айвазовский 19 апреля (2 мая) 1900 года с кистью в руках». То и поняла, что писал обеими руками.

На следующей странице был автопортрет Айвазовского с развевающимися бакенбардами, а следом «Морской берег», «Кораблекрушение» и «Неаполитанский залив утром». Она ещё раз глянула на обложку. Чёрным по белому: «Брейгель» и охотники на снегу. Я идиотка, подумала Аня, и не одна, если верить Государственному издательству изобразительного искусства, Москва, 1959 г., нас много, по крайней мере десять тысяч согласно тиражу, не считая корректоров, линотипистов и других тружеников печати.

Брейгелевский речной пейзаж, вытекавший из Неаполитанского залива, подтверждал страшную догадку.

Теперь, встретив взгляд Фаины Марковны, Аня опять почувствовала себя идиоткой, но на этот раз совершенно одинокой.

- Нет, что-то не так, - встряхнулась. - Галатеон отец?

- Отец.

- Они его воспитали? Ну, с матерью...

- Конечно.

- Тогда зачем...

- Аня. - Фаина Марковна протёрла платком очки. - Так дело не пойдёт. Сними свой балахон и сядь.

- Я мёрзну, - съёжилась Аня, - меня трясёт, и всё подо мной трясётся, не верите?

Седалище жалобно скрипнуло и заходило ходуном. Фаина Марковна заглянула под стол и убедилась, что Аня не раскачивает табурет.

- И то бывает, - произнесла маминым обречённым голосом. - Нервы шалят, пройдёт. Ты расскажи мне, что знаешь, а потом мы это разложим по полочкам.

- Не могу, всё скачет.

Фаина Марковна протянула руку через стол. Аня в неё вцепилась и целую минуту не отпускала.

- Вы кого-то спасли из огня?

Белые пятнышки от ожога были разбросаны по ладони и пальцам, а от запястья до локтя шёл широкий, кусками сросшийся рубец.

- Да, - полувопросительно ответила Фаина Марковна. - Собаку. Очень давно. А что тебя навело на пожар?

- Вы умеете гасить.

Табурет прирос к полу. Аня сняла верблюда и отнесла его в прихожую, кинула на стул. Вешалка, как обычно, держалась на соплях и годилась разве что для зонтиков и панамок Ады Львовны, совершавшей ежедневные моционы. Умылась и, не торопясь, сжато и почти что внятно изложила историю от ареста Ларионова старшего до встречи с Борей Михайловым. Фаина Марковна слушала, не перебивая, изредка поднимала брови и роняла: «а-а», «ну как же», «ого». А потом перебросала даты и ларионовские ходы, и Аня поразилась, как просто было на самом деле, сколько даром перелопачено золотого песка.

- Я видела портрет деда. Он не похож на самоубийцу, у него доскональный взгляд. Я права?

- Вполне.

- Но Ларионов... он убил его... пусть на бумаге, но это же родной дед... и мать в гроб вогнал... не понимаю...

- И я, - улыбнулась Фаина Марковна. - Разъясни.

- Он роман написал, - вспыхнула Аня. - Он всех нас вывел... на чистую воду... и перетопил, как котят.

- Вот оно что. Потому и не сходятся концы с концами. История вроде знакомая, да не моя. Я с ним не откровенничала, нет у меня привычки расписывать свои злосчастья, но он, видимо, что-то слышал, а кое-что угадал. С косой немного перехватил, я всегда стриглась коротко. Бунинская девка ввела в соблазн.

- «Говорят, гречанки на Босфоре хороши, а я худа, смугла». Все дороги ведут в Смирну.

- И то, что Лёва погиб, узнала много лет спустя, и мама меня ждала... нет, я не стала бы вешаться или давиться. Но главное он уловил: так могло быть.

Аня прижалась лбом к столу и накрыла голову руками, крест-накрест. Она это делала, когда уставала сопротивляться тому, чего не могла понять. Ларионову нравился этот жест, он его использовал.

- Но почему Ларионов, а не Румянцев?

- А ты перечитай миф о Прометее. Титан восстал. Сначала против своих братьев, а потом против Зевса.

- Ларионов - Зевс, он считал себя Зевсом.

- Всё правильно, но громовержец он поневоле, по праву рождения. Или иначе: это его основная профессия, а по совместительству он - Прометей. Тот самый, которого Сила и Власть возвели на вершину скалы и приковали к ней. Правда, он не похищал огня у тех, кто не жалует смертных, но угольки прихватывал. Меня, например, заручившись протекцией батюшки, упас от заслуженного отдыха, замял сосновское дело с липовой диссертацией, Тенину что-то выхлопотал. Дрянь он порядочная, а всё же неординарная.

- Но я не Геракл... может, это Тенин? Я... я кентавр... я должна? - У неё пересохло в горле. - Как Хирон? Ну тот, что вместо Прометея сошёл в подземное царство, чтобы избавиться от нечаянной раны, нанесённой ему Гераклом. Мудрый кентавр Хирон.

- Ларионов тебя никогда не бил? - ласково спросила Фаина Марковна.

- Нет, он об этом только мечтал. Подождите... выходит, Галатеон не иуда, а добрый самаритянин? Ещё одна оптимистическая трагедия?

- Дурная комедия. Ларионов пробовал и со мной её разыграть, но мои реплики его насторожили, догадался, что мне знаком и сюжет и действующие лица. Таких множественных совпадений не бывает. Тюрьму отбросим, дед при Сталине не сидел и слава богу, но идею у своего учителя Галатеон украл. Уж этого твой Ларионов не мог не знать.

- У него холодные глаза, но горячие руки... наверно, он долго нёс угли, ведь смерты, смертные то есть, живут на окраине, за крепостной стеной. Всё равно он грек, мой Ларионов, он не боится своих богов. А чем болел Галатеон?

- О господи, - кажется, вышла из себя Фаина Марковна. - Параноик, должно быть, как все облечённые властью. Учёный в нём кончился, едва Сергей Михайлович оставил его попечением. Реферат, где он заявил об открытии им нового способа дешифровки кипрского слогового письма, был настолько компилятивен... ну, наворован, грубо состряпан, что и падкие на сенсацию образованцы набрали в рот воды. Ларионов был вдвойне оскорблён подлостью и бездарностью своего питомца, но на открытый скандал не пошёл. Отчасти из профессиональной гордости, в какой-то мере из родительской жалости, а в основном из брезгливости, потому что ни в научной плане, ни тем более в человеческом Румянцев не заслуживал ни малейшего уважения. Головокружительной карьерой - академик, депутат Моссовета и что буде пожелаете - он обязан личной пронырливости и нашему несравненному жлобству. А когда было по-другому? Румянцевы блаженствуют на свете.

- Но Ларионов занимался древней хронологией, он доказывал, что она страшно растянута и повторяет события, происходившие намного поздней. Я видела его последнюю рукопись, Ларионов показывал, «Методика датировки и распознавания статистических дубликатов».

Фаина Марковна направилась к полкам и вытащила толстенный талмуд, «эта?» Название было то же, но автор... Аня перелистала книгу: Греция, Вавилон, Рим, даты затмений, астрологические таблицы, графики объёма первичного фонда и остаточного, «точки локальных максимумов должны коррелировать...»

- Ужас. Кем же был Ларионов старший?

- Историком, специалистом по архаике. Преподавал в МГУ, написал несколько учебников и монографий по дешифровке древнегреческих текстов. Работяга, порядочный человек. Лёвин отец охотно сотрудничал с ним. После его ареста и Лёву подшили к делу, а Ларионова отстранили от преподавания за неразборчивость в выборе друзей.

- А что дед?

- Стал кабинетным учёным. В годы войны работал над книгой по крито-микенской эпохе. Она вышла уже после его смерти, в сорок шестом.

- Он умер с кистью в руках?

Фаина Марковна укоризненно покачала головой.

- Инфаркт. Ни о Боре Михайлове, ни о существовании записки мне не известно.

- Мифы не возникают из ничего, - сказала Аня. - Время было такое, хронос. Одни пожирали детей, другие оскопляли отцов, как в гомеровскую эпоху. И всё-таки пусть Ларионов сын негодяя, но он внук Пигмалиона и сам немножко Пигмалион. Жаль, что Галатея у него получилась неблагодарная.

- Выпьем чаю? - перебила Фаина Марковна.

- У меня ребёнок, - вырвалось у неё. - Нас от чая мутит.

Фаина Марковна глухо вскрикнула и запустила книгой в окно. Что-то пробормотала, то ли «старая дура», то ли «стала я дура», и кинулась поднимать. Обтёрла талмуд рукавом и поставила рядом с «Радуницей». И спокойно спросила:

- Какой месяц?

- Третий. - И зачем-то добавила: - Он не знает.

- Он-то ладно, а ты... не боишься?

- Боюсь. Умом. Но наполовину я дура. Тоже какой-то гибрид, как Ларионов. Тыква с брюквой и вдобавок на дубе том.

- Анечка, - неуверенно улыбнулась Фаина Марковна, - ты действительно любишь его? Ты ничего не придумала?

- Да, я его придумала, и я его люблю. А лже-Ларионова отпускаю на свободу с чистой совестью. С моей чистой совестью. Фаина Марковна, милая, родная, научите меня говорить! Я так хочу, чтобы меня понимали, я так хочу, чтобы меня любили как я...

И полилось. Ливмя, по отвесной стене. Не шмыгалось, не икалось и не распускалось губ. Всё было безлично, бессмысленно и бесповоротно. Фаина Марковна обняла её и гладила, гладила по спине и шептала: ну будет, будет...

- Я ему рассказала про лестницу, - в последнем отчаянии призналась Аня, - я выдала Лёвины слова, будь я неладна, и он будь неладен, за то что их заложил. Ведь крикнул вам: «передайте Ане, что я вас безумно, безумно люблю»? Вы мне не передали, вы не стали сбывать краденое, и малина накрылась. А он получил свой срок. И отмотал. А вдруг он одумался?

- Боже мой, - вздохнула Фаина Марковна. - Ты мне напомнила моё допотопное детство. Какие мы были дуры, когда настежь распахивали окошки и вместе с орущими толпами вопили «Интернационал». Больше всего, Анечка, я боюсь возмущённого разума, всем миром мы сварились в этом кипятке, но выскочили из него не Иванами-царевичами, а Иванушками-дурачками с ошпаренными ряшками. Ларионов никогда не отмучится, он всю жизнь будет метаться между отцом и дедом.

Аня выпрямилась, как на помосте в полдень, раскалённый добела. Пигмалион вскинул кулак, и судьба решилась.

- Если не побежит за тем, кто без него грохнется. И я его рожу. Пообещайте, что не прогоните Ларионова. Он обязательно к вам придёт. Посмотрите на него моими глазами. Ради бога.

- Я в бога не верю, - проворчала Фаина Марковна, - но чего не сделаешь ради прекрасных глаз. Держи их при себе, не разбрасывайся. Я и так неплохо вижу. И у меня есть очки.

Глава 85

Никогда не болтай о том, что тебе дорого, говорила мама, сказать - это потерять. Доброе напутствие начинающему поэту. Ларионов бы добавил: и начинающей матери. И опять был бы прав, после разговора с Фаиной Марковной что-то пропало в ней, выветрилось, как румянец и голос.

О, Ларионов, Ларионов, о.

Днём можно есть, двигаться, отзываться, «да, восемьдесят пять, нет, Ерошенки здесь не живут»; вполуха слушать про трёх сестёр и H_2SO_4, про умницу Ливингстона, чего только ни пооткрывал (и водопад, и два озера, и речку Луалабу), и про линзы всякие, ей бы подошли двояковыгнутые, наподобие двоякодышащих рыб, тоже из Африки, с лёгкими и жабрами, везде живи, как в журнале «На суше и на море». Молодцы морячки, отличное дали название своему рупору, по-капитански чётко, по-матросски неприхотливо. Видно, какой огромный путь прошли от нечистых на руку аргонавтов.

Вчера записала в дневнике: хочу сушу по мою душу, хочу море по моё горе, подвига хочу, на человеческое нету сил.

Днём можно бодрствовать, то есть бодриться, неднём... спать, но сон - немножечко смерть, любовь - немножечко смерть, «малая падучая», шуточка психотерпов. Главное, успеть зажать зубами карандаш или что-нибудь линейное, чтобы не откусить язык, когда скрутит вчерную, недаром же эпилепсию называют «чёрной немочью». Вовка Русаков, например, не успел, вырубился на уроке физкультуры, и, пока бегали за деревяшкой, она держала ему челюсти ребром ладони. След от зубов остался на всю жизнь. Вот и не верь, что прошлое - единственная устойчивая реальность.

Если бы не её счастье уплывать в посторонние мысли, потусторонние, разве бы ей хватило суши и моря?

Ещё немного, и она будет думать, как Ларионов, перескакивая с пятого на десятое. «Учитель, воспитай ученика». Греческая поговорка, всплывшая вдруг у нас и распеваемая на все лады. За какой стол ни сядешь, в какую газету ни сунешься, везде учителя. Всё напоминает о нём. Всё идёт к концу. Магическая фраза. Стоит сто раз повторить, и она будет преследовать тебя до гробовой доски.

Где-то сыграли гимн. «В Москве полночь». Ассоциация по контрасту.

Что делает брошенная женщина? Не покинутая рабыня, а обыкновенная? Она забывает жизнь, в которой её бросили, и вспоминает другую. Обратно меняет причёску, перешивает платья, заводит старых друзей. Ей уже не до идолов, она генотеистка, у неё один бог - отчаяние, так пальцы сжаты в кулак. Поэтому, за что ни возьмётся, всё получается. Природное слабоумие уступает место благоприобретённому уму. Ах, как полезно женщине побыть не собой.

А её даже не бросили. Она вымысел, над которым Ларионов облился слезами. Она расплачивается за его фантазии. Но наказание обесценивает муки совести: возмездие совершилось, никто никому ничего не должен. Да ждраштвует шавабода! как кричали счастливые лилипуты, вылезая из складок гулливерского сюртука.

Да, успокоилась Аня, меня больше нет. И не надо ломать голову: быть или не быть.

Заезжий поэт из Москвы, очень импозантный, очень эрудированный, когда она заявила, что в конце жизни все русские поэты неизбежно бросают в воздух самый русский вопрос «что делать?» (и Пушкин с его «куда ж нам плыть?» и Ахматова с её «а что теперь?»), стал

на одно колено и поцеловал ей руку. Потом поднатужился, чтобы подняться, ну да, в чрезмерном усилии есть что-то бессознательно ревматическое. Всё равно было приятно, и общественно-популярный, и предупредительный, и замшевый пиджачок с кожаным подворотничком.

Участвовать в пиитических прениях (вечер в кафе закончился, курсанты, школьники и знатные трудовики разошлись, остались одни северные петуньи из ларионовского кружка, сам не явился, знал, что её пригласили) она отказалась. За что и была провожена... проведена? самим залёточкой. Цветики прямо пожухли от зависти и обиды, у них была уйма вопросов к мэтру, обсудив которые, они собирались «осветить» в своём творчестве.

Поэт вёл её бережно, под локоток, мелкими забегающими шажками. - Надо учиться, - призвал. Откликнулась: - Как завещал великий Ленин. - Больше работать. - Как учит коммунистическая партия. - Мой вам совет, - отечески пощекотал, - прикусите ваш остренький язычок, бравада не стоит свеч. - Афоризм за афоризм, - ответила, - советы - это подарки, переходящие из рук в руки. - Кто сказал? - Какая-то Чеханцова. Рассыпался смехом. - Неужели пятнадцать, девятый класс? В Москву не собираетесь? Вот адрес и телефон, живу один, вдовею... по усам текло. Очень уж сахарный, хоть и рафинированный. - Могу вас рекомендовать в Литературный институт. Веду семинар, член приёмной комиссии. - Спасибочки. - Куда вы торопитесь, ещё девяти нет. - Полгода пролетит, как сон. - О чём это вы? - Да так, обычная женская глупость. Ослабил галстук с золотой булавкой.

- Я красивая? - спросила, думая о своём.

- Вы изумительная! - воскликнул.

Ему было за пятьдесят. Он слишком сильно пах одеколоном.

- Я попробую.

- Что вы попробуете, милая?

Гули-гули.

- Быть изумительной. Такого мне ещё не говорили.

- Я вам всё скажу.

- Дальше ни шагу. Злая собака, строгий отец и потом, что угодно, только не всё.

Поэт надолго припал к её руке. Она прошептала: «ах, оставьте».

- Аня!

О ужас. Ларионов бежал к ним в своём полоумном белом пальто, как привидение из замка Шпессарт. Без шляпы, со съехавшим набок лицом.

- Это правда?! - заорал, налетая на несчастного вдовца и расстёгивая, нет, разрывая надвое несчастного верблюда. - Это правда?! - И прикипел ручищами к животу.

- Обязательно пришлите стихи, - испуганно отскочил поэт. - Всего наилучшего.

И как-то криво, тазобедренно захромал в направлении Юго-Севера.

- Ищи пуговицу! - крикнула Аня. - У меня нет другой!

- Я от Фаины Марковны, - захлёбывался Ларионов, - я догадался, мне и в Москве почудилось... всё в порядке? он здесь?

- Не видно, что ли?!

Он медленно разогнулся. Меланхолически оглядел ремонтные мастерские, отделявшие привокзальный сквер от железнодорожных домов. Вытащил из кармана шарф и обмотал им шею.

- Может, тебя от шампанского раздуло.

Оттолкнула что было силы.

- Аничка, родненькая, я не хотел... Сколько ему?

- Сколько у тебя было по арифметике?

Хлопнул себя по лбу.

- Действительно, вот дурак. А была пятёрка. Ничего, тройка тоже хорошая отметка.

Фонарь отбрасывал скользкий рыбий свет. Деревья тонули в тумане и были похожи на мачты затонувшего корабля.

- Не куришь? Фрукты ешь? Тебе витамины нужны.

Ане надоело стоять на одной ноге, в интересном положении: полуобнято-отталкивающем. А он долбил и долбил, как ей надо себя вести, чтобы не только сохранить, но и приумножить завоёванное в бою. Нет, Фаина Марковна не могла. Кто? Сам бы не исхитрился.

- Ну, что ты падаешь? - встряхнул, как мешок с картошкой. - Скучно тебе с умненьким-благоразумненьким Ларионовым?

Сейчас и ей достанется что-нибудь уменьшительно-ласкательное. Для суффиксального равновесия.

- Дохленькая моя...

О господи.

- Не таскаешься?

Аня вырвалась и пошла, чёрт с ней, с пуговицей.

- Постой, - припустил за ней, - ну послушай... я ошалел, сейчас я всё объясню!

Вторая угроза за вечер. Почему всё и обязательно ей? У неё своего навалом.

- Я... - чуть не ляпнула «спать хочу», но отучил, и слава богу, - устала.

- Чаем не угостишь?

Отстал. Чиркнул спичкой. Отрывисто бросил:

- Когда и где?

- В центре ГУМа у фонтана, - не обернулась, - в двенадцать часов по ночам. - И помахала букетом.

Так и закончилась «встреча с прекрасным». Вничью. Победила дружба.

Ночь гудела, как медный котёл, вмещающий триста шестьдесят эгинских сиклей. Наврал Ларионов. Мерой для жидкостей в Древней Греции был метрет, равный 144 котилам (не от котила - котёл?). И зерно продавали не по весу, а по объёму, медимнами. Но поставь вместо сиклей сомнамбулический метрет, и фраза развалится. А в том котле бурлила бессонница, бесплатная похлёбка, и её надо было выхлебать во что бы то ни стало. Не пропадать же добру.

Отец дежурил. Мчался по необъятным просторам родины. Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить, дай бог и ему и ей. Под подушкой лежал томик Есенина, подсунутый Ларионовым в знак возмутительной поцелуйщины. Раскрыла наугад. «Быть поэтом - это значит то же...» Тоже? Исключено. И никаких нежных кож, пыток и ножиков. «Руки милой - пара лебедей». Рука - женщина. Лебедь - самец. Беда.

Сунула книгу под матрас, как бабка - сталинские облигации, нехай лежат, хлеба не просят, авось выгорит погашение.

«Руки милой - пара лебедей». У неё не так, как у людей. А если не вдумываться, прелесть, столько ласковых любовных букв.

Тихо как. С лязгом проносятся поезда, перекрикиваются стрелочники, с вокзала

доносится: «Поезд Москва - Баку прибывает на первый путь. Повторяю...» Как тихо. Это потому что отец не храпит.

У мужчин всё другое. Они любят тех, кого бьют, и ненавидят тех, кого не понимают. Страх и обида висят над ними с тех пор, как их оторвали от материнской груди. А женщина сама кормит, она не нуждается ни в жалости, ни в понимании, а только бы наелся и отстал. Ей ещё кашу варить, пелёнки стирать, сказки ему придумывать. Весь дом на ней, вот и приходится быть центром тяжести, ногами пол, головой потолок, а руками стены держать, чтобы не попадали. Зря старается, никогда ей не загладить обиды от недоданного молока. И не дорасти до мужской умозрительной правды. В её правоте больше злости и отчаяния - всё равно не поймут. Схемка простенькая, средне-арифметическая, ну да в школе и не преподают высшей математики.

От всего тошнит. И есть хочется. Женская логика, вечно беременная баба.

Аня босиком прошлёпала в коридор и горстью из миски зачерпнула холодной кислой капусты. Теперь от Ларионова не сбежишь, как в Москве, верёвкой прикручена к месту и времени. Опять пристанет: проси что хочешь. Попрошу браслет или шубу, что-нибудь женское, пусть обалдеет. Скоро начнёт толкаться. Назовём его Ларкой... ой! вылетело. Неужели девчонка? Он сына хочет. Да кто он такой? Кому ума недоставало? Фу.

Надо вымести сор, выбросить объедки, выстирать грязное бельё. Ей нельзя быть нечистой. Она пишет стихи и носит ребёнка. Она возвращается на родину.

Глава 86

- Чего у тебя пузо торчит?

Петька проявлял одну из своих забот по наведению порядка и строго поглядывал по сторонам, с кем бы ещё сцепиться.

Аня выгнулась у стены, опершись на лопатки, освободила крестец, что скрипел и ныл. Ин-ыл, ин-ыл... далеко разносилось в сарматской степи. Перемена давилась бутербродами с колбасой, гикала и сотрясала тысячелетнюю пыль.

- Скоро состаришься, Варвара, - оборвала.

- Твой у чёрного входа торчит, видала?

- Всё у тебя сегодня торчит. Зубри «Ионыча», спросят.

- Почём знаешь?

- По рубль сорок.

- А ну тебя, хоть бы раз ответила по-людски.

Аня вышла на чёрную лестницу и посмотрела в окно. Ларионов сидел на железном крылечке и курил, сбрасывая пепел короткими злыми щелчками. В чёрной куртке, обмотанный белым шарфом, он был похож на низложенного короля. Ветер гонял по двору обрывки бумажек и птичий сор, раскачивал голые ветки акаций, росших вдоль низкой каменной ограды. В ожидании пастушки Ларионов читал книгу, раскрытую на колене, и угрюмо следил за перемещениями аниных одноклассниц, что нарочно прогуливались мимо него до ворот и обратно с отрешёнными лицами.

Посмеивается, наверное: все вы гордые, пока не поманишь. И верно, любая за ним побежит. Ну, не любая, любые его не волнуют, а какая глянется, та и... Мамочки, похолодела Аня, я становлюсь бабой, ревнивой, жадной, бестолковой бабищей, мне только кажется, что я человек.

Пол закачался, и она схватилась за облако, пролетавшее за окном, и обнимку с ним, твёрдо-бесплотным, сделала круг над школой. Наверху дышала тёплая средневековая ночь с перевёрнутыми вверх ногами дюреровскими конями и жертвенником. Свечи почти оплыли и с шипеньем выстреливали струйками стеарина, повисавшими в воздухе и смерзавшимися на лету. Аня попросила Водолея полить ей из ковшика, сполоснула лицо и вытерлась досуха мантией, которой размахивал Орион. И вернулась на лестницу.

Ларионов упорно пас ветер. Плотно засел, на всю оставшуюся жизнь. Жаль, что не прихватил с собой дудочку, сплясала бы под неё.

Литература была последней. Не вызовут? Хорошо бы. Конечно, ответит, но опять не то. Ну не любит она Чехова. Уважает, восхищается, ну не. Гаршин подметил-съехидничал, что доктор с одинаковой страстью описывает и женщину и собаку. Можно развить: с хирургическим хладнокровием объясняет лежащему на операционном столе назначение каждого инструмента, которым кромсает. Не торопясь и словно нехотя, как его герой из «...госпожи NN». Нет, Гаршин не мог «со страстью», но что-то вроде Володи, ходячее по Кубани выражение.

Петька потопал к доске и заторчал надолго. Ну что ж, его черёд выгибаться и ляпать. И голова дубовая и упрямство семейства буковых. Сколько раз предлагала подтянуть, вместе позаниматься, всё «а, и так сойдёт». Тупой тупой, а брюхо сразу засёк. Куда же спрятать мамону? Точнее не скажешь.

- Бабка-ёжка, - прошипел со своей парты Петька.

Вот и делай людям добро. А фокус с ключом и её кинетическими способностями Ларионов выкинул, наоборот, вставил в роман, здорово переиначив. Ни про какую Пьяджу она не плела и ничего не передвигала в пространстве.

- Чеханцова, где ты витаешь? К доске!

Была не была. Тонкий психолог, мастер подтекста, знаток интеллигентских исканий и дам с собачками. Аня втянула живот и вытянула четвёрку. И на этой квадриге спланировала во двор.

Ларионов, не говоря ни слова, протянул ей пуговицу. Законопатил образ.

- Куда идём?

- В ресторан. О, я хочу безумно жить. Я изумительная.

Он машинально кивнул и тут же скривился.

- Старый хрен надоумил?

- Ага.

- Чем же ты его изумила?

- Да так, спросила кой о чём.

- А ты не задавай провокационных вопросов.

- Я женщина, - нежно и печально сказала Аня, - и ничто человеческое мне не нуждо.

- Ловко. Как себя чувствуешь?

- Неловко. Отпусти верблюда.

Ларионов подмигнул первоклашкам, глазевшим на них с мавзолейным благоговением, и поклонился учительнице, потерявшей дар речи.

Пошли не налево, к центру города, куда устремилась основная толпа, а направо, к комсомольскому скверу, где в бетонной нише запоздало фонтанировала вторая народная мудрость из уральских камней. Её соорудили на пепелище старой Георгиевской церкви, сожжённой в годы коллективизации. Обугленное пятно и летом не зарастало травой и зимой пробивалось сквозь снег. В знак скорби и утешения.

Этот сквер, где кирпичом пристукнули Лёньку, до сих пор пользовался убийственной славой. По вечерам здесь собирались блатные и шпана. Били друг другу морды и напивались до чёртиков, которые по утрам приезжали за ними в милицейской машине.

Ларионов отобрал у Ани портфель и нёс под мышкой, всё время поправляя его и возмущаясь объёмом школьной программы.

- Тяжести не узнаешь, пока не сбросишь креста, - припомнила ему Аня библейский период, когда он к месту и не к месту пичкал её соломонами и иезикиилями.

- Напрасно смеёшься, такого количества лжи не выдержит ни один нормальный ребёнок.

- Тем более беременный, - подсказала.

- Я начинаю быстро уставать. - Остановился и с титаническим усилием выжал улыбку. - Сбавь обороты.

- А ты за мной не гонись. Сэкономишь минуту - потеряешь жизнь. Вон читай на заборе.

- А я ведь люблю, когда меня...

- Вот я и подзабориваю.

Закусил губу и принялся разглядывать свои новые блестящие ботинки и её опорки.

- Я был в ЗАГСе. Нужна справка от врача и согласие родителя.

- И всё? - невинно спросила. - А горячее желание невесты?

- Аня... ладно, потом.

Она впервые оказалась в пампасах. Стены «Южного» были разрисованы буйной масляной растительностью, преимущественно травянистой. В углах красовались оленьи рога и переходящие вымпелы.

- Не хватает только броненосцев.

Ларионов изобразил муку. Подкатился плешивый официант, «рад вас видеть, давненько к нам не заглядывали». Ларионов укоризненно взял поданное ему меню и демонстративно протянул его Ане. У него были жесты дорогого клиента.

- Салат из портулака, - мелодично произнесла она, словно не замечая дрожащей ларионовской руки.

- Что это? - вежливо осклабился официант.

- Травка. Произрастает в пампасах. Листья и стебли съедобны.

- Дама шутит, - сверкая очами, процедил Ларионов и вернул меню. - Что посоветуете?

«Да, пожалуй, нет, увольте, что-нибудь нейтральное». Было тошно и скучно. Начиналась великая качка. На суше и на море.

- И бутылку водки, - наконец иссяк.

- Йо-хо-хо.

И кровожадные сицилийские корсары и патриотически настроенные бретонские флибустьеры были просто салагами по сравнению с ней, выходящей в открытое море на разбитом корыте. Аня незаметно расстегнула фартук и перевела дух.

- Я не шизофреник, - сказал Ларионов, комкая салфетку, - я потомственный психопат, все претензии к Дону батюшке Педро. Тенин даст тебе общее заключение, а я сообщу особые приметы. Рост 182, вес 69, шантрет, глаза тёплые, незначительное повреждение голеностопного сустава левой ноги, всё делаю ею, не хватает четырёх зубов, но есть четыре пломбы.

- Покажи.

- Сустав?

- Сначала зубы.

- Я тебе не дарёный конь.

- Удачный оборот.

Отбросил салфетку и начал выстукивать пальцами дробь.

- Я должна знать что покупаю. Только не говори, что не всё продаётся.

- Так низко я ещё не опускался, - пробормотал, приседая перед Аней и разевая пасть.

Аня пересчитала зубы и захлопнула челюсти, «сочтено». Он отряс прах с колен, сел и, подавшись вперёд, принялся ласкать её ненавидящим взглядом.

- Продолжаю. Масса дурных привычек. Список прилагается. - Вынул из кармана пиджака вчетверо сложенный лист и положил на стол. - Прочтёшь на досуге.

Он был тот же самый, но она его не узнавала. Вероятно, её подменили.

- Первоочередные задачи. Никакого нытья: купи, пойдём. В виде исключения разрешается холодно-жарко-есть-хочу и я-тебя-люблю-хочу-спать.

- Я больше так не говорю.

- Я буду бить тебя, рыжая девочка. Ну не слишком сильно и не слишком часто, но по заднице ты у меня будешь получать.

«Нет без тебя света...» полилось с эстрады. Репетировали двое: песельник и тапёр, оба навеселе.

- Тебе придётся взвешивать свои слова, я мелочен, как китаец.

Аня сузила глаза, «взвешено». Ларионов был на пределе.

- Я чистоплотный. Утром ты принимаешь душ, вечером я купаю тебя...

- В мыльнице.

Он заскрипел зубами. Могильным холодом веяло от потемневших песков.

- Проси что хочешь.

- Если бы три месяца назад...

Официант расставил на столе вазочки с икрой и сморчками.

- Хлеб, - поморщился Ларионов.

- Сию секундочку.

- ...ты мне это сказал, я бы сидела с открытым ртом, герр-Ларри-онофф...

- Батончик вот, и ржаной.

- Пшёл вон, - прорычал Ларионов.

- ...я бы рыдала от счастья, слушая твои саги. Я бы попросила что-нибудь говорящее, например, Аристотеля, которого ты так и не принёс. А из варяг в греки далеко и опасно, вдруг разрожусь где-нибудь там... Смирну надо убрать, это не по дороге... у меня бёдра узкие, я и так помру. Но если ты действительно грек, ты расскажешь мне всё, из конца в конец. И когда я скажу «измерено», ты повторишь свою просьбу. Но берегись, тебе придётся отдать самое дорогое.

Ларионов тоскливо смотрел в окно. Подперев щёку красивой, не предназначенной для битья рукой.

- Неужели всё кончено?

- Не совсем. Всего я ещё не знаю. Но одна твоя фраза торчит во мне, как гвоздь в шкафу.

Ларионов дёрнулся и задел локтем бутылку, Аня успела её подхватить.

- Завтра, - выпалил. - Договорим завтра. Мне надо кое-что утрясти.

Аня сцепила руки и замкнула круг. Силы убывали неудержимо, и время уже не свёртывалось, а хлестало. Она задержала дыхание и упала в песчаный карьер.

- Это невозможно. - Губы не слушались и саднило в горле. - Ты пойдёшь налево, а тебя

не пустят, ты пойдёшь направо, а тебя обманут. Лучше сразу иди напрямо, ко мне. У меня есть то, что тебе нужно.

Она кое-как поднялась, кое-как пошла, увязая в песке по грудь, туда, где ещё теплилась жизнь.

Глава 87

Список прилагаемых грехов содержал двадцать восемь пунктов. Ларионов писал убористо.

В левом верхнем углу была нарисована картинка: человечек, шагающий из пункта А в пункт В. Буквы заглавные, то ли русские, то ли латинские. Аня в бабы? Ещё хужей? Обозначено только направление, никаких условий. Очевидно, время, скорость и расстояние не имели значения. Ну что ж, не стала расстраиваться, в неопределённости есть некоторый потенциальный смысл. Человечек грял большими шагами, всё-таки торопился, не считаясь с условиями. «В» опиралось на крошечные буковки: см. на об. Она перевернула лист. «Латынь отменяется, читать «взамуж».

Не до крови, но укусил. Ведь это она, не он, самосильно выучила латинский язык, ещё в прошлом году, и прочла Горация и Катулла. Ларионов в архаику не зарывался, он осваивал языки внешних сношений.

Аня закрыла глаза. Бывалые путники отдыхают перед дальней дорогой. Дурацкая привычка. У Ларионова. Всё свести к абсурду, дожать до последней черты и, повиснув над бездной, удариться в «неизъяснимы наслажденья».

Набрать сухарей, шерстяных носков, проститься с лучшим другом... как его? Митькой звали, армавирский юмор. Мол, след простыл. Где тётя Тая? А, Митькой звали! Жуть. Но ведь говорят.

Итак, из пункта А в пункт В Аня вышла взамуж. Там она узнала много нового.

1. «Женолюб членистоногий. Тип беспозвоночных. Форма свободноживущая. В процессе адаптации возможен метаморфоз. Исходное положение: индивид имаго. Тенденция: не особь, но муж».

Аня порылась в иностранном словаре и отыскала «имаго». «Конечная стадия развития крылатых насекомых, а также название самого взрослого насекомого; для имаго характерна функция размножения».

Час от часу не легче. То бессмертный, то беспозвоночный, то разводится, то размножается. Так что у неё в животе? Ещё один членистоног? Аня схватилась за поясницу - разламывался хребет. Она уже не понимала шуток.

- Куда задевала друшлаг? - кричал отец из кладовки.

Дуршлаг. И точно, дурное слово. Когда-нибудь вылетит из языка, если не поумнеет.

- На стенке! Справа!

«Мне надо кое-что утрясти». Что?

2. «Хамлю. Когда другого не остаётся. Просьба: в угол не загонять. Рекомендуется превентивная регулировка».

Praevenio, опережаю.

3. «Храплю по ночам. Не квакать, не щёлкать, а разбудить. Желательно поцелуем».

Днём тоже храпел, врун несчастный.

4. «Курю. Пью. Цена договорная. К женщинам вообще не отношусь» (см. пункт 1).

5. «Болезненно ревнив. В случае измены бросаю без предупреждения».

И в том же духе. Остроумно. Холодно. И всё время хочется есть. А в промежутках спать.

- Ешь, говорю, оглохла?

Вермишель свернулась клубком нереид. Бедный Нерей, думал ли он, что именами его дочерей назовут каких-то первичноротых.

- Не хочу.

- Я те дам не хочу, глиста!

И закипела семейная гигантомахия, схватка отцов и детей. Кто сказал, что в нашей жизни не осталось места подвигу?

- Глянь на себя в зеркало, ни кожи ни рожи, люди подумают, что я тебя голодом морю!

- А мне плевать!

- Это ты в книжках выучилась на отца плевать?!

- Да на людей!

- А я тоже людь!

- Ну тебя к чёрту!

- А ну повтори!

- К чёрту!

- Ну спасибо, доченька, на добром слове! У, морда бесстыжая...

Рванул с пола кошёлку и в дверь. И что он за человек? Никуда не ходит, ни с кем не дружит, книг не читает. Ей иногда кажется, что он погиб на войне. Душа отлетела, а тело живёт по привычке: водит составы, растит её, дрянь неблагодарную. Но ведь ни разу не поцеловал, не спросил: «хочешь?» не важно что.

Ну, не от мира его, в семье не без урода, но в остальном же нормальная? Воды принести - она, печь затопить - она, плюс уборка, готовка, стирка, глажка, штопка, садоводство и виноградарство. Он работает, устаёт, ему не до этого. И в магазин её посылает и на базар, она умеет притягивать вещи. Где ни появится, происходит невероятное: выбрасывают сосиски или фигурный мармелад, ведро вишни отдают за три рубля. И одежду ему покупает она, на глаз, и всегда удачно. Пригодились занятия в домпионерском рисовальном кружке, чувствует линию. Но любит цвет. Её акварели и сейчас висят в актовом зале. Хотя Сан Ваныч, учитель, сказал, что ей больше удаются гравюры, схватила технику.

Всё у неё выходит лучшим образом, когда делает не для себя. Лично ей достаётся гнилое и дефектное, как эта кикимора, верблюд, картонные ботинки. Сапожки, сразившие Ларионова, проносились полдня, на правом лопнуло голенище, на левом отлетел каблук.

Опять бурлит, перекатывается в утробе, заявляет о своих правах. Она не создана для материнства. Полный развал: голова не варит, душа ушла в брюхо. У всех так? Даже не у кого спросить. Раньше был Ларионов, который всё умел растолковать, особенно то, о чём не имел понятия. А теперь она может легко вообразить его ответы. Понять - это стать равным, сказал Рафаэль или Сервантес, скорей Сократ. Однако история знает пять Сократов, пять Платонов, восемь Аристотелей, семь Ксенофонтов. Монтень сосчитал. А сколько потом отыскалось и ещё отыщется...

Но понять - не любить. Любовь длится, пока длится узнавание. Вот почему так бесстрашно любят детей.

Разумно, но бессердечно. Это ларионовское начало пожирает её изнутри. Завтра - уже сегодня. Что он надумал? Ему нельзя доверять. Он сумасшедший. С бритвой в руке!

Как сорвалась, не помнит, но разносила в щепы растреклятую дверь и хрипло кричала бабьим, дурным от ужаса голосом: «открой! если ты не откроешь...»

Дверь треснула настежь. Ларионов сидел на кровати и ржавой бритвой пилил себе вены.

- Любимый! Родной! Мой! Ларионов! Всё, что хочешь! Отдай!

Он смотрел сквозь неё, не мигая, и раскачивался, как истукан. Аня уже ревела с захлёбами и соплями, лизала узкую, в обрывках жил, расползающуюся рану, трясла его за плечи, лезла мордой в лицо.

Очнулась на чей-то вопль. В комнате было полно народу.

- Вон! - рявкнула, набрасываясь на всех и выталкивая. - Вон! Все! Отсюда!

И бухнулась на пол, спиной подпирая дверь. Пол был в крови. Она текла и текла.

- Что это? - тупо спросила, размазывая ладонью тёплую липкую жижу.

- Твоя кровь, - тупо ответил. - Пойду вызову «скорую». Подвинься.

Потом была латынь. Прострацио. «И ничего не смыслит в греческом». Из негласной характеристики на воспитанника Императорского Царскосельского лицея Александра Пушкина.

Нарк, греческий наркоз, в железнодорожной больнице давали лишь в крайнем случае. Новокаин не подействовал.

- Не ты первая, не ты последняя, - приговаривала тётя Нина, пятнадцать лет назад вытащившая её на свет. Приговаривала, орудуя в ней железом и скользкой резиной. Из нутра поднимался звериный булькающий звук. - Завтра будешь строить глазки своему хахалю. Ну, отпусти живот.

Было так больно, что уже не стыдно и не противно.

- Не молчи, зайдёшься. Что любишь: кино, балет?

- Мороженое.

- Какое?

- Никакое.

- Фруктовое ешь, оно дешёвое и полезное. Отец знает?

- Нет ещё.

- И не докладывай... дыши глубже...

Аня вцепилась в клеёнку, пахнущую молоком.

- У меня не будет детей?

- Не будешь дёргаться, скоро встретимся снова... сейчас, терпи... руки! Эй, Петровна! Тащи свою колымагу! Всё, молодцом. Да где ты, Петровна? Вези в палату!

- Петровна, Петровна, - ворчала нянечка, выволакивая Аню из каталки и распластывая на койке, - то туды, то сюды, будто я Фигара.

- Таз мне...

Аня свесилась и рвала, пока не выбилась из сил.

- Первый раз? - участливо спросила старая тётка, грудой лежавшая на соседней кровати.

Аня выплюнула «угу».

- А у меня ёбилей. Сороковой. И детишков восьмеро.

- Господи...

- Та не переживай. Мы что кошки, куда ни кинь, всё на ноги становаемся. Мой ховорит: Халя, меня Халей зовут, ты б завязала себе трубу, жалеет вроде, а я...

Аня отвернулась к стене. В груди было пусто и жарко и в животе не сердцебиенило. И потянулись часы.

Она не дремала и не спала, и что-то происходило. Шуршала бумага, стучала посуда, бабы охали и ржали: «во даёшь!» «ну, коты, отольются вам наши слёзки». Аню расталкивали и совали под нос тарелки с манной кашей и гороховым супом. Она пила только воду, без конца пила и не могла напиться.

Мысли ворочались, как жернова, перемалывая чепуху. В общежитии тарарам. Партком, профком, Фаина Марковна. Дело врачей, Тенин. Железнодорожное братство, отец и школа. Вешаться долго и язык вывалится. Уснула к утру и проспала сутки.

Пошёл третий день её новой жизни. Тошнота рассосалась и в голове прояснилось, вернулись запахи. Ноги дрожали, но уже дышалось, всё-таки дышалось. Этого безличного мужчинам не понять. Аня лежала, закутавшись в простыню и удивляясь, что у неё болит тело, а не душа. Вместо переживаний в голову лезли первоочередные задачи. Дописать «Ионыча», то есть сочинение. Вернуть Фаине Марковне Монтеня и взять Бальзака, оптом, все шестнадцать томов, не размениваясь на иллюзии и куртизанок. Сшить платье, синее, с белой кокеткой. Конечно, Литинститут, не гадать же с цыганками у фонтана.

- Привет, бабоньки.

Боже, какой бархат.

- Я дохтур Ларри-онофф, проездом из Эпидавра. Ну как, живём дальше?

Радостное оживление. Ещё бы, живём, живём, чем дальше, тем больше.

- Что за книжечка? «Драма на охоте». Читайте, читайте, я тоже охотник до драм. Приятного аппетита, мамаша. Нет, милая, не надо показывать, я в этом не разбираюсь. Хм... а ищу я, бабоньки, одну пациентку... ту, что не спит, не жрёт и не разговаривает. Игде така?

- Вон со стенкой целуется.

Дружный счастливый хохот.

- Мадам, - тронул за плечо. - Пора на зимние фатеры. Я амуницию принёс. Москва за мной.

Возвышался над ней, как древний бог медицины Асклепий, воспитанник мудрого Хирона. Белый халат, крахмальная шапочка, лихо заломленная. У Ларионова был благодарный вид.

Аня спустила ноги и сунула их в громадные казённые шлёпанцы, выданные ей, как безродной (положено приносить свои). Рубаха тоже болталась, вырез доходил до пупа. А, и так ничего не видно.

- Сказал отцу?

- Сказал. Ни в какую.

- Что сказал?

- Как обычно: дурная, учиться надо.

- Ты, ты что сказал?! - почти кричала, не понимая, кто из них бестолковей.

- Что женимся.

- А про больницу?

- Нет.

- Он же с ума сходит!

Отпихнула его и кинулась из палаты. Он на бегу пытался обнять её одеялом. Вдогонку

неслось:

- Досвиданье б сказала, соплячка!

- А она и не здоровкалась.

- Ишь, пройда, какого оторвала.

- Ейный муж?

- Прям, полюбовник, на роже написано.

- Все они гады, кобели проклятые!

Соседняя травматология приветствовала её стуком костылей и палок. Женская половина притягивала увечных, целыми днями толклись у входа в гинекей.

- Хоть рукой зажми! - взорвался Ларионов.

В приёмной тошнотворно воняло нашатырём, кого-то из родственников приводили в чувство. Аня переоделась в узкой фанерной кабинке, выкрашенной в голубиный цвет. На стенке было нацарапано: «Вася хочет жить». Ларионов любезничал с медсестрой, одолжившей ему халат и шапочку. Она смущённо вставляла: «да ладно, к чему это?» Рассмеялся, «к чаю», и заглянул поверх кабинки.

- Тебе справка нужна? Товарищи интересуются.

Брысь, ответила.

Такси подъехало к самому дому. Ларионов сунул шофёру пятёрку, «сдачи не надо», тот крякнул: «вот это я понимаю». Из окон смотрели соседи. Ларионов помог ей выйти и повёл за собой, прикрывая грудью.

Отец сидел за столом, выбросив руки, сжатые в кулаки. Рыжая шерсть стояла дыбом.

- Гони его в шею. Позорница.

Аня облокотилась на стул и посмотрела ему в глаза.

- Он - мой муж. И то, что случилось, никого не касается, кроме нас. Если хочешь, я прямо сейчас уйду, если нет, разреши немного пожить. Только без крика.

Отец разжал кулаки, с грохотом встал и с грохотом вышел. Аня налила воды в стакан и выпила. Налила второй и выпила. Налила третий.

- Я хочу тебя покормить, - неуверенно сказал Ларионов. - Что и где? - И засучил рукава.

Забинтованное запястье прикрывал широкий кожаный браслет. И где он его откопал?

- Болит? - спросила.

- Ноет. Ты как?

- Да так.

И поковыляла в коридор. Капуста была мягкой и склизкой, но не противней всего остального.

- Я честно пошёл налево, - говорил Ларионов в приоткрытую дверь, - и меня не пустили, был переучёт. Я пошёл направо, и мне наврали, что лезвия кончились. Попросил у ребят, у меня ведь электробритва, дали ржавую и ничего не вышло. Ты что имела в виду?

- Я не пифия. Я думала о верёвке. Какого чёрта ты прицепился к бритве?

Она прилегла на кровать и укуталась в покрывало. Стало тепло и темно.

- Может, сразу в постель?

- Мне нельзя, - испугалась.

И сгорела от ужаса и стыда, превратилась в дым.

Где-то глухо стенал Ларионов, выводя свои «будь я проклят», «какая скотина», «ну

скажи что-нибудь». Всё это было и могло продолжаться до бесконечности.

- Потом, - уже засыпала, - завтра, послезавтра, послепосле...

В пустой комнате висело зеркало. Аня по воздуху подлетела к нему и медленно, словно облако, опустилась на землю. Из зеркала на неё смотрела немолодая женщина. И зеркало было старым, тяжёлым. В левом нижнем углу чернело круглое пятнышко с разводами по краям. Женщина улыбалась.

- Ты кто? - спросила Аня.

- Ты.

- У тебя не моё лицо.

- Ты, - повторила женщина. - Ты через тридцать лет.

Аня устало кивнула, она так она.

- Помоги мне собраться.

- Я уже ничего не умею, - виновато сказала Аня. - Ты же знаешь... Ларионов, он забирает всё.

- Дай руку.

Аня приложила ладонь к стеклу, к тому месту, где у них было солнечное сплетение. Стекло затуманилось и задышало толчками.

- Бухает! - крикнула Аня. - Да здравствует мировой огонь! - И закружилась под потолком, будто разом оторвалась от всего, что тянуло её к земле. – Значит, правда, что он мерами вспыхивает и угасает, и я не умерла и уже не умру?

- Пока я жива... и так далее, - засмеялась женщина. - Выше голову, смотри, какая ты рыжая.

- Значит, было и будет? Я ничего не придумала? Она продолжается, эта так называемая жизнь?

- Ой, болтушка... - Женщина закатила глаза, копируя Аню. - У тебя, случайно, нет литовских корней? Жаль, прославилась бы, как Балтрушайтис.

- Я никогда не примкну к символистам, - гордо ответила Аня, - у меня их серпы и молоты вон где сидят. Да, я грубо говорю и пишу грубо, мне надо быть сильной, у меня нет выхода, потому что «грубым даётся радость», а мне без неё нельзя.

- Грубым даётся дурость. А радость даётся мудрым.

- А, - фыркнула Аня, - все умные после того, как наделают глупостей. Ну, я пошла, как говорит Ларионов, труба зовёт. Мне ещё надо вылечить этого хроника, выучиться на кого-нибудь, кто будет меня кормить - стихами, сама понимаешь, не разживёшься, и нарожать кучу детей в количестве двух дур, и вообще у меня ни на что не хватает времени. У тебя тоже так?

- Втрое хуже. Ты особенно не спеши, никакого светлого будущего у тебя не будет.

- А тёмное прошлое? Хотя бы оно мне полагается?

- Иди, иди, ты своё уже получила.

Аня хотела выйти в дверь, но она была заколочена крест-накрест. Вдруг откуда-то дунул ветер, и приоткрылось окно. Аня вспрыгнула на подоконник и, не оглядываясь, спросила:

- Так есть Бог или нет? Ты его видела?

- Видела, - голос звучал далеко-далеко, за морями и за долами. - Но я не верю глазам... я верю рукам...

Аня проснулась. От храпа, который нёсся со всех сторон, перекрывая шум поездов и треск радиолы, моргающей в темноте изумрудным глазом. Включила ночник. Три часа ночи. На диване медведем ревел отец, на полу, скомкав отцовское одеяло, драл козла Ларионов. Спали при полном параде: в ботинках, брюках и пиджаках. На столе стояли две пустые водочные бутылки. Пропили девушку.

Выключила радиолу и ночник, легла и заткнула уши. Сквозь щели ставен пробивался свет прожекторов. Он приливал рывками, как мировой огонь. Ветер раскачивал ветки деревьев и мешал ему гладко течь.

Всё хорошо, стала себя уговаривать, и не тошнит, и отец под боком, и Ларионов под ногами, и октябрь пройдёт. Скоро запишется, всё замечательно, а то, что стала умней, а знания умножили скорбь, тоже неплохо, искусство паразитирует на страдании, как сказал кто-то тоже очень хороший. Ларионов, конечно, любит её, «странной любовью», он сложный человек и она... его любит. Не дай бог зарезался, и прощайте, детки, удавилась бы. Но теперь, когда он живой, почему не хочется ни его, ни кого видеть, не то что любить?

И опять заныло в груди. Обманули, обидели. И месяц светит, и котёнок плачет. И себя жалко и всех.

Ларионов развил целую теорию, антимонию-антиномию о природе сильного чувства, которое необыкновенно стабильно, несмотря на сомнения и разочарования. Дескать, не надо бояться измен, разлук и всяких временных затруднений. Доходчиво, как на картинке из пункта А. Можно согласиться, что скорость и расстояние несущественны, но время... вот её главный враг. Оттого и часы зашкаливают и не совпадает она ни с чем, ни с кем, всё в ней жёстко и перенасыщено, как в соляном растворе без воды.

Жадно живёт? Да. Счастлива ровно настолько, насколько несчастна, то есть по максимуму. И подарки она принимает исключительно царские, и своего не считает добра. Все двери настежь. Потому так холодно в доме.

А чем она отличилась, чтобы ей в экстренном порядке была выделена большая человеческая радость?

Пишет стихи. Но кто сейчас не поэт? Романтика будней у всех отбила вкус к праздникам, и на фоне сплошных побед явление поэта уже не событие, а факт его биографии.

Хорошо учится. Что с того? Это Петьке выучить наизусть три главы из «Мцыри», что взять Рейхстаг. А ей, как в кино сходить за десять копеек. Ну, слепых переводит через дорогу, место в автобусе уступает труждающимся и обременённым, алкашей на улице разнимает, сочинения даёт скатывать, подсказывает с риском для жизни. Но за это не пустят в рай. А вот... мальчишку из лужи вытащила, точно бы утоп.

Нет, не накладывается на неё образ полуобморочной девицы, плавающей в глубинах сознания. Настоящая Аня и плавает по-настоящему. Прошлым летом выполнила норму кандидата в мастера. Кроль, простите, не тургеневский стиль.

Армавирский бассейн один из лучших в стране среди открытых пятидесятиметровок, в дыре проводятся краевые, республиканские и союзные соревнования, есть на кого равняться. Плавательный сезон начинается в мае и длится до октября. Распорядочек будь здоров, ведь её тянули на мастера, как и других разрядников.

Ежедневная тренировка с девяти утра до полудня и с двух дня до семи вечера. Утренний медицинский осмотр, лёгкая разминка, бег вокруг футбольного поля, три круга, а это около

километра, силовая разминка, пятьдесят приседаний со штанговым диском (25 кг, почти финикийский киккар) и бултых в воду, греби на время, пока Николай Николаич, тренер, не гаркнет: «Кончай!». Душ, дневной осмотр, давление, сердце, скажи «а» и витаминные капли в красные от хлорки глаза. То же самое после обеда... какой обед, еле доползала до дома, ставила будильник на без четверти два и падала без задних, да и передних ног.

С октября до мая тренировались в спортивном зале механико-технологического техникума (разминка, баскет, волейбол, регби) и в столовых горах за песчаным карьером. Пересечённая местность была большим испытанием для любящего сердца. За два часа трусцы-трясцы по балкам и взгоркам из него вытряхивалось всё, кроме желания прийти к финишу первой. Опасная установка, хоть и спортивная.

В тот день, пасмурный, но безветренный, по-осеннему волглый, она бежала легко, впереди всех (не умела копить силы и подлаживаться к другим, дух соперничества её выматывал), как вдруг увидела с горки мальчишку лет шести, застрявшего в луже на дне оврага. Он уже не кричал и не колотил по воде руками, а тихо допузыривал свой эксод.

Думать о том, что сойдёт с дистанции, запорет время и вылетит из команды, которая через неделю поедет в Краснодар отстаивать честь родного города, было некогда. Кубарем скатилась в овраг и подхватила мальчишку, потянула на себя. Но, видно, что-то крепко и больно держало его за ноги - булькнул и отключился. С размаху нырнула в лужу, неглубокую, ей до пупа. Оказалось, что парень воткнулся пяткой в разбитую бутылку, вросшую в тину. Она разрыла руками грязищу и всплыла вместе с утопленником и его бутылкой. Оторвать побоялась, так глубоко врезалась в ногу. С этим комплектом на спине и дотрюхала до старта, обливаясь потом и огрызаясь, - все, даже слабаки обгоняли её, подбадривая на бегу. Николай Николаич тут же сделал мальчишке искусственное дыхание, привёл в истошный вой и, посадив на плечи, помчался в ближайшую станицу, где к счастью, нашёлся ветеринар.

Когда они попадали на завалинку в ожидании молока, которым пообещала их напоить мать пострадавшего, Николай Николаич глянул в свою планшетку и сказал: «Значит так: поедут первые семь человек. Лучшее время у Ани...» и назвал остальных. Он был дядька что надо. А мальчишка – дурак, вместо спасиба показал язык. И мать попрекнула: «Чо ж ты, вумная, бутыль не разбила?» Правда, кто-то стукнул в газету, и какое-то общество объявило ей петитом благодарность и просьбу куда-то пойти и получить грамоту и значок, но очень нужно, в тот день она решила бросить спорт. В Краснодар, разумеется, съездила, заняли второе место, но она уже поняла, для чего ей лучшее время.

Я бросаю плавание из-за стихов, объяснила она Николаю Николаичу, спортсменами становятся, а поэтами рождаются. Спортсмена из тебя не получится, как ты им ни становись, ответил он, и стихи ни при чём, ты мне баки не забивай. У тебя самый плохой результат, когда ты идёшь в паре с сильным, тебе неохота гоняться за ним, а в паре со слабым ты нарочно копаешься, тоже из какого-то идиотизма, зато в одиночку и сотку и четырёхсотку берёшь, как зверь. Тебе в команде делать нечего, а значит, и в спорте, потому что главное у нас - массовость и боевой дух. Дай лапу пожму.

В изостудии тоже блеснула. Был показательный урок, пришли деятели из худфонда, чтобы отобрать акварели для краевой выставки. Сан Ваныч набросил на мольберт синюю шёлковую драпировку, а на треноге установил гипсовый слепок с орнаментом и два красных яблока, неестественно живописных. Это её задело, и она всё в точности перерисовала, только яблоки сделала синими, а тряпку красной. Получилось жизненно и правдиво, то есть искусственно и некрасиво. Деятели поморщились, а Сан Ваныч махнул

рукой: «На поэтов не обижаются».

Всегда уходила с треском. Из балета, хора, из кружка юнкоров... наверное, и из жизни уйдёт как-то так. Всегда на переломе ей было и скучно и стыдно, и грустно, и жалко, и дико. По Аристотелю это и есть очищение при помощи страха и сострадания. А разве её любовь к Ларионову не сплошной катарсис? Как цель трагедии, которая разрешается гибелью главного героя. Это я.

Приехали. Конец маршрута, вылазьте, граждане, не забудьте ваши манатки. А я без ничего. А ты не груби. А я не грублю. Ну и канай отсюда.

Аня стояла на троллейбусной остановке возле станции «Новослободская». Ей сказали, что надо сесть на третий номер или на двадцать третий и сойти у «Зелёного дома», где живут менты, общежитие Литинститута как раз напротив. Ну да, кивнула, «и под руководством квартальных надзирателей расцветут науки и ремёсла». - Откуда такая начитанная? - Из города Глупова, откуда же.

Ларионов совал ей в лицо кулёк с черносливом, напирая на витамины, она отводила его руку, а он не отставал, дразнил. Прохожие обходили их, а будущие попутчики усмехались. Кончилось тем, что ударила его по руке, и чернослив рассыпался. Ларионов хлестнул её пустым кульком по одной щеке, по другой, толкнул в грудь и уже занёс ногу... Бить во сне это силу давать, говорила мама. Аня почувствовала, что ещё немного, и она упадёт от сил. И опять проснулась.

Отца не было. На диване дремал Ларионов. В окне занималось хмурое утро, срывался снег. На второй путь прибывал поезд Баку - Ростов добавочный.

- Буду есть. Всё, что есть.

- Есть! - вскочил Ларионов.

И завертелось. Спектакль под условным названием «Семейное счастье» с Ларионовым в роли кормильца чем-то напоминал театр военных действий из «Брусиловского прорыва». Поочерёдно падали ложка, хлеб и половник, сыпалась соль и разбилась тарелка.

- У меня ещё несколько просьб, - сказала Аня, когда он рухнул на табурет, утираясь мокрым посудным полотенцем. - Принеси из сарая дров, затопи печку, натаскай воды, сними с кладовки корыто и дай мне чистое бельё. Я хочу искупаться. Взялся за гуж, не говори, что не муж.

Ларионов был усерден, как дьякон. Он прогугнявил все псалмы. И целомудрен, как церковная мышь. Загородил корыто ширмой, показалось мало, отправился за хлебом, хотя никто не просил.

- Мы с батей в принципе договорились, - солидно откашлялся, убравшись и затерев на полу следы. - Недельку-другую поживём врозь, пока я подыщу квартиру, не вести же тебя в этот бардак.

- Свари себе кофе, а мне чаю. - Аня набрала воздуху, как перед прыжком с вышки. - И да здравствует великий раскол. Я участвую на равных.

Чай отдавал горчицей, кофе был подозрительно чёрным.

- Можно я ставни прикрою?

- Валяй.

Долго возился с занавеской, спичками, форточкой.

- Кто первый? - не выдержала Аня.

- Я мужчина?

Руки предательски дрожали. Она убрала их со стола и зажала между коленями.

- В кладовке. На нижней полке, в левом углу.

Ларионов, крепко озадаченный, пошёл в указанном направлении. Вернулся просветлённый, «мажешь без промаха». Выдул полстакана «Московской» и сбегал за капустой, «ну и гадость».

- Сначала самое подлое. Я трус... и если не сразу, то никогда.

- Налей мне. Чуть-чуть.

- Обойдёшься. Так вот. Я написал роман «Бессмертный Ларионов». Ты его прочла, не отпирайся. Главный герой...

- Я.

- Я. Говорю. Ты. Слушаешь. Потом поменяемся местами. Так вот. Главный герой - вымышленное лицо, плод фантазии. Я его проиграл... чёрт... про-ре-пе-ти-ровал... я его прокатил на тебе... у-у, не могу.

Аня обхватила себя руками.

- Всё, что я говорил, говорил не я, а мой герой. То, что ты говорила, я почти не изменил.

- Спасибо, - выдавила Аня. - Налей мне чаю.

Ларионов гремел чайником, а она отхлебнула из бутылки.

- Я знаю, что ты творишь, - проворчал, не оборачиваясь. - Ты научилась великолепно врать, рыжая девочка. Теперь ты не пропадёшь. Со мной и без меня.

- Только не мелодрама. Я согласна на самую вшивую трагедию. Без хора. Ты меня понял, жирный грек?

- Мой Ларионов чем-то похож на меня, в общих чертах, как впрочем, и Пигмалион и даже ты. Я говорил от его имени, а делал то, что делал я.

- Не важно, что ты сказал, важно, что ты сделал. Евангелие от Ларионова.

- Не хами. Я сотворил тебя из ребра. Вот как теологи комментируют эту легенду: не из головы, чтобы не задирала, не из глаз, чтобы не пялилась, не из уст, чтобы не болтала, не из сердца, чтобы не завидовала. Вживляя каждый орган, Бог приговаривал: будь скромной, будь скромной.

- Вам со мной крупно не повезло.

- Ты спала. Я хотел тебя разбудить. Просьбами, лаской, угрозами. Я испробовал все доступные средства воздействия.

- Так ты не просто мучил меня, ты меня пытал? С этим, как его, пристрастием? «Я умер сразу, как увидел тебя». Боже, какая фраза псу под хвост...

- Постой. Это сказал Бессмертный. Будил тебя я.

- Какой же ты настоящий, смертный?

- Всякий. Моя ложь - чистейшая правда, а правда - наглая ложь. Меня можно забить камнями, а можно причислить к лику святых. Ты бы сделала что?

- Я бы тебя забыла.

- Очень мило. И я бы превратился в миф. Потомки скажут тебе большое армавирское спасибо. А какой-нибудь Неподоба посвятит мне трогательный стишок: «Кубань моя! Уж нет его, а я с тобою...»

- Зачем ты себя подделал? Лавры Поджо не давали покоя?

- Недурная параллель. Но есть предположение, что Браччолини не фальсифицировал

«Историю», а сам её написал. Тацитом лишь прикрылся.

- Мы с тобой бегаем по кругу.

Ларионов выпил ещё полстакана и заел борщом из кастрюли.

- Мой отец - Пётр Румянцев. Дерьмо известное и уважаемое. Маман... и слова не подберёшь, помесь бедной Лизы и леди Макбет Мценского уезда. Сколько помню, страстно ненавидели друг друга. Он был красив как собака и влюбчив как индюк, отсюда масса проблем. Всю свою ревность и неудовлетворённость мамочка вымещала на мне. Порки, тисканья и бесконечные разговоры о её загубленной жизни, зарытых талантах, о ней, о ней... В день выпускного бала я получил в подарок от Елены Сергеевны страшную семейную тайну. Галатеон - предатель, вор и тому подобное. Версия бессмертного Ларионова и незабвенной Фаины Марковны.

- Не смей, - глухо сказала Аня, - или я размозжу тебе череп. Этой бутылкой.

- Шуток не понимаешь?

- Да, когда из-за шутки выглядывает харя.

- Ссылка на источник обязательна.

- Последний христианско-эллинский поэт в России.

- Убила. Ты что, всё подряд запоминаешь?

- Через раз.

Ларионов побегал по комнате и снова уселся, сбоку.

- Не пей, сдохнешь. - Вырвал бутылку, подумал и поставил перед ней.

- И сигареты, - скомандовала.

- Самому мало. Так вот. Я хотел уйти из дома. Но куда? В люди? На фиг я им нужен?! Я пожалел свою светлую головку, слегка омрачённую наследственностью. Но падрино возненавидел. Я взял фамилию деда. Это всё, что я мог сделать в то время. У меня были грандиозные планы. Я писал стихи, кое-что получалось, увлекался историей, благо дедулина библиотека была под рукой. Дело в том...

- Ты его помнишь?

Ларионов замотал головой, словно ему отсидели шею.

- Умер в сорок шестом, от разрыва сердца, - подтолкнула.

- Помню. Мать тайком от отца свела меня к нему. Мне было пять лет. Он дал мне это.

Ларионов положил на стол что-то завёрнутое в чистый носовой платок. Старинный браслет. Две перевитые золотые цепочки и замок в форме чайки. В месте крепления сходились два крыла.

- Дед сказал: подаришь своей Галатее. Я ничего не понял, но имя врезалось. Носи на здоровье, свет Галатеюшка.

Он надел браслет на анино запястье. Чайка прыгала и казалась живой.

- Я не сразу прозрел. Я был благополучным породистым щенком, а кругом было столько красивых сук и верных псов, разделявших мои убеждения... когда я их угощал. Закрутило меня в этом чёртовом колесе. Мотался по заграницам, баньки, карские шашлычки. Бакуриани осенью, зимой Цахкадзор, весна в Фиальте... Пил без просыпу, даже кололся. И вдруг прозрел.

- Как Эдип.

У Ларионова на висках вздулись синие жилы.

- Заткнись! - заорал. - Дура! Я не знаю, о чём вы трепались с Тениным, но нет этого у меня, ты слышишь?! Нет!

- Да не Фрейд, - растерялась Аня, - это миф о царе Эдипе. Он прозрел, но в наказание за

слепоту выколол себе глаза.

- Ну и что?!

- Ты страдаешь - ты прав. Греческая максима. Хочешь хлеба с луком и солью?

Ларионов зажал виски, «тащи». Аня очистила луковицу и посыпала солью ломоть. Жевал и бурчал:

- Тоже мне, грамотей... дохтур по-нашенски.

И получил по затылку.

- Чего дерёшься? - Не разозлился. Спросил и всё.

Еле села на стул. Раскалывалась голова и живот болел, и думалось дико: он, не он, от кого же ребёнок?

Ларионов отхлебнул из бутылки и встал у окна, глядя в щель между ставнями. Плечи его обвисли. Ане вдруг показалось, что она летит в пропасть.

- За полгода до защиты я встретил... - закурил и надолго затянулся, - женщину.

Аня смотрела на свои руки, как Афродита из Милоса, когда её привезли в Лувр и открыли к ней доступ.

- Не умница, не красавица... ничего, кроме улыбки.

Вновь замолчал. Скорей, скорей, стучала зубами Аня, добей меня.

- Судьба, - сказал Ларионов.

Ей почудилось, что её обступили люди, много людей. Они толкались и перешёптывались.

- А во что ещё можно влюбиться? В запах, улыбку, голос...

Неужели врёт?

- Мы прожили три сумасшедших месяца. Я привёл её в дом. И Елена Сергеевна, - он длинно выругался, но без звука, - сделала всё... Короче, она сбежала. И вскоре вышла замуж. Поэтому я её убил.

- Кого? - прошептала Аня.

Он повернул к ней лицо, серое рыхлое, словно обёрточная бумага.

- Мать. В романе. Как эпигон Алкмеон жадную Эрифилу. Фиванский цикл. Почему ты ревёшь?

- Псих ненормальный...

Он подошёл и, встряхнув её за плечи, крепко-накрепко обнял.

- Ты дослушаешь до конца, я тебе обещал, - сказал дурным ласковым голосом. - Ты ведь что-то уже понимаешь... в любви.

Он пах её Ларионовым. Чужой, неузнаваемый, он был ещё и родным. Аня поцеловала его в угол рта, туда, где белел тонкий, почти незаметный, но преображающий шрам. Даже когда Ларионов бесился, казалось, что улыбается.

- Откуда он у тебя?

- С ведьмой поцеловался. - И разомкнул ладони.

- А что тебя напугало в ванне, когда ты был маленьким?

- В ванне? - наморщил лоб. - Странно... разве я говорил? Ну, если хочешь... Глупая история, скорей нечаянная. Я застал мать с отцом... за этим делом, в ванне. В оченно неожиданном ракурсе, как-нибудь покажу. Подумал, что они убивают друг друга, и поднял рёв. Отец зашвырнул в меня мыльницей и рассёк губу. Но ты не могла догадаться, кто тебе рассказал?

- Приснилось, как-нибудь расскажу.

- Стерва. Обязательно должна дать сдачи.

- Это я пародирую твой разговор с Тениным. Про брата Колю и анекдот с бородой.

- Пошленько?

- Запоминается.

- Благодарствуй, Лиса Патрикеевна.

- Не за что, братец.

- Уймись. Так вот. Квартира на Фрунзенской набережной не моя. Явочная, румянцевская. Когда я порвал с маман, он предложил мне пожить там, временно. И на лето одалживает. Примачок я, имей в виду.

- Ой, - подскочила Аня, - значит, деда прибил не ты?

- Следи за словами, дура.

- Сам следи. Он кагэбэшник?

- Кто? - вытаращился. - А, явочная квартира... - И расхохотался, до коренных зубов. - Нет, девочек водит. И размышляет о судьбах мира, когда получает по носу. Так вот. Я драпанул из Москвы. Отец подбрасывал денежку, названивал ректору, но... у нас разные боги.

Аня поймала его взгляд.

- Ты и сейчас её любишь?

- Люблю. - Упёрся ей в голову подбородком и несколько раз надавил. - Как инвалид ампутированную ногу. Он привык к протезу, но не к мысли, что он инвалид.

- Один глоточек, - взмолилась Аня, - ну пожалуйста, я больше не буду.

- Пей, ласточка, пей.

- И сигарету, ради бога. Честное слово, я не курю.

Он бросил пачку на стол. Третья за утро. В комнате плавал слезоточивый дым.

- Теперь о тебе.

И опять подошёл к окну. И опять она струсила.

- Как ты в пампасах сказала? Из конца в конец? Двинули. - Расправил плечи. - Я увидел тебя. Ну, чуточку воспылал. Ляжки твои мне понравились, когда ты по склону... - Он двумя пальцами изобразил её восхождение. - Стихи были так себе. Но чем-то ты меня зацепила. Чем? Я никак не мог понять. Попробовал раскрутить тебя в Элпис, но она получилась тёмная и плоская, как греческая иконка. Тогда я решил написать «Ларионова» и шаг за шагом проследить, что же мне примерещилось. Лично я на героя не тянул, еле передвигался на костылях, да и не думал, что вызову в тебе такую бурю. Ну встань на моё место: дыра, смертная скука, педагоги-педамагоги, служебный роман, брр. И вдруг свободная тема, захватывающая игра. И материал живой, не затасканный. И ветер дул в спину, и ты так соблазнительно удирала... эй, не затягивайся.

Во рту было горько и подташнивало, но сидеть без рук, ничего не делая, ну не каменная же она.

- Я и трахнул тебя из любви к Набокову. В порядке бреда... и встречной инициативы. Ты сама лезла на меня.

- А... - без голоса крикнула Аня, бросаясь к нему.

Ларионов поймал её и скрутил каким-то молниеносным жестом, рванув на себя, и держал, пока она билась, и заговаривал, заговаривал: ну, ну, успокойся, что за страсти-мордасти, хорошая девочка, рыжая, не курит, не пьёт, с бабами не гуляет, мы её замуж возьмём...

Аня всхлипнула, но не расплакалась, а закатилась от хохота, что бурлил в ней и клокотал, как бронхиальный кашель, переходя то в свист, то в хрип. Ларионов легонько

шлёпнул её по щеке.

- Сон в руку! А ну-ка ударь, по другой щеке, сейчас я проснусь!

Наверное, он решил, что она спятила, и нёс про Аттиса умирающего и Осириса воскресающего. От кашля началась икота. Он насильно влил ей в рот воды, но она захлебнулась и снова зашлась.

- Ты моя жена! - рычал, перегнув её пополам и вытрясая слюни. - Прекрати истерику! Немедленно! Я сказал!

- Т-тебе н-ну-ж-ж-на м-моя с-све-ж-жая д-д-д-дворняжкина кровь? ч-чтобы поднять себе веки?

Влепил затрещину, не тяжёлую, но звонкую, искры посыпались из ушей. Свалил на кровать, вырвал из-под головы подушку и придавил к лицу.

На асфальте, разлинованном, как тетрадка по чистописанию, были нарисованы семь бегущих кроликов. Ларионов в чёрной сутане, постукивая указкой по ладони, что-то нудным голосом объяснял группе людей, стоявших под развесистым дубом. Кролики были похожи друг на друга, как семь бед с одним ответом. Выведенные розовым мелком, они не то что бы удирали, а резвились на гладковыбритом асфальте. Аня подняла мелок, валявшийся у неё под ногами. Вы так прекрасны, сказала она Ларионову на «вы», так и проситесь на асфальт, я вас нарисую. Отойдите, тоже на «вы» сказал Ларионов, вы мешаете говорящим и преграждаете путь бегущим. Кролики опасны только во сне, возразила Аня, они - враги, которые прикидываются друзьями. Гуляйте по кладбищам и музеям, словно не слыша её, продолжал проповедовать Ларионов, это места великих погребений плоти и духа. Спокойствие, вкушаемое в сферах сих, насыщает уверенностью, что дольний мир преходящ, всё произошло из праха и всё возвратится в прах, и потустороннего не дано. Аминь. Что это с ним, подумала Аня, кого он разыгрывает на этот раз? Она отошла и нарисовала Ларионова, бегущего к ней в распахнутом пальто. Получилось неряшливо и надумано.

- А-нич-ка...

Горела настольная лампа. У дивана, в её «живом уголке». Дома. Вот счастье.

- Где папка?

- Дежурит. А что?

- Пить.

Напилась и закрыла глаза. Сквозь веки пробивался зелёный вечнозелёный свет. Ларионов разговаривал сам с собой: «да, негодяй... да, подлец... каких мало... очень мало... может, и вовсе нет». В паузах прихлёбывал и чертыхался.

- Тебе лучше? - спросил.

Пошевелилась.

- А мне полегчало. Выговорился, и словно камень свалился с души. Как я раньше не сообразил, что в покаянии срабатывает аристотелевский катарсис? Здорово, да?

Ей следовало промолчать, но откуда столько ума?

- Грешить и каяться - национальная черта русского характера. Фрейд.

- Подумаешь, гигант мысли.

И по комнате, разгоняя ветер и дым.

- Зигмунд делал судорожные усилия, чтобы сосредоточиться на одной проблеме, и это ему удалось, зациклился.

По полу покатилось увесистое, но не железное и не стеклянное.

- Чёрт знает что! Все, кому ни лень, считают своим долгом высказаться о русском характере. Громадное пространство притягивает нищих и варваров. Мегалион тартар, Великая Бездна, так называли греки тартаро-мегалионскую Русь. Татаро-монгольской её сделали пруссаки.

О чём он говорит? Что ещё можно сказать?

- Какими чертами нас только ни наделяли... Тут тебе и мечтательность, эдакая идиотическая склонность к мистицизму, и природная отзывчивость, которая, надо же, прекрасно уживается с нерадивостью и отсутствием самоуважения, и скудость идей, и зоологическая стадность, и отвращение ко всему, что несъедобно. Воры, к тому же, кляузники, чинодралы, а уж взяточники... не приведи бог. Везде побывали, всего натворили. Вот разве что Ирод без нас обошёлся, и гугенотов не мы почикали. А и ладно, велика Расея, сколько на неё собак ни вешай, всем места хватит. Да, круто всё у нас и разбросано, и добра своего жалеть не умеем, профукали маменькино благословение! По сей нужде и сидим на фрейдовском символе и радуемся, какие мы загадочные.

Можно. Сказать можно всё. Вместо того, чтобы сделать. Или не сделать. Женщину, например, не обидеть. Время такое. Педагогическое. Демагогическое. Много бахарей (вместо пахарей) развелось на ничейной земле. Уговаривают, зовут, поучают с пеной у рта. А кого? Тех, кому начхать и на родную Смирну и на горячо любимый Талды-Курган. Они и не знают, что ругательный «демагог» - предводитель демоса, городской толпы, то бишь их народный избранник.

Высокие беспощадные думы одолевали её избитую, плавающую в крови женщину. Она впервые думала о себе, как о женщине, и в этом не было ни удручающего, ни утешительного.

- Знание! Сознание! - не унимался Ларионов. - Стоит только вдуматься, войти в смысл чего бы то ни было, как форма расползается на глазах, и разверзается пропасть, дыра, лишённая всякого смысла. И ты всякий раз стоишь над ней, как дурак, и ждёшь той самой звезды...

- А когда она появляется, говоришь: тьфу, плевочек.

Он внезапно умолк и начал рыться в карманах. Тренькала мелочь, шуршали бумажки. Наконец свалил в кучу и Фрейда, и русский вопрос, и волхвов с их дарами и, переступив через неё, разлёгся на диване. Ане показалось, что и лёжа он куда-то бежит.

- Но ты ведь так тонко чувствуешь... Могла бы и ухватить, что Бессмертный выламывается из всех конструкций, что от главы к главе он становится всё омерзительней и честней. Я выздоравливал, ты понимаешь? И на каждой странице есть ключ.

- Я тупая, у меня даже бретельки одна уже другой или шире, не помню. И детсадовские трусы. Спасибо, что не в горошек, как у Ленина. Я со всех сторон недоделанная и недоразвитая, таких в Спарте убивали ещё в роддоме.

- В Спарте не было роддомов.

Присел на кровать и принялся гладить ей руку. Наткнулся на шишку.

- Кен гу ру? «что это?» по-туземски.

- От укола.

Он сморщился, словно ему прищемили тройничный нерв. Но страдал недолго.

- Вот тебе для пробы две сентенции. Первая: не делай другому того, чего не желаешь себе. Принцип Гиллеля, которым восхищался Иисус. Принципом то есть. Вторая: не делай того, что порицаешь в других. Древнегреческая мудрость. Найди мне разницу.

- Ещё раз.

Он повторил.

- Первая: отрицание отрицания. Вторая: отрицание порицания.

- Расшифруй.

- Первая для тех, кто ещё не понял, вторая для тех, кто уже не поймёт - их нет, ни живых, ни бессмертных.

- Ты о ком?

- О великих греках, разбросанных не по миру, а по кладбищам и музеям.

- Я проще скажу. Первая - религиозная, сугубо нравственная. Вторая - морализаторская, на дурака, не боле. Не боле, заране, с кем поведёшься. Но признаю, ты стала мыслить логически, теперь я перед тобой бессилен.

- И для чего эта проба?

- Ай, да молодец, чётко печатаешь шаг. А теперь открой уши. Я написал не физиологический опус, а экспериментальный роман. При чём тут ты? Литература от жизни отличается, как божий дар... у вас нет яиц?

- В кладовке, на третьей полке, в детской корзинке.

- На третьей сверху? снизу? а, Аристотель?

- Сам.

В кладовке было пять полок. Ларионов на диво быстро разобрался и с этой задачей.

- Пусто.

- Они тебе понадобились для примера?

Надо было рассмеяться, но откуда столько глупости?

- Всё отдал бы за яичницу. Кстати, французы её называют «путанные яйца». Мудрые чудаки, так и просятся в аббревиатуру. Но не исключено, что «путать божий дар с яичницей» вылупилось из этих путанных яиц. Сбила ты меня.

- Литература и не.

- И да. Разница между ними, как между двумя упомянутыми сентенциями. Не спеши наклеивать ярлыки, на спех тебе это надо? Аморален Ларионов или морален, значения не имеет, нам с ним детей не крестить. Он такой, какой есть и должен быть, иначе он не герой, а деталь пейзажа. Ты ведь тоже несёшь всё, что прёт из тебя, а не то, что похвалят или напечатают.

- Да, я пишу что думаю, а поймут меня так или никак, от меня не зависит. Но какой мне быть, решаю я. А какой должна быть, не буду, я никому ничего не должна. Я свободная, понял? И никто меня не заставит делать то, чего я не желаю другим и себе.

- И я хотел написать свободный роман, а что это, не расчухал.

- Сказать? Свободный – это незаконченный, когда каждый по-своему додумывает конец. Как у тебя с запиской.

Высмолил две сигареты подряд.

- Да, я заскучал, на самом, казалось бы, интересном месте. Мог обыграть Галатеон - Галатеос, получилось бы, что дедулю заложила мамочка... недалеко от истины, ей он обязан своей одинокой старостью. Заодно был бы оправдан интимный характер записки. А, к чёрту.

- Всё испортила последняя фраза. Гвоздевая.

- Пророческая.

- Ты не веришь в пророчества.

- Я верю в желания. Они иногда сбываются.

- Я прочла О'Нила, - как во сне сказала Аня. - Там тоже один идиот вешается, но верёвка обрывается и сверху летит клад.

- Сначала переспала с офицером, а потом легла на рельсы. «Анна Каренина» в изложении Ани Ларионовой. Когда начнём оформлять бумажки?

- Зачем тебе это?

- Затем. Правда ведь кончилась, мы прошли её из конца в конец.

- Измерено.

- Проси что хочешь.

- Не печатай роман.

- Исключено. Я спрашиваю в запоследний раз...

- Никогда, - улыбнулась Аня. - Никогда я не буду твоей женой. Но ребёнок у нас будет.

Шли персы в войлочных шапках и пёстрых рубахах, за ними - злопамятные мидийцы в чешуйчатых панцирях, с короткими копьями наперевес; в огне и дыму пронеслись бритоголовые эфиопы в барсовых шкурах: одна половина тела окрашена гипсом, другая суриком; ряд за рядом вышагивали ликийцы в пернатых шапках, халибы с рогатинами, пафлагонцы, каспии, ассирийцы, парфяне, согды, саспейры, мары и матиены. Ксеркса не было среди них. Он сбежал, проиграв Саламинскую битву. Геродот написал в «Истории»: «Ксеркс так быстро бежал назад, что до самой Абдеры не снял пояса ни разу». Абдера, страна дураков, всё сходится. Но персидское войско двигалось в обратном времени, к Фермопилам, где его поджидали спартанцы во главе с царём Леонидом, горстка храбрецов по сравнению с пятимиллионной тучей будущего абдерца.

- Доброжелательность в природе русского характера.

Кто сказал? Демокрит? Протагор? Анри Труайя? Тоже армавирские, тьфу, абдерские, кроме Тарасова, но бывшие, разумеется, невозвращенцы. Неужели Ксеркс? Нет, Ларионов.

- У французов она вытеснена любезностью. Я счастлив, говорим мы. Я доволен, они. Как мила! мы. Приятна, они. Однажды на великосветском банкете, который папочка закатил по поводу моей блестящей защиты, я спросил у маленькой француженки, очаровательного мышонка лет пяти: ты любишь папу? Дурацкий вопрос, но о чём-то надо было болтать, пока её мама порхала между зернистой икрой и басом из Ставрополя. Детка воскликнула: о да! он со мной очень любезен. Я бы повесился, если бы это сказал мой ребёнок.

- Откуда взялась француженка?

Ларионов стоял у вешалки и выворачивал карманы пальто. Глянул с недоумением, как будто заговорила не она, а печка.

- Ревнуешь? Искренне рад.

И вынул перчатки.

- Папочкина знакомая. Большая поклонница всего большого и русского. И большая оригиналка. Нашла, что её мышонок ужасно похож на меня, «как два капля шампань», так и выразилась.

Надел перчатки и направился к ней.

- Ты что, душить меня собираешься?

- В худшем случае она мне сестрёнка. - Остановился на полпути. - Не злобствуй, помни о нашей природной доброжелательности.

- Я устала, - потеряв терпение, сказала Аня. - И ты пойди отдохни.

- Выгоняешь? Дождь идёт, между прочим, - проворчал, набрасывая на шею шарф. - Ах, как это по-русски, не поминая зла и добра... ах, как это по-русски...

Он выпрямился и вдруг упал, как подкошенный, вместе с вешалкой и посыпавшимися с неё шапками и газетами.

Глава 88

- Он живой?

Ларионов лежал на её кровати, вытянувшись в струнку, и не двигался и не дышал. Тенин вбухал в него два укола. Аня смотрела на заострившийся нос, запавшие щёки, на оголившийся лоб и думала, что в покойном лице есть что-то иконописное.

- Теперь он проспит до утра и встанет вот с таким языком. - И жестом опытного мясника изобразил, как взвешивают на ладони кусок сырого мяса, прикидывая, на сколько он потянет.

Аня завернула в простыню попадавшие с вешалки вещи и отнесла их в кладовку. Тенин с детским любопытством разглядывал комнату.

- Какие симпатичные попугайчики. Твоя работа?

- Подарили.

- А это уточка или кролик? - Схватил свистульку и фукнул. Вырвался пересохший сип. - Почему не мявчит?

- Она водяная.

- А ну, залей.

И пошёл перекатывать сладкогорлые пузыри. Наигрался, поставил на место и тяжело опустился на стул, «э-хе-хе».

- Уютненько у тебя. Печку сама белишь?

- Домработницу нанимаю.

Не грубила - придерживала.

- Как началось? - И попросил чайку.

Аня поставила чайник на плиту и вкратце пересказала. Выслушал. Выпил. Без сахара.

- Часика через два будет ясно: везти в больницу или оставить тебе на память. Я посижу?

- Сидите.

Он не обращал никакого внимания на бездыханного Ларионова, как будто его уже похоронили и сверху поставили памятник.

- Ты приляг, а я за столом покемарю. По-стариковски.

Она и спросила:

- Вы себя чувствуете стариком или вам нравится так думать?

По-мужицки растёр лицо обеими ручищами.

- Я чувствую себя стариком. И мне это нравится.

- Сколько вам?

- Скоро шестьдесят, а пока тридцать с хвостиком. В рассуждении сего и верчу им туда-сюда.

- Лида старше вас?

- Аж на десяток. Она первая, а я последний. Нас у мамани семеро. Одна вырастила.

Батя пропал без вести. На любовном фронте.

- Я про Лиду, вашу жену.

- Я не женат. Это его, - мотнул головой в сторону кровати, - холостые фантазии.

- А четверо казачков?

- Мои племяши. Когда Павлуха убился, Лидин муж, шофёром он был, рейсовиком, я приехал к ней на подмогу, да так и застрял. Дыра засосала. - Он собрал со стола остатки ампул, тампоны и бросил их в мусорное ведро. - А жениться женюсь. Дело новое, но попробовать можно. Ты бы пошла за меня?

Ларионов не шелохнулся.

- Последнее время я только и делаю, что выхожу замуж. Он решил, что ни на что другое я не гожусь. Посмотрите на меня, Тенин, разве я похожа на жену?

- Не очень. Ты вообще ни на что не похожа.

- Ага. И мне это нравится.

Щёлкнул пальцами, «вот».

- Что «вот»?

- Рефлектируешь, как он. То, что тебя задевает, прокручиваешь по многу раз, пока не сотрёшь.

- Мне чужого не надо.

- А ты не бери.

Аня открыла рот, чтобы и ему кое-что посоветовать, но по лицу Тенина пробежала судорога, и он резко пригнулся к столу.

- Язва?

- Угу. Дай чемоданчик. Сливочное масло есть? Манюсенький кусочек.

Прямо с ножа взял зубами масло и с усилием проглотил, отпил из флакона с отодранной этикеткой и погрузился в свои мучения.

Не дом, а целый лазарет. Может, она притягивает несчастья? Но все говорят, что у неё «лёгкая нога», в смысле: куда ни ступит, расцветают розы.

- Почитать сонеты Шекспира?

Стихи писала всегда, а читать не любила, ни вслух, ни глазами, но эту книжку заставила себя домусолить, так что уже без паники принялась за Пушкина.

- Давай.

Аня начала читать, не переставая удивляться своему абсолютно чужому голосу. Тенин медленно отходил.

- Я слушал тебя по радио. Хорошо читаешь, будто ведёшь за собой.

- Я не поводырь.

- Ой колючая, вся на иголках.

- Вы говорите, как поэт, вы смешиваете понятия.

- И этот меня обзывал поэтом. Есть такой грех, путаюсь я в словах.

- Смешивают раствор, чтобы скрепить им разломы... «трещина прошла по сердцу поэта», как сказал Шиллер или Гёте, кто-то из них, а путают яйца и божий дар.

Тенин поскрёб волосатой лапой в мохнатом затылке.

- Заковыристо.

- Проще простого. «И я умолк подобно соловью, своё пропел и больше не пою». То, что в поэзии называют сложностью, обыкновенная путаница.

- Не спорю, но в психиатрии полно сложных случаев... вон, например, лежит. Не хочешь спросить, что с ним?

- Мне важно не что, а как. Сама вижу.

- Тема закрыта. Не накормишь меня, скажем, через полчасика какой-нибудь поганой кашкой?

- Есть манка, пшёнка, молоко кончилось, могу затируху.

- Манку.

Аня сходила в кладовку и принесла мешочек с крупой. Заведённым движением набросала дровишек в печку, вскипятила воду, тонкой струйкой всыпала манку и размешала. Тенин, положив голову на сложенные руки, молча за ней наблюдал, как школьник с парты в окошко за прыгающим на ветке воробьём.

...За ночь похоронив «мертвецов» и сдав сочинение, Юра вызвал её на три слова к Доске почёта, что висела в закутке возле чёрной лестницы.

Давно, ещё до нашей эры, Хава выгнала её с урока за болтовню, и она, чтобы не попасться на глаза завучу, засела на корточках в углу под этим иконостасом, на котором красовалась её фотография отличницы первого класса. Завуч, как нарочно, вышел на лестницу покурить и, конечно, застукал её. Ай-яй-яй, сказал, выяснив что к чему, и не стыдно тебе перед ней? и ткнул пальцем в снимок, посмотри, какая серьёзная девочка. И даже ругаться не стал. В тот день Аня дала себе слово больше не попадать ни на какие доски, ни на какие долговые столбы. Воспоминание в воспоминании, ларионовский заворот.

…Юра с ходу выложил: я тебя люблю. Она тоже с ходу: не за что меня любить. А он: ни за что и любят. Пришлось объяснять как маленькому, что и она его любит, но братской любовью, и утешать, что когда-нибудь он встретит свою пастушку и полюбит её ни за что. Юра не зря весь вечер листал Шекспира. Трагически продекламировал: «особенной любви достоин тот, кто недостойным душу отдаёт». И ушёл. Сдержанно, по-английски.

После Пушкина она не притрагивалась к сонетам. «Как дай вам бог любимой быть другим» затмило всё вокруг. А в темноте открылось, что нет в любви достойных и недостойных, а - одни единственные.

Тенин с аппетитом съел свою поганую кашку и, кажется, задремал. Аня свернулась калачиком на диване, но сон не шёл, хотя слипались глаза и разбегались мысли.

Скрипнула дверца шифоньера, Тенин укрыл её маминым пуховым платком.

- Как с вами тихо-мирно, - поблагодарила, - неужели так бывает в жизни? Не надо бить по воде руками и пускать пузыри. Для чего вообще существуют лужи?

- Пускать кораблики.

И этот всё знал.

- Каждый идиот хоть что-то, да понимает; каждый, кто хоть что-то, да понимает – идиот.

- Что за глупость?

Кажется, рассердился. Но ведь листал Аристотеля, если верить Ларионову. Почему бы не посмеяться, всем четверым? Древние не сомневались, что «Аналитики» были написаны шутки ради.

- Доказательство по кругу, не ясно?

- Темно, как в лесу в двенадцать часов ночи.

Аня сделала страшные глаза и начала подниматься.

- В двенадцать... часов... по ночам... из гр-роба встаёт... бар-р-рабанщик...

И вскрикнула на ларионовский вскрик. Нет, он не очнулся, но вздрагивал и напрягался изнутри, словно был накрепко связан.

- Не могу, - прохрипел, - дурею... дурею я от тебя...

Ей захотелось, чтобы обрушился потолок или произошла какая-нибудь другая, но не эта дикость.

- Он кололся, - зачем-то сказала.

Тенин посмотрел на неё с интересом.

- Само собой. У него смазанная реакция на анестезаторы.

- Так значит, зрячим был не я, а слепой Тиресий?! Ну, мать моя...

Ларионов затрясся, и кровать затряслась под ним. Со спинки соскочил никелированный шарик и покатился по полу.

- Из фиванского цикла, - кинулась к этажерке, - вы не думайте...

Тенин прочёл, «чушь собачья», и вернул ей мифы.

- Сними эту дрянь... скорей...

- Выйдите, - вцепилась в Тенина Аня, - прошу вас, он не в себе.

- Этот репертуар я знаю наизусть. - С силой разжал ей руки. - А ты бы вышла. Приказываю как врач.

Аня пулей вылетела в коридор, но и там было слышно всё, что кричал Ларионов, что и раньше ей говорил. Господи, сделай, чтобы они не услышали, молилась она на соседскую дверь, откуда доносился отцовский храп и крадущиеся шаги тёти Клавы, их сожительницы по жакте. Недосмотревшей за своим безголовым греком и в конце концов оставшимся без головы. Буквально. Спьяну попал под поезд.

К дому подъехала «скорая» и посигналила. Что-то толкнулось в ней, крупно, как ребёнок, и разлетелось на маленькие клочки. Психологический взгляд. «У тебя проблемы?» Поэтический вечер. Привокзальный сквер. Ларионов вытаскивает из кармана шарф, и на землю падает автобусный билет.

Аня вошла в комнату. Тенин быстро кидал в чемоданчик пустые ампулы. Ларионов невидящими глазами смотрел в потолок.

- Я заберу его?

- Забирайте, - спокойно ответила. - Спасибо за предметный урок. Так и было задумано?

- Послушай... - У Тенина не поворачивался язык. - Я не мальчишка в игры играть... да и ты... потом мне скажешь «спасибо».

- Уже сказала. - Аня подошла к Ларионову и положила ладонь на его пылающий лоб. - Кстати, дохтур, почему вы всех тыкаете?

- Дохтурская привычка, - пробормотал. - И деревенская... у нас в Лебедянке...

- Поторопитесь, машина ждёт. - И поцеловала Ларионова в тоненькую полоску в правом углу рта. - До новых встреч в эфире.

Глава 89

Если бы не записка. Тем бы и кончилось, как в землю ушло: сначала по колено, потом по пояс, по грудь... и с концами. Но час назад соседский мальчишка, «длинный дал», сунул ей эту бумажку, смятую, словно нарочно исцарапанную вкривь и вкось, дурацкую и по-дурацки злую: «Соизволь проводить в последний путь, сегодня, в 14-45, поезд Баку - Москва, 1 вагон, безвременно Твой».

И вот, всматриваясь в каракули и разводы, что сливались и расплывались перед глазами, она думала, а будильник громко отсчитывал минуты... сорок одна, сорок две, сорок

три... о чём? да ни о чём не думала, не о чем было думать, надо было решать: идти? не идти? но не решалось, не разрешалось и не могло разродиться, пусто было и всё.

И только когда за окном лязгнули тормоза, и первый вагон проплыл, мигая бельмами занавесок, она сорвалась, как есть, в тапочках на босу ногу, в расхлюпанной кофте, и с крыльца, через забор ринулась вслед за поездом, поезду наперерез.

Скорый стоял семь минут, она знала, и что успеет, и что... Кто-то хватил авоськой, «дура! шею свернёшь!», носильщик вильнул тележкой и врезался в почтовый контейнер, посыпались чемоданы, взвизгнул навстречу милицейский свисток. Перемахнула, перелетела и носом к носу столкнулась с тем, кого узнала бы из одного.

- Аня? - И выронил сигарету.

Старый Ларионов, старый, словно они прожили с ним целую, бесконечно долгую жизнь.

- Нет! - крикнула. - Где он?!

- Там, - засуетился, отступая вглубь тамбура, - второе купе.

На диванчике справа сидела та самая, из Вышеграда, покачивая ногой в чёрном ажурном чулке, и щурилась выпуклыми кукольными глазами и морщила короткий напудренный нос, как это делают близорукие и брезгливые. Слева, облокотившись на диванный валик, полулежал Ларионов, что-то жевал и кривенько улыбался. Увидев её, дёрнулся и кивнул.

- Мне удалиться? - пропела Елена Сергеевна, продолжая качать чулком и туфелькой лёгкой изящной обуви.

Крепкие сапоги на меху, привалясь друг к другу, стояли под столиком.

- Не надо, - опередив Ларионова, ответила Аня.

- Я ждал тебя, - укоризненно произнёс, поднимая брови, - я ждал...

Два дня она провалялась в жару.

- Как трогательно, - вздохнула Елена Сергеевна, - сейчас я заплачу.

Сквозь занавески пробивался тоскливый свет. Международный вагон, купе на двоих, кино.

- Поедешь с нами? Маман присоединяется к просьбе.

- Куда? - растерялась Аня.

- Он вас разыгрывает, - звонко сказала маман. - Такой у него характер...

И переливчато выругалась. Аня почувствовала, что кровь отлила от лица и тяжело ударила в ноги.

- Скажи что-нибудь. - Ларионов порывисто встал и заслонил собой окно и диван с чулками. - А-нич-ка.

- Я умру без тебя.

За спиной Ларионова раздался сухой смешок.

- Ах, избавьте меня от похоронных подробностей. Где этот старый осёл?

- И-а, - послышалось сзади.

- Заткнись, - проскрежетал Ларионов. - Оба заткнитесь. Ты понимаешь, что говоришь?

- Поцелуй меня навсегда.

Он потянулся к ней, но поезд поехал, и она, испугавшись, бросилась из вагона и спрыгнула на ходу.

Вместо эпилога

Аня нарисовала чёртика и большими печатными буквами вывела: конец.

Вот и вся история-предыстория её архаического периода. Первая часть написана любящими глазами, какими она смотрела на Ларионова и он смотрел на себя. Вторая – вслепую. А как ещё читать свои мысли?

Много скобок, кавычек, затекающих фраз. С детства не любила углы, вечно на них натыкалась, может, поэтому любила круги. Особенно те, на которые возвращается ветер надежд, перемен и воспоминаний.

Зачем ей понадобилось воскрешать прошедшее время? Но жизнь с её прошлым, настоящим и будущим похожа на дом: фундамент, стены и крыша, сквозь которую можно увидеть небо в алмазах. Она его и построила, чтобы поселить в нём друзей. Сбылась мечта идиотки.

Картинка, прости господи, тёмная, темпера на сырой штукатурке, но воздух как будто дышит, и позы шевелятся. Остальное додумает читатель, слышащий да услышит. И то правда, каждый нуждается в том, что имеет: умный – в уме, смышлёный – в догадках, наивный – в сочувствии. Ларионов бы ухватился за эту скользкую мысль.

Всё вышло, как он предсказал: и муж, пьяница и дурак, и возмущённый коллектив, и чужбина, и Пигмалион. Не грек, не художник, сто тысяч «не» и вообще единственный. Друг. Разрешающий все проблемы и даже замахнуться, но растворяющий кулак. И Ларка, рыжее отродье, и Нойка, беленькая моя.

Нет, не проговорилась. Просто захотелось ну, хоть что-то сказать от первого лица. Нас ведь учили с пионерских лет быть всегда первыми и готовыми, жаль, что не объяснили, на что и к чему. Теперь понимаю, что ко всему и на всё, уж больно непредсказуема жизнь в нашем дивном отечестве. Потому и дивятся на нас, а мы – на себя, а я вдобавок – на Аню, натворившую без моего согласия столько собственных глупостей. Но от неё не отказываюсь, чёрт со мной. И герои мои в чистом виде не сохранились - иных уж нет, а те... и вовсе мне не друзья.

- Мам! Ты брала мой браслет?

Узнаю родное дитя. Выросло на мамину голову. Сперва «дай поносить», а теперь «мой». Как бы не так, мой он, ларионовский, подаренный не на память, а на здоровье.

- Очень нужно!

- Tant pis!

«Тем хуже». Для меня и вас, незримо присутствующих. Ёмкое выражение, не требующее пояснительных затрат. Не привыкать, чем хуже, тем лучше, мерами

вспыхиваем и мерами угасаем.

Ларка – француженка до мозга моих костей. Патлы, драные джинсы, цепочки, кнопочки, ремешки - всё для отвода глаз. А в плакаре (ихний встроенный шкаф), мама родная, чего только нет (и этого нет и того, люблю сей бесхитростный анекдот, исконно русский, за то, что не от большого ума, а от великого языка), и десятисантиметровая юбчонка и попа-до-полу, греческий вариант, и платьев тьма-тьмущая, одно черней другого, «но это стиль!», с разрезами, прорезями и голой спиной. Если бы не родинки, сгореть со стыда. Но рыжие сраму не имут. Им некогда, слишком быстро растут.

А мамочка, что ни ночь, возвращается на родину. Днём не дают - чавкают, носятся, поднимают столбом европейскую пыль. Мамочка не француженка, у неё национальный вопрос не стоит, а что занесло, не её вина, спасу не было.

Нет, не колбасная эмиграция и не 11 583 волна. Долго рассказывать, но намяли бока сильненько (ударять на «е»), так что не знаешь, в какую сторону повернуться, к родине Ельцина или Хаджи-Мурата. И эдак больно и дак, и всё боком выходит.

Остаётся ночь, каждая божья ночь. Мамочка пишет на родном языке, она бездарная, нет у неё способностей думать по-нерусски, а иначе не заговоришь.

Впрочем, она ни о чём не жалеет и могла бы себе позавидовать, если бы обладала этим напрочь отсутствующим у кентавров чувством. Могла бы и пожалеть. Но всё человеческое ей давным-давно, ещё в Армавире, со средним сдвигом в тридцать лет.

Господи, трижды себя пережила и не чаяла, что допрыгается до таких непреклонных лет. Поэтам полагается умирать пораньше, а русским не просто положено, а вменено по уставу, как солдату по боевой тревоге в три минуты собраться и выскочить из казармы. Угораздило же... хотя заявить, признаться в России, что ты поэт, всё равно что ляпнуть, что ты дурак, всё равно, что щёку подставить. И это при фантастическом уважении к печатному слову. Прочтут, что жить стало лучше, веселей и тотчас поверят, а тех, кто не обрадуется, заставят. Поэты покуролесили и поумнели, строчат в своё удовольствие и помалкивают, понимают, что их работёнка - морока тайная, непохвальная, не то волынка, не то самоволка.

А говорить о себе (о ком же?) в третьем лице, чем и занимается проза, скучно, фу, и ещё раз фу, и, если хотите, стыдно. Дверная скважина, глазок в камере, трепетная шторка в исповедальне - вот они, пограничные посты беллетристического дозора и любованья. И читать чужие письма дурно, и выспрашивать, а так ли было на самом деле, и пристально изучать, все ли пуговки на месте, все ли складки стрелой. С темпераментом соглядатая надо родиться, дудки, не мог из меня выйти писатель, даром что советский.

Но было-не было, а тогда...

Она рыжая и бесхвостая (нечем было вертеть), как дразнила мать, и чеканутая, как дразнили другие (не все, но до сих пор). Он умный (по мнению большинства), красивый (на любителя) и по общему подозрению не в себе. Как бы не так. Он в себе, да ещё как в себе. Там ему хорошо - цветёт мирт и прислуживает рыжая девочка. Странноват? Но он не делал ничего такого, от чего шарахаются лошади, а у женщин случаются выкидыши. У женщин, подчёркиваю жирной чертой. Он был не более сумасшедшим, чем любой из нас. Или из них.

Он учил её писать стихи, и у него это получалось, то есть учить, а у неё – то есть писать. И пусть ни русские, ни армяне, ни французы, храни их бог, не говорят, что именно они открыли её юное или старое дарование, она всегда была, и первым это сказал древний грек Ларионов. А что в редакции армавирской газеты висят на стенде её книжки, «читайте,

завидуйте, это мы!», а в краеведческом музее её фоточка «молодые годы» и расширенная биография, как же, певец родной Кубани, то это скорее недоразумение - ни золотых нив, ни ударных трудов она не воспела, за что в своё время вдоволь наполучала критических тумаков. И сама она – одно большое недоразумение, как «тотемизм», выцарапавшийся в мировую культуру из языка оджибве.

Холодно ветрено было ей в родном краю. И хлеб с виноградом набил оскому и этот, в рифму, пионеров идеал. Но это пища всех бредущих по чернозёмной пустыне, потому что ни диким мёдом, ни акридами после Р.Х. не разжиться.

Что же тянет её туда? Чувство родины? Неудовлетворённой национальной гордости? И да и нет. Можно гордиться, что ты человек, а не кролик, русский, а не шумер, наконец, женщина, мать... действительно, кто ещё, кроме тебя, способен на это? Но стоязыкий патриотизм произошёл от греческого слова «патра», «род». Да, так простенько. А первое правило рода? Не забывай отеческих могил. Ну и, конечно, родина там, где проплывают самые красивые облака, как написал в своём «Дневнике» Жюль Ренар. Правда, читается и наоборот: где самые, там и. На выбор дороже, да не всем по карману. К слову, и греческая «ностальгия» не сразу стала тоской по родине. Всего-то и означает «возвращение с болью». Туда, куда тянет.

Но Ларионов. Таки раздумал печатать роман. Уже в Москве, на прощанье, вручил ей несколько главок «на авось пригодится». Не пригодилось. Кому бы сделалось лучше и веселей, сохрани она этот летаргически-литургический строй? Ну, ещё бы одна амазонка проскакала на великолепном коне вдоль изумительных берегов Эвксинского понта (см. «Чуму» Камю). Ой, батюшки светы, кажется, я плаваю в географии. Кипр ниже и левей, если смотреть из Франции. Ладно, вдоль высохших берегов когда-то безбрежного Фасиса. Опять не то? Ну не знаю, как надо... а иначе, зачем живу? Страшно же любопытно: что там, за дверью в ванной? Но это уже хэмский юмор, иметь и не иметь (подробности в одноимённом романе), а я о любви, о знании.

Спасибо Ларионову, что не погибла Греция, моя первая любовь, моя беломраморная Эллада... так нежно она звучала на эолийском в его устах. А сколько перронов было в моей жизни, со слезами и «ради бога», но все без исключения с двумя «р», спасибо ему.

Его не любили, но никто из тех, с кем сходился и расходился, не сделал ему плохого. Может, ему попадались удачные люди? Или он умел выбирать таких, кто приносит удачу?

Ты тёмная, говорил, ты слепая, иди за мной. Я тебя никому не дам в обиду, я сам тебя так ужалю, что до смерти не забудешь. Не обманул.

Встречи и разговоры – ещё не всё. Бывает взгляд, а за ним - гомеровская эпоха; полукасанье, а это – целая архаика; шаг - и расцвет эллинизма, высокая классика. И есть «речи - значенье…» В глазах темно, а остальное ничтожно.

Ларионов был неотразим, но тогда она этого не понимала. Он ничего не отражал, но всё отразилось в нём. И хорошего понемножку, и страшненького, и смешного. Время было такое. Невеликое. А он был великоват. Росточком. Смеялся: я признаю разговор на уровне глаз, а молчанье – на уровне губ. А глядеть свысока подолгу не мог, затекала шея. Приходилось сгибаться в три погибели.

Нет, что ни скажет она, всё будет узко (так широко он разбрасывал руки, когда она бежала к нему) или низко (так высоко поднимал он её на руках).

О, это был цирковой номер – Ларионов-кариатида!

- Почему баба?

- Да баба я, хуже бабы, и ночки не провозжался, а сам, как этот, стал.

- Нет, ты не этот, ты с другой.

Они разговаривали стихами. С рифмами и как бог пошлёт. Они издевались над хрестоматикой, всё молодо было вокруг, как в первый день мира. И грекам досталось и нашим невтонам и кифаредам. А какие многопудовые устные романы с кинжалами и лилиями в гробу они сочиняли наперегонки, абзац за абзацем, подыхая со смеху и падая на траву, когда была. И где-то между «и тут он достал из ножен буланый меч» и «она приликла к окну» он, потемнев глазами (серые, серые, всегда холодные), вдруг тихо спрашивал: «ты ли это? ты? я не сплю, Аничка?»

Вот сидит она босиком, чудо природы, летающее несущество. Ноги ледяные и руки, а голова в огне... и чего вскочила посередь ночи? третий месяц не спит, карябает, увековечивает дыру, что гудит пустая огромная, как страна, а никого в ней нет, одни гоги-магоги трясутся... и некому сказать: эй, половина пятого, марш в постель, жеребёнок, не бойся, я завтра опять приду по твою душу, тебе надо набраться сил, чтобы снова меня оттолкнуть, ведь это я тебя научил никогда не делать того, чего ты не хочешь, я подставлюсь, толкай.

Третий месяц пошёл с той злополучной ночи, как приснился и разбудил. Стройка, старый сарай, бильярд и пустырь без конца и края... стоим, обнявшись, и знаем, что навсегда. Но обрывается сон и в небе вспыхивает дыра, и в неё, на спине, распластавшись, ногами вперёд летит мой Ларионов, а я надрываюсь: не бросай меня! я хочу умереть зимой!

Заклинаю вас, любящие меня и ненавидящие, не снитесь мне, иначе и вам отломится от моей тоски, от моей потери, этой вечной дыры, куда и Орфей провалился, и Иосиф с пустыней и братьями, и Цинцинат со своими крошками. Она всю жизнь ползла за мной по пятам и весям, то забиваясь в старые вещи и книги, то собираясь тучей над головой, то разражаясь слезами, как дождь по отвесной стене, за каким-нибудь вполне индифферентным табль-фабль-дотом.

И ещё прошу, не сочувствуйте, как это ни приятно тургеневскому сердцу. Мне и сейчас нравятся не задумчивые и впечатлительные, а острые на язык и скорые расправу. С ними легче не обмануться и обмануться не так обидно.

Ну что ты болтаешь, сказал бы, ты же нормальная, не прикидывайся идиоткой, забыла, чего тебе стоила твоя блажь? Нет, не забыла, но в том-то и чудо любящей памяти: помнить хорошее крупно и ярко, а плохое сквозь слёзы, не резко.

...И всё же любовь возвращение в хаос. На родину, на прародину, откуда мы вышли и рассеялись по свету, не нужные никому. И хаосу, что заглатывает нас живьём и тут же исторгает, потому что не в силах переварить.

Остаются сны и воспоминания. Мы закрываем глаза и останавливаем время.

Аня вымыла пепельницу, потушила свет и на цыпочках прокралась в спальню. Пигмалион дрых, разметавшись на всю кровать, сотрясая могучим храпом постельно-письменные принадлежности.

Понедельник. Беззимнее февральское утро. Двухтумбовый стол, книжные полки (монографии, словари), барочное сооружение для справочников, атласов и «русских мыслей». Типично московский спальный кабинет. У французов падает челюсть, когда им случается заглянуть в эту святая святых мегалионского беспредела. Комнат в доме достаточно, но зачем забывать старые добрые традиции? И потом, главные вещи должны находиться рядом: под рукой, ногой и так далее.

- Эй, - позвала шёпотом, чтобы не напугать во сне. - Отлезь, чудовище, и помни, что ты человек.

- Чудовище, - проворчал, - конечно, человек так не устаёт.

- Ну, долго мне ждать?

Закряхтел, зафыркал, «девки дома?»

- Дома, спи.

- Не замёрзла?

И повернувшись, вновь захрапел.

февраль 95 - ноябрь 98